АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

MICHEL de MONTAIGNE

LES ESSAIS

LIVRE PREMIER

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ

ОПЫТЫ

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕРЕВОД А.С.БОБОВИЧА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Ф.А.КОГАН-БЕРНШТЕЙН и М.П.БАСКИНА

КОММЕНТАРИИ А.С.БОБОВИЧА
И Ф.А.КОГАН-БЕРНШТЕЙН

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА-ЛЕНИНГРАД

1954

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ“

Серия основана академиком *С. И. Вавиловым*

Академик *В. П. ВОЛГИН* (председатель), академик *В. В. ВИНОГРАДОВ*, академик *М. Н. ТИХОМИРОВ*, член-корреспондент АН СССР *Д. Д. БЛАГОЙ*, член-корреспондент АН СССР *Н. И. КОНРАД* (зам. председателя), член-корреспондент АН СССР *Д. С. ЛИХАЧЕВ*, член-корреспондент АН СССР *С. Д. СКАЗКИН*, профессор *И. И. АНИСИМОВ*, профессор *С. Л. УТЧЕНКО*

Ответственные редакторы:

член-корреспондент АН СССР *С. Д. СКАЗКИН*,
профессор *А. А. СМИРНОВ*

ОПЫТЫ

Портрет Монтеня, обычно именуемый „Монтень в воротничке“.
Неизвестного автора второй половины XVI века.

К ЧИТАТЕЛЮ

Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо иного, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободою изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотою нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

Де Монтень.

Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.

Глава I

РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО ДОСТИЧЬ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Если мы оскорбили кого-нибудь, и он, собираясь отмстить нам, волен поступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить его сердце — это растрогать его своею покорностью и вызвать в нем чувство жалости и сострадания. И, однако, отвага и твердость — средства прямо противоположные — оказывали порою то же самое действие.

Эдуард, принц Уэльский,[1] тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиень,[2] человек, чей характер и чья судьба отмечены многими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой их город, оставался глух к воплям народа и женщин и детей, обреченных на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, продвигаясь все глубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые с невиданной храбростью, одни, сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вызванное в нем зрелищем столь исключительной доблести, и уважение к ней, притупили острие его гнева и, начав с этих трех, он пощадил затем и остальных горожан.

Скандербег,[3] властитель Эпира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта реши-

мость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога баварского, не пожелал ни в чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самыми позорными и унизительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося на себе все, что они смогут взять. Они же, руководясь великодушным порывом, решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора до такой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал от умиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему и к его подданным.[4]

На меня одинаково легко мог бы воздействовать и первый и второй способы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем, для стоиков жалость есть чувство, достойное осуждения; они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним.

Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными; ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались неколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения

перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида,[5] согнувшегося под бременем обвинений и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами и мольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда,[6] красноречиво обрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за баллотировочные шары и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие.

Дионисий Старший,[7] взяв после продолжительных и напряженных усилий Регий[8] и захватив в нем вражеского военачальника Фитона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагический пример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они, стало быть, обрели свое счастье на день раньше его. Затем Дионисий велел сорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу, жестоко и позорно бичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон, однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущают их, но, что, напротив, изумленные столь редким бесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление. Вот перед нами Помпей, даровавший пощаду всему городу мамертинцев,[9] на которых он перед тем был сильно разгневан, единственно из уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина — Зенона;[10] последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии,[11] нисколько не помог этим ни себе ни другим.

А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходивший храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев, после величайших усилий городом Газой,[12] наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого он имел возможность не раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогою ценой,— ибо, помимо больших потерь в его войске, его самого только что дважды ранили,— крикнул ему: „Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника“. Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. Тогда Александр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал: „Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна единственная мольба? Но поверь мне, я преодолею твое безмолвие, и, если я не могу исторгнуть из тебя слово, то исторгну хотя бы стоны“. И распаляясь все больше и больше, он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за нею живым, раздирая, таким образом, и уродуя его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр

утратил уважение к доблести, так как она была для него делом привычным и не вызывала в нем восхищения? Или, быть может, он настолько высоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему от природы безудержность гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И, действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив,[13] когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видали бегущими или умоляющими о пощаде; напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случая столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себя, таким путем, почетную смерть. Не было никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних сил отмстить за себя и во всеоружии отчаянья найти утешение в том, что он продает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть, однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцать тысяч рабов.

Глава II

О СКОРБИ

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть,— чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу.[1] Ведь это — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоики воспрещают мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу, царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стенали, сам он оставался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранял он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь.[2]

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож.[3] Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорою и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его

надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, что подало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать, почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. „Оттого,— сказал Псамменит,— что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения“.

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца,[4] который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем неповинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея, потеряв сначала семерых сыновей, а затем стольких же дочерей и раздавленная непомерностью этой потери, в конце концов, превратилась в скалу[5] —

Diriguisse malis.[6]

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И, действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное слу-

чается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях,— а некоторое время спустя, разразившись, наконец, слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

Et via vix tandem voci laxata dolore est.[7]

Во время войны короля Фердинанда со вдовою венгерского короля Иоанна, в битве при Буде[8], немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменною храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав наряду с остальными, кто же все-таки этот всадник, он обнаружил, после того как с убитого сняли доспехи, что это его собственный сын. И в то время, как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов,[9] и он, оцепенев, не пал замертво наземь.

Chi può dir com' egli arde, è in picciol fuoco,[10]

говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

misero quod omnes
Eripit sensus mihi. Nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
Quod loquar amens.
Lingua sed torpet, tenuis sub artus
Flamma dimanat, sonitu suopte
Tinniunt aures, gemina teguntur
Lumina nocte.[11]

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, оставляющая место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

Curae leves loquuntur, ingentes stupent.[12]

Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

Ut me conspexit venientem, et Troia circum
Arma amens vidit, magnis exterrita monstris,
Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur.[13]

Помимо той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах,[14] помимо Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, помимо, наконец, Тальвы,[15] умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку; так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер.[16] И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик умер во время ученого спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.[17]

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же, благодаря постоянному размышлению, я с каждым днем все более черствею и закаляюсь.

Глава III

НАШИ ЧУВСТВА УСТРЕМЛЯЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАШЕГО „Я“

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять,— ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое,— затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем, чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то во вне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. Calamitosus est animus futuri anxius.[1]

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: „Делай свое дело и познай самого себя“.[2] Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себя и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что́ прежде всего он должен познать, что́ он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. Ut stultitia, etsi

adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapientia semper eo contenta est quod adest, neque eam unquam sui poenitet.[3]

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем.

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно приобрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников — а это вещи, ценимые нами часто дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, если к его памяти относятся совсем так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому, без исключения, государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия.[4]

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: „Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того, как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скоморохом, возницею на ристалищах, я возненавидел тебя,— ибо чего же другого ты стоишь?". Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: „Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния".[5] Но кто же в здравом уме вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеймили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что при всей безупречности принятого у лакедемонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стенали и плакали, возглашая, что покойный,— каков бы он ни был на деле,— был лучшим из их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву лишь заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер, как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презренно?[6] Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать.

Quisquam
Vix radicitus e vita se tollit, et eiicit:
Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse,
Nec removet satis a proiecto corpore sese, et
Vindicat.[7]

Бертран Дюгеклен[8] умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано,[9] начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио,[10] однако, воспротивился этому; он предпочел пробиться открытою силой, подвергнув себя случайностям битв: „Не подобает,— сказал он,— чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, выказал после смерти страх перед ними".

Здесь будет кстати вспомнить о том, что согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказывался тем самым от чести быть победителем и лишался, таким образом, прав на установку трофея.[11] Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий[12] не смог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай[13] закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простирать заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности,— не говоря уже о примерах из нашего времени,— что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I,[14] король английский, удостоверившись во

время продолжительных войн своих с шотландским королем Робертом,[15] насколько его присутствие способствовало успеху в делах,— ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа,— умирая, обязал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот, после его кончины, выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению это последнее; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами,— словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка,[16] возмутивший Богемию ради поддержки заблуждений Виклефа,[17] высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы в той же половине земли берут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, чтобы они обеспечили им победу и вселили в их душу отвагу.[18]

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда,[19] который, почувствовав, что ранен насмерть выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать спину врагу, и продолжал биться, покуда его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего

короля Филиппа,[20] был государем, наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесною красотой. Но наряду с этими качествами, он обладал также одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак; это значит, что у него не было такого слуги, даже между наиболее приближенными среди них, которому он позволил бы видеть себя за нуждою. Он таился от всех, чтобы излить из себя мочу, и будучи столь же стыдлив, как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни в чем стеснения, я, тем не менее, также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромных поступков и не обнажаю ни перед кем тех наших органов, которые, как повелевает обычай, должны быть прикрыты. Я страдаю, скорее, застенчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что повелел весьма решительно в своем завещании, чтобы ему после кончины надели подштанники. Ему пришлось добавить в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает с его трупом, завязали глаза. Если Кир[21] завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему, после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном веровании; ведь и его историк и сам он, помимо прочих великих достоинств, отличались еще и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам.

Мне очень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемые каменною болезнью, он в последние

часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, что они примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю, которого видел перед своею кончиной, чтобы тот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждающими, что человек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался, повидимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля нужного ему обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похорон. Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.

А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мне единокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, но проявлять при этом исключительную, совершенно непринятую в таких случаях, бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнюю волю Марка Эмилия Лепида,[22] запретившего своим наследникам устраивать ему после смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность и воздержанность в том только и заключаются, чтобы избегать расточительности и излишеств, когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие? Вот, действительно, легкий и недорогой способ самосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счет распоряжения, то, полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон[23] поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставлю обычаю установить распорядок

похоронного обряда и охотно отдам свое мертвое тело на благоусмотрение тех,— кто бы это ни оказался,— кому придется взять на себя эту заботу: Totus hic locus est contemnendus in nobis, non negligendus in nostris.[24] И святая истина сказана одним из святых: Curatio funeris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum.[25] Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновения его жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: „Как вам будет угодно". Если бы я простирал заботы о своем будущем столь далеко, я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить и дышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувства бесчувственным, кто умеет жить своей собственной смертью.

Я проникаюсь почти что ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю о бесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравших у лакедемонян морское сражение близ Аргинусских островов,[26] самое значительное, самое ожесточенное среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а не задержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда я вспоминаю о Диомедоне. Последний, один из осужденных на казнь, человек замечательной воинской доблести и гражданских добродетелей, выслушав обвинительный приговор, вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервые позволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для самозащиты и не для того, чтобы вскрыть очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу

об ожидающей этих судей судьбе; он обратился к богам с мольбою не карать их за приговор и, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами в ознаменование столь блистательного успеха, уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказав больше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно, твердой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако, судьба при сходных обстоятельствах отмстила афинянам. Хабрий, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, начальником морских сил спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, только из опасения, как бы не подвергнуться столь же печальной участи, какая постигла его предшественников. И, чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть целому сонму живых и невредимых врагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейший предрассудок.

Quaeris quo iaceas post obitum loco?
Quo non nata iacent.[27]

Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя:

Neque sepulcrum, quo recipiatur, habeat portum corporis,
Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis.[28]

Глава IV

О ТОМ, ЧТО СТРАСТИ ДУШИ ИЗЛИВАЮТСЯ НА ВООБРАЖАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОГДА ЕЙ НЕДОСТАЕТ НАСТОЯЩИХ

Один из наших дворян, подверженный жесточайшим припадкам подагры, будучи побуждаем врачами отказаться от употребления в пищу кушаний из соленого мяса, имел обыкновение остроумно отвечать, что в разгар мучений и болей ему хочется иметь под рукой что-нибудь, на чем он мог бы сорвать свою злость, и что, ругая и проклиная то колбасу, то бычий язык или окорок, он испытывает от этого облегчение. Но, право же, подобно тому, как мы ощущаем досаду, если, подняв для удара руку, не настигаем предмета, в который метили, и наши усилия растрачены зря, или, скажем, как для того, чтобы тот или иной пейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности вдаль, но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, которая служила б ему опорою:

Ventus ut amittit vires, nisi robore densae
Occurrant silvae, spatio diffusus inani,[1]

так же, мне кажется, и душа, потрясенная и взволнованная, бесплодно погружается в самое себя, если ее не снабдить поживой извне; потому-то нужно беспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью ее стремлений, и направлять ее деятельность. Плутарх говорит по поводу тех, кто испытывает чрезмерно нежные чувства к собачкам и обезьянкам, что заложен-

ная в нас потребность любить, не находя законного выхода, создает себе, лишь бы не прозябать в праздности, привязанности вымышленные и вздорные.[2] И мы видим, действительно, что душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порою не верит, чем оставаться в бездействии. Вот почему дикие звери, обезумев от ярости, набрасываются на оружие или на камень, которые ранили их, или, раздирая себя собственными зубами, пытаются выместить на себе мучающую их боль.

Pannonis haud aliter post ictum saevior ursa,
Cum iaculum parva Lybis amentavit habena
Se rotat in vulnus, telumque irata receptum
Impetit, et secum fugientem circuit hastam.[3]

Каких только причин не придумываем мы для объяснения тех несчастий, которые с нами случаются! За что не хватаемся мы, с основанием или без всякого основания, лишь бы было к чему придраться! Не эти светлые кудри, которые ты рвешь на себе, и не белизна этой груди, которую ты, во власти отчаянья, бьешь так беспощадно, наслали смертоносный свинец на твоего любимого брата: ищи виновных не здесь. Ливий, рассказав о скорби римского войска в Испании по случаю гибели двух прославленных братьев,[4] его полководцев, добавляет: Flere omnes repente et offensare capita.[5] Таков общераспространенный обычай. И разве не остроумно сказал философ Бион о царе, который в отчаянии рвал на себе волосы: „Этот человек, кажется, думает, что плешь облегчит его скорбь“.[6] Кому из нас не случалось видеть, как жуют и глотают карты, как кусают игральную кость, чтобы выместить хоть на чем-нибудь свой проигрыш? Ксеркс велел высечь море — Геллеспонт[7] и наложить на него цепи; он обрушил на него поток брани и послал горе Афон вызов на поединок. Кир на несколько дней задержал целое войско, чтобы отомстить реке Гиндес за страх, испытанный им при переправе через нее. Калигула распорядился снести до основания прекрасный во всех отношениях дом из-за тех огорчений, которые претерпела в нем его мать.

В молодости я слышал о короле одной из соседних стран, который, получив от бога славную трепку, поклялся отмстить за нее; он приказал, чтобы десять лет сряду в его стране не молились богу, не вспоминали о нем и, пока этот король держит в своих руках власть, даже не верили в него. Этим рассказом подчеркивалась не столько вздорность, сколько бахвальство того народа, о котором шла речь; оба эти порока связаны неразрывными узами, но в подобных поступках проявляется, по правде говоря, больше заносчивости, нежели глупости.

Император Август, претерпев жестокую бурю на море, разгневался на бога Нептуна и, чтобы отмстить ему, приказал на время праздничных игр в цирке убрать его статую, стоявшую среди изображений прочих богов. В этом его можно извинить еще меньше, чем всех предыдущих, и все же этот поступок Августа более простителен, чем то, что случилось впоследствии. Когда до него дошла весть о поражении, понесенном его полководцем Квинтилием Варом в Германии, он стал биться в ярости и отчаяньи головою о стену, без конца выкрикивая одно и то же: „О Вар, отдай мне мои легионы![8] Но наибольшее безумие постигает тех, кто обращается непосредственно к богу или судьбе — ведь тут примешивается еще и кощунство,— словно эта последняя может услышать нашу словесную бомбардировку; они уподобляются в этом фракийцам, которые, когда сверкает молния или гремит гром, вступают в титаническую борьбу с небом, стремясь тучею стрел образумить разъяренного бога. Итак, как говорит древний поэт у Плутарха:

Когда ты в ярости судьбу ругаешь,
Ты этим только воздух сотрясаешь.[9]

Впрочем, мы никогда не кончим, если захотим высказать все, что можно, в осуждение человеческой несдержанности.

Глава V

ДОЛЖЕН ЛИ КОМЕНДАНТ ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРОТИВНИКОМ?

Люций Марций, римский легат, во время войны с Персеем, царем македонским, стремясь выиграть время, чтобы привести в боевую готовность свое войско, затеял переговоры о мире, и царь, обманутый ими, заключил перемирие на несколько дней, предоставив, таким образом, неприятелю возможность и время вооружиться и приготовиться, что и повело к окончательному разгрому Персея.[1] Но случилось так, что старцы-сенаторы, еще хранившие в памяти нравы своих отцов, осудили действия Марция как противоречащие древним установлениям, которые заключались, по их словам, в том, чтобы побеждать доблестью, а не хитростью, не засадами и не ночными схватками, не притворным бегством и неожиданным ударом по неприятелю, а также не начиная войны прежде ее объявления, но, напротив, зачастую оповещая заранее о часе и месте встречи. Исходя из этого, они выдали Пирру его врача, задумавшего предать его, а фалискам — их злонамеренного учителя.[2] Это были правила подлинно римские, не имеющие ничего общего с греческой изворотливостью и пуническим вероломством, у каковых народов считалось, что меньше чести и славы в том, чтобы побеждать силою, а не хитростью и уловками. Обман, по мнению этих сенаторов, может увенчаться успехом в отдельных случаях, но считает себя побежденным лишь тот, кто уверен,

что его одолели не хитростью и не благодаря случайным обстоятельствам, а воинской доблестью, в прямой схватке лицом к лицу на войне, которая протекала в соответствии с установленными законами и соблюдением принятых правил. По речам этих славных людей ясно видно, что им еще не было известно нижеследующее премудрое изречение:

dolus an virtus quis in hoste requirat?[3]

Ахейцы, рассказывает Полибий, презирали обман и никогда не прибегали к нему на войне; они ценили победу только тогда, когда им удавалось сломить мужество и сопротивление неприятеля.[4] Eam vir sanctus et sapiens sciet veram esse victoriam, quae salva fide et integra dignitate parabitur,[5]— говорит другой римский автор.

Vos ne velit an me regnare hera quidve ferat fors
Virtute experiamur.[6]

В царстве тернатском,[7] именуемом нами с легкой душою варварским, общепринятые обычаи запрещают итти войною, не объявив ее предварительно и не сообщив врагу полного перечня всех сил и средств, которые будут применены в этой войне, а именно, сколько у тебя воинов, каково их снаряжение, а также оборонительное и наступательное оружие. Однако, если, не взирая на это, неприятель не уступает и не идет на мирное разрешение спора, они не останавливаются ни перед чем и полагают, что в этом случае никто не имеет права упрекать их в предательстве, вероломстве, хитрости и всем прочем, что могло бы послужить средством к обеспечению легкой победы.

Флорентинцы в былые времена были до такой степени далеки от желания получить перевес над врагом с помощью внезапного нападения, что за месяц вперед предупреждали о выступлении своего войска, звоня в большой колокол, который назывался у них Мартинелла.

Что касается нас, которые на этот счет гораздо менее щепетильны, нас, считающих, что, кто извлек из войны выгоду, тот достоин и славы, нас, повторяющих вслед за Лисандром, что, где

недостает львиной шкуры, там нужно пришить клочок лисьей, то наши воззрения ни в какой степени не осуждают общепринятых способов внезапного нападения на врага. И нет часа, говорим мы, когда военачальнику полагается быть более начеку, чем в час ведения переговоров или заключения мира. Поэтому для всякого военного нашего времени является непререкаемым правилом, что комендант осажденной крепости не должен ни при каких обстоятельствах выходить из нее для переговоров с неприятелем. Во времена наших отцов в нарушении этого правила упрекали господ де Монмора и де Л'Ассиньи, защищавших Музон от графа Нассауского.[8]

Но бывает и так, что нарушение этого правила имеет свое оправдание. Так, например, оно извинительно для того, кто выходит из крепости, обеспечив себе безопасность и преимущество, как это сделал граф Гвидо ди Рангоне (если прав Дю Белле, ибо, по словам Гвиччардини, это был не кто иной, как он сам) в городе Реджо,[9] когда встретился с господином де Л'Экю для ведения переговоров. Он остановился на таком незначительном расстоянии от крепостных стен, что, когда во время переговоров вспыхнула ссора и противники взялись за оружие, господин де Л'Экю и прибывшие с ним не только оказались более слабою стороною,— ведь тогда-то и был убит Алессандро Тривульцио,— но и самому господину де Л'Экю пришлось, доверившись графу на слово, последовать за ним в крепость, чтобы укрыться от угрожавшей ему опасности.

Антигон, осадив Эвмена в городе Нора,[10] настойчиво предлагал ему выйти из крепости для ведения переговоров. В числе разных доводов в пользу своего предложения он привел также следующий: Эвмену, мол, надлежит предстать перед ним потому, что он, Антигон, более велик и могуществен, на что Эвмен дал следующий достойный ответ: „Пока у меня в руках меч, нет человека, которого я мог бы признать выше себя". И он согласился на предложение Антигона не раньше, чем тот, уступив его требованиям, отдал ему в заложники своего собственного племянника Птолемея.

Впрочем, попадаются и такие военачальники, которые имеют основание думать, что они поступили правильно, доверившись слову осаждающих и выйдя из крепости. В качестве примера можно привести историю Анри де Во, рыцаря из Шампани, осажденного англичанами в замке Коммерси. Бертелеми де Бонн, начальствовавший над осаждающими, подведя подкоп под бо́льшую часть этого замка, предложил вышеназванному Анри выйти из крепости и вступить с ним в переговоры, убеждая его, что это будет к его же благу, в доказательство чего и открыл ему свои козыри. После того как рыцарь Анри воочию убедился, что его ожидает неотвратимая гибель, он проникся чувством глубокой признательности к своему врагу и сдался со всеми своими солдатами на милость победителя. Порох был подожжен, деревянные подпоры рухнули, замок был уничтожен до основания.

Я склонен оказывать доверие людям, но я обнаружил бы это пред всеми с большой неохотою, если бы мое поведение подавало кому-нибудь повод считать, что меня побуждают к нему отчаяние и малодушие, а не душевная прямота и вера в людскую честность.

Глава VI

ЧАС ПЕРЕГОВОРОВ — ОПАСНЫЙ ЧАС

Надо сказать, что не так давно я наблюдал в городе Мюссидане,[1] находящемся по соседству со мной, как те, кто был выбит оттуда нашей армией, а также приверженцы их жаловались на предательство, ибо во время переговоров, при наличии соглашения о перемирии, они подверглись внезапному нападению и были разбиты наголову. Подобная жалоба в другой век могла бы, пожалуй, вызвать сочувствие. Но, как я указывал выше, наши обычаи не имеют больше ничего общего с правилами былых времен. Вот почему не следует доверять друг другу, пока договор не скреплен последней печатью; да и при наличии этого, чего не случается!

Никогда, впрочем, нельзя с уверенностью рассчитывать, что победоносное войско станет соблюдать обязательства, которые дарованы победителем городу, сдавшемуся на сравнительно мягких и милостивых условиях и согласившемуся впустить еще разгоряченных боем солдат. Люций Эмилий Регилл, римский претор, потеряв время в бесплодных попытках захватить силою город фокейцев, ибо жители его защищались с поразительною отвагой, пошел, в конце концов, с ними на соглашение, согласно которому он принимал их под свою руку в качестве „друзей римского народа“ и должен был въехать в их город, как в город союзников. Этим он окончательно рассеял их опасения насчет возможности каких-либо враждебных действий со стороны победителей. Но, когда они вошли в город — ибо Эмилий, желая показать себя во всем блеске, ввел туда все свое войско, — усилия, которые он

прилагал, чтобы держать их в узде, оказались напрасными, и значительная часть города была разгромлена у него на глазах: жажда пограбить и отмстить поборола в них уважение к его власти и привычку повиноваться.

Клеомен имел обыкновение говорить, что, каковы бы ни были злодеяния, совершаемые во время войны в отношении неприятеля, они выходят за пределы правосудия и не подчиняются его приговорам — за них не судят ни боги, ни люди. Договорившись с аргивянами о перемирии на семь дней, он напал на них уже в третью ночь, когда их лагерь был погружен в сон, и нанес им жесточайшее поражение, ссылаясь в дальнейшем на то, что в его договоре о перемирии ни словом не упоминается о ночах. Боги, однако, покарали его за это изощренное вероломство.

Жители города Казилина,[2] беспечно полагаясь на свою безопасность, подверглись во время переговоров внезапному нападению, и это произошло в век наисправедливейших и благороднейших полководцев превосходного во всех отношениях римского войска. В самом деле, нигде ведь не сказано, что нам не дозволено в подобающем месте и в подобающий час воспользоваться глупостью неприятеля, подобно тому, как мы извлекаем для себя выгоду из его трусости. Война, естественно, имеет множество привилегий, которые в военных условиях совершенно разумны, вопреки нашему разуму; здесь не соблюдают правила: neminem id agere, ut ex alterius praedetur inscitia.[3]

Меня поражает, однако, та безграничность, какую допускает в отношении отмеченных привилегий такой автор, как Ксенофонт,[4] о чем свидетельствуют и речи и деяния его якобы совершенного самодержца; а ведь в подобных вопросах это — писатель, обладающий исключительным весом, ибо он — прославленный полководец и философ из числа ближайших учеников Сократа. Далеко не всегда и не во всем я могу согласиться с его чрезмерно широкими, по-моему, взглядами на этот предмет.

Господин д'Обиньи, обложив осадою Капую, подверг ее жесточайшей бомбардировке, после чего сеньор Фабрицио Колонна, комендант города, стоя на стене бастиона, начал переговоры

о сдаче, и, так как его солдаты утратили бдительность, наши ворвались в крепость и не оставили в ней камня на камне.[5] А вот еще более свежий в нашей памяти случай. Сеньор Джулиано Роммеро допустил в Ивуа[6] большой промах; он вышел из крепости для ведения переговоров с коннетаблем — и что же? — возвращаясь назад, обнаружил, что она захвачена неприятелем. Я расскажу еще об одном событии, дабы показать, что порою и мы оставались в накладе: маркиз Пескарский осаждал Геную, где начальствовал покровительствуемый нами герцог Оттавиано Фрегозо; переговоры между обоими военачальниками шли настолько успешно, что соглашение между ними считалось уже делом решенным. Однако в момент их завершения испанцы проникли в город и стали распоряжаться в нем, словно и в самом деле одержали решительную победу.[7] И впоследствии также город Линьи в Барруа, где начальствовал граф де Бриенн, а осадою руководил сам император, был захвачен в то самое время, когда заместитель вышеназванного графа — Бертейль, выйдя за пределы крепостных стен ради переговоров, вел их с представителями противника.[8]

Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,
Vincasi o per fortuna o per ingegno,[9] —

так, по крайней мере, принято говорить. Впрочем, философ Хрисипп[10] не разделял этого мнения, и я также далек от того, чтобы признать его до конца справедливым. Он говорил, что соревнующиеся в беге должны приложить все свои силы, чтобы опередить остальных; но при этом им никоим образом не разрешается хватать рукою соперника, тем самым задерживая его, или подставлять ему ногу, чтоб он упал.

И еще благороднее ответ великого Александра Полисперхонту, который советовал воспользоваться ночной темнотой для неожиданного нападения на войска Дария: „Не в моих правилах, — сказал Александр, — одерживать уворованную победу“ — Malo me fortunae poeniteat, quam victoriae pudeat.[11]

Atque idem fugientem haud est dignatus Orodem
Sternere, nec iacta caecum dare cuspide vulnus;
Obvius, adversoque occurrit, seque viro vir
Contulit, haud furto melior, sed fortibus armis.[12]

Глава VII

О ТОМ, ЧТО НАШИ НАМЕРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СУДЬЯМИ НАШИХ ПОСТУПКОВ

Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, что эти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключил соглашение с доном Филиппом, сыном императора Максимилиана, или — чтобы придать его имени еще бо́льший блеск — отцом императора Карла V, в том, что вышеупомянутый Филипп передаст в его руки герцога Сеффолька, его врага из партии Белой Розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище в Нидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизнь этого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своему сыну в оставленном им завещании немедленно после его кончины умертвить герцога Сеффолька.[1] Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена нам герцогом Альбой и героями которой были несчастные графы Горн и Эгмонт, заключает в себе много такого, что заслуживает внимания.[2] Так, например, граф Эгмонт, уговоривший своего товарища графа Горна отдаться в руки герцогу Альбе и уверивший его в безопасности этого шага, настойчиво домогался умереть первым; он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которым он связал себя по отношению к графу Горну. Но ясно, что в первом из рассказаных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как во втором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его на себя и не умирал. Мы

не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вне нашей власти и распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей, эта последняя по необходимости и является той основой и тем мерилом, которые позволяют определить, что есть долг человека. Вот почему граф Эгмонт, и душою и волей своею сохранявший верность данному им обещанию, исполнить которое, при всем своем желании, он не имел никакой возможности, без сомнения был бы освобожден от своего обязательства по отношению к графу Горну, если бы даже и пережил его. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего свое слово, никоим образом не может найти себе оправдание в том, что он отложил казнь герцога до своей смерти; равным образом, нет оправдания и тому каменщику у Геродота, который, соблюдая с безупречною честностью в течение всей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, умирая, открыл ее своим детям.[3]

Я видел на своем веку немало таких людей, которые, хотя совесть и уличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легко мирились с этим, рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своей кончины, путем завещания. Такой образ действий ни в коем случае нельзя оправдать: плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, что они желают возместить причиненный ими убыток ценою столь малых усилий и столь мало поступаясь своей выгодой. Право, им надлежало бы поделиться тем, что им взаправду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем больше трудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бы такое возмещение и тем больше было бы им заслуги. Раскаяние требует жертв.

Еще хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу к кому-нибудь из своих ближних, выражая ее лишь в последнем изъявлении своей воли. Возбуждая в обиженном неприязнь к их памяти, они показывают тем самым, что мало пекутся о своей чести и еще меньше о совести, ибо не хотят угасить в себе злобного чувства хотя бы из уважения к смерти

и оставляют его жить после себя. Они подобны тем неправедным судьям, которые без конца откладывают свой приговор и выносят его лишь тогда, когда ими уже утрачено всякое представление о сути самого дела.

Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь.

Глава VIII

О ПРАЗДНОСТИ

Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячами видов диких и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях, необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определенными семенами; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенные груды и куски плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое потомство, их необходимо снабдить семенем со стороны,— так же и с нашим умом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения:

Sicut aquae tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunae
Omnia pervolitat late loca, iamque sub auras
Erigitur, summique ferit laquearia tecti.[1]

И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождал бы наш ум, пребывая в таком возбуждении,

velut aegri somnia, vanae
Finguntur species.[2]

Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель, ибо, как говорится, кто везде, тот нигде:

Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat.[3]

Уединившись с недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне казалось, что для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что

variam semper dant otia mentem[4]

и что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задает себе во сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И, действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится.

Глава IX

О ЛЖЕЦАХ

Нет человека, которому пристало бы меньше моего затевать разговоры о памяти. Ведь я не нахожу в себе ни малейших следов ее и не думаю, чтобы во всем мире существовала другая память, столь же чудовищно немощная. Все остальные мои способности незначительны и вполне заурядны. Но в отношении этой я представляю собой нечто совсем исключительное и редкостное и потому заслуживаю, пожалуй, известности и громкого имени.

Не говоря уже о понятных каждому неудобствах, которые я претерпеваю от этого — ведь, принимая во внимание насущную необходимость памяти, Платон с достаточным основанием назвал ее великою и могущественною богинею,[1] — в моих краях, если хотят сказать о том или ином человеке, что он совершенно лишен ума, то говорят, что он лишен памяти, и всякий раз, как я принимаюсь сетовать на недостаток своей, меня начинают журить и разуверять, как если бы я утверждал, что безумен. Люди не видят различия между памятью и способностью мыслить, и это значительно ухудшает мое положение. Но они несправедливы ко мне, ибо на опыте установлено, что превосходная память весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями. Они несправедливы еще и в другом отношении: ничто не удается мне так хорошо, как быть верным другом, а между тем, на моем наречии неблагодарность обозначается тем же словом, которым именуют также мою болезнь. О силе моей привязанноси судят по моей памяти; природный недостаток перерастает, таким образом, в нрав-

ственный. „Он забыл,— говорят в этих случаях,— исполнить такую-то мою просьбу и такое-то свое обещание. Он забывает своих друзей. Он не вспомнил, что из любви ко мне ему следовало сказать или сделать то-то и то-то и, напротив, умолчать о том-то и том-то". Я, и в самом деле, могу легко позабыть то-то и то-то, но сознательно пренебречь поручением, данным мне моим другом — нет, такого со мной не бывает. Пусть они удовольствуются моей бедой и не превращают ее в своего рода коварство, которому так враждебна моя натура.

Кое в чем я все же вижу для себя утешение. Во-первых, в этом своем недостатке я нахожу существенную опору, борясь с другим, еще худшим, который легко мог бы развиться во мне, а именно с честолюбием, ибо последнее является непосильным бременем для того, кто устранился от жизни большого света. Далее, как подсказывают многочисленные примеры подобного рода из жизни природы, она щедро укрепила во мне другие способности в той же мере, в какой обездолила в отношении вышеназванной. В самом деле, ведь я мог бы усыпить и обессилить мой ум и мою проницательность, идя проторенными путями, как это делает целый мир, не упражняя и не совершенствуя своих собственных сил, если бы, облагодетельствованный хорошею памятью, имел всегда перед собою чужие мнения и измышления чужого ума. Кроме того, я немногословлен в беседе, ибо память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел. Наконец, если бы память была у меня хорошая, я оглушал бы своей болтовнею друзей, так как припоминаемые мною предметы пробуждали бы заложенную во мне способность, худо ли хорошо ли, владеть и распоряжаться ими, поощряя, тем самым, и воспламеняя мои разглагольствования. А это — сущее бедствие. Я испытал его лично на деле, в общении с иными из числа моих близких друзей; по мере того, как память воскрешает перед ними события или вещи со всеми подробностями и во всей их наглядности, они до такой степени замедляют ход своего рассказа, настолько загромождают его никому не нужными мелочами, что, если рассказ сам по себе хорош, они обязательно убьют его прелесть, если же плох, то вам только и

остается что проклинать либо выпавшее на их долю счастье, то есть хорошую память, либо, напротив, несчастье, то есть неумение мыслить. Право же, если кто разойдется, тому нелегко закончить свои разглагольствования или оборвать их на полуслове. А ведь нет лучшего способа узнать силу коня, как испытать его уменье останавливаться сразу и плавно. Но даже среди дельных людей мне знакомы такие, которые хотят, да не могут остановить свой разгон. И пока они силятся отыскать точку, где бы задержать, наконец, свой шаг, они тащатся, болтая и ковыляя, точно люди, изнемогающие от усталости. Особенно опасны тут старики, которые сохраняют память о былых делах, но не помнят о том, что уже много раз повторяли свои повествования. И я не раз наблюдал, как весьма занимательные рассказы становились в устах какого-нибудь почтенного старца на редкость скучными; ведь каждый из слушателей насладился ими, по крайне мере, добрую сотню раз. Во-вторых, я нахожу для себя утешение также и в том, что моя скверная память хранит в себе меньше воспоминаний, как говорил один древний писатель, об учиненных мне обидах; [2] мне нужно было бы составить их список и хранить его при себе, следуя в этом примеру Дария, который, дабы не забывать оскорблений, нанесенных ему афинянами, велел своему слуге трижды возглашать ему в самое ухо всякий раз, как он будет садиться за стол: „Царь, помни об афинянах". Далее: местности, в которых я уже побывал прежде, или прочитанные ранее книги радуют меня свежестью новизны.

Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. Мне хорошо известно, что грамматики устанавливают различие между выражениями: „говорить ложно" и „лгать". Они разъясняют, что „говорить ложно", это значит — говорить вещи, которые не соответствуют истине, но, тем не менее, воспринимаются говорящим как истинные, а также, что слово „лгать" по-латыни — а от латинского слова произошло и наше французское — означает почти то же самое, что „итти против собственной совести". [3] Здесь, во всяком случае, я веду речь лишь о тех, которые говорят одно, а про себя знают другое. А это либо те, чьи слова, так сказать, вымысел с головы

до пят, либо те, кто лишь отчасти скрывает и искажает истину. Но, слегка скрывая и искажая ее, они рано или поздно, если наводить их снова и снова на один и тот же сюжет, изобличат сами себя во лжи, так как немыслимо, чтобы в их воображении не возникало всякий раз то представление о вещи, как она есть, которое первым отложилось в их памяти и затем прочно запечатлелось в ней, закрепившись путем познавания, а затем и знания ее свойств; а это первоначальное представление понемногу вытесняет из памяти вымысел, который не может обладать такой же устойчивостью и прочностью, поскольку обстоятельства первого ознакомления с вещью, всплывая всякий раз снова в нашем уме, заслоняют воспоминание о привнесенном извне, ложном и извращенном. В тех же случаях, когда все сказанное людьми — сплошной вымысел и в них самих нет противоречащих этому вымыслу впечатлений, они, очевидно, имеют меньше оснований опасаться промаха. Однако и тут, поскольку их вымысел — призрак, нечто неуловимое, он так и норовит ускользнуть из их памяти, если она недостаточно цепкая.

Я не раз наблюдал случаи таких промахов, и, что всего забавнее, они приключались именно с теми, кто, можно сказать, сделал своею профессией строить свою речь не иначе, как с тем, чтобы она помогала в делах, а также была бы приятна влиятельным лицам, к которым обращена. Но раз обстоятельства, которым они готовы подчинить душу и совесть, подвержены бесчисленным изменениям, то и им приходится бесконечно разнообразить свои слова. А это приводит к тому, что ту же самую вещь они принуждены называть то серой, то желтой, и перед одним из своих собеседников утверждать одно, а перед другим — совершенно другое. Если те при случае сопоставят столь несходные между собой суждения, то во что превращается великолепное искусство этих говорунов? А кроме того, и они сами, забывая об осторожности, изобличают себя во лжи, ибо какая же память способна вместить такое количество вымышленных, несхожих друг с другом образов одного и того же предмета? Я встречал многих моих современников, завидовавших славе, которою пользуются обладатели этой блистательной разно-

видности благоразумия. Они не замечают, однако, того, что слава славою, а прочного успеха тут не бывает.

И, действительно, лживость — постыдный порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с бо́льшим основанием, чем иного рода преступления. Я нахожу, что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что; что их карают за проступки, совершенные по неведению и неразумию и не влекущие за собой никаких последствий. Одна только лживость и, пожалуй, в несколько меньшей мере, упрямство кажутся мне теми из детских пороков, с зарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться. Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде! От этого и проистекает, что мы встречаем людей, в других отношениях вполне честных и добропорядочных, но объятых и порабощенных этим пороком. У меня есть портной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотя бы словечка правды, и притом даже тогда, когда она могла бы доставить ему только выгоду.

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов.

Пифагорейцы считают, что благо определенно и ограниченно, тогда как зло неопределенно и неограниченно. Тысячи путей уводят от цели, и лишь один единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже ради предотвращения грозящей мне величайшей беды я мог бы заставить себя прибегнуть к явной и беззастенчивой лжи.

Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществе знакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам незнаком: Ut externus alieno non sit hominis vice.[4] Но насколько же лживый язык, как средство общения, хуже молчания!

Король Франциск I хвалился, что нижеследущим образом обвел вокруг пальца посла миланского герцога Франческо Сфорца — Франческо Таверну, человека весьма прославленного в искусстве заговаривать зубы своему собеседнику. Этот последний был послан ко двору нашего короля с тем, чтобы принести его величеству извинения своего государя в связи с одним весьма важным, излагаемым ниже делом. Король, которого незадолго до того вытеснили из Италии и даже из Миланской области, желая располагать сведениями обо всем, что там происходит, придумал держать при особе миланского герцога одного дворянина, в действительности своего посла, но проживавшего под видом частного человека, приехавшего туда якобы по своим личным делам. И это было тем более необходимо, что герцог, завися больше от императора, чем от нас, а в то время особенно, так как сватался за его племянницу, дочь короля Дании, ныне вдовствующую герцогиню лотарингскую, не мог, не причиняя себе большого ущерба, открыто поддерживать с нами сношения и вступать в какие-либо переговоры. Лицом, подходящим для поддержания связи между обоими государями и оказался некто Мервейль, королевский конюший и миланский дворянин.[5] Этот последний, снабженный тайными верительными грамотами и инструкциями, которые вручаются обычно послам, а также, для отвода глаз и соблюдения тайны, рекомендательными письмами к герцогу, относившимися к личным делам этого дворянина, провел при миланском дворе столь долгое время, что вызвал неудовольствие императора, каковое обстоятельство, как мы предполагаем, и явилось истинною причиной всего происшедшего дальше. А случилось вот что: воспользовавшись как предлогом каким-то убийством, герцог приказал в два дня закончить судебное разбирательство и повелел в одну прекрасную ночь отрубить голову названному Мервейлю. И так как король, требуя удовлетворения, обратился по поводу этого дела с посланием ко всем христианским государям, в том числе и к самому миланскому герцогу, мессир Франческо, посол последнего, заготовил пространное и лживое изложение этой истории, которое и представил королю во время утренного приема.

В нем он утверждал, стремясь обелить своего господина, что тот никогда не считал Мервейля никем иным, как частным лицом, миланским дворянином и своим подданным, прибывшим в Милан ради собственных дел и пребывавшим там исключительно в этих целях; далее, он решительно отрицал, будто герцогу было известно о том, что Мервейль состоял на службе короля Франциска и даже что этот последний знал его лично, вследствие чего у герцога не было решительно никаких оснований смотреть на Мервейля, как на посла короля Франциска. Король, однако, тесня его, в свою очередь, различными вопросами и возражениями, подкапываясь под него различными способами и прижав, наконец, к стене, потребовал у посла объяснения, почему же, в таком случае, казнь была произведена ночью и как бы тайком. На этот последний вопрос бедняга, запутавшись окончательно и стремясь соблюсти учтивость, ответил, что герцог, глубоко почитая его величество, был бы весьма опечален, если бы подобная казнь была совершена днем. Нетрудно представить себе, что, допустив такой грубый промах, к тому же, перед человеком с таким тонким нюхом, как король Франциск I, он был тут же пойман с поличным.[6]

Папа Юлий II направил в свое время посла к английскому королю с поручением восстановить его против выше названного французского короля. После того, как посол изложил все, что было ему поручено, английский король, отвечая ему, стал распространяться о трудностях, с которыми, по его мнению, сопряжена подготовка к войне со столь могущественной державой, как Франция, и привел в подкрепление своих слов несколько соображений. Посол весьма некстати заметил на это, что и он подумал обо всем этом и даже сообщил о своих сомнениях папе. Эти слова, очень плохо согласовавшиеся с целями посольства, состоявшими в том, чтобы побудить английского короля немедленно же начать войну, вызвали у этого последнего подозрение, впоследствии подтвердившееся на деле, что посол в душе был на стороне Франции. Он сообщил об этом папе; имущество посла было конфисковано, и сам он едва не поплатился жизнью.[7]

Глава X

О РЕЧИ ЖИВОЙ И О РЕЧИ МЕДЛИТЕЛЬНОЙ

Не всем дарованы таланты все бывают.[1]

Это относится, как мы можем убедиться, и к красноречию; одним свойственна легкость и живость в речах, и они, как говорится, за словом в карман не полезут, во всеоружии всегда и везде, тогда как другие, более тяжелые на подъем, напротив, не вымолвят ни единого слова, не обдумав предварительно своей речи и основательно не поработав над нею. И подобно тому, как дамам советуют иногда, в каких играх и телесных упражнениях им лучше участвовать, чтобы выставить напоказ все, что в них есть самого привлекательного,[2] так и я на вопрос, какой из этих двух видов красноречия — которым в наше время пользуются преимущественно проповедники и адвокаты — подходит первым и какой подходит вторым, я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, адвокатом. Ведь обязанности первого предоставляют ему сколько угодно досуга для подготовки, а кроме того, его деятельность постоянно протекает в одном направлении, спокойно и ровно, в то время как обстоятельства, в которых живет и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку, причем неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла и ему тут же на месте приходится изыскивать новые приемы защиты.

Между тем, при свидании папы Климента с королем Франциском, происходившем в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуайэ,[3] человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся и высоко там ценимый, получив пору-

чение произнести приветственную речь папе, имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нею и, как говорят, привез ее из Парижа в совершенно готовом виде. Но в тот самый день, когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы в приветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задеть находившихся при нем послов других государей, уведомил короля о желательном и, по его мнению, соответствующем месту и времени содержании речи. К несчастью, однако, это было совсем не то, над чем трудился господин Пуайе, так что подготовленная им речь оказалась ненужною, и ему надлежало в кратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособным к выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу Дю Белле.[4]

Труд адвоката сложнее труда проповедника, и все же мы встречаем, по-моему, больше удовлетворительных адвокатов, чем проповедников. Так, по крайней мере, обстоит дело во Франции.

Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму — основательность и медлительность. Но как тот, кто, не располагая досугом для подготовки, остается немым, так и тот, кто говорит одинаково хорошо, независимо от того, располагал ли он перед этим досугом, представляют собою крайности. О Севере Кассии рассказывают, что он говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи и что своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказывают также, что ему шло на пользу, если его раздражали во время произнесения речи, и что противники остерегались задевать его за живое, опасаясь, как бы гнев не удвоил его красноречия.[5] Я знаю, по личному опыту, людей с таким складом характера, с которым несовместима кропотливая и напряженная подготовка. Если у таких людей мысль в том или ином случае не течет легко и свободно, она становится неспособною к чему-либо путному. Мы говорим об иных сочинениях, что от них пахнет маслом и лампой, так как огромный труд, который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости и неуклюжести. Но, помимо этого, стремление сделать как можно лучше и напря-

женность души, чрезмерно скованной и поглощенной своим делом, искажают ее творение, калечит, душит его, вроде того, как это происходит иногда с водой, которая, будучи сжата и стеснена своим собственным напором и изобилием, не находит для себя выхода из открытого, но слишком узкого для нее отверстия.

У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногда так: им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как, например, ярость Кассия,— такое волнение было бы для них слишком грубым; их натура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении — в каких-либо особых впечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного склада, предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Легкое волнение придает ему жизнь и пробуждает талант.

Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. Случай имеет надо мной бóльшую власть, чем я сам. Обстоятельства, общество, в котором я нахожусь, наконец, звучание моего голоса извлекают из моего ума больше, чем я мог бы обнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребу себе самому.

Мои речи, вследствие этого, стóят больше, чем мои писания, если вообще допустимо выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности.

Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу, и, вообще, я чаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощи самоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкое и остроумное (я очень хорошо понимаю, что для другого может быть плохо то, что для меня очень хорошо; оставим ложную скромность: каждый старается в меру своих способностей). И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает, что я уже больше не знаю, что я хотел сказать; и случается, что сторонний человек понимает меня лучше, чем я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякий раз, когда в этом является надобность,[6] от меня бы ровно ничего не осталось. Но может настать такой день, когда забытое мною озарится светом более ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моей теперешней растерянности.

Глава XI

О ПРЕДСКАЗАНИЯХ

Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться еще задолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пытался установить причины постигшего их упадка: Cur isto modo iam oracula Delphis non eduntur non modo nostra aetate sed iamdiu ut modo nihil possit esse contemptius?[1] Но что касается других предсказаний: по костям и внутренностям приносимых в жертву животных, у которых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мере приспособлено к этому,[2] по тому, как роются в земле куры, по полету различных птиц, aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus,[3] по молнии, по извилинам рек, multa cernunt aruspices, multa augures provident, multa oraculis declarantur, multa vaticinationibus, multa somniis, multa portentis[4] и иным приметам, на которых древние по большей части основывали свои начинания, как государственные, так и частные, то наша религия наложила на них запрет. Но все же и у нас сохраняются кое-какие способы заглядывать в будущее: при помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и еще многого другого, что служит ясным свидетельством неудержимого любопытства нашей души, жаждущей заглянуть в будущее, точно ей не хватает забот в настоящем:

cur hanc tibi rector Olympi
Sollicitis visum mortalibus addere curam,
Noscant venturas ut dira per omina clades,
Sit subitum quodcunque paras, sit caeca futuri
Mens hominum fati, liceat sperare timenti.[5]

Ne utile quidem est scire quid futurum sit. Miserum est enim nihil proficientem angi,[6] и это, действительно, так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами.

Вот почему случившееся с Франческо, маркизом Салуцким, показалось мне весьма примечательным. Будучи заместителем короля Франциска в той его армии, что находилась по ту сторону гор, бесконечно обласканный нашим двором, обязанный королю своим титулом и своими владениями, конфискованными у его брата и отданными маркизу, не имея, наконец, ни малейшего повода к измене своему государю, тем более, что душа его противилась этому, он позволил запугать себя (как было выяснено впоследствии) предсказаниями об успехах, ожидающих в будущем императора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепых предсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получили настолько широкое распространение, что, вследствие слухов о грозящем нам якобы разгроме, в Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставя огромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своим приближенным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, над французской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов, он поднял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшим несчастьем, каково бы ни было расположение звезд. Но он вел себя при этом как человек, которым движут противоположные влечения, ибо, имея в своих руках различные города и военную силу, находясь всего в двух шагах от неприятельских войск под начальством Антонио де Лейва,[7] при нашем полном неведении о задуманной им измене, он мог бы, если бы пожелал, причинить значительно больше вреда. Ведь его предательство не стоило ни одной жизни, ни одного города, кроме Фоссано,[8] да и то после долгой борьбы за него.

Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa nocte premit deus,
Ridetque si mortalis ultra
Fas trepidat.
. . . . . .
Ille potens sui

Laetusque deget, cui licet in diem
Dixisse: Vixi. Cras vel atra
Nube polum pater occupato
Vel sole puro.[9]

Laetus in praesens animus, quod ultra est,
Oderit curare.[10]

Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами: Ista sic reciprocantur, ut et, si divinatio sit, dii sint; et, si dii sint, sit divinatio.[11] Гораздо разумнее говорит Пакувий:

Nam istis qui linguam avium intelligunt,
Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo,
Magis audiendum quam auscultandum censeo.[12]

Столь прославленное искусство тосканцев[13] угадывать будущее возникло следующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большой пласт земли, увидел, как из-под него вышел Тагет, полубог с лицом ребенка и мудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по части гаданий собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли.[14] Дальнейшее развитие этого искусства стóит его возникновения.

Что до меня, то я предпочел бы руководствоваться в своих делах скорее счетом очков брошенных мною игральных костей, чем подобными бреднями.

И, действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданном Платоном по своему вкусу, он предоставляет его решению кое-какие немаловажные вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия; этому случайному выбору он придает настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит изгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-нибудь из изгнанников, выросши, обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращен на родину;

равным образом, кто из оставленных на родине, достигнув юношеского возраста, не оправдает надежд, тот может быть, в свою очередь, изгнан в чужие края.

Я знаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи,[15] ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Но поскольку в таких альманахах можно найти все, что угодно, в них, очевидно, наряду с ложью должна содержаться и доля правды. Quis est enim qui totum diem iaculans non aliquando conlineet?[16] Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу порою их правоту. Уж лучше бы они всегда лгали: тогда люди знали бы, что́ о них думать. Добавим, что никто не ведет счета их промахам как бы часты и обычны они ни были; что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то им придают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутся нам чем-то непостижимым и изумительным Вот как Диагор, по прозвищу Атеист, находясь в Самофракии, ответил тому, кто, показав ему в храме многочисленные дарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении, обратился к нему с вопросом: „Ну вот, ты, который считаешь, что богам глубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасенных их милосердием?“ „Пусть так,— ответил Диагор.— Но ведь тут нет изображений утонувших, а их несравненно больше“. Цицерон говорит, что между всеми философами, разделявшими веру в богов, один Ксенофан Колофонский пытался бороться с предсказателями разного рода.[17] Тем менее удивительно, что иные из наших властителей, как мы видим, все еще придают значение подобной нелепости, и нередко себе во вред.

Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгу Иоахима, аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап, их имена и их облик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров и патриархов.[18] Но собственными глазами я видел лишь вот что: во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать причину и предвестие обрушив-

шихся на них несчастий в грозных небесных знамениях, явившихся им бог весть когда. И так как мои современники обнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришел к убеждению, что, поскольку для умов острых и праздных это занятие не что иное как развлечение, всякий, кто склонен к такого рода раскопкам, кто умеет повернуть их то в ту, то в другую сторону, может отыскать в любых писаниях все, чего бы он ни искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей — это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческой речи, в которую авторы этих книг не вкладывали определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, чего бы ни пожелало.

„Демон“ Сократа[19] был, повидимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе столь возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие побуждения. Нередко я и сам их испытывал; они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают от какой-либо вещи,— последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим побуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного внушения.

Глава XII

О СТОЙКОСТИ

Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему воспрещается уклоняться, насколько возможно, от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно, и опасаться, как бы они не постигли его. Напротив, все средства — при условии, что они не бесчестны, — способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то ее задача состоит, главным образом, в том, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средств бороться. Вот почему нет такого телодвижения или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар.

Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения, как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, и они оборачивались к нему спиною с большей опасностью для него, чем если бы стояли к нему лицом.

Турки и сейчас еще знают толк в этом деле.

Сократ — у Платона — потешается над Лахетом, определявшим храбрость следующим образом: „Неколебимо стоять в строю перед лицом врага". „Как! — восклицает Сократ. — Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая пред ним?". И в подкрепление своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энея за уменье искусно применять бегство. А после того как Лахет, подумав, должен был признать, что таков действительно обычай у скифов, да и вообще у всех конных воинов, Сократ привел ему в пример еще пехотинцев-лакедемонян, народа, столь привыкшего стойко сражаться в пешем строю: в битвах при Платеях, после безуспеш-

ных попыток прорвать фалангу персов, они решили рассыпаться и податься назад, чтобы, создав, таким образом, видимость бегства, разорвать и рассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаря этой хитрости они добились победы.[1]

Относительно скифов рассказывают, будто Дарий во время похода, предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя с жестокими упреками за то, что он непрерывно отступает пред ним и уклоняется от открытого боя. На что Индатирс[2] — таково было имя царя — ответил, что это происходит не из-за того, чтобы он боялся его, ибо вообще он не боится никого на свете, но потому, что таков их обычай на войне; ведь у них нет ни возделываемых полей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг ими не поживился. Однако, добавил он, если Дарию так уж не терпится сойтись с противником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятся могилы предков Индатирса: там он найдет, с кем померяться силами.

И все же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случается на войне, считается позорным затрепетать под ядрами, поскольку принято думать, что от них все равно не спастись вследствие их стремительности и мощи. И не раз бывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонял голову, вызывал, по меньшей мере, хохот товарищей.

Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императора Карла V против нас. Маркиз дель Гуасто, отправившись на разведку к городу Арлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившей приблизиться к городу, был замечен господами де Бонневалем и сенешалем Аженуа, которые прохаживались в амфитеатре арльского цирка. Последние указали на маркиза дель Гуасто господину де Вилье, начальнику артиллерии, и тот так метко навел кулеврину, что если бы названный выше маркиз, заметив, что по нем открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то, наверно, заполучил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло за несколько лет перед тем и с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, матери нашего короля,[3] во время осады Мондольфо, крепости

в Италии, расположенной в области, называемой Викариатом;[4] увидев, что уже поднесли фитиль к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросился на землю, нырнув, можно сказать, словно утка. Ибо иначе ядро, которое пронеслось совсем над его головой, угодило бы, без сомнения, ему прямо в живот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились нами обдуманно, ибо, как можно составить себе суждение, высок ли прицел или низок, когда все совершается с такою внезапностью? И гораздо вернее будет предположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба и что, действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехом угодить под ядро, как и избегнуть его попадания.

Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи; мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее меня.

Даже стоики, и те понимают, что душа мудреца, как они себе его представляют, неспособна устоять пред внезапно обрушившимися на нее впечатлениями и образами, и что этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же и с другими страстями, лишь бы мысль его сохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум, оставаясь непоколебимым и верным себе, не поддался чувству страха или страдания. С теми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, если иметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если — вторую. Ибо у людей обычного склада действие страстей не остается поверхностным, но проникает в глубины их разума, заражая и отравляя его. Такой человек мыслит под прямым воздействием страстей и как бы повинуясь им. Вот вам полное и верное изображение душевного состояния мудреца-стоика:

Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes.[5]

Мудрец в понимании перипатетиков не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.

Глава XIII

ЦЕРЕМОНИАЛ ПРИ ВСТРЕЧЕ ЦАРСТВУЮЩИХ ОСОБ

Нет предмета, сколь бы ничтожен он ни был, который оказался бы неуместным среди этой причудливой смеси. Согласно принятым у нас правилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а тем более к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, если он предуведомил нас о своем прибытии. Больше того, королева Наваррская Маргарита[1] добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливо выйти из дому, как это часто случается, навстречу тому, кто должен его посетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее и учтивее ожидать его у себя, хотя бы из опасения разминуться с ним в пути, и что в таких случаях достаточно проводить его в предназначенные ему покои.

Что до меня, то я частенько забываю как о той, так и о другой из этих пустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякие церемонии. Есть люди, которые иногда на это обижаются. Но что поделаешь! Лучше обидеть кого-нибудь один единственный раз, чем постоянно терпеть самому обиду: это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственной берлоге?

А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякого рода: оно гласит, что ниже стоящим подобает являться первыми, тогда как лицам более видным приличествует, чтобы их

дожидались. Однако же перед встречею папы Климента с королем Франциском, имевшею произойти в Марселе, король, отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставив папе в течение двух или трех дней устраиваться и отдыхать, и лишь после этого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот же папа и император назначили встречу в Болонье, император предоставил папе возможность прибыть туда первым, сам же приехал несколько позже. При свиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие, следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагается быть в назначенном месте прежде других и даже прежде того государя, в чьих владениях происходит встреча; считают, что эта уловка применяется ради того, чтобы таким способом создать видимость, будто низшие разыскивают высшего и домогаются встречи с ним, а не наоборот.

Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждого сословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошо воспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобы знать законы нашей французской учтивости; больше того, я в состоянии преподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно, чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся нам стеснительными, и если мы забываем их предумышленно, а не по невоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередко встречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, что они были чересчур учтивы, и несносны вследствие того, что были чересчур вежливы.

А впрочем, уменье держать себя с людьми — вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на примере других и, вместе с тем, подавать пример и выказывать себя с хорошей стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих.

Глава XIV

О ТОМ, ЧТО НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ БЛАГА И ЗЛА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ МЫ ИМЕЕМ О НИХ

Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них.[1] И если бы кто-нибудь мог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайно много для облегчения нашей жалкой человеческой участи. Ведь если страдания и впрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей власти либо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себя в наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и не приспособить к нашей собственной выгоде? И если то, что мы называем злом и мучением, не есть само по себе ни зло ни мучение, и только наше воображение наделяет его подобной окраской, то не кто иной, как мы сами, можем изменить ее на другую. Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таковым, или, по крайней мере,

чем бы оно ни являлось,— что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик, ибо все, в конце концов, сводится к этому.

Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения. Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления вселяются в нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями; кто-нибудь, быть может, и воспринимает их по счастливой случайности в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча прочих видит в них совершенно иную, непохожую сущность.

Мы смотрим на смерть, нищету и страдание, как на наших злейших врагов. Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшею из всех ужасных вещей, для других — единственное прибежище от тревог здешней жизни, высшее благо, источник нашей свободы, полное и окончательное освобождение от всех бедствий? И в то время, как одни в страхе и трепете ожидают ее приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни.

Есть даже такие, которые сожалеют о ее доступности для каждого:

> Mors utinam pavidos vita subducere nolles,
> Sed virtus te sola daret.[2]

Но не будем вспоминать людей прославленной доблести, вроде Теодора, который сказал Лизимаху, угрожавшему, что убьет его: „Ты свершишь в таком случае подвиг, посильный и шпанской мушке!“.[3] Большинство философов сами себе предписали смерть или, содействуя ей, ускорили ее.

А сколько мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, и притом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким

позором, а иногда и с ужаснейшими мучениями, сохраняли такое присутствие духа,— кто из упрямства, а кто и по простоте душевной,— что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжения относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и, совсем как Сократ, пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели на виселицу, заявил, что не следует итти этой улицей, так как он может встретиться с лавочником, который схватит его за шиворот: за ним есть старый должок. Другой просил палача не прикасаться к его шее, чтобы он не затрясся от смеха, до такой степени он боится щекотки. Третий ответил духовнику, который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим спасителем: „В таком случае, отправляйтесь-ка туда сами; что до меня, то я нынче пощусь". Четвертый пожелал пить и, так как палач пригубил первым, сказал, что после него ни за что не станет пить, так как боится заболеть дурной болезнью. Кто не слышал рассказа об одном пикардийце? Когда он уже стоял у подножия виселицы, к нему подвели публичную женщину и пообещали, что если он согласится жениться на ней, то ему будет дарована жизнь (ведь наше правосудие порою идет на это); взглянув на нее и заметив, что она припадает на одну ногу, он крикнул: „Валяй, надевай петлю! Она колченогая". Существует рассказ в таком же роде об одном датчанине, которому должны были отрубить голову. Стоя уже на помосте, он отказался от помилования на сходных условиях лишь потому, что у женщины, которую ему предложили в жены, были ввалившиеся щеки и чересчур острый нос. Один слуга из Тулузы, обвиненный в ереси, в доказательство правильности своей веры мог сослаться только на то, что такова вера его господина, молодого студента, заключенного вместе с ним в темницу; он пошел на смерть, так и не позволив себе усомниться в правоте своего господина. Мы знаем из книг, что когда Людовик XI захватил город Аррас, среди его жителей оказалось немало таких, которые предпочли быть повешенными, лишь бы не прокричать: „Да здравствует король!"

В царстве Нарсингском[4] жены жрецов и посейчас еще погребаются заживо вместе со своими умершими мужьями. Всех прочих женщин сжигают живыми на похоронах их мужей, и они умирают не только с поразительной стойкостью, но, как говорят, даже с радостью. А когда предается сожжению тело их скончавшегося государя, все его жены, наложницы, любимцы и должностные лица всякого звания, а также слуги, образовав большую толпу, с такой охотой собираются у костра, чтобы броситься в него и сгореть вместе со своим властелином, что, надо полагать, у них почитается великою честью сопутствовать ему в смерти.

А что сказать об этих низких душонках-шутах? Среди них попадаются порой такие, которые не хотят расставаться с привычным для них балагурством даже перед лицом самой смерти. Один из них, когда палач, вешая его, уже вышиб из-под него подставку, крикнул: „Эх, где наша не пропадала!“, что было его излюбленной прибауткой. Другой, лежа на соломенном тюфяке у самого очага и находясь при последнем издыхании, ответил врачу, спросившему, где именно он чувствует боль: „между постелью и очагом“. А когда пришел священник и, желая совершить над ним обряд соборования, стал нащупывать ступни его ног, которые он от боли подобрал под себя, он сказал: „Вы найдете их на концах моих ног“. Тому, кто убеждал его вручить себя нашему господу, он задал вопрос: „А кто же меня доставит к нему?“ и, когда услышал в ответ: „Быть может, вы сами, если будет на то его божья воля“, то сказал: „Но ведь я буду у него, пожалуй, лишь завтра вечером“. „Вы только вручите себя его воле,— заметил на это его собеседник,— и вы окажетесь там очень скоро“. „В таком случае,— заявил умирающий,— уж лучше я сам себя и вручу ему“.[5]

Во время наших последних войн за Милан, когда он столько раз переходил из рук в руки, народ, истомленный столь частыми превратностями судьбы, настолько преисполнился жаждою смерти, что, по словам моего отца, он видел там список, в котором насчитывалось не менее двадцати пяти взрослых мужчин, отцов семейств, покончивших самоубийством в течение одной только недели.[6] Нечто подобное наблюдалось и при осаде Брутом города Ксанфа;[7] его

жителей — мужчин, женщин, детей — охватило столь страстное желание умереть, что люди, стремясь избавиться от грозящей им смерти не прилагают к этому столько усилий, сколько приложили они, чтобы избавиться от ненавистной им жизни; таким образом, Бруту с трудом удалось спасти лишь ничтожное их число.

Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людей отстаивать его даже ценой жизни. Первый пункт той прекрасной и возвышенной клятвы, которую принесла и сдержала Греция во время греко-персидской войны, гласил, что каждый скорее сменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские.[8] А сколь многие во время греко-турецких войн предпочитали умереть мучительной смертью, лишь бы не осквернить обрезания и не подвергнуться обряду крещения! И нет религии, которая не могла бы побудить к чему-либо подобному.

После того как кастильские короли изгнали из своего государства евреев, король португальский Иоанн[9] предоставил им в своих владениях убежище, взыскав по восемь экю с души и поставив условием, чтобы к определенному сроку они оставили пределы его королевства; он обещал для этой цели снарядить корабли, которые должны будут перевезти их в Африку. В назначенный день, по истечению коего все неподчинившиеся указу, согласно сделанному им предупреждению, обращались в рабов, им были предоставлены весьма скудно снаряженные корабли. Те, кто взошел на них, подверглись жестокому и грубому обращению со стороны судовых команд, которые, не говоря уже о других издевательствах, возили их по морю взад и вперед, пока изгнанники не съели всех взятых с собой припасов и не оказались вынуждены покупать их у моряков по таким баснословным ценам, что к тому времени, когда, наконец, их высадили на берег, они лишились всего, оставшись в одной рубашке.

Когда известие об этом бесчеловечном обращении распространилось среди оставшихся в Португалии, большинство предпочло стать рабами, а некоторые притворно выразили готовность переменить веру. Король Эмануил, наследовавший Иоанну, сначала возвратил им свободу, но затем, изменив свое решение, установил

новый срок, по истечению коего им надлежало покинуть страну, для чего были выделены три гавани, где им предстояло погрузиться на суда. Он рассчитывал, как говорит лучший латинский историк нашего времени епископ Озорио,[10] что, если блага свободы, которую он им даровал, не могли склонить их к христианству, то к этому их принудит страх подвергнуться, подобно ранее уехавшим соплеменникам, грабежу со стороны моряков, а также нежелание покинуть страну, где они привыкли располагать большими богатствами, и отправиться в чужие, неведомые края. Но убедившись, что надежды его были напрасны и что евреи, несмотря ни на что, решили уехать, он отказался предоставить им две гавани из числа первоначально назначенных трех, рассчитывая, что продолжительность и трудности переезда отпугнут некоторых из них, или имея в виду собрать их всех в одно место, дабы с бо́льшим удобством исполнить задуманное. А задумал он вот что: он повелел вырвать из рук матерей и отцов всех детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, чтобы отправить их в такое место, где бы они не могли ни видеться, ни общаться с родителями, и там воспитать их в нашей религии. Говорят, что это приказание явилось причиной ужасного зрелища. Естественная любовь родителей к детям и этих последних к родителям, равно как и рвение к древней вере не могли примириться с этим жестоким приказом. Здесь можно было увидеть, как родители кончали с собой; можно было увидеть и еще более ужасные сцены, когда они, движимые любовью и состраданием к своим маленьким детям, бросали их в колодцы, чтобы хоть этим путем избежать исполнения над ними закона. Пропустив назначенный для них срок из-за недостатка перевозочных средств, они снова были обращены в рабство. Некоторые из них стали христианами, однако и теперь, по прошествии целых ста лет, мало кто в Португалии верит в искренность их обращения или приверженность христианскому исповеданию их потомства, хотя привычка и время действуют гораздо сильнее, чем принуждение.[11] Quoties non modo ductores nostri, — говорит Цицерон,— sed universi etiam exercitus ad non dubiam mortem concurrerunt.[12]

Мне привелось наблюдать одного из моих ближайших друзей, который всей душой стремился к смерти; это была настоящая страсть, укоренившаяся в нем с помощью рассуждений и доводов всякого рода, страсть, от которой я не в силах был его отвратить; и при первой же возможности покончить с собой при почетных для него обстоятельствах он, без всяких видимых оснований, устремился навстречу смерти, влекомый мучительной и жгучей жаждой ее.

Мы располагаем примерами подобного рода и для нашего времени, вплоть до детей, которые из боязни какой-нибудь ничтожной неприятности накладывали на себя руки. „Чего только мы не страшимся,— говорит по этому поводу один древний писатель,[13]— если страшимся даже того, что трусость избрала своим прибежищем?". Если бы я стал перечислять всех лиц мужского и женского пола, принадлежащих к различным сословиям, исповедующих самую различную веру, которые даже в былые, более счастливые времена с душевной твердостью ждали наступления смерти, больше того, сами искали ее, одни — чтобы избавиться от невзгод земного существования, другие — просто от пресыщения жизнью, третьи — в чаянии лучшего существования в ином мире,— я никогда бы не кончил. Число их столь велико, что поистине мне легче было бы перечесть тех, кто страшился смерти.

Только вот еще что. Философ Пиррон[14] однажды во время сильной бури, желая ободрить некоторых из своих спутников, которые, как он видел, боялись больше других, указал им на находившегося вместе с ними на корабле борова, не обращавшего ни малейшего внимания на непогоду. Так что же, решимся ли мы утверждать, что преимущества, доставляемые нашим разумом, которым мы так гордимся и благодаря которому являемся господами и повелителями прочих тварей земных, даны нам на наше мучение? К чему нам познание вещей, если из-за него мы теряем спокойствие и безмятежность, которыми в противном случае обладали бы, и оказываемся в худшем положении, чем боров Пиррона? Не употребим ли мы во вред себе способность разумения, дарованную нам ради нашего вящего блага, если будем применять ее наперекор целям

природы и общему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы и возможности на пользу себе".

Мне скажут пожалуй: „Ваши соображения справедливы, пока речь идет о смерти. Но что скажете вы о нищете? Что скажете вы о страдании, на которое Аристипп, Иероним и большинство мудрецов смотрели как на самое ужасное из несчастий? И разве отвергавшие его на словах, не признавали его на деле?". Помпей, придя навестить Посидония[15] и застав его терзаемым тяжкой и мучительной болезнью, принес свои извинения в том, что выбрал столь неподходящее время, чтобы послушать его философские рассуждения. „Да не допустят боги,— ответил ему Посидоний,— чтобы боль возымела надо мной столько власти и могла воспрепятствовать мне рассуждать и говорить об этом предмете". И он сразу же пустился в рассуждения о презрении к боли. Между тем эта последняя делала свое дело и ни на мгновение не оставляла его, так что он, наконец, воскликнул: „Сколько бы ты, боль, ни старалась, твои усилия тщетны; я все равно не назову тебя злом". Этот рассказ, которому придают столько значения, свидетельствует ли он в действительности о презрении к боли? Здесь идет речь лишь о борьбе со словами. Ведь если бы страдания не беспокоили Посидония, почему бы он прервал свои рассуждения? И почему придавал он такую важность тому, что отказывал боли в наименовании ее злом?

Здесь не все зависит от воображения. Если в иных случаях мы и следуем произволу наших суждений, то тут есть некая достоверность, которая сама за себя говорит. Судьями в этом являются наши чувства;

Qui nisi sunt veri, ratio quoque falsa sit omnis.[16]

Можем ли мы заставить нашу кожу поверить, что удары бича лишь щекочут ее? Или убедить наши органы вкуса, что настойка алоэ — это белое вино? Боров Пиррона — еще одно доказательство в нашу пользу. Он не знает страха перед смертью, но, если его начнут колотить, он станет визжать и почувствует боль. Можем ли мы побороть общий закон природы, согласно которому все живу-

щее на земле боится боли? Деревья — и те как будто издают стоны, когда им наносят увечья. Что касается смерти, то ощущать ее мы не можем; мы постигаем ее только рассудком, ибо от жизни она отделена не более, чем мгновением:

Aut fuit, aut veniet, nihil est praesentis in illa,
Morsque minus poenae quam mora mortis habet.[17]

Тысячи животных, тысячи людей умирают прежде, чем успевают почувствовать приближение смерти. И действительно, когда мы говорим, что страшимся смерти, то думаем прежде всего о боли, ее обычной предшественнице.

Правда, если верить одному из отцов церкви, malam mortem non facit, nisi quod sequitur mortem.[18] Но, мне кажется, правильнее было бы сказать, что ни то, что предшествует смерти, ни то, что за ней следует, не является ее принадлежностью. Мы извиняем себя без достаточных оснований. И, как говорит опыт, дело тут скорее в невыносимости для нас мысли о смерти, которая делает невыносимой также и боль, мучительность которой мы ощущаем вдвойне, поскольку она предвещает нам смерть. Но так как разум бросает нам упрек в малодушии за то, что мы боимся столь внезапной, столь неизбежной и столь неощутимой вещи, мы прибегаем к этому, наиболее удобному оправданию своего страха.

Любую болезнь, если она не таит в себе никакой другой опасности, кроме причиняемых ею страданий, мы зовем неопасною. Кто же станет считать зубную боль или, скажем, подагру, как бы мучительны они ни были, настоящей болезнью, раз они не смертельны? Но допустим, что в смерти нас больше всего пугает страдание, — совершено так же, как и в нищете нет ничего страшного, кроме того, что, заставляя нас терпеть голод и жажду, зной и холод, бессонные ночи и прочие невзгоды, она делает нас добычей страдания.

Так вот, будем вести речь только о физической боли. Я отдаю ей должное: она — наихудший из спутников нашего существования, и я признаю это с полной готовностью. Я принадлежу к числу тех, кто ненавидит ее всей душой, кто избегает ее, как только может, и, благодарение господу, до этого времени мне не при-

шлось еще по-настоящему познакомиться с нею. Но ведь в нашей власти, если не устранить ее полностью, то, во всяком случае, до некоторой степени умерить терпением и, как бы ни страдало наше тело, сохранять свой разум и свою душу неколебимыми.

Если бы это было не так, кто среди нас стал бы ценить добродетель, доблесть, силу, величие духа, решительность? В чем бы они проявляли себя, если бы не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу? Avida est periculi virtus.[19] Если бы не приходилось спать на голой земле, выносить в полном вооружении полуденный зной, питаться кониной или ослятиной, подвергаться опасности быть изрубленным на куски, терпеть, когда у вас извлекают засевшую в костях пулю, зашивают рану, промывают, зондируют, прижигают ее каленым железом,— в чем могли бы мы выказать то превосходство, которым желаем отличаться от низменных натур? И когда мудрецы говорят, что из двух одинаково славных деяний более заманчивым нам кажется то, выполнить которое составляет больше труда, то это отнюдь не похоже на совет избегать страданий и боли. Non enim hilaritate, nec lascivia, nec risu, aut ioco comite levitatis, sed saepe etiam tristes firmitate et constantia sunt beati.[20] Вот почему никак нельзя было разубедить наших предков в том, что победы, одержанные в открытом бою, среди превратностей, которыми чревата война, более почетны, чем достигнутые без всякой опасности, путем одной лишь ловкости и изворотливости:

Laetius est, quoties magno sibi constat honestum.[21]

Кроме того, мы должны находить для себя утешение также и в том, что обычно, если боль весьма мучительна, она не бывает очень продолжительной, если же она продолжительна, то не бывает особенно мучительной: si gravis brevis, si longus levis.[22] Ты не будешь испытывать ее слишком долго, если чувствуешь ее слишком сильно; она положит конец либо себе, либо тебе. И то и другое ведет, в конце концов, к одному и тому же. Если ты не в силах перенести ее, она сама унесет тебя. Memineris maximos morte finiri: parvos multa habere intervalla requietis; medio-

crium nos esse dominos: ut si tolerabiles sint feramus, sin minus, e vita, quum ea non placeat, tanquam e theatro exeamus.[23]

Невыносимо мучительной делается для нас боль от того, что мы не привыкли искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она — единственная и полновластная госпожа и нашего состояния и нашего поведения. Нашему телу свойственно более или менее одинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этом способностью приспосабливать к себе и к своему состоянию,— каким бы это состояние ни было, — ощущения нашего тела и все прочие его проявления. Вот почему ее должно изучать и исследовать, вот почему надо приводить в движение сокрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов, нет такой силы, которая могла бы противостоять ее склонностям и ее выбору. Перед нею — тысяча самых разнообразных возможностей; так предоставим же ей ту из них, которая может обеспечить нашу сохранность и наш покой, и тогда мы не только укроемся от ударов судьбы, но, даже испытывая страдания и обиды, будем считать себя, если она того пожелает, облагодетельствованными и польщенными ими.

Она извлекает для себя пользу решительно из всего. Даже заблуждения, даже сны — и они служат ее целям: у нее все пойдет в дело, лишь бы оградить нас от опасности и тревоги.

Легко видеть, что́ именно обостряет наши страдания и наслаждения: это — сила действия нашего ума. Животные, ум которых таится под спудом, предоставляют своему телу свободно и непосредственно, а следовательно и почти тождественно для каждого вида, выражать одолевающие их чувства; в этом легко убедиться, глядя на их движения, которые при сходных обстоятельствах всегда одинаковы. Если бы мы не стесняли в этом законных прав частей нашего тела, то надо думать, нам стало бы от этого много лучше, ибо природа наделила их в должной мере естественным влечением к наслаждению и естественной способностью переносить страдание. Да они и не могли бы быть неестественными,

так как они свойственны всем и одинаковы для всех. Но поскольку мы отчасти освободились от предписаний природы, чтобы предаться необузданной свободе нашего воображения, постараемся, по крайней мере, помочь себе, направив его в наиболее приятную сторону.

Платон опасается нашей склонности предаваться всем своим существом страданию и наслаждению, потому что она слишком подчиняет душу нашему телу и привязывает ее к нему.[24] Что до меня, то я опасаюсь скорее обратного, а именно, что она отрывает и отдаляет их друг от друга.

Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится еще безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаемся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем ее. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.

Обратимся, однако, к примерам — этому подспорью людей слабосильных, вроде меня, — и тут мы сразу убедимся, что со страданием дело обстоит не иначе, чем с драгоценными камнями, которые светятся ярче или более тускло, в зависимости от того, в какую оправу мы их заключаем; подобно этому и страдание занимает в нас не больше места, чем сколько мы предоставляем ему. Tantum doluerunt, говорит св. Августин, quantum doloribus se inserverunt.[25] Мы ощущаем гораздо сильнее надрез, сделанный бритвой хирурга, чем десяток ранений шпагою, полученных нами в пылу сражения. Боли при родовых схватках и врачами и самим богом считаются необыкновенно мучительными, и мы обставляем это событие всевозможными церемониями, а между тем, существуют народы, которые не ставят их ни во что. Я уже не говорю о спартанских женщинах; напомню лишь о швейцарках, женах наших наемников-пехотинцев. Чем отличается их образ жизни после родов? Разве только тем, что, шагая вслед за мужьями, сегодня иная из них несет ребенка у себя на шее, тогда как вчера еще носила его

в своем чреве. А что сказать об этих страшных цыганках, которые снуют между нами? Они отправляются к ближайшей воде, чтобы обмыть новорожденного и искупаться самим. Оставим в стороне также веселых девиц, скрывающих, как правило, и свою беременность и появление на свет божий младенца. Вспомним лишь о почтенной супруге Сабина, римской матроне, которая, не желая беспокоить других, вынесла муки рождения двух близнецов совсем одна, без чьей-либо помощи и без единого крика и стона. Простой мальчишка-спартанец, украв лисицу и спрятав ее у себя под плащом, допустил, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не выдать себя (ведь они, как известно, гораздо больше боялись проявить неловкость при краже, чем мы — наказания за нее). Другой, кадя благовониями во время заклания жертвы и выронив из кадильницы уголек, упавший ему за рукав, допустил, чтобы он прожег ему тело до самой кости, опасаясь нарушить происходившее таинство. В той же Спарте можно было увидеть множество мальчиков семилетнего возраста, которые, подвергаясь, согласно принятому в этой стране обычаю, испытанию доблести не менялись даже в лице, когда их засекали до смерти. Цицерон видел разделившихся на группы детей, которые дрались, пуская в ход кулаки, ноги и даже зубы, пока не падали без сознания, так, и не признав себя побежденными. Nunquam naturam mos vinceret: est enim ea semper invicta; sed nos umbris, deliciis, otio, languore, desidia animum infecimus; opinionibus maloque more delinitum mollivimus.[26] Кому не известна история Муция Сцеволы, который, пробравшись в неприятельский лагерь, чтобы убить вражеского военачальника, и потерпев неудачу, решил все же добиться своего и освободить родину, прибегнув к весьма необыкновенному средству? С этой целью он не только признался Порсенне — тому царю, которого собирался убить — в своем первоначальном намерении, но еще добавил, что в римском лагере есть немало его единомышленников, людей такой же закалки, как он, поклявшихся совершить то же самое. И, чтобы показать, какова же эта закалка, он, попросив принести жаровню, положил на нее свою руку и смотрел спокойно, как она пеклась и поджаривалась,

до тех пор, пока царь, придя в ужас, не повелел сам унести жаровню. Ну а тот, который не пожелал прервать чтение книги, пока его резали?[27] А тот, который не переставал шутить и смеяться над пытками, которым его подвергали, вследствие чего распалившаяся жестокость его палачей и все изощренные муки, какие только они в состоянии были для него придумать, лишь служили к его торжеству.[28] Это был, правда, философ. Ну так что ж? В таком случае, вот вам гладиатор Цезаря, который лишь смеялся, когда бередили или растравляли его раны. Quis mediocris gladiator ingemuit? Quis vultum mutavit unquam? Quis non modo stetit verum etiam decubuit turpiter? Quis cum decubuisset, ferrum recipere iussus, collum contraxit?[29]

Добавим сюда женщин. Кто не слышал в Париже об одной особе, которая велела содрать со своего лица кожу единственно лишь для того, чтобы, когда на ее месте вырастет новая, цвет ее был более свежим? Встречаются и такие, которые вырывают себе вполне здоровые и крепкие зубы, чтобы их голос стал нежнее и мягче или чтобы остальные зубы росли более правильно и красиво. Сколько могли бы мы привести еще других примеров презрения к боли! На что только не решаются женщины? Существует ли что-нибудь, чего бы они побоялись, если есть хоть крошечная надежда, что это пойдет на пользу их красоте?

Vellere queis cura est albos a stirpe capillos,
Et faciem dempta pelle referre novam.[30]

Я видел таких, что едят песок или золу, всячески стараясь испортить себе желудок, чтобы лицо у них сделалось бледным А каких только мук не выносят они, чтобы добиться стройного стана, затягиваясь и шнуруясь, терзая себе бока жесткими, въедающимися в тело лубками, от чего иной раз они даже умирают!

У многих народов и в наше время существует обычай умышленно наносить себе раны, чтобы внушить больше доверия к тому, что они о себе рассказывают, и наш король[31] приводил немало замечательных случаев подобного рода, которые ему довелось наблюдать в Польше среди окружавших его людей. Не говоря

уже о том, что иные и у нас во Франции, как я знаю из подражания, проделывают над собой то же самое, я видел одну девицу, которая, стремясь подтвердить пламенность своих обещаний, а заодно и свое постоянство, нанесла себе вынутой из прически шпилькою четыре или пять сильных уколов в руку, прорвавших у нее кожу и вызвавших сильное кровотечение. Турки в честь своих дам делают у себя большие надрезы на коже и, чтобы они оставили след, прижигают рану огнем, причем держат его на ней непостижимо долгое время, останавливая таким способом кровь и, вместе с тем, образуя себе рубцы. Люди, которым довелось это видеть своими глазами, писали мне об этом, клянясь, что это сущая правда. Впрочем, можно всегда найти среди них такого, который за десять асперов[32] сам себе нанесет глубокую рану на руке или ляжке.[33]

Мне чрезвычайно приятно, что там, где нам особенно необходимы свидетели, они тут как тут, ибо христианский мир поставляет их в достаточном изобилии. После примера, явленного нам нашим всеблагим пастырем, нашлось великое множество людей, которые из благочестия приняли на себя крест. Мы узнаем от заслуживающего доверия свидетеля,[34] что король Людовик Святой носил власяницу до тех пор, пока его не освободил от нее, уже в старости, его духовник, а также, что всякую пятницу он побуждал его бить себя по плечам, употребляя для этого пять железных цепочек, которые постоянно возил с собою в особом ларце. Вильгельм, наш последний герцог Гиеньский,[35] отец той самой Алиеноры, от которой это герцогство перешло к французскому, а затем к английскому королевским домам, последние десять или двенадцать лет своей жизни постоянно носил под монашеской одеждой, покаяния ради, панцырь; Фульк,[36] граф Анжуйский, отправился даже в Иерусалим для того, чтобы там, по его приказанию, двое слуг бичевали его, с веревкой на шее, перед гробом господним. А разве не видим мы каждый год, как толпы мужчин и женщин бичуют себя в страстную пятницу до того, что разрывают себе тело до самых костей? Я смотрел на это не раз и, признаюсь, без особого удовольствия. Говорят, среди

них (они надевают в этих случаях маски) бывают такие, которые берутся за деньги укреплять таким способом набожность в других, вызывая в них величайшее презрение к боли, ибо побуждения благочестия еще сильнее побуждений корыстолюбия.

Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула, Марк Катон — своего, избранного на должность претора, а Люций Павел — двух сыновей, умерших один за другим, — и все они внешне сохраняли спокойствие и не выказывали никакой скорби. Как-то раз, в дни моей молодости, я сказал в виде шутки про одного человека, что он увильнул от кары небесной. Дело в том, что он в один день потерял погибших насильственной смертью троих взрослых сыновей, что легко можно было истолковать, как удар карающего бича; и что же, он был недалек от того, чтобы принять это как особую милость! Я сам потерял двоих или троих детей, правда в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, то, во всяком случае, без ропота. А между тем, нет ничего, что могло бы больше потрясти человека, чем это несчастье. Мне известны и другие невзгоды, которые обычно считаются людьми достаточным поводом к огорчению, но они едва ли могли бы задеть меня за живое, если бы мне пришлось столкнуться с ними; и действительно, когда они все же постигли меня, я отнесся к ним с полным пренебрежением, хотя тут были вещи, относимые всеми к самым ужасным, так что я не посмел бы хвалиться этим перед людьми без краски стыда на лице. Ex quo intelligitur non in natura, sed in opinione esse aegritudinem.[37]

Наше представление о вещах — дерзновенная и безмерная сила. Кто стремился с такою жадностью к безопасности и покою, как Александр Великий и Цезарь к опасностям и лишениям? Терес, отец Ситалка, имел обыкновение говорить, что, когда он не на войне, он не видит между собой и своим конюхом никакого различия.[38]

Когда Катон в бытность свою консулом, желая обеспечить себе безопасность в нескольких городах Испании, запретил их обитателям иметь при себе оружие, многие из этих последних убили

себя: Ferox gens nullam vitam rati sine armis esse.[39] А сколько мы знаем таких, кто бежал от утех спокойного существования у себя дома, в кругу родных и друзей, навстречу ужасам необитаемых пустынь, кто сам себя обрек нищете, жалкому прозябанию и презрению света и настолько был удовлетворен этим образом жизни, что полюбил его всей душой! Кардинал Борромео,[40] скончавшийся недавно в Милане, в этом средоточии роскоши и наслаждений, к которым его могли бы увлечь и знатность происхождения, и богатство, и самый воздух Италии, и, наконец, молодость, жил в такой строгости, что одна и та же одежда служила ему и зимою и летом, и ему было незнакомо другое ложе, кроме охапки соломы; и если у него оставались свободные от его обязанностей часы, он их проводил в непрерывных занятиях, стоя на коленях и имея возле своей книги немного воды и хлеба, составлявших всю его пищу, которую он и съедал, не отрываясь от чтения. Я знаю рогоносцев, извлекавших выгоду из своей беды и добивавшихся благодаря ей продвижения, а между тем одно это слово приводит большинство людей в содрогание. Если зрение и не самое необходимое из наших чувств, оно все же среди них то, которое доставляет нам наибольшее наслаждение; а из органов нашего тела, одновременно доставляющих наибольшее наслаждение и наиболее полезных для человеческого рода, являются, думается мне, те, которые служат деторождению. А между тем, сколько людей возненавидели их лютой ненавистью только из-за того, что они дарят нам наслаждение, и отвергли именно потому, что они особенно важны и ценны. Так же рассуждал и тот, который сам лишил себя зрения.[41]

Большинство людей, и притом самые здоровые среди них, считают, что иметь много детей — великое счастье; что до меня и еще некоторых, мы считаем столь же великим счастьем не иметь их совсем. Когда спросили Фалеса,[42] почему он не женится, он ответил, что не имеет охоты плодить потомство.

Что ценность вещей зависит от мнения, которое мы имеем о них, видно хотя бы уже из того, что между ними существует много таких, которые мы рассматриваем не только затем, чтобы

оценивать их, но и с тем, чтобы оценить их для себя. Мы не принимаем в расчет ни их качества, ни степени их полезности; для нас важно лишь то, чего нам стоило добыть их, словно это есть самое основное в их сущности; и ценностью их мы называем не то, что они в состоянии нам доставить, но то, какой ценой мы себе их достали. Из этого я делаю заключение, что мы расчетливые хозяева и не позволяем себе лишних издержек. Если вещь добыта нами с трудом, она стоит в наших глазах столько, сколько стоит затраченный нами труд. Мнение, составленное нами о вещи, никогда не допустит, чтобы она имела несоразмерную цену. Алмазу придает достоинство спрос, добродетели — трудность блюсти ее, благочестию — претерпеваемые лишения, лекарству — горечь.

Некто, желая сделаться бедняком, выбросил все свои деньги в то самое море, в котором везде и всюду копошится столько других людей, чтобы уловить в свои сети богатство.[43] Эпикур[44] говорит, что богатство не облегчает наших забот, но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность. Я хочу поделиться на этот счет своим опытом.

С тех пор, как я вышел из детского возраста, я испытал три рода условий существования. Первое время, лет до двадцати, я прожил, не имея никаких иных средств, кроме случайных, без определенного положения и дохода, завися от чужой воли и помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более, что количество их определяла прихоть судьбы. И все же никогда я не чувствовал себя лучше. Ни разу не случалось, чтобы кошельки друзей моих оказались для меня туго завязанными. Главнейшей моей заботой я считал в те времена заботу о том, чтобы не пропустить срока, который я сам назначил, чтобы расплатиться. Этот срок, впрочем, они продлевали, может быть, тысячу раз, видя усилия, которые я прилагал, чтобы во время рассчитаться с ними; выходит, что я платил им с щепетильною и, вместе с тем, несколько плутоватою честностью. Погашая какой-нибудь долг, я испытываю всякий раз настоящее наслаждение: с моих плеч сваливается тяжелый груз, и я избавляюсь от сознания своей зависимости. К тому же, мне

доставляет некоторое удовольствие мысль, что я делаю нечто справедливое и удовлетворяю другого. Сюда, конечно, не относятся платежи, сопряженные с расчетами и необходимостью торговаться, так как если нет никого, на кого можно было бы свалить эту обузу, я, к стыду своему, не вполне добросовестным образом оттягиваю их елико возможно; я смертельно боюсь всяких препирательств, к которым ни склад моего характера, ни мой язык никоим образом не приспособлены. Для меня нет ничего более ненавистного, чем торговаться: это сплошное надувательство и бесстыдство; после целого часа споров и жульничества обе стороны нарушают раньше данное ими слово ради каких-нибудь пяти су. Вот почему условия, на которых я занимал, бывали обычно невыгодными; не решаясь попросить денег при личном свидании, я обычно прибегал в таких случаях к письменным сношениям, а бумага — не очень хороший ходатай и часто соблазняет руку на отказ. Я гораздо охотнее и с более легким сердцем доверял в ту пору ведение моих дел счастливой звезде, чем доверяю их теперь своей предусмотрительности и здравому смыслу.

Большинство хороших хозяев считает чем-то ужасным жить в такой неопределенности; но, во-первых, они упускают из виду, что большинство людей живет именно таким образом. Сколько весьма почтенных людей жертвовало своей уверенностью в завтрашнем дне и продолжает каждодневно делать то же самое в надежде на королевское благоволение и на милости фортуны. Цезарь, чтобы сделаться Цезарем, издержал помимо своего имущества, еще миллион золотом, взятый им в долг. А сколько купцов начинают свои торговые операции с продажи какой-нибудь фермы, которую они посылают, так сказать, в Индию

Tot per impotentia freta.[45]

Мы видим, что, несмотря на оскудение благочестия, многие тысячи монастырей не знают нужды, хотя дневное пропитание живущих в них монахов зависит исключительно от милостей неба. Во-вторых, эти хорошие хозяева забывают также о том, что обеспеченность, на которую они хотят опереться, столь же неустой-

чива и столь же подвержена разного рода случайностям, как и сам случай. Имея две тысячи экю годового дохода, я вижу себя столь близким к нищете, как если бы она уже стучалась ко мне в дверь. Ибо судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь нищете, и нередко случается, что она не допускает ничего среднего между величайшим благоденствием и полным крушением:

Fortuna vitrea est; tunc cum splendet frangitur.[46]

И поскольку она сметает все наши шанцы и бастионы, я считаю, что нужда столь же часто по разным причинам бывает гостьей как тех, кто обладает значительным состоянием, так и тех, кто не имеет его; и подчас она менее тягостна, когда встречается сама по себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богатством. Последнее создается не столько большими доходами, сколько правильным ведением дел: faber est suae quisque fortunae.[47] Озабоченный, вечно нуждающийся и занятый по горло делами богач кажется мне еще более жалким, чем тот, кто попросту беден: in divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est.[48]

Нужда и отсутствие денежных средств побуждали самых могущественных и богатых властителей к крайностям всякого рода. Ибо что может быть большею крайностью, чем превращаться в тиранов и бесчестных насильников, присваивающих достояние своих подданных?

Второй период моей жизни — это то время, когда у меня завелись свои деньги. Получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, я в короткий срок отложил довольно значительные, сравнительно с моим состоянием, сбережения, считая, что по-настоящему мы имеем лишь то, чем располагаем сверх наших обычных издержек и что нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам не казались. „А вдруг,— говорил я себе,— меня постигнет та или другая случайность?“. Находясь во власти этих пустых и нелепых мыслей, я думал, что поступаю благоразумно, откладывая излишки, которые должны были выручить меня в слу-

чае затруднений. И тому, кто указывал мне на то, что таким затруднениям нет числа, я отвечал, не задумываясь, что если это и не избавит меня от всех трудностей, то предохранит, по крайней мере, от некоторых, и притом весьма многих. Дело не обходилось без мучительных треволнений. Я из всего делал тайну. Я, который позволяю себе рассказывать так откровенно о себе самом, говорил о своих средствах, многое утаивая, неискренно, следуя примеру тех, кто, обладая богатством, прибедняется, а будучи бедным, изображает себя богачом, но никогда не признается по совести, чем он располагает в действительности. Смешная и постыдная осторожность! Отправлялся ли я в путешествие, мне постоянно казалось, что у меня недостаточно при себе денег. Но чем больше денег я брал с собой, тем больше возрастали мои опасения: то я сомневался, насколько безопасны дороги, то — можно ли доверять честности тех, кому я поручал мои вещи, за которые, подобно многим другим, я никогда не бывал спокоен, если только они не были у меня перед глазами. Если же шкатулку с деньгами я держал при себе,— сколько подозрений, сколько тревожных мыслей и, что самое худшее, таких, которыми ни с кем не поделишься! Я был всегда настороже. В общем, уберечь свои деньги стоит бóльших трудов, чем добыть их. Если, бывало, я и не испытывал всего того, о чем здесь рассказываю, то каких трудов мне стоило удержаться от этого! О своем удобстве я заботился мало или совсем не заботился. От того, что я получил возможность тратить деньги свободнее, я не стал расставаться с ними с более легкой душой. Ибо, как говорил Бион,[49] волосатый злится не меньше плешивого, когда его дерут за волосы. Как только вы приучили себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, и твердо это запомнили,— вы уже больше не властны над ней, и вам страшно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться, что перед вами строение, которое разрушится до основания, стоит вам лишь прикоснуться к нему. Вы решитесь начать расходовать эти деньги только в том случае, если вас схватит за горло нужда. И в былое время я с большею легкостью закладывал свои пожитки или продавал верховую лошадь, чем

теперь позволял себе прикоснуться к заветному кошельку, который я хранил в потайном месте. И хуже всего то, что нелегко положить себе в этом предел (ведь всегда бывает трудно установить границу того, что считаешь благом) и остановиться на должной черте в своем скопидомстве. Накопленное богатство невольно стараешься все время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо, а прибавляя, вплоть до того, что позорно отказываешься от пользования в свое удовольствие своим же добром, которое хранишь под замком, без всякого употребления.

Если так распоряжаться своим богатством, то самыми богатыми людьми придется назвать тех, кому поручено охранять ворота и стены какого-нибудь богатого города. Всякий денежный человек, на мой взгляд, — скопидом.

Платон в следующем порядке перечисляет физические и житейские блага человека: здоровье, красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, вовсе не слепо; напротив, оно весьма прозорливо, когда его освещает благоразумие.[50]

Здесь уместно вспомнить о Дионисии Младшем, который весьма остроумно подшутил над одним скрягою. Ему сообщили, что один из его сиракузцев закопал в землю сокровища. Дионисий велел доставить их к нему во дворец, что тот и сделал, утаив, однако, некоторую их часть; а затем, забрав с собой припрятанную им долю, этот человек переселился в другое место, где, потеряв вкус к накоплению денег, начал жить на более широкую ногу. Услышав об этом, Дионисий приказал возвратить ему захваченную часть сокровищ, сказав, что, поскольку человек этот научился, наконец, пользоваться ими как подобает, он охотно возвращает ему отобранное.[51]

И я в течение нескольких лет был таким же. Не знаю, какой добрый гений вышиб, на мое счастье, весь этот вздор из моей головы, подобно тому как это случилось и с сиракузцем. Забыть начисто о скопидомстве помогло мне удовольствие, испытанное во время одного путешествия, сопряженного с большими издержками. С той поры я перешел уже к третьему по счету образу жизни — так, по крайней мере, мне представляется,— несомненно более приятному и упорядоченному. Мои расходы я соразмеряю

с доходами; если порою первые превышают вторые, а порою бывает наоборот, то все же большого расхождения между ними я не допускаю. Я живу себе потихоньку и доволен тем, что моего дохода вполне хватает на мои повседневные нужды; что же до нужд непредвиденных, то тут человеку не хватит и богатств всего мира. Глупостью было бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от ее посягательств. Бороться с нею мы должны своим собственным оружием. Случайное оружие всегда может изменить в решительную минуту. Если я иной раз и откладываю деньги, то лишь в предвидении какого-нибудь крупного расхода в ближайшем времени, не для того, чтобы купить себе землю (с которою мне нечего делать), а чтобы купить удовольствие. Non esse cupidum pecunia est, non esse emacem vectigal est.[52]

Я не испытываю ни опасений, что мне не хватит моего состояния, ни желания, чтобы оно у меня увеличилось: Divitiarum fructus est in copia, copiam declarat satietas.[53] Я считаю великим для себя счастьем, что эта перемена случилась со мною в наиболее склонном к скупости возрасте и что я избавился от недуга, столь обычного у стариков и притом самого смешного из всех человеческих сумасбродств.

Фераулес, унаследовав два состояния и обнаружив, что с возрастанием богатства желание есть, пить, спать или любить жену не возрастает, но остается таким же, как прежде, и чувствуя, с другой стороны, какое невыносимое бремя возлагает на него стремление соблюдать бережливость,— совсем как это было со мной,— решил облагодетельствовать одного юношу, своего верного друга, который жаждал разбогатеть, и с этою целью подарил ему не только все то, что уже имел,— а состояние его было огромным,— но и то, что продолжал получать от щедрот своего повелителя Кира, равно как и свою долю военной добычи, при условии, что этот молодой человек возьмет на себя обязательство достойным образом содержать и кормить его, как гостя и друга. Так они и жили с этой поры в полном согласии, причем оба были в равной мере довольны переменой в своих обстоятельствах. Вот пример, которому я последовал бы с величайшей охотою.

Я весьма одобряю также поведение одного пожилого прелата, который полностью освободил себя от забот о своем кошельке, о своих доходах и тратах, поручая их то одному из своих доверенных слуг, то другому, и провел долгие годы в таком неведении относительно состояния своих дел, словно он был во всем этом лицом посторонним. Доверие к добропорядочности другого является достаточно веским свидетельством собственной, и ему обычно покровительствует бог. Что касается упомянутого мною прелата, то нигде я не видел такого порядка, как у него в доме, как нигде больше не видел, чтобы хозяйство поддерживалось с таким достоинством и такой твердой рукой. Счастлив тот, кто сумел с такою точностью регулировать свои нужды, что его средства оказываются достаточными для удовлетворения их, без каких-либо хлопот и стараний с его стороны. Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.

Итак, и довольство и бедность зависят от представления, которое мы имеем о них; сходным образом и богатство, равно как и слава или здоровье прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот, кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека.

Судьба не приносит нам ни зла ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Наша душа, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует и применяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния.

Внешние обстоятельства принимают ту или иную окраску в зависимости от наших внутренних свойств, подобно тому, как наша одежда согревает нас не своей теплотою, но нашей собственной, кото-

рую, благодаря своим свойствам, она может задерживать и накапливать. Тот, кто укутал бы одеждою какой-нибудь холодный предмет, точно таким же образом поддержал бы в нем холод: так именно и поступают со снегом и льдом, чтобы предохранить их от таяния.

Как учение — мука для лентяя, а воздержание от вина — пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения — тяготою для человека изнеженного и праздного, и тому подобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наше малодушие или слабость делают их такими. Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны. Весло, погруженное в воду, кажется нам надломленным. Таким образом, важно не только то, что́ мы видим, но и ка́к мы его видим.

А раз так, то почему среди стольких рассуждений, которые столь различными способами убеждают людей относиться с презрением к смерти и терпеливо переносить боль, нам не найти какого-нибудь годного также для нас? И почему из такого множества доводов, убедивших в этом других, каждому из нас не избрать для себя такого, который был бы ему больше по нраву? И если ему не по силам лекарство, действующее быстро и бурно и исторгающее болезнь с корнем, то пусть он примет хотя бы мягчительного, которое принесло бы ему облегчение. Opinio est quaedam effeminata ac levis, nec in dolore magis, quam eadem in voluptate: qua, cum liquescimus fluimusque mollitia, apis aculeum sine clamore ferre non possumus. Totum in eo est, ut tibi imperes.[54]

Впрочем, и тот, кто станет чрезмерно подчеркивать остроту наших страданий и человеческое бессилие, не отделается от философии. В ответ ему она выдвинет следующее бесспорное положение: „Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде“.

Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам.

Кому не достает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать ни сражаться, чем поможешь такому?

Глава XV

ЗА БЕССМЫСЛЕННОЕ УПРЯМСТВО В ОТСТАИВАНИИ КРЕПОСТИ НЕСУТ НАКАЗАНИЕ

Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она может увлечь всякого недостаточно хорошо знающего ее границы — а установить их с точностью, действительно, нелегко — к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Это обстоятельство и породило обычай, применяемый нами во время войны, наказывать — иногда даже смертью — тех, кто упрямо отстаивает укрепленное место, удержать которое, по правилам военной науки, невозможно. Иначе, в надежде на безнаказанность, не было бы такого курятника, который не задерживал бы продвижение армии.

Господин коннетабль де Монморанси во время осады Павии[1] получил приказание переправиться через Тичино и захватить предместье св. Антония; задержанный предмостным укреплением, оказавшим упорное сопротивление и, в конце концов, взятым приступом, он велел повесить всех находившихся в башне. Так же поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по ту сторону гор; после того, как замок Виллано был захвачен им силой и солдаты, озверев, умертвили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта и знаменщика, он велел, по той же причине, повесить и этих последних.[2] Подобную же участь и в тех же краях испытал и капитан Бони, люди которого были полностью

перебиты при взятии укрепления; так приказал Мартин Дю Белле,[3] в ту пору губернатор Турина. Но поскольку судить о мощи или слабости укрепления можно лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих (ибо тот, кто с достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулевринам, поступил бы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против тридцати пушек), и так как здесь, кроме того, принимается обычно в расчет могущество вторгшегося государя, его репутация, уважение, которое ему должно оказывать, то существует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколько перевешивать. А это, в свою очередь, приводит к тому, что такой государь начинает столь мнить о себе и своем могуществе, что ему кажется просто нелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь, достойный сопротивляться ему, и пока ему улыбается военное счастье, он предает мечу всякого, кто борется против него, как это видно хотя бы на примере тех свирепых, надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были в обычае у восточных властителей да и ныне в ходу у их преемников.

Также и в тех областях, где португальцы впервые начали грабить Индию, они нашли государства, в которых господствовал общераспространенный и нерушимый закон, гласящий, что враг, побежденный войском, находящимся под начальством царя или его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду.

Итак, пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи, когда этот судья — победоносный и вооруженный до зубов враг.

Глава XVI

О НАКАЗАНИИ ЗА ТРУСОСТЬ

Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано им за столом, после того, как ему рассказали о суде над господином де Вервеном, приговоренным к смерти за сдачу Булони.[1]

И, в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливую границу между проступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаем против велений нашего разума, запечатленных в нас самою природою, тогда как совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменять в вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правило, согласно которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности.

Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания — это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд[2] и что до него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью; он же приказал, вместо

этого, выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere.[3] Римские законы, по крайней мере в древнейшее время, также карали бежавших с поля сражения смертною казнью. Так, Аммиан Марцеллин рассказывает, что десять солдат, повернувшиеся спиной к неприятелю во время нападения римлян на войско парфян, были лишены императором Юлианом военного звания и затем преданы смерти в соответствии, по его словам, с древним законом.[4] Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал виновных лишь тем, что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровой каре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время той же войны был с Гнеем Фульвием при его поражении, тем не менее, в этом случае дело не дошло до наказания смертью.

Есть, однако, основание опасаться, что позор не только повергает в отчаянье тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.

Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместитель главнокомандующего в войсках маршала Шатильона, назначенный маршалом де Шабанном губернатором Фуэнтарабии на место господина дю Люда и сдавший этот город испанцам, был приговорен к лишению дворянского звания, и как он сам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причислены к податному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор был исполнен над ним в Лионе. В дальнейшем такому же наказанию были подвергнуты все дворяне, которые находились в городе Гизе, когда туда вступил граф Нассауский; с той поры то же претерпели и некоторые другие.

Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые и явные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе притти к заключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли, и наказывать их как таковые.

Глава XVII

ОБ ОБРАЗЕ ДЕЙСТВИЙ НЕКОТОРЫХ ПОСЛОВ

Во время моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другими что-нибудь для меня новое (а это — одна из лучших школ, какие только можно себе представить), я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобы наводить своего собеседника на разговор о таких предметах, в которых он лучше всего осведомлен.

Basti al nocchiero ragionar de'venti,
Al bifolco dei tori, et le sue piaghe
Conti'l guerrier, conti'l pastor gli armenti.[1]

Впрочем, чаще всего наблюдается обратное, ибо всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, нежели о своем собственном, надеясь прослыть, таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области; так, например, Архидам[2] упрекал Периандра в том, что тот пренебрег славою выдающегося врача, погнавшись за славою дурного поэта.

Поглядите, сколь многословным становится Цезарь, когда он описывает нам свои изобретения, относящиеся к постройке мостов[3] или военных машин и как, напротив, он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своих обязанностях военачальника, о своей личной храбрости или поведении своих воинов.

Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийся полководец; ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходного военного инженера, а это нечто совсем уже новое.

Не так давно некий ученый юрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг, относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, не обнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. А между тем он остановился, чтобы с ученым и важным видом потолковать по поводу заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату, хотя человек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на него никакого внимания.

Дионисий Старший был отличнейшим полководцем, как это и приличествовало его положению, но он стремился достигнуть славы преимущественно в поэзии, в которой решительно ничего не смыслил.

Optat ephippia bos piger, optat arare caballus.[4]

На этом пути вы никогда не добьетесь чего-либо путного.

Итак, всякого, кем бы он ни был,— зодчий ли это, живописец, сапожник или кто-либо иной,— подобает неукоснительно возвращать к предмету его повседневных занятий. И по этому поводу замечу: читая сочинения по истории,— в каковом жанре упражнялись самые различные люди,— я усвоил обыкновение принимать в расчет, кем именно были писавшие; если это лица, не занимавшиеся ничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык; если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуре воздуха, о здоровье и складе характера государей, о ранениях и болезнях; если юристы, то в первую очередь следует направить свое внимание на их рассуждения по вопросам права, о законах, о государственных учреждениях и прочих вещах такого же рода; если теологи,— то на дела церковные, отлучения от церкви, эпитимии, разрешения на вступление в брак; если придворные,— на описание обычаев и церемоний; если военные,— на то, что относится к их ремеслу, и, главным образом, на их повествование о походах и битвах, в которых они принимали участие; если послы,— то на разные хитрости, шпионаж, подкупы и на то, как все это проделывалось.

По этой причине я выделил и отметил в „Истории“ сеньера де Ланже,[5] человека в высшей степени сведущего в этих делах, много такого, мимо чего я прошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительных предупреждениях, сделанных римской консистории в присутствии наших послов, епископа Маконского и господина дю Велли, императором Карлом V, к чему им было добавлено немало оскорбительных выражений, направленных против нас, и, среди прочего, что если бы его военачальники, солдаты и подданные были столь же преданы своему господину и столь же искусны в военном деле, как те, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею веревку и отправился бы смиренно молить о пощаде (он, повидимому, и сам в некоторой степени верил, что так оно в действительности и есть, ибо и позже, в течение своей жизни, раза два или три повторял то же самое), а также сообщив о том, что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке, в одних рубахах, на шпагах и на кинжалах, — вышеназванный сеньер де Ланже добавляет, что упомянутые послы, написав королю донесение, утаили от него бо̀льшую часть слов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Я нахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чем докладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более, если дело чревато такими последствиями, если эти слова исходят от такого лица и если они были произнесены на столь многолюдном собрании. Мне кажется, что обязанность подчиненного — точно и правдиво, со всеми подробностями, излагать события, как они были, дабы господин располагал полной свободою отдавать приказания, оценивать положение и выбирать. Ибо искажать или утаивать истину из опасения, как бы он не воспринял ее неподобающим образом и как бы это не толкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлять его неосведомленным о действительном положении дел — подобное право, как я полагаю, принадлежит тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого они предназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, кто должен почитать себя низшим, и притом

не только по своему положению, но и по опытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне, при всей ничтожности моей особы, служили вышеописанным образом.

Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения и присвоить себе право распоряжаться; всякий из нас — и это вполне естественно — домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть в подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение.

Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собой известную независимость, то это большая помеха для отдающего приказание. Публий Красс,[6] тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым, находившийся во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру-греку доставить к нему бо́льшую из двух корабельных мачт, которые он видел при посещении им Афин, дабы соорудить из нее задуманную им метательную машину; грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе нарушить приказ и привез ту из мачт, которая была меньше, но, вместе с тем, как подсказывал ему опыт, и более пригодной для указанной цели. Красс, терпеливо выслушав его доводы, велел все же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплина прежде всего, даже если это ведет к ущербу для дела.

С другой стороны, нелишне отметить, что безусловное повиновение полезно лишь при наличии точного и определенного приказания. Обязанности послов допускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим; ведь они не только исполнители воли своего государя, они подготавливают ее также и направляют своими советами. На своем веку я видел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинение букве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела.

Люди сведущие порицают еще и теперь обыкновение персидских властителей предоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько тесные полномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи испрашивать дополнительно указания. Подобное промед-

ление, принимая во внимание огромные пространства персидского царства, нередко вредило, и весьма основательно, их делам.

И если Красс в письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал на употребление, которое он намерен дать мачте, то не означало ли это, что он вступил с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнить приказание с теми или иными поправками?

Глава XVIII

О СТРАХЕ

Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit.[1]

Я отнюдь не являюсь хорошим натуралистом (как принято выражаться), и мне не известно, посредством каких пружин на нас воздействует страх; но как бы там ни было, это — страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта. И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и темных, которые видят со страху то своих вышедших из могил и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ. Но даже между солдатами, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться страху, не превращал ли он — и еще сколько раз! — стадо овец в эскадрон закованных в броню всадников, камыши и тростник — в латников и копейщиков, наших товарищей по оружию — во врагов и крест белого цвета — в красный?[2]

Случилось, что, когда принц Бурбонский брал Рим,[3] одного знаменщика, стоявшего на часах около замка св. Ангела, охватил при первом же сигнале тревоги такой ужас, что он бросился через пролом, со знаменем в руке, вон из города, прямо на неприятеля, будучи убежден, что направляется в город, к своим; и только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу, —

ибо они подумали, что это вылазка, предпринятая осажденными,— он, наконец, опомнившись, повернул вспять и возвратился в город через тот же пролом, через который вышел только затем, чтобы пройти свыше трехсот шагов в сторону неприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилось дело со знаменщиком Жюиля. Этот знаменщик, когда начался штурм Сен-Поля, взятого тогда у нас графом де Бюром и господином дю Рю, настолько потерялся от страха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем через бойницу и был изрублен шедшими на приступ неприятельскими солдатами. Во время той же осады произошел памятный для всех случай, когда сердце одного дворянина охватил, сжал и оледенил такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имея на себе даже царапины.

Подобный страх овладевает иногда большими скоплениями людей. Во время одного из походов Германика[4] против германцев два значительных отряда римлян, охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях, причем один из них устремился как раз туда, откуда уходил другой.

Страх то окрыляет нам пятки, как в двух предыдущих примерах, то, напротив, пригвождает и сковывает нам ноги, как можно прочесть об императоре Феофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами,[5] впал в такое безразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать: adeo, pavor etiam auxilia formidat.[6] Кончилось тем, что Мануил, один из главных военачальников его войска, схватив его за плечо и встряхнув, как делают, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратился к нему с такими словами: „Если ты не последуешь сейчас же за мною, я предам тебя смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем, потеряв царство, сделаться пленником“.

Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом — в этот раз командовал ими консул Семпроний — один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты,

оказавшись во власти страха и не видя, в своем малодушии, иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту же самую цену, которою мог бы купить блистательную победу. Это есть то, чего я страшусь больше самого страха.

Вообще же, он ощущается нами с большею остротой, нежели остальные напасти.

Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него. Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, все они прозябают в постоянной тревоге; они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабы зачастую столь же живут в свое удовольствие, как все прочие люди. А сколько было таких, которые из боязни перед терзаньями страха, повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим, чем сама смерть.

Греки различали особый вид страха, который ни в какой степени не зависит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порою целый народ, целые армии. Таким был и тот приступ страха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всем городе слышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Всюду можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов, словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это были враги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Все смешалось, все было во власти смятения, и так продолжалось до тех пор, пока молитвами и жертвоприношениями они не смирили гнева богов.[7]

Такой страх греки называли паническим.

Глава XIX

О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ, СЧАСТЛИВ ЛИ КТО-НИБУДЬ, ПОКА ОН НЕ УМЕР

Scilicet ultima semper
Exspectanda dies homini est, dicique beatus
Ante obitum nemo, supremaque funera debet.[1]

Всякому ребенку известен на этот счет рассказ о царе Крезе. Последний, захваченный в плен Киром и осужденный на смерть, перед самой казнью воскликнул: „О, Солон, Солон!". Когда об этом было доложено Киру, и он спросил, что это значит, Крез ответил ему, что он убедился на своей шкуре в справедливости предупреждения, услышанного им некогда от Солона, а именно, что как бы приветливо ни улыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минет последний день его жизни, ибо шаткость и изменчивость дел человеческих таковы, что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего толчка, и они немедленно изменяют свой облик. Вот почему и Агесилай[2] сказал кому-то, утверждавшему, что царь персидский — счастливец, ибо, будучи совсем молодым, владеет столь могущественным престолом: „И Приам в таком возрасте не был несчастлив". Царей Македонии, преемников великого Александра, мы видим в Риме писцами и столярами, тиранов Сицилии — школьными учителями в Коринфе. Покоритель полумира, начальствовавший над столькими армиями, превращается в смиренного просителя, унижающегося перед презренными слугами владыки Египта; вот чего стоило прославленному Помпею продление его жизни

еще на каких-нибудь пять-шесть месяцев.[3] А разве на памяти наших отцов не угасал, томясь в заключении в замке Лош, Лодовико Сфорца, десятый герцог Миланский, при котором долгие годы трепетала Италия? И самое худшее в его участи то, что он провел там целых десять лет.[4] А разве не погибла от руки палача прекраснейшая из королев, вдова самого могущественного в христианском мире государя?[5] Такие примеры исчисляются тысячами. И можно подумать, что подобно тому, как грозы и бури небесные ополчаются против гордыни и высокомерия наших чертогов, равным образом там наверху имеются духи, питающие зависть к величию некоторых обитателей земли:

Usque adeo res humanas vis abdita quaedam
Obterit, et pulchros fasces saevasque secures
Proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur.[6]

Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию:[7] Nimirum hac die una plus vixi, mihi quam vivendum fuit.[8]

Таким образом, у нас имеются все основания прислушиваться к благому совету Солона. Но поскольку это философ, для которого милости или удары судьбы еще не составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могущество не более, как маловажные случайности, я считаю, что он смотрел глубже и хотел своими словами сказать, что не следует считать человека счастливым,— разумея под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, а также твердость и уверенность умеющей управлять собою души,— пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие. Но в этой

последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки, что́ за яства в твоем горшке:

Nam verae voces tum demum pectore ab imo
Eiiciuntur, et eripitur persona, manet res.[9]

Вот почему это последнее испытание — окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Этот день — верховный день, судья всех остальных наших дней. Этот день, говорит один древний автор,[10] судит все мои прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить плоды моей деятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст или также из сердца.

Я знаю иных, которые своей смертью обеспечили добрую или, напротив, дурную славу всей своей прожитой жизни. Сципион, тесть Помпея, заставил своей смертью замолкнуть дурное мнение, существовавшее о нем прежде.[11] Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше, Хабрия, Ификрата или себя, ответил: „Чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас“.[12] И действительно, очень многое отнял бы у него тот, кто стал бы судить о нем, не приняв в расчет величия и благородства его кончины. Неисповедима воля господня! В мои времена три самых отвратительных человека, каких я когда-либо знал, ведших самый мерзкий образ жизни, три законченных негодяя умерли как подобает порядочным людям и во всех отношениях, можно сказать, безупречно.

Бывают смерти доблестные и удачные. Так, например, я знавал одного человека, нить поразительных успехов которого была оборвана смертью в момент, когда он достиг наивысшей точки своего жизненного пути; конец его был столь величав, что, на мой взгляд, его честолюбивые и смелые замыслы не заключали в себе столько возвышенного, сколько это крушение их. Он пришел, не сделав ни шагу, к тому, чего добивался, и притом это свершилось более величественно и с большею славой, чем на это могли бы притязать его желания и надежды. Своей гибелью он

приобрел больше могущества и более громкое имя, чем мечтал об этом при жизни.

Оценивая жизнь других, я неизменно учитываю, каков был конец ее, и на этот счет главнейшее из моих упований состоит в том, чтобы моя собственная жизнь закончилась достаточно хорошо, то есть спокойно и незаметно.

Глава XX

О ТОМ, ЧТО ФИЛОСОФСТВОВАТЬ — ЭТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ УМИРАТЬ

Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти.[1] И это тем более, что исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного „Я", отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной единственной цели, а именно обеспечить нам удовлетворение наших желаний, и вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность хорошо жить и в свое удовольствие, как сказано в священном писании.[2] Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его; противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать того, кто вздумал бы утверждать, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?

Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто словесные. Transcurramus sollertissimas nugas.[3] Здесь больше упрямства и препирательств по мелочам, чем подобало бы людям такого возвышенного призвания. Впрочем, кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет, вместе с тем, и себя самого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель —

наслаждение. Мне нравится дразнить этим словом слух некоторых лиц, кому оно очень не по душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия и полнейшую удовлетворенность, подобное наслаждение в большей мере обязано этим содействию добродетели, чем чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильным и мужественным, оно делается от этого лишь более сладостным. И нам следовало бы скорее обозначать его более мягким, более милым и естественным словом „удовольствие“, нежели словом „вожделение“, как его часто именуют. Что до этого, более низменного наслаждения, то если оно вообще заслуживает это прекрасное имя, то разве только в порядке соперничества, а не на основании исконного права. Я нахожу, что этот вид наслаждения сопряжен еще более, чем добродетель, с неприятностями и лишениями всякого рода. Помимо того, что оно мимолетно, зыбко и преходяще, ему также присущи и свои бдения, и свои посты, и свои тяготы, и пот, и кровь; сверх того, ему сопутствуют особые, крайне мучительные и самые разнообразные страдания, а затем — пресыщение, до такой степени тягостное, что его можно приравнять к наказанию. Мы впадаем в глубокое заблуждение, считая, что эти трудности и помехи обостряют наслаждение этого рода и придают ему особую пряность, подобно тому как это происходит в природе, где противоположности, сталкиваясь, вливают друг в друга новую жизнь, но мы не менее заблуждаемся, когда, переходя к добродетели, говорим, что сопутствующие ей трудности и невзгоды превращают ее в бремя для нас, делают ее чем-то бесконечно суровым и недоступным, ибо тут гораздо больше, чем в случае с вышеназванным наслаждением, они облагораживают, обостряют и усиливают божественное и совершенное удовольствие, которое добродетель дарует нам. Поистине недостоин общения с добродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которых она от нас требует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес: такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести. Если кто утверждает, что достижение добродетели — дело мучительное и трудное и что лишь обладание ею приятно, это все равно как если бы он говорил,

что она всегда неприятна. Разве существуют в распоряжении человека такие средства, с помощью которых кто-нибудь когда-нибудь достиг полного обладания ею? Наиболее совершенные среди нас почитали себя счастливыми и тогда, когда им выпадала возможность добиваться ее, хоть немного приблизиться к ней, без надежды обладать когда-нибудь ею. Но говорящие так ошибаются: ведь погоня за всеми известными нам удовольствиями сама по себе вызывает в нас приятное чувство. Самое стремление порождает в нас образ вещи, которую мы имеем в виду, а ведь в нем содержится добрая доля того, к чему должны привести наши действия, и представление о вещи едино с ее образом по своей сущности. Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают ярким сиянием все имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом. И одно из главнейших благодеяний ее — презрение к смерти; оно придает нашей жизни спокойствие и безмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда же этого нет — отравлены и все прочие наслаждения.

Вот почему все философские учения встречаются и сходятся в этой точке. И хотя они в один голос предписывают нам презирать страдания, нищету и другие невзгоды, которым подвержена жизнь человека, все же не это должно быть первейшей нашей заботою, как потому, что эти невзгоды не столь уже неизбежны (бо́льшая часть людей проживает жизнь, не испытав нищеты, а некоторые — даже не зная, что такое физическое страдание и болезни, каков, например, музыкант Ксенофил, умерший в возрасте ста шести лет и пользовавшийся до самой смерти прекрасным здоровьем),[4] так и потому, что, на худой конец, когда мы того пожелаем, можно прибегнуть к помощи смерти, которая положит предел нашему земному существованию и прекратит наши мытарства. Но что касается смерти, то она неизбежна:

Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna, serius ocius
Sors exitura et nos in aeternum
Exitium impositura cymbae.[5]

Из чего следует, что, если она внушает нам страх, то это является вечным источником наших мучений, облегчить которые невозможно. Он подкрадывается к нам отовсюду. Мы можем, сколько угодно, оборачиваться во все стороны, как мы делаем это в подозрительных местах: quae quasi saxum Tantale semper impendet.[6] Наши парламенты нередко отсылают преступников для исполнения над ними смертного приговора в то самое место, где совершено преступление. Заходите с ними по дороге в роскошнейшие дома, угощайте их там изысканнейшими яствами и напитками,

non Siculae dapes
Dulcem elaborabunt saporem,
Non avium cytharaeque cantus
Somnum reducent,[7]

думаете ли вы, что они смогут испытать от этого удовольствие и что конечная цель их путешествия, которую они постоянно имеют у себя перед глазами, не отобьет у них вкуса ко всей этой роскоши, и она не поблекнет для них?

Audit iter, numeratque dies, spatioque viarum
Metitur vitam, torquetur peste futura.[8]

Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми,— это вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! Только таким и взнуздывать осла под хвостом,—

Qui capite ipse suo instituit vestigia retro,[9] —

и нет ничего удивительного, что подобные люди нередко попадаются в западню. Они страшатся назвать смерть по имени, и большинство из них при произнесении кем-нибудь этого слова осеняет себя крестом так же, как при упоминании дьявола. И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите, чтобы они подумали о его составлении прежде, чем врач произнесет над ними

свой последний приговор; и одному богу известно, в каком состоянии находятся их умственные способности, когда, терзаемые смертными муками и страхом, они принимаются, наконец, стряпать его.

Так как слог, обозначавший на языке римлян „смерть“,[10] слишком резал их слух, и в его звучании им слышалось нечто зловещее, они научились либо избегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того, чтобы сказать „он умер“, они говорили „он перестал жить“ или „он отжил свое“. Поскольку здесь упоминается жизнь, хотя бы и завершившаяся, это приносило им известное утешение. Мы заимствовали отсюда наше: „покойный господин имя рек“. При случае, как говорится, слово дороже денег. Я родился между одиннадцатью часами и полночью, в последний день февраля тысяча пятьсот тридцать третьего года по нашему нынешнему летосчислению, то есть, считая началом года январь.[11] Две недели тому назад закончился тридцать девятый год моей жизни, и мне следует прожить, по крайней мере, еще столько же. Было бы безрассудством, однако, воздерживаться от мыслей о такой далекой, казалось бы, вещи. В самом деле, и стар и млад одинаково сходят в могилу. Всякий не иначе уходит из жизни, чем если бы он только что вступил в нее. Добавьте сюда, что нет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле,[12] не рассчитывал бы прожить еще годиков двадцать. Но, жалкий глупец,— ибо что же иное ты собой представляешь!— кто установил срок твоей жизни? Ты основываешься на болтовне врачей. Присмотрись лучше к тому, что окружает тебя, обратись к своему личному опыту. Если исходить из естественного хода вещей, то ты уже долгое время живешь благодаря особому благоволению неба. Ты превысил обычный срок человеческой жизни. И дабы ты мог убедиться в этом, подсчитай, сколько твоих знакомых умерло ранее твоего возраста, и ты увидишь, что таких много больше, чем тех, кто дожил до твоих лет. Составь, кроме того, список украсивших свою жизнь славою, и я побьюсь об заклад, что в нем окажется значительно больше умерших до тридцатипятилетнего возраста, чем перейдя этот порог. Разум и благочестие нам предписывают считать образцом человеческой жизни жизнь

Христа; но она окончилась для него, когда ему было тридцать три года. Величайший среди людей, на этот раз просто человек — я имею в виду Александра — умер в таком же возрасте.

И каких только уловок нет в распоряжении смерти, чтобы захватить нас врасплох!

Quid quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas.[13]

Я не стану уже говорить о лихорадках и воспалении легких. Но кто мог бы подумать, что герцог Бретонский будет раздавлен в толпе, как это случилось при въезде папы Климента, моего соседа, в Лион?[14] Не видели ли мы, как один из королей наших был убит, принимая участие в общей забаве?[15] И разве один из предков его на скончался, раненный вепрем?[16] Эсхил, которому было предсказано, что он погибнет раздавленный рухнувшей кровлей, мог сколько угодно принимать меры предосторожности, все они оказались бесполезными, ибо его поразил насмерть панцырь черепахи, выскользнувшей из когтей уносившего ее орла. Такой-то умер, подавившись виноградной косточкой;[17] такой-то император погиб от царапины, которую причинил себе гребнем; Эмилий Лепид — споткнувшись о порог своей собственной комнаты, а Авфидий — ушибленный дверью, ведущей в зал заседаний совета. В объятиях женщин окончили свои дни: претор Корнелий Галл, Тигеллин, начальник городской стражи в Риме, Людовико, сын Гвидо Гонзаго, маркиза Мантуанского, а также — и эти примеры будут еще более горестными — Спевсипп, философ школы Платона, и один из пап. Бедняга Бебий, судья, предоставив недельный срок одной из тяжущихся сторон, тут же испустил дух, ибо срок, предоставленный ему самому, истек. Скоропостижно скончался и Гай Юлий, врач; в тот момент, когда он смазывал глаза одному из больных, смерть смежила ему его собственные. Да и среди моих родных бывали тому примеры: мой брат, капитан Сен-Мартен, двадцатитрехлетний молодой человек, уже успевший, однако, проявить свои незаурядные способности, как-то во время игры был сильно ушиблен мячом, причем удар, пришедшийся немного выше

правого уха, не причинил раны и не оставил после себя даже кровоподтека. Получив удар, брат мой не прилег и даже не присел, но через пять или шесть часов скончался от апоплексии, причиненной этим ушибом. Наблюдая столь частые и столь обыденные примеры этого рода, можем ли мы отделаться от мысли о смерти и не испытывать всегда и всюду ощущения, будто она уже хватает нас своей цепкой рукой.

Но не все ль равно,— скажете вы,— каким образом это с нами произойдет? Лишь бы не мучиться! Я держусь такого же мнения, и какой бы мне ни представился способ укрыться от сыплющихся ударов, будь то даже под шкурой теленка, я не таков, чтобы отказаться от этого. Меня устраивает решительно все, лишь бы мне было покойно. И я изберу для себя наилучшую долю из всех, какие мне будут предоставлены, сколь бы она ни была, на ваш взгляд, мало почетной и скромной:

praetulerim delirus inersque videri
Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,
Quam sapere et ringi.[18]

Но было бы настоящим безумием питать надежды, что таким путем можно перейти в иной мир. Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо, все как нельзя лучше. Но если она нагрянет, к ним ли самим или к их женам, детям, друзьям, захватив их врасплох, беззащитными,— какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу наваливается на них! Видели ли вы кого-нибудь таким же подавленным, настолько же изменившимся, настолько смятенным? Следовало бы поразмыслить об этих вещах заранее. А такая животная беззаботность,— если только она может наблюдаться у сколько-нибудь мыслящего человека, что, по-моему, совершенно невозможно,— заставляет нас слишком дорогою ценой покупать ее блага. Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветывал бы воспользоваться этим оружием трусов. Но так как от нее ускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плут или честный человек,

Nempe et fugacem persequitur virum,
Nec parcit imbellis iuventae
Poplitibus, timidoque tergo,[19]

и так как даже наилучшая броня от нее не обережет,

Ille licet ferro cautus se condat et aere,
Mors tamen inclusum protrahet inde caput,[20]

давайте научимся встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство. И, чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будемте всюду и всегда вызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее обличиях. Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наколемся о булавку, будем повторять себе всякий раз: „А что, если это и есть сама смерть?". Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. Посреди празднества, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствиям захватывать нас настолько, чтобы время от времени у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и каким только нежданным ударам не подвержена наша жизнь! Так поступали египтяне, у которых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с самыми лучшими яствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служила напоминанием для пирующих.

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
Grata superveniet, quae non sperabitur hora.[21]

Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь — не зло. Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного

царя македонского, его пленника, передавший просьбу последнего не принуждать его итти за триумфальною колесницей, тот ответил: „Пусть обратится с этой просьбой к себе самому“.

По правде сказать, в любом деле одним уменьем и стараньем, если не дано еще кое-что от природы, многого не возьмешь. Я по натуре своей не то, чтобы меланхолик, но склонен к мечтательности. И ничто никогда не занимало моего воображения в большей мере, чем образы смерти. Даже в наиболее легкомысленную пору моей жизни,—

Iucundum cum aetas florida ver ageret,[22]

когда я жил среди женщин и забав, иной, бывало, думал, что я терзаюсь муками ревности или разбитой надеждой, тогда как в действительности мои мысли были поглощены каким-нибудь знакомым, умершим на-днях от горячки, которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с душой, полною неги, любви и еще не остывшего возбуждения, совсем как это бывает со мною, и в ушах у меня неотвязно звучало:

Iam fuerit, nec post unquam revocare licebit.[23]

Эти раздумья не избороздили мне морщинами лба больше, чем все остальные. Впрочем, не бывает, конечно, чтобы подобные образы при первом своем появлении не причиняли нам боли. Но возвращаясь к ним все снова и снова, можно, в конце концов, без сомнения освоиться с ними. В противном случае — так было бы, по крайней мере, со мной — я жил бы в вечном ужасе и безумии, ибо никто никогда не доверял своей жизни меньше моего, никто меньше моего не рассчитывал на ее длительность. И ни превосходное здоровье, которым я наслаждаюсь по настоящее время и которое нарушалось весьма редко, нисколько не может укрепить моих надежд на этот счет, ни болезни — нечего в них убавить. Меня постоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю от смерти. И я без конца нашептываю себе: „Что возможно в любой день, то возможно также сегодня“. И впрямь, опасности и случайности почти или — правильнее сказать — нисколько не при-

ближают нас к нашей последней черте; и если мы представим себе, что помимо такого-то несчастья, которое угрожает нам, повидимому, всех больше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, что смерть, действительно, всегда рядом с нами,— и тогда, когда мы веселы, и когда горим в лихорадке, и когда мы на море, и когда у себя дома, и когда в сражении, и когда отдыхаем. Nemo altero fragilior est: nemo in crastinum sui certior.[24] Мне всегда кажется, что до прихода смерти я так и не успею закончить то дело, которое должен выполнить, хотя бы для его завершения требовалось не более часа. Один мой знакомый, перебирая как-то мои бумаги, нашел среди них заметку по поводу некоей вещи, которую, согласно моему желанию, надлежало сделать после моей кончины. Я рассказал ему, как обстояло дело: находясь на расстоянии какого-нибудь лье от дома, вполне здоровый и бодрый, я поторопился записать свою волю, так как не был уверен, что успею добраться к себе. Вынашивая в себе мысли такого рода и вбивая их себе в голову, я всегда подготовлен к тому, что это может случиться со мной в любое мгновенье. И как бы внезапно ни пришла ко мне смерть, в ее приходе не будет для меня ничего нового.

Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе, нужно, насколько это зависит от нас, быть постоянно готовыми к походу, и, в особенности, остерегаться, как бы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме как о себе.

Quid brevi fortes iaculamur aevo
Multa?[25]

Ведь забот у нас и без того вволю. Один сетует не столько даже на самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящим успехом начатое дело; другой — что приходится переселяться на тот свет, не успев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей; этот оплакивает разлуку с женой, тот — с сыном, так как в них была отрада всей его жизни.

Что до меня, то я, благодарение богу, могу в данное время убраться отсюда, когда ему будет угодно, не печалуясь ни о чем,

ESSAIS

DE MESSIRE

MICHEL SEIGNEVR

DE MONTAIGNE,

CHEVALIER DE L'ORDRE

du Roy, & Gentil-homme ordinaire de sa Chambre.

LIVRE PREMIER

& second.

A BOVRDEAVS.

Par S. Millanges Imprimeur ordinaire du Roy.

M.D.LXXX.

AVEC PRIVILEGE DV ROY.

Титульный лист первого издания „Опытов“ (книги I и II, 1580 г., второй тираж).

кроме самой жизни, если уход из нее будет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который был бы так всесторонне и тщательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне.

Miser, o miser, aiunt, omnia ademit
Una dies infesta mihi tot praemia vitae.[26]

А вот слова, подходящие для любителя строиться:

Manent opera interrupta, minaeque
Murorum ingentes.[27]

Не стоит, однако, загадывать в чем бы то ни было так далеко вперед или, во всяком случае, проникаться столь великою скорбью из-за того, что тебе не удастся увидеть завершение начатого тобой. Мы рождаемся для деятельности:

Cum moriar, medium solvar et inter opus.[28]

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они выполняли налагаемые на них жизнью обязанности со всей полнотою, насколько это возможно, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней и, тем более, к моему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одного умирающего, который, уже перед самой кончиной, не переставал выражать сожаление, что злая судьба оборвала нить составляемой им истории на пятнадцатом или шестнадцатом из наших королей.

Illud in his rebus non addunt, nec tibi earum
Iam desiderium rerum super insidet una.[29]

Нужно избавиться от этих пошлых и гибельных настроений. И подобно тому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемых местах города, дабы приучить, как сказал Ликург, детей, женщин и простолюдинов не пугаться при виде покойников, а также, чтобы человеческие останки, могилы и

похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постоянно напоминали об ожидающей нас судьбе:

Quin etiam exhilarare viris convivia caede
Mos olim, et miscere epulis spectacula dira
Certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum
Pocula respersis non parco sanguine mensis; [30]

подобно также тому, как египтяне, по окончании пира, показывали присутствующим огромное изображение смерти, причем державший его восклицал: „Пей и наполняй веселием сердце, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же“, так и я приучил себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде. И нет ничего, что в большей мере привлекало б меня, чем рассказы о смерти такого-то или такого-то, что́ они говорили при этом, каковы были их лица, как они держали себя; это же относится и к сочинениям по истории, в которых я особенно внимательно изучаю места, где говорится о том же. Это видно хотя бы уже из обилия приводимых мною примеров и из того исключительного пристрастия, какое я питаю к подобным вещам. Если бы я был сочинителем книг, я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить.

Дикеарх [31] составил подобную книгу, дав ей соответствующее название, но он руководствовался иною, и притом менее полезною целью.

Мне скажут, пожалуй, что действительность много ужаснее наших представлений о ней и что нет настолько искусного фехтовальщика, который не смутился бы духом, когда дело дойдет до этого. Пусть себе говорят, а все-таки размышлять о смерти наперед — это, без сомнения, вещь полезная. И потом, разве это безделица — итти до последней черты без страха и трепета? И больше того: сама природа спешит нам на помощь и ободряет нас. Если смерть — быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом пред нею; если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемногу в болезнь, я вместе с тем

начинаю естественно проникаться известным пренебрежением к жизни. Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда я здоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Поскольку радости жизни не влекут меня больше с такою силой, как прежде, ибо я перестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие,— я смотрю и на смерть менее испуганным взором. Это вселяет в меня надежду, что чем дальше отойду я от жизни и чем ближе подойду к смерти, тем легче мне будет свыкнуться с мыслью, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись по разным поводам в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещи кажутся нам нередко значительно бо́льшими, чем вблизи, я подобным же образом обнаружил, что, будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялся болезней, чем тогда, когда они давали мне знать о себе: бодрость, радость жизни и ощущение собственного здоровья заставляют меня представлять себе противоположное состояние настолько отличным от того, в котором я пребываю, что я намного преувеличиваю в своем воображении неприятности, доставляемые болезнями, и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности, когда они постигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять не иначе.

Рассмотрим теперь, как поступает природа, чтобы лишить нас возможности ощущать, несмотря на непрерывные перемены к худшему и постепенное увядание, которое все мы претерпеваем, и эти наши потери и наше постепенное разрушение. Что остается у старика из сил его юности, от его былой жизни?

Heu senibus vitae portio quanta manet.[32]

Когда один из телохранителей Цезаря, старый и изнуренный, встретив его на улице, подошел к нему и попросил отпустить его умирать, Цезарь, увидев, насколько он немощен, довольно остроумно ответил: „Так ты, оказывается, числишь себя живым?“. Я не думаю, что мы могли бы снести подобное превращение, если бы оно сваливалось на нас совершенно внезапно. Но жизнь ведет нас за руку по отлогому, почти неприметному склону, потихоньку да полегоньку, пока не ввергнет в это жалкое состояние, заста-

вив исподволь свыкнуться с ним. Вот почему мы не ощущаем никаких потрясений, когда наступает смерть нашей молодости, которая, право же, по своей сущности гораздо более жестока, нежели окончательная смерть еле теплящейся жизни, или же смерть нашей старости. Ведь прыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия — радости и процветания к бытию — скорби и муке.

Скрюченное и согбенное тело не в состоянии выдержать тяжелую ношу; то же и с нашей душой: ее нужно выпрямить и поднять, чтобы ей было под силу единоборство с таким противником. Ибо если невозможно, чтобы она пребывала спокойной, трепеща перед ним, то избавившись от него, она приобретает право хвалиться,— хотя это, можно сказать, почти превосходит человеческие возможности,— что в ней не осталось более места для тревоги, терзаний, страха или даже самого легкого огорчения.

Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida, neque Auster
Dux inquieti turbidus Adriae,
Nec fulminantis magna Iovis manus.[33]

Она сделалась госпожой своих страстей и желаний; она властвует над нуждой, унижением, нищетой и всеми прочими превратностями судьбы. Так давайте же, каждый в меру своих возможностей, добиваться столь важного преимущества! Вот где подлинная и ничем не стесняемая свобода, дающая нам возможность презирать насилие и произвол и смеяться над тюрьмами и оковами:

in manicis, et
Compedibus, saevo te sub custode tenebo.
Ipse deus simul atque volam, me solvet: opinor
Hoc sentit, moriar. Mors ultima linea rerum est.[34]

Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ли бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? — но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды смерти, не тягостнее

ли страшиться их всех, чем претерпеть какой-либо один? И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится? Тому, кто сказал Сократу: „Тридцать тиранов осудили тебя на смерть," последний ответил: „А их осудила на смерть природа".[35]

Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений!

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в эту жизнь, и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку.

Не может быть тягостным то, что происходит один единственный раз. Имеет ли смысл трепетать столь долгое время перед столь быстротечною вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого ни короткого. Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часов утра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов дня умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных.[36]

Впрочем, природа не дает нам зажиться. Она говорит: „Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершали вы к жизни от смерти, совершите теперь к смерти от жизни. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселенной порядка; она звено мировой жизни:

inter se mortales mutua vivunt
Et quasi cursores vitaï lampada tradunt.[37]

Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть — обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то, значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой — смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать:

Prima, quae vitam dedit, hora, carpsit.[38]
Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.[39]

Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь.

„Или, если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживаете вы ее, умирая; смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже.

„Если вы познали радости жизни, вы успели насытиться ими; так уходите же с удовлетворением в сердце:

Cur non ut plenus vitae conviva recedis?[40]

Если же вы не сумели ею воспользоваться, если она поскупилась, для вас, что́ вам до того, что вы потеряли ее, на что она вам?

Cur amplius addere quaeris
Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne?[41]

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожили один единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство вселенной — все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков:

Non alium videre patres: aliumve nepotes
Aspicient.[42]

И, на худой конец, все акты моей комедии, при всем разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что они обнимают собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда:

versamur ibidem, atque insumus usque
Atque in se sua per vestigia volvitur annus.[43]

Или вы воображаете, что я стану для вас создавать какие-нибудь новые развлечения?

Nam tibi praeterea quod machiner, inveniamque
Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semper.[44]

Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что он обречен, если все другие тоже обречены? Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилия здесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках у кормилицы:

licet, quod vis, vivendo vincere saecla,
Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit.[45]

„И я поведу вас туда, где вы не будете испытывать никаких огорчений:

In vera nescis nullum fore morte alium te,
Qui possit vivus tibi te lugere peremptum,
Stansque iacentem.[46]

И не будете желать жизни, о которой так сожалеете:

Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit,
Nec desiderium nostri nos afficit ullum.[47]

Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем ничто, если существует что-нибудь ничтожнее, чем это последнее:

multo mortem minus ad nos esse putandum
Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus.[48]

Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы — потому, что вы существуете; когда умерли — потому, что вас больше не существует.

„Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекло до вашего рождения; и ваше дело тут — сторона:

Respice enim quam nil ad nos ante acta vetustas
Temporis aeterni fuerit.[49]

„Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожил мало; не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет, определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали, что никогда так и не доберетесь туда, куда идете, не останавливаясь? Да есть ли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы можете найти утешение в доброй компании, то не идет ли весь мир той же стезею, что вы?

omnia te vita perfuncta sequentur.[50]

Не начинает ли шататься все вокруг вас, едва пошатнетесь вы сами? Существует ли что-нибудь, что не старилось бы вместе с вами? Тысячи людей, тысячи животных, тысячи других существ умирают в то же мгновение, что и вы:

Nam nox nulla diem, neque noctem aurora secuta est,
Quae non audierit mistos vagitibus aegris
Ploratus, mortis comites et funeris atri.[51]

Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-

нибудь, кому бы смерть причинила их? Не очень-то умно осуждать то, что не испытано вами, ни на себе, ни на другом. Почему же ты жалуешься и на меня и на свою участь? Разве мы несправедливы к тебе? Кому же надлежит управлять: нам ли тобою или тебе нами? Еще до завершения сроков твоих, жизнь твоя уже завершилась. Маленький человечек такой же цельный человек, как и большой.

„Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия.[52] Вдумайтесь хорошенько в то, что называют: вечная жизнь, и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. Чтобы привить вам ту умеренность, которой я от вас требую, а именно, чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем не бежали смерти, я сделала и ту и другую наполовину сладостными и наполовину скорбными.

„Я внушила Фалесу, первому из ваших мудрецов, ту мысль, что жить и умирать — это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же, в таком случае, он все-таки не умирает, он весьма мудро ответил: «Именно потому, что это одно и то же».

„Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено мое здание, суть в такой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чему страшиться тебе последнего дня? Он лишь в такой же мере способствует твоей смерти, как и все прочие. Последний шаг не есть причина усталости, он лишь дает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последний только подводит к ней“.

Таковы благие наставления нашей родительницы-природы. Я часто задумывался над тем, почему смерть на войне — все равно, касается ли это нас самих или кого-либо иного,— кажется

нам несравненно менее страшной, чем у себя дома; в противном случае, армия состояла бы из одних плакс да врачей; и еще: почему, несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Я полагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, среди которых мы ее видим и которые порождают в нас страх еще больший, чем сама смерть. Какая новая, совсем необычная картина: стоны и рыдания матери, жены, детей, растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной челяди, их заплаканные и бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет, зажженные свечи, врачи и священники у нашего изголовья! Короче говоря, вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван и преданы погребению. Дети боятся своих юных приятелей, когда видят их в маске,— то же происходит и с нами. Нужно сорвать эту маску как с вещей, так, тем более, с человека, и когда она будет сорвана, мы обнаружим под ней ту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер или служанка претерпели без всякого страха. Благостна смерть, не давшая времени для этих пышных приготовлений.

Глава XXI

О СИЛЕ НАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ[1]

Fortis imaginatio generat casum,[2] — говорят ученые.

Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой. Всякий более или менее поддается ему, но некоторых оно совершенно одолевает. Его натиск подавляет меня. Вот почему я норовлю ускользнуть от него, но не сопротивляться ему. Я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и веселые лица. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытывать физическое страдание, и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других. Упорный кашель кого-либо поблизости от меня раздражает мои легкие и мое горло. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех, к кому меньше привязан и к кому испытываю меньшее уважение. Я перенимаю наблюдаемую болезнь и пересаживаю ее в себя. И я не нахожу удивительным, что воображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто дает ему волю и поощряет его. Симон Тома был великим врачом своего времени. Помню, как однажды, встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больного чахоткой, он, толкуя о способах вернуть ему здоровье, сказал ему, между прочим, что одно из них — это сделать для меня привлекательным пребывание в его обществе, ибо, направляя свой взор на мое свежее молодое лицо, а мысли на жизнерадостность и здоровье, источаемые моей юностью в таком изобилии, а также заполняя свои чувства цветением моей жизни, он сможет улучшить свое состояние. Он забыл только прибавить, что из-за

этого может ухудшиться мое собственное здоровье. Вибий Галл настолько хорошо научился проникаться сущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум и никогда уже не мог вправить его; он мог бы с достаточным основанием похваляться, что стал безумным от мудрости.[3] Встречаются и такие, которые, трепеща перед рукой палача, как бы упреждают ее,— и вот тот, кого развязывают на эшафоте, чтобы прочитать ему указ о помиловании,— покойник, сраженный своим собственным воображением. Мы покрываемся потом, дрожим, краснеем, бледнеем, потрясаемые своими фантазиями, и, зарывшись в перину, чувствуем свое тело взбудораженным их натиском; случается, что иные даже умирают от этого. И хотя никому не внове, что в течение ночи могут вырасти рога у того, кто, ложась, не имел их в помине, все же происшедшее с Циппом,[4] царем италийским, особенно примечательно; последний, следя весь день с неослабным вниманием за боем быков и видя ночь напролет в своих сновидениях бычью голову с большими рогами, кончил тем, что вырастил их на своем лбу одной силою воображения. Страсть одарила одного из сыновей Креза[5] голосом, в котором ему отказала природа; а Антиох[6] схватил горячку, потрясенный красотой Стратоники, слишком сильно подействовавшей на его душу. Плиний рассказывает, что ему довелось видеть некоего Люция Коссиция — женщину, превратившуюся в день своей свадьбы в мужчину. Понтано[7] и другие сообщают о превращениях такого же рода, имевших место в Италии и в последующие века. И благодаря не знающему преград желанию, а также желанию матери,

Vota puer solvit, quae femina voverat Iphis.[8]

Проезжая через Витри Ле-Франсе, я имел возможность увидеть там человека, которому епископ суасонский дал на конфирмации имя Жермен; этого молодого человека все местные жители знали и видели девушкой, носившей до двадцатидвухлетнего возраста имя Мария. В то время, о котором я вспоминаю, этот Жермен был с большой бородой, стар и не был женат. Мужские органы, согласно его рассказу, возникли у него в тот момент, когда он

сделал усилие, чтобы прыгнуть подальше. И теперь еще между местными девушками распространена песня, в которой они предостерегают друг друга от непомерных прыжков, дабы не сделаться юношами, как это случилось с Марией-Жерменом. Нет никакого чуда в том, что такие случаи происходят довольно часто. Если воображение в силах творить подобные вещи, то постоянно прикованное к одному и тому же предмету, оно предпочитает порою, вместо того, чтобы возвращаться все снова и снова к тем же мыслям и тем же жгучим желаниям, совершить с собою раз навсегда подобное превращение.

Некоторые приписывают рубцы короля Дагобера и святого Франциска[9] также силе их воображения. Говорят, что иной раз оно бывает способно поднимать тела и переносить их с места на место. А Цельс[10]— тот рассказывает о жреце, доводившем свою душу до такого экстаза, что тело его на долгое время делалось бездыханным и теряло чувствительность. Святой Августин называет другого, которому достаточно было услышать чей-нибудь плач или стон, как он сейчас же впадал в обморок, и настолько глубокий, что сколько бы ни кричали ему в самое ухо и вопили и щипали его и даже подпаливали, ничто не помогало, пока он не приходил, наконец, в сознание; он говорил, что в таких случаях ему слышатся какие-то голоса, но как бы откуда-то издалека и только теперь, опомнившись, он замечал свои синяки и ожоги. А что это не было упорным притворством и что он не скрывал просто-напросто свои ощущения, доказывается тем, что, пока длился обморок, он не дышал и у него не было пульса.

Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят.

Я держусь того мнения, что так называемое наведение порчи на новобрачных, которое столь многим людям причиняет большие

неприятности и о котором в наше время столько толкуют, объясняется, в сущности, лишь действием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого я готов поручиться, как за себя самого, в том, что его-то уж никак нельзя заподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапно постигшем того, и притом в самый неподходящий момент, полном бессилии, испытал, оказавшись в сходном положении, то же самое вследствие страха, вызванного в нем этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с ним не раз случалась подобная вещь, ибо тягостное воспоминание о первой неудаче связывало и угнетало его. В конце концов, он избавился от этого надуманного недуга при помощи другой выдумки. А именно, признаваясь в своем недостатке и предупреждая о нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможности неудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности и она меньше тяготила его. После того, как он избавился от угнетавшего его сознания вины и почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесные способности перешли в свое натуральное состояние; его первая же попытка оказалась удачной, и он добился полного исцеления.

Ведь кто оказался способным к этому хоть один раз, тот и в дальнейшем сохранит эту способность, если только он и в самом деле не страдает бессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах, когда наша душа сверх меры охвачена, с одной стороны, пылким желанием, с другой — робостью, и, особенно, если благоприятные обстоятельства застают нас врасплох и требуют решительности и быстроты действий; тут уж, действительно, ничем не поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды его собственное тело, когда в последнем началось пресыщение и вследствие этого ослабление плотского желания; с годами он стал ощущать в себе меньше бессилия именно потому, что сделался менее сильным. Знаю я и другого, которому от того же помог один из друзей, убедивший его, будто он обладает целой батареей амулетов разного рода, способных противостоять всяким чарам. Но лучше я расскажу все по порядку. Некий

граф из очень хорошего рода, с которым я был в приятельских отношениях, женился на прелестной молодой женщине; поскольку за нею прежде упорно ухаживал некто, присутствовавший на торжестве, молодой супруг переполошил своими страхами и опасениями друзей и, в особенности, одну старую даму, свою родственницу, распоряжавшуюся на свадьбе и устроившую ее у себя в доме; эта дама, боявшаяся навождений и сглаза, поделилась своею тревогой со мной. Я попросил ее положиться во всем на меня. К счастью, в моей шкатулке оказалась золотая вещица с изображенными на ней знаками зодиака. Считалось, что, если ее приложить к черепному шву, она помогает от солнечного удара и головной боли, а дабы она могла там держаться, к ней была прикреплена лента, достаточно длинная, чтобы концы ее можно было завязывать под подбородком. Короче говоря, это такой же вздор, как и тот, о котором мы ведем речь. Этот необыкновенный подарок сделал мне Жак Пеллетье.[11] Я вознамерился употребить его в дело и сказал графу, что его может постигнуть такая же неудача, как и многих других, ибо тут находятся личности, готовые подстроить ему подобную неприятность. Но пусть он смело ложится в постель, так как я намерен оказать ему дружескую услугу и не пожалею для него чудесного средства, которым располагаю, при условии, что он даст мне слово сохранять относительно этого строжайшую тайну. Единственное, что потребуется от него, это чтобы ночью, когда мы понесем к нему в спальню свадебный ужин, он, буде дела его пойдут плохо, подал мне соответствующий знак. Его настолько взволновали мои слова и он настолько пал духом, что не мог совладать с разыгравшимся воображением и подал условленный между нами знак. Тогда я сказал ему, чтобы он поднялся со своего ложа, как бы за тем, чтобы прогнать нас подальше, и, стащив с меня якобы в шутку шлафрок (мы были почти одного роста), надел его на себя, но только после того, как выполнит мои предписания, а именно: когда мы выйдем из спальни, ему следует удалиться будто бы за малой нуждою и трижды прочитать там такие-то молитвы и трижды же проделать такие-то телодвижения; и чтобы он всякий раз опоясывал себя при этом той лентою,

которую я ему сунул в руку, прикладывая прикрепленную к ней медаль к определенному месту на пояснице, так, чтобы лицевая ее сторона находилась в таком-то и таком-то положении. Проделав это, он должен хорошенько закрепить ленту, чтобы она не развязалась и не сдвинулась с места и лишь после всего этого он может, наконец, с полной уверенностью в себе возвратиться к своим трудам. Но пусть он не забудет при этом, сбросив с себя мой шлафрок, швырнуть его к себе на постель, так чтобы он накрыл их обоих. Эти церемонии и есть самое главное; они-то больше всего и действуют: наш ум не может представить себе, чтобы столь необыкновенные действия не опирались на какие-нибудь тайные знания. Как раз их нелепость и придает им такой вес и значение. Короче говоря, обнаружилось с очевидностью, что знаки на моем талисмане связаны больше с Венерой, чем с солнцем, а также, что они скорей поощряют, чем ограждают. На эту проделку толкнула меня внезапная и показавшаяся забавною прихоть моего воображения, в общем чуждая складу моего характера. Я враг всяческих ухищрений и выдумок. Я ненавижу хитрость, и не только потехи ради, но и тогда, когда она могла бы доставить выгоду. Если в самом поступке моем и не было ничего плохого, путь, мною избранный, все же плох.

Амасис, царь египетский,[12] женился на Лаодике, очень красивой греческой девушке; и вдруг оказалось, что он, который неизменно бывал добрым товарищем в любовных утехах, не в состоянии вкусить от нее наслаждений; он грозил, что убьет ее, считая, что тут не без колдовства. И как бывает обычно во всем, что является плодом воображения, оно увлекло его к благочестию; обратившись к Венере с обетами и мольбами, он ощутил уже в первую ночь после заклания жертвы и возлияний, что силы его чудесным образом восстановились.

И зря иные женщины встречают нас с таким видом, будто к ним опасно притронуться, будто они злятся на нас, и мы внушаем им неприязнь; они гасят в нас пыл, стараясь разжечь его. Сноха Пифагора говаривала, что женщина, которая спит с мужчиною, должна вместе с платьем сбрасывать с себя и стыдливость, а затем

вместе с платьем вновь обретать ее. Душа осаждающего, скованная множеством тревог и сомнений, легко утрачивает власть над собою,— и кого воображение заставило хоть один раз вытерпеть этот позор (а он возможен лишь на первых порах, поскольку первые приступы всегда ожесточеннее и неистовее, а также и потому, что вначале особенно сильны опасения в благополучном исходе), тот, плохо начав, испытывает волнение и досаду, вспоминая об этой беде, и то же самое, вследствие этого, происходит с ним и в дальнейшем.

Новобрачные, у которых времени сколько-угодно, не должны торопиться и подвергать себя испытанию, пока они не готовы к нему; и лучше нарушить обычай и не спешить с воздаянием должного брачному ложу, где все исполнено волнения и лихорадки, а дожидаться, сколько бы ни пришлось, подходящего случая, уединения и спокойствия, чем сделаться на всю жизнь несчастным, пережив потрясение и впав в отчаянье от первой неудачной попытки.

Не без основания отмечают своенравие этого органа, так некстати оповещающего нас порой о своей готовности, когда нам нечего с нею делать, и столь же некстати утрачивающего ее, когда мы больше всего нуждаемся в ней; так своенравно сопротивляющегося владычеству нашей воли и с такою надменностью и упорством отвергающего те увещания, с которыми к нему обращается наша мысль. И все же, предложи он мне соответствующее вознаграждение, дабы я защищал его от упреков, служащих основанием, чтобы вынести ему обвинительный приговор, я постарался бы, в свою очередь, возбудить подозрение в отношении остальных наших органов, его сотоварищей, в том, что они из зависти к важности и приятности принадлежащих ему обязанностей, выдвинули это ложное обвинение и составили заговор, дабы восстановить против него целый мир, злостно приписывая ему одному прегрешения, в которых повинны все они вместе.

Предоставляю вам поразмыслить, существует ли такая часть нашего тела, которая беспрекословно выполняла б свою работу в согласии с нашей волей и никогда бы не действовала наперекор ей. Каждой из них свойственны свои особые страсти, которые про-

буждают ее от спячки или погружают, напротив, в сон, не спрашиваясь у нас. Как часто непроизвольные движения на нашем лице уличают нас в таких мыслях, которые мы хотели бы утаить про себя, и тем самым выдают окружающим! Та же причина, что возбуждает наши сокровенные органы, возбуждает без нашего ведома также сердце, легкие, пульс: вид приятного нам предмета мгновенно воспламеняет нас лихорадочным возбуждением. Разве мышцы и жилы не напрягаются, а также не расслабляются сами собой, не только помимо участия нашей воли, но и тогда, когда мы даже не помышляем об этом? Не по нашему приказанию волосы становятся у нас дыбом, а кожа содрогается от желания или страха. Бывает и так, что язык цепенеет и голос застревает в гортани. Когда нам нечего есть, мы охотно запретили бы голоду беспокоить нас своими напоминаниями, и все же желание есть и пить не перестает терзать наши органы, подчиненные ему, совершенно так же, как то, другое желание; и оно же, когда ему вздумается, внезапно бежит от нас, и часто весьма некстати. Органы, предназначенные разгружать наш желудок, также сжимаются и расширяются по своему произволу, помимо нашего намерения, и порой вопреки ему, равно как и те, которым надлежит разгружать наши почки. Правда, святой Августин, чтобы доказать всемогущество нашей воли, в ряду других доказательств, ссылается также на одного человека, которого он сам видел и который приказывал своему заду производить то или иное количество выстрелов, а комментатор его Вивес добавляет пример, относящийся уже к его времени, сообщая, что некто умел издавать подобные звуки соответственно размеру стихов, которые при этом читали ему; отсюда, однако, вовсе не вытекает, что данная часть нашего тела всегда повинуется нам, ибо чаще всего она ведет себя весьма и весьма нескромно, доставляя нам немало хлопот. Добавлю, что мне ведома одна подобная часть нашего тела, настолько шумливая и своенравная, что вот уже сорок лет, как она не дает своему хозяину ни отдыха, ни срока, действуя постоянно и непрерывно и ведя его, подобным образом, к преждевременной смерти.

Но и наша воля, защищая права которой, мы выдвинули эти упреки,— как же дело обстоит с нею? Не можем ли мы по причине свойственных ей строптивости и необузданности с еще большим основанием заклеймить ее обвинением в возмущениях и мятежах? Всегда ли она желает того, чего мы хотим, чтобы желала она? Не желает ли она часто того,— и притом к явному ущербу для нас,— что́ мы ей запрещаем желать? Не отказывается ли она повиноваться решениям нашего разума? Наконец, в пользу моего подзащитного я мог бы добавить и следующее: да соблаговолят принять во внимание то, что обвинение, выдвинутое против него неразрывно связано с пособничеством его сотоварищей, хотя и обращено только к нему одному, ибо улики и доказательства здесь таковы, что, учитывая обстоятельства тяжущихся сторон, они не могут быть обращены к этим сотоварищам. Уже из этого легко усмотреть недобросовестность и явную пристрастность истцов. Как бы то ни было, сколько бы ни препирались и какие бы решения ни выносили адвокаты и судьи, природа всегда будет действовать согласно своим законам; и она поступила, вне всякого сомнения, вполне правильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он — вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Зачатие, согласно Сократу, есть божественное деяние; любовь — жажда бессмертия и она же — бессмертный дух.

Иной благодаря силе воображения оставляет свою золотуху у нас, тогда как товарищ его уносит ее обратно в Испанию.[13] Вот почему в подобных вещах требуется, как правило, известная подготовка души. Ради чего врачи с таким рвением добиваются доверия своего пациента, не скупясь на лживые посулы поправить его здоровье, если не для того, чтобы его воображение пришло на помощь их надувательским предписаниям? Они знают из сочинения, написанного одним из светил их ремесла, что бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарства.

Обо всех этих причудливых и странных вещах я вспомнил совсем недавно в связи с тем, о чем рассказывал наш домашний аптекарь,— его услугами пользовался мой покойный отец,— чело-

век простой, из швейцарцев, а это, как известно, народ ни в какой мере не суетный и не склонный прилгнуть. В течение долгого времени, проживая в Тулузе, он посещал одного больного купца, страдавшего от камней и нуждавшегося по этой причине в частых клистирах, так что врачи, в зависимости от его состояния, прописывали ему по его требованию клистиры разного рода. Их приносили к нему, и он никогда не забывал проверить, все ли в надлежащем порядке; нередко он пробовал также, не слишком ли они горячи. Но вот он улегся в постель, повернулся спиною; все сделано, как полагается, кроме того, что содержимое клистира так и не введено ему внутрь. После этого аптекарь уходит, а пациент устраивается таким образом, словно ему и впрямь был поставлен клистир, ибо все проделанное над ним действовало на него не иначе, как действует это средство на тех, кто по-настоящему применяет его. Если врач находил, что клистир подействовал недостаточно, аптекарь давал ему еще два или три совершенно таких же. Мой рассказчик клянется, что супруга больного, дабы избежать лишних расходов (ибо он оплачивал эти клистиры, как если бы они и в самом деле были ему поставлены) делала неоднократные попытки ограничиться тепловатой водой, но так как это не действовало, проделка ее вскоре открылась и, поскольку ее клистиры не приносили никакой пользы, пришлось возвратиться к старому способу.

Одна женщина, вообразив, что проглотила вместе с хлебом булавку, кричала и мучилась, испытывая, по ее словам, нестерпимую боль в области горла, где якобы и застряла булавка. Но так как не наблюдалось ни опухоли, ни каких-либо изменений снаружи, некий смышленый малый, рассудив, что тут всего-навсего мнительность и фантазия, порожденные тем, что кусочек хлеба оцарапал ей мимоходом горло, вызвал у нее рвоту и подбросил в то, чем ее вытошнило, изогнутую булавку. Женщина, поверив, что она и взаправду извергла булавку, внезапно почувствовала, что боли утихли. Мне известен также и такой случай: один дворянин, попотчевав на славу гостей, через три или четыре дня после этого стал рассказывать в шутку (ибо в действитель-

ности ничего подобного не было), будто он накормил их паштетом из кошачьего мяса. Это ввергло одну девицу из числа тех, кого он принимал у себя, в такой ужас, что у нее сделались рези в желудке, а также горячка, и спасти ее так и не удалось. Даже животные, и те, совсем как люди, подвержены силе своего воображения; доказательством могут служить собаки, которые околевают с тоски, если потеряют хозяина. Мы наблюдаем также, что они тявкают и вздрагивают во сне; а лошади ржут и лягаются.

Но все вышесказанное может найти свое объяснение в тесной связи души с телом, сообщающими друг другу свое состояние. Иное дело, если воображение, как это подчас случается, воздействует не только на свое тело, но и на тело другого. И подобно тому, как больное тело переносит свои немощи на соседей, что видно хотя бы на примере чумы, сифилиса или глазных болезней, переходящих с одного на другого,—

Dum spectant oculi laesos, laeduntur et ipsi:
Multaque corporibus transitione nocent,[14]

так, равным образом, и возбужденное воображение мечет стрелы, способные поражать окружающие предметы. Древние рассказывают о скифских женщинах, которые, распалившись на кого-нибудь гневом, убивали его своим взглядом. Черепахи и страусы высиживают свои яйца исключительно тем, что, не отрываясь, смотрят на них, и это доказывает, что они обладают некоей изливающейся из них силою. Что касается колдунов, то утверждают, будто их взгляды наводят порчу и сглаз:

Nescio qui teneros oculus mihi fascinat agnos.[15]

Чародеи, впрочем, по-моему, плохие ответчики. Но вот что мы знаем на основании опыта: женщины сообщают детям, вынашивая их в своем чреве, черты одолевающих их фантазий; доказательством может служить та, что родила негра. Карлу, королю богемскому и императору, показали как-то одну девицу из Пизы, покрытую густой и длинною шерстью; по словам матери, она ее зачала такою, потому что над ее постелью висел образ Иоанна Крестителя.

То же самое и у животных; доказательство — овны Иакова, а также куропатки и зайцы, выбеленные в горах лежащим там снегом. Недавно мне пришлось наблюдать у себя, как кошка подстерегала сидевшую на дереве птичку; обе они некоторое время смотрели, не сводя глаз, друг на друга, и вдруг птичка как мертвая свалилась кошке прямо в лапы, то ли одурманенная своим собственным воображением, то ли привлеченная какой-то притягательной силой, исходившей от кошки. Любители соколиной охоты знают, конечно, рассказ о сокольничем, который побился об заклад, что, пристально смотря на парящего в небе ястреба, он заставит его, единственно лишь силою своего взгляда, спуститься на землю и, как говорят, добился своего. Впрочем, рассказы, заимствованные мной у других, я оставляю на совести тех, которые меня ими снабдили.

Выводы из всего этого принадлежат мне, и я пришел к ним путем рассуждения, а не опираясь на мой личный опыт. Каждый может добавить к приведенному мной свои собственные примеры, а если кто не располагает ими, то пусть поверит мне, что они легко найдутся, принимая во внимание большое число и разнообразие засвидетельствованных случаев подобного рода. Если приведенные мною примеры не вполне убедительны, пусть другой подыщет более подходящие.

При изучении наших нравов и побуждений, чем я, собственно, и занимаюсь, свидетельства, почерпнутые из вымысла, так же пригодны, как подлинные, при условии, что они не противоречат возможному. Произошло ли это в действительности или нет, случилось ли это в Париже иль в Риме, с Жаном иль Пьером, — вполне безразлично, лишь бы дело шло о той или иной способности человека, которую я с пользою для себя подметил в рассказе. Я ее вижу и извлекаю из нее выгоду, независимо от того, принадлежит ли она теням или живым людям. И из различных уроков, заключенных нередко в подобных историях, я использую для своих целей лишь наиболее необычные и поучительные. Есть писатели, ставящие себе задачей изображать действительные события. Моя же задача — лишь бы я был в состоянии справиться с нею — в том, чтобы изображать вещи, которые могли бы произойти. Школьной

премудрости разрешается — да иначе и быть не могло бы — усматривать сходство между вещами даже тогда, когда на деле его вовсе и нет. Я же ничего такого не делаю и в этом отношении превосхожу своею дотошностью самого строгого историка. В примерах, мною здесь приводимых и почерпнутых из всего того, что мне довелось слышать, самому совершить или сказать, я не позволил себе изменить ни малейшей подробности, как бы малозначительна она ни была. В том, что я знаю,— скажу по совести,— я не отступаю от действительности ни на иоту; ну, а если чего не знаю, прошу за это меня не винить.

Кстати, по этому поводу: порой я задумываюсь над тем, как это может теолог, философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом браться за составление хроник? Как могут они согласовать свое мерило правдоподобия с мерилом толпы? Как могут они отвечать за мысли неизвестных им лиц и выдавать за достоверные факты свои домыслы и предположения? Ведь они, пожалуй, отказались бы дать под присягою показания относительно сколько-нибудь сложных происшествий, случившихся у них на глазах; у них нет, пожалуй, ни одного знакомого им человека, за намерения которого они согласились бы полностью отвечать. Я считаю, что описывать прошлое — меньший риск, чем описывать настоящее, ибо в этом случае писатель отвечает только за точную передачу заимствованного им у других. Некоторые уговаривают меня[16] описать события моего времени; они основываются на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы то ни было, а также что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, ибо судьба доставила мне возможность общаться с вождями различных партий. Но они упускают из виду, что я не взял бы на себя этой задачи за всю славу Саллюстия;[17] что я заклятый враг всяческих обязательств, усидчивости, настойчивости; что нет ничего столь противоречащего моему стилю, как пространное повествование; что я постоянно сам себя прерываю, потому что у меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно и ясно что-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых детей своим невежеством по части самых обыкновенных, употреб-

ляемых в повседневном быту фраз и оборотов. И все же я решился высказать здесь, приспособляя содержание к своим силам, то, что я умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь в поводыри, мои шаги едва ли совпадали б с его шагами. И если бы я был волен располагать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и на мой собственный взгляд и в соответствии с требованиями разума были бы противозаконными и подлежали бы наказанию.[18] Плутарх мог бы сказать о написанном им, что заботы о достоверности, всегда и во всем, тех примеров, к которым он обращается — не его дело; а вот, чтобы они были назидательны для потомства и являлись как бы факелом, озаряющим путь к добродетели — это действительно было его заботой. Предания древности — не то, что какое-нибудь врачебное снадобье; здесь не представляет опасности, составлены ли они так или этак.

Глава XXII

ВЫГОДА ОДНОГО — УЩЕРБ ДЛЯ ДРУГОГО

Демад, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всем необходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишком большой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе, как ценою смерти очень многих людей.[1] Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо, вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других; и потому, если рассуждать как Демад, следовало бы осудить любой заработок.

Купец наживается на мотовстве молодежи; земледелец — благодаря высокой цене на хлеб; строитель — вследствие того, что здания приходят в упадок и разрушаются; судейские — на ссорах и тяжбах между людьми; священники (даже они!) обязаны как почетом, которым их окружают, так и самой своей деятельностью нашей смерти и нашим порокам. Ни один врач,—говорится в одной греческой комедии,— не радуется здоровью даже самых близких своих друзей, ни один солдат — тому, что его родной город в мире со своими соседями, и так далее. Да что там! Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются, по большей части, за счет кого-нибудь другого.

Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесь верна установленному ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели, зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой.

Nam quodcunque suis mutatum finibus exit,
Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante.[2]

Глава XXIII

О ПРИВЫЧКЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО НЕ ПОДОБАЕТ БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ МЕНЯТЬ УКОРЕНИВШИЕСЯ ЗАКОНЫ

Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый придумал сказку[1] о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка и носить его на руках с часа его рождения и продолжая делать то же и дальше, таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал изрядным бычком. И действительно, нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу, украдкой забирает она власть над нами, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укореняется и укрепляется в нас, пока, наконец, не сбрасывает покрова со своего властного и деспотического лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее взгляд. Мы видим, что она постоянно нарушает установленные самой природой правила: Usus efficacissimus rerum omnium magister.[2]

В связи с этим я вспоминаю пещеру Платона в его „Государстве“,[3] а также врачей, которые в угоду привычке столь часто пренебрегают предписаниями своего искусства, и того царя, который приучил свой желудок питаться ядом,[4] и девушку, о которой рассказывает Альберт,[5] что она привыкла употреблять в пищу исключительно пауков.

И в Новой Индии,[6] которая есть целый мир, были обнаружены весьма многолюдные народы, обитающие в различных климатах,

которые также употребляют в пищу, главным образом, пауков; они заготовляют их впрок и откармливают, как, впрочем, и саранчу, муравьев, ящериц и летучих мышей, и однажды во время недостатка в съестных припасах там продали жабу за шесть экю; они жарят их и приготовляют с приправами разного рода. Были найдены и такие народы, для которых наша мясная пища оказалась ядовитою и смертельною. Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nive: in montibus uri se patiuntur. Pugiles caestibus contusi ne ingemiscunt quidem.[7]

Эти позаимствованные в чужих странах примеры не покажутся странными, если мы обратимся к личному опыту и припомним, насколько привычка способствует притуплению наших чувств. Для этого вовсе не требуется прибегать к рассказам о людях, живущих близ порогов Нила, или о том, что философы считают музыкою небес, а именно, будто бы небесные сферы, твердые и гладкие, вращаясь, трутся одна о другую, что неизбежно порождает чудные, исполненные дивной гармонии звуки, следуя ритму и движениям которых перемещаются и изменяют свое положение на небосводе хороводы светил, хотя уши земных существ — так же, как, например, уши египтян, обитающих по соседству с порогами Нила,— по причине непрерывного этого звучания не в состоянии уловить его, сколько бы мощным оно ни было. Кузнецы, мельники и оружейники не могли бы выносить того шума, в котором работают, если бы он поражал их слух так же, как наш. Мой колет из продушенной кожи вначале приятно щекочет мой нос, но если я проношу его, не снимая, три дня подряд, он будет приятен лишь обонянию окружающих. Еще поразительнее, что в нас может образоваться и закрепиться привычка, подчиняющая себе наши органы чувств даже тогда, когда то, что породило ее, воздействует на них не непрерывно, но с промежутками большой длительности; это хорошо знают те, кто обитает поблизости от колокольни. У себя дома я живу в башне, на которой находится большой колокол, вызванивающий на утренней и вечерней заре Ave Maria.[8] Моя башня и та бывает испугана этим трезвоном; в первые дни он и мне казался совершенно невыносимым, но спустя короткое время

я настолько привык к нему, что теперь он вовсе не раздражает, а часто даже и не будит меня.

Платон разбранил одного мальчугана за то, что тот увлекался игрой в бабки. Тот ответил ему: „Ты бранишь меня за безделицу". — „Привычка,— сказал на это Платон,— совсем не безделица".

Я нахожу, что все крупнейшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит, главным образом, от наших кормилиц и нянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отец бывает до такой степени безрассуден, что, видя, как его сын ни за что ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом доброе предзнаменование воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сынок одурачивает, прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущего ему остроумия. В действительности, однако, это не что иное, как семена и корни жестокости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно. Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист, пока он не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менее гадким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оно гадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующий вывод: „Почему такому-то не обмануть на целое экю, коль скоро он обманывает на одно су?" — вместо обычных рассуждений на этот счет: „Ведь он обманул только на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целое экю". Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки, как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы самая мысль о них, какую бы личину они ни носили, была ненавистна им. Я убежден, что, если и посейчас

еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить, что игры детей — вовсе не игры и что правильнее смотреть на них, как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то ни было плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываюсь с такою же щепетильностью, как если бы играл на двойные дублоны,[9] и тогда, когда проигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю с женою и дочерью, и тогда, когда я смотрю на дело иначе. Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить, как подобает, мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.

Недавно я видел у себя дома одного карлика родом из Нанта, безрукого от рождения; он настолько хорошо приучил свои ноги служить ему вместо рук, что они, можно сказать, наполовину забыли возложенные на них природой обязанности. Впрочем, он их и не называет иначе, как своими руками; ими он режет, заряжает пистолет и спускает курок, вдевает нитку в иглу, шьет, пишет, снимает шляпу, причесывается, играет в карты и в кости, бросая их не менее ловко, чем всякий другой; деньги, которые я ему дал (ибо он зарабатывает на жизнь, показывая себя), он принял ногой, как мы бы сделали это рукой. Знал я и другого калеку, еще совсем мальчика, который, будучи также безруким, удерживал подбородком, прижимая его к груди, алебарду и большой меч для обеих рук, подбрасывал и снова ловил их, метал кинжал и щелкал бичом с таким же искусством, как заправский возница-француз.

Но еще легче обнаружить тиранию привычки в тех причудливых представлениях, которые она создает в наших душах, поскольку они меньше сопротивляются ей. Чего только не в силах сделать

она с нашими суждениями и верованиями! Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам ни казалось (я не говорю уже о грубом обмане, лежащем в основе многих религий и одурачившем столько великих народов и умных людей, ибо это за пределами человеческого разумения, и на кого не снизошла благодать божья, тому недолго и заблудиться), так вот, существуют ли такие, непостижимые для нас, взгляды и мнения, которых она не насадила бы и не закрепила в качестве непреложных законов в избранных ею по своему произволу странах? И до чего справедливо это древнее восклицание: Non pudet physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis quaerere testimonium veritatis![10]

Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась бы где-нибудь как общераспространенный обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума. Существуют народы, у которых принято показывать спину тому, с кем здороваешься, и никогда не смотреть на того, кому хочешь засвидетельствовать почтение.[11] Есть и такой народ, у которого, когда царь пожелает плюнуть, одна из придворных дам, и притом та, что пользуется наибольшим благоволением, подставляет для этого свою руку; в другой же стране наиболее влиятельные из царского окружения склоняются при сходных обстоятельствах до земли и подбирают в платок царский плевок.

Уделим здесь место следующей побасенке. Один французский дворянин неизменно сморкался в руку, что является непростительным нарушением наших обычаев. Защищая как-то эту свою привычку (а он был прославленный спорщик), он обратился ко мне с вопросом,— а какие же преимущества имеет это грязное выделение сравнительно с прочими, что мы собираем его в отличное тонкое полотно, завертываем и, что еще хуже, бережно храним при себе? Ведь это же настолько противно, что не лучше ли оставлять его, где попало, как мы и делаем с прочими нашими испражнениями? Я счел его слова не лишенными известного смысла и, при-

выкнув к тому, что он очищает нос описанным способом, перестал обращать на это внимание, хотя, слушая подобные рассказы о чужестранцах, мы находим их омерзительными.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно. Привычка притупляет остроту наших суждений. Дикари для нас нисколько не большее чудо, нежели мы сами для них, да к этому и нет никаких оснований; это признал бы каждый, если б только сумел, познакомившись с чуждыми для нас учреждениями, остановиться затем на привычных и здраво сравнить их между собой. Ведь все наши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик,— а он бесконечен в своих проявлениях, бесконечен в разнообразии,— примерно в одинаковой мере находят обоснование со стороны нашего разума. Но вернусь к моему рассуждению. Существуют народы, у которых никому, кроме жены и детей, не дозволяется обращаться к царю иначе, как через посредствующих лиц. У одного и того же народа девственницы выставляют напоказ наиболее сокровенные части своего тела, тогда как замужние женщины тщательно прикрывают и прячут их. С этим обычаем связан, до некоторой степени, еще один из числа распространенных у них: так как целомудрие ценится только в замужестве, девушкам разрешается отдаваться, кому они пожелают, и, буде они понесут, делать выкидыши с помощью соответствующих снадобий, ни от кого не таясь. Кроме того, если сочетается браком купец, все прочие приглашенные на свадьбу купцы ложатся с новобрачною прежде него, и чем больше их будет, тем больше для нее чести и уважения, ибо это считается свидетельством ее здоровья и силы; если женится должностное лицо, то и тут наблюдается то же самое; так же бывает и на свадьбе знатного человека, и у всех прочих, за исключением земледельцев и других простолюдинов, ибо здесь право первенства — за сеньором; но в замужестве полагается соблюдать безупречную верность. Существуют народы, у которых можно увидеть публичные дома, где содержатся мальчики, и даже браки между мужчинами; существуют также племена, у которых женщины отправляются на войну вместе

с мужьями и не только допускаются к участию в битвах, но подчас и начальствуют над войсками. Бывают народы, где кольца носят не только в носу, на губах, на щеках и больших пальцах ноги, но продевают также довольно тяжелые прутья из золота через соски и ягодицы. Где за едой вытирают руки о ляжки, мошонку и ступни ног. Где дети не наследуют после родителей, но наследниками являются братья и племянники, а бывает и так, что только племянники (впрочем, это не относится к престолонаследию). Где все находится в общем владении и для руководства всеми делами назначают облеченных верховною властью должностных лиц, которые и несут заботу о возделывании земли и распределении взращенных ею плодов в соответствии с нуждами каждого. Где оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков. Где на общее ложе укладывается десять или двенадцать супружеских пар. Где женщины, чьи мужья погибли насильственной смертью, могут выйти замуж вторично, тогда как всем прочим это запрещено. Где женщины ценятся до того низко, что всех новорожденных девочек безжалостно убивают; женщин же для своих нужд они покупают у соседних народов. Где муж может оставить жену без объяснения причин, тогда как жена не может этого сделать, на какие бы причины она ни ссылалась. Где муж вправе продать жену, если она бесплодна. Где вываривают трупы покойников, а затем растирают их, пока не получится нечто вроде кашицы, которую смешивают с вином, и потом пьют этот напиток. Где самый желанный вид погребения — это быть отданным на съедение собакам, а в других местах — птицам. Где верят, что души, вкушающие блаженство, наслаждаются полной свободой, обитая в прелестных полях и испытывая самые разнообразные удовольствия, и что это они порождают эхо, которое нам доводится иногда слышать. Где сражаются только в воде и, плавая, метко стреляют из лука. Где в знак покорности нужно поднять плечи и опустить голову, а входя в жилище царя, разуться. Где у евнухов, охраняющих женщин, посвятивших себя религии, отрезают вдобавок еще носы и губы, чтобы их нельзя было любить, а священнослужители выкалывают себе глаза, дабы приблизиться к демонам

и принимать их прорицания. Где каждый создает себе бога из всего, чего бы ни захотел: охотник — из льва или лисицы; рыбак — из той или иной рыбы, и они творят идолов из любого действия человеческого и из любой страсти; их главные боги: солнце, луна и земля; клянутся же они следующим образом: нужно прикоснуться рукой к земле, обратив глаза к солнцу; и они едят мясо и рыбу сырыми. Где самая страшная клятва — поклясться именем какого-нибудь покойника, который пользовался доброю славой в стране, прикоснувшись рукой к его могиле. Где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылает князьям, своим подданным, огонь из своего очага; и когда прибывает царский гонец, доставляющий этот огонь, все огни, до этого горевшие в княжеском дворце, должны быть погашены; а вассалы князей должны в свою очередь заимствовать у них этот огонь под страхом кары за оскорбление величества. Где царь, желая отдаться целиком благочестию (а это случается у них достаточно часто), отрекается от престола, и тогда ближайший наследник его обязан поступить так же, а власть переходит к следующему. Где изменяют образ правления в государстве в соответствии с требованиями обстоятельств: царя, когда им кажется это нужным, они смещают, а на его место ставят старейшин, чтобы они управляли страной; иногда же всеми делами вершит община. Где и мужчины и женщины подвергаются обрезанию, а вместе с тем и крещению. Где солдат, которому удалось принести своему государю после одной или нескольких битв семь или больше голов неприятеля, причисляется к знати. Где люди живут в варварском и столь непривычном для нас убеждении, что души — смертны. Где женщины рожают без стонов и страха. Где на обоих коленях они носят медные наколенники; они же, когда их искусает вошь, обязаны, следуя долгу великодушия, в свою очередь укусить ее; они же не смеют выходить замуж, не предложив прежде царю, если он того пожелает, своей девственности. Где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Где мужчины носят тяжести на голове, а женщины — на плечах; там же женщины мочатся стоя, тогда как мужчины — присев. Где в знак дружбы посылают немного собственной крови и жгут ароматы, словно

в честь богов, перед людьми, которым желают воздать почет. Где в браках не допускают родства, и не только до четвертой ступени, но и до любой, сколько бы далекой она ни была. Где детей кормят грудью целых четыре года, а часто и до двенадцати лет; но там же считают смертельно опасным для ребенка дать ему грудь в первый день после рождения. Где отцам надлежит наказывать мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям; наказание же у них состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают, подвесив за ноги над очагом. Где женщин подвергают обрезанию. Где едят всякие произрастающие у них травы, отказываясь только от тех, которые кажутся им дурно пахнущими. Где все постоянно открыто, и дома, какими бы красивыми и богатыми они ни были, не имеют ни окон, ни дверей, и в них не найти сундука, который запирался бы на замок; для вора же у них наказания вдвое строже, чем где бы то ни было. Где вшей щелкают зубами, как это делают обезьяны, и находят отвратительным, если кто-нибудь раздавит их ногтем. Где ни разу в жизни не стригут ни волос, ни ногтей; а в других местах стригут ногти только на правой руке, на левой же их отращивают красоты ради. Где отпускают волосы, как бы они ни выросли, с правой стороны и бреют их с левой. А в землях, находящихся по соседству, в одной — отращивают волосы спереди, в другой, наоборот, — сзади, а спереди бреют. Где отцы предоставляют своих детей, а мужья жен на утеху гостям, получая за это плату. Где не считают постыдным иметь детей от собственной матери; у них же в порядке вещей, если отец сожительствует с дочерью или с сыном. Где на торжественных праздниках обмениваются на утеху друг другу своими детьми.

Здесь питаются человеческим мясом, там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного возраста; еще где-нибудь отцы решают участь ребенка, пока он еще во чреве матери,— сохранить ли ему жизнь и воспитать его или, напротив, покинуть без присмотра и убить; еще в каком-нибудь месте мужья престарелого возраста предлагают юношам своих жен, чтобы те услужили им; бывает и так, что жены считаются общими, и в этом никто не усматривает греха; есть даже такая страна, где женщины носят

на подоле одежды в качестве почетного знака отличия столько нарядных кисточек с бахромой, скольких мужчин они познали за свою жизнь. Не обычай ли породил особое женское государство? Не он ли вложил в руки женщин оружие? Не он ли образовал из них батальоны и повел их в бой? И чего не в силах втемяшить в мудрейшие головы философия, не внушает ли обычай своей властью самому темному простолюдину? Ведь мы знаем о существовании целых народов, которые не только с презрением относятся к смерти, но встречают ее даже с радостью, народов, у которых семилетние дети дают засечь себя насмерть, не меняясь даже в лице; где богатством гнушаются до того, что самый обездоленный горожанин счел бы ниже своего достоинства протянуть руку, чтобы поднять кошелек, полный золота. Нам известны также чрезвычайно плодородные и обильные всякими съестными припасами области, где, тем не менее, обычной и самой лакомой пищей считают хлеб, дикий салат и воду.

Не обычай ли сотворил чудо на острове Хиосе, где за целых семьсот лет не запомнили случая нарушения какой-нибудь женщиной или девушкой своей чести?

Короче говоря, насколько я могу представить себе, нет ничего, чего бы он не творил, ничего, чего бы не мог сотворить; и если Пиндар, как мне сообщили, назвал его „царем и повелителем мира“,[12] то он имел для этого все основания.

Некто, застигнутый на том, что избивал собственного отца, ответил, что таков обычай, принятый в их роду; что отец его также, бывало, поколачивал деда, а дед, в свою очередь, прадеда; и, указывая на своего сына, добавил: „А этот, достигнув возраста, в котором ныне нахожусь я, будет делать то же со мною“.

И когда сын, схватив отца, тащил его за собой по улице, тот велел ему остановиться у некоей двери, ибо он сам, по его словам, никогда не волочил своего отца дальше; здесь проходила черта, за которую дети, руководствуясь унаследованным семейным обычаем, никогда не тащили своих отцов, подвергая их поношению. По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель, женщины вырывают у себя волосы, грызут ногти, поедают

уголь и землю;[13] и скорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем следуя естественной склонности, мужчины сожительствуют с мужчинами.

Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой природой, порождаются, в действительности, тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе хвалы.

Жители Крита в прежние времена, желая подвергнуть кого-либо проклятию, молили богов, чтобы те наслали на него какую-нибудь дурную привычку.

Но могущество привычки особенно явственно наблюдается в следующем: она связывает нас в такой мере и настолько подчиняет себе, что лишь с огромным трудом удается нам избавиться от ее власти и вернуть себе независимость, необходимую для того, чтобы рассмотреть и обсудить ее предписания. В самом деле, поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены итти тем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которые мы находим вокруг себя, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутся нам всеобщими и естественными.

Отсюда и проистекает, что все отклонения от обычая считаются отклонениями от разума,— и одному богу известно, насколько, по большей части, неразумно. Если бы и другие изучали себя, как мы, и делали то же, что мы, всякий, услышав какое-нибудь мудрое изречение, постарался бы немедленно разобраться, в какой мере оно применимо к нему самому,— и тогда он понял бы, что это не только меткое слово, но и хлесткий удар бича по глупости его обычных суждений. Но эти советы и предписания истины всякий желает воспринимать, как обращенные к людям вообще, а не лично к нему; и вместо того, чтобы применить их к собственным нравам, их складывают у себя в памяти, а это — занятие

весьма нелепое и бесполезное. Вернемся, однако, к тирании обычая.

Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобный случай к изменению государственного порядка ни предоставила им судьба, они даже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудь невыносимого государя, торопятся посадить на его место другого, ибо не могут решиться возненавидеть порабощение.[14]

Дарий как-то спросил нескольких греков, за какую награду они согласились бы усвоить обычай индусов поедать своих покойных отцов (ибо это было принято между ними, поскольку они считали, что нет лучшего погребения, как внутри своих близких); они на это ответили, что ни за какие блага на свете. Но когда Дарий попытался убедить индусов отказаться от их способа погребения и перенять греческий способ, состоявший в сжигании на костре умерших отцов, он привел их в еще больший ужас, чем греков. И всякий из нас делает то же, ибо привычка заслоняет собою подлинный облик вещей;

> Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam
> Principio, quod non minuant mirarier omnes
> Paulatim.[15]

Некогда, желая укрепить одно наше довольно распространенное мнение, считаемое многими непререкаемым, и не довольствуясь, как это делается обычно, простой ссылкой на законы и на соответствующие примеры, но стремясь, как всегда, добраться до самого корня, я нашел его основание до такой степени шатким, что едва сам не отрекся от него,— и это я, который ставил своей задачей убедить в его правильности других.

Вот тот способ, который Платон, добиваясь искоренения противоестественных видов любви, пользовавшихся в его время распространением, считает всемогущим и основным: добиться, чтобы общественное мнение решительно осудило их, чтобы поэты

клеймили их, чтобы каждый их высмеивал. И это есть способ, которому мы обязаны тем, что самые красивые дочери не возбуждают больше страсти в отцах, а братья, какой бы они выдающейся красотою ни отличались,— в сестрах; и даже сказания о Фиесте, Эдипе и Макарее, наряду с удовольствием, доставляемым декламацией этих прекрасных стихов, закрепляют, по мнению Платона,[16] в податливом детском мозгу это полезное предостережение.

Надо правду сказать, целомудрие — прекрасная добродетель, и как велика его польза — известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться его соблюдения, опираясь на обычай, законы и предписания. Обосновать изначальные и всеобщие истины не так-то просто. И наши наставники, скользя по верхам, торопятся поскорее подальше или, даже не осмеливаясь коснуться этих вопросов, сразу же ищут прибежища под сенью обычая, где пыжатся от преисполняющего их чванства и торжествуют. Те же, кто не желают черпать ниоткуда, кроме первоисточника, т. е. природы, впадают в еще большие заблуждения и высказывают дикие взгляды, как, например, этот Хрисипп,[17] во многих местах своих сочинений показавший, с какой снисходительностью он относился к кровосмесительным связям, какими бы они ни были. Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но, вместе с тем, и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиною и разумом, такой человек почувствует, что, хотя прежние суждения его и полетели кувырком, все же почва под ногами у него стала тверже. И тогда, например, я спрошу у него: возможно ли что-нибудь более удивительное, чем то, что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые были всегда загадкой для него, что во всех своих семейных делах, браках, дарственных, завещаниях, в купле, в продаже он связан правилами, которых

не в состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке, вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупать за деньги?[18] Все это ни в малой степени не похоже на остроумное предложение Исократа, советующего своему государю обеспечить возможность подданным свободно, прибыльно и беспрепятственно торговать, но, вместе с тем, сделать для них разорительными, обложив высокой пошлиной, ссоры и распри,[19] но вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум, и тот является предметом торговли, а законы — рыночным товаром. И я бесконечно благодарен судьбе, что первым, как сообщают наши историки, кто воспротивился намерению Карла Великого ввести у нас римское и имперское право, был некий дворянин из Гаскони, мой земляк.[20] Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у которого на основании освященного законом обычая судебные должности продаются,[21] а приговоры оплачиваются звонкой монетой; где, опять-таки, совершенно законно отказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него; где эта торговля приобретает такие размеры, что создает в государстве в добавление к трем прежним сословиям — церкви, дворянству и простому народу — еще и четвертое, состоящее из тех, в чьем ведении находится суд; это последнее, имея попечение о законах и самовластно распоряжаясь жизнью и имуществом граждан, является, наряду с дворянством, некоей обособленной корпорацией. Отсюда и возникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законы чести и те, на которых покоится правосудие. Первые, например, сурово осуждают того, кто, будучи обвинен во лжи, стерпит подобное обвинение, тогда как вторые — отмщающего за него. По законам рыцарского оружия такой-то, если снесет оскорбление, лишается чести и дворянского достоинства, тогда как по гражданским законам тот, кто мстит, подлежит уголовному наказанию. Значит, тот, кто обратится к закону, дабы защитить свою оскорбленную честь, обесчещивает себя, а кто не обратится к нему, того закон преследует и карает. И разве, действительно, не является величайшею дикостью, что из этих двух столь раз-

личных сословий, подчиненных, однако, одному и тому же властителю, одно заботится о войне, другое печется о мире; удел одного — выгода, удел другого — честь; удел одного — ученость, удел другого — доблесть; у одного — слово, у другого — дело; у одного — справедливость, у другого — отвага; у одного — разум, у другого — сила; у одного — долгополая мантия, у другого — короткий камзол.

Что до вещей менее важных, как, например, нашего платья, то тому, кто вздумал бы согласовать его с подлинным его назначением, а именно, служить нашему телу и доставлять ему возможно больше удобств, — что и определило изящество и благопристойность одежды при ее появлении, — я укажу лишь на самое что ни на есть чудовищное из того, что, по-моему, можно представить себе, и, среди прочего, на наши квадратные головные уборы, на этот длинный, свисающий с головы наших женщин хвост из собранного складками бархата, расшитого, к тому же, пестрыми украшениями, и, наконец, на нелепое и бесполезное подобие того органа, назвать который мы не можем, не нарушая приличия, и воспроизведение которого, да еще во всем блеске наряда, показываем, тем не менее, всему честному народу. Эти соображения не отвращают, однако, разумного человека от следования общепринятой моде; более того, хотя мне и кажется, что все выдумки и причуды в покрое нашего платья порождены скорее сумасбродством и спесью, чем действительной целесообразностью, и что мудрец должен внутренне оберегать свою душу от всякого гнета, дабы сохранить ей свободу и возможность свободно судить обо всем, — тем не менее, когда дело идет о внешнем, он вынужден строго придерживаться принятых правил и форм. Обществу нет ни малейшего дела до наших воззрений; но все остальное, как то: нашу деятельность, наши труды, наше состояние и самую жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а также на суд, как поступил этот чудесный и великий Сократ, отказавшийся спасти свою жизнь лишь на том основании, что это явилось бы неповиновением власти, пусть даже весьма неправедной и пристрастной. Ибо правило правил и главнейший закон законов

заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой живет:

Νόμοις ἕπεσθαι τοῖσιν ἐγχωρίοις καλόν.[22]

А вот кое-что в ином роде. Весьма сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы он ни был, принести столь очевидную пользу, чтобы перевесить то зло, которое возникает, если его потревожить; ведь государство можно в некоторых отношениях уподобить строению, сложенному из отдельных, связанных между собою частей, вследствие чего нельзя хоть немного поколебать даже одну среди них без того, чтобы это не отразилось на целом. Законодатель фурийцев велел, чтобы всякий, стремящийся уничтожить какой-нибудь из старых законов или ввести в действие новый, выходил пред народом с веревкой на шее с тем, чтобы, если предлагаемое им новшество не найдет единогласного одобрения, быть удавленным тут же на месте.[23] А законодатель лакедемонян[24] посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться от сограждан твердого обещания не отменять ни одного из его предписаний. Эфор, так безжалостно оборвавший две новых струны, добавленных Фринисом к его музыкальному инструменту,[25] не задавался вопросом, улучшил ли Фринис свой инструмент и обогатил ли его аккорды; для осуждения этого новшества ему было достаточно и того, что старый, привычный образец претерпел изменение; то же знаменовал собой и древний заржавленный меч правосудия, который бережно хранился в Марселе.[26]

Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы обличии они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают. То из них, которое угнетает нас в течение уже стольких лет, не было, правда, непосредственною причиною всего происшедшего; но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что именно в нем, в силу несчастного стечения обстоятельств, первопричина и корень всего, даже тех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без и помимо его участия.[27] Пусть оно пеняет поэтому на себя самого.

Heu! patior telis vulnera facta meis.[28]

Те, кто расшатывают государственный строй, первыми, чаще всего, и гибнут при его разрушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие. Так как целость и единство нашей монархии были нарушены упомянутым новшеством, и ее величественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как это произошло, к тому же, в ее преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих собою как бы ворота для названных бедствий. Величие государя,— говорит некий древний писатель,— труднее низвести от его вершины до половины, чем низвергнуть от половины до основания.

Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, ибо они следуют образцам, зло и ужас которых с такой силой ощутили и в свое время покарали.[29] И если даже злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежат именно им.

Все виды новейших бесчинств с легкостью черпают образцы и наставления, как потрясать государственный строй, из этого главнейшего и неиссякаемого источника. Даже в наших законах, созданных с целью пресечения этого изначального зла, и то можно найти наставления, как творить злодеяния всякого рода, и попытки оправдания их. С нами происходит теперь то самое, о чем говорит Фукидид,[30] повествуя о гражданских войнах своего времени; тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давали им не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, окрещивали словами новыми и менее резкими. И таким-то способом хотят подействовать на нашу совесть и исправить наши взгляды! Honesta oratio est.[31] Однако как бы благовиден ни был предлог, все же всякое новшество чревато опасностями: adeo nihil motum ex antiquo probabile est.[32] Мне представляется, говоря начистоту, чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои

взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества не останавливаться пред нарушением общественного спокойствия, пред столькими неизбежными бедствиями и ужасающей порчей нравов, которую приносят с собой гражданские войны, пред изменениями в государственном строе, что влечет за собой столь значительные последствия, чтобы не останавливаться пред всем этим, да еще в своей собственной стране. И не просчитывается ли тот, кто развязывает эти достаточно хорошо известные и познанные на деле пороки, дабы искоренить недостатки, в сущности, спорные и сомнительные? И есть ли пороки худшие, нежели те, которые нестерпимы для собственной совести и для здравого смысла?[33]

Римский сенат в разгар распри с народом по поводу распределения жреческих должностей, решился прибегнуть к уловке такого рода: Ad deos id magis quam ad se, pertinere: ipsos visuros ne sacra sua polluantur,[34]— подражая в этом ответу оракула жителям Дельф во время греко-персидской войны. Опасаясь вторжения персов, дельфийцы обратились к Аполлону с вопросом, что им делать со святынями его храма — укрыть ли их где-нибудь или же вывезти. Он ответил на это, чтобы они ничего не трогали: пусть они заботятся о себе, а он уж сам сумеет охранить свою собственность.

Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого и полезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, как выраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться властям и поддерживать существующий государственный строй. Какой поразительный пример оставила нам премудрость господня, которая, стремясь спасти род человеческий и осуществить свою славную победу над смертью и над грехом, пожелала свершить это не иначе, как опираясь на наше общественное устройство и поставив достижение и осуществление этой великой и благостной цели в зависимость от слепоты и неправедности наших обычаев и воззрений, допустив, равным образом, чтобы лилась невинная кровь столь многих возлюбленных чад ее и мирясь с потерею длинной чреды годов, пока не созреет этот бесценный плод.

Между подчиняющимся обычаям и законам своей страны и тем, кто норовит подняться над ними и сменить их на новые,— целая пропасть. Первый ссылается в свое оправдание на простосердечие, покорность, а также на пример других; что бы ни довелось ему сделать, это не будет намеренным злом, в худшем случае — лишь несчастьем. Quis est enim quem non moveat clarissimis monumentis testata consignataque antiquitas?[35]

Сверх того, как говорит Исократ, недобор ближе к умеренности, чем перебор.[36] Второй оправдывать гораздо труднее.

Ибо, кто берется выбирать и вносить изменения, тот присваивает себе право судить и должен поэтому быть твердо уверен в ошибочности отменяемого им и в полезности им вводимого. Это столь нехитрое соображение и заставило меня засесть у себя в углу; даже во времена моей юности — а она была много дерзостнее — я поставил себе за правило не взваливать на свои плечи непосильной для меня ноши, не брать на себя ответственности за решения столь исключительной важности, не осмеливаться на то, на что я не мог бы осмелиться, рассуждая здраво, даже в наиболее простом из того, чему меня обучали, хотя смелость суждений в последнем случае и не могла бы ничему повредить. Мне кажется в высшей степени несправедливым стремление подчинить отстоявшиеся общественные правила и учреждения непостоянству частного произвола (ибо частный разум обладает лишь частной юрисдикцией) и, тем более, предпринимать против законов божеских то, чего не потерпела бы ни одна власть на свете в отношении законов гражданских, которые, хотя и более по плечу уму человеческому, все же являются верховными судьями своих судей; самое большее, на что мы способны, это объяснять и распространять применение уже принятого, но отнюдь не отменять его и заменять новым. Если божественное провидение и преступало порою правила, которыми оно по необходимости поставило нам пределы, то вовсе не для того, чтобы освободить и нас от подчинения им. Это мановения его божественной длани, и не подражать им, но проникаться изумлением перед ними, вот что должно нам делать: это случаи исключительные, отмеченные печатью ясно выраженного особого умысла,

из разряда чудес, являемых нам как свидетельство его всемогущества и превышающих наши силы и наши возможности; было бы безумием и кощунством тщиться воспроизвести что-либо подобное,— и мы должны не следовать им, но с трепетом созерцать их. Это деяния, доступные божеству, но не нам.

Здесь весьма уместно привести слова Котты: Quum de religione agitur T. Coruncanium, P. Scipionem, P. Scaevolam, pontifices maximos, non Zenonem aut Cleanthem aut Chrysippum, sequor.[37]

В настоящее время мы охвачены распрей: дело идет о том, чтобы убрать и заменить новыми целую сотню догматов, и каких важных и значительных догматов; а много ли найдется таких, которые могли бы похвастаться, что им досконально известны доводы и основания как той, так и другой стороны? Число их окажется столь незначительным — если только это и впрямь можно назвать числом,— что они не могли бы вызвать между нами смятения. Но все остальное скопище — куда несется оно? Под каким знаменем устремляются вперед нападающие? Здесь происходит то же, что с иным слабым и неудачно примененным лекарством; те вредные соки организма, которые ему надлежало б изгнать, оно на самом деле, столкнувшись с ними, только разгорячило, усилило и раздражило, а затем, наделав всех этих бед, осталось бродить в нашем теле. Оно не смогло освободить нас от болезни из-за своей слабости и, вместе с тем, ослабило нас настолько, что мы не в состоянии побороть его, и его действие сказывается лишь в том, что нас мучат долго не прекращающиеся боли во внутренностях.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегда превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько потесниться и кое в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободою действий, для кого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его намерениям, кто не знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят ему выгоду, неправильно и опасно:

Aditum nocendi perfido praestat fides.[38] Но ведь обычный правопорядок в государстве, пребывающем в полном здравии, не предусматривает подобных исключительных случаев: он имеет в виду упорядоченное сообщество, опирающееся на свои основные устои и выполняющее свои обязанности, а также согласие всех соблюдать его и повиноваться ему. Действовать, придерживаясь закона, значит — действовать спокойно, размеренно, сдержанно, а это вовсе не то, что требуется в борьбе с действиями бесчинными и необузданными.

Известно, что и посейчас еще упрекают двух великих государственных деятелей, Октавия и Катона, за то, что первый во время гражданской войны с Суллою, а второй — с Цезарем готовы были скорее подвергнуть свое отечество самым крайним опасностям, чем оказать ему помощь, нарушив законы, и ни за что не соглашались хоть в чем-нибудь поколебать эти последние. Но в случаях крайней необходимости, когда все заключается в том, чтобы как-нибудь устоять, иной раз и впрямь благоразумнее опустить голову и стерпеть удар, чем биться сверх сил, не желая ни в чем уступить и доставляя возможность насилию подмять все под себя и попрать его.[39] И пусть лучше законы домогаются лишь того, что им под силу, когда им не под силу все то, чего они домогаются. Так, например, поступил тот, кто приказал, чтобы они заснули на двадцать четыре часа,[40] и таким образом урезал на этот раз календарь на один день, и тот, кто превратил июнь во второй май.[41] Даже лакедемоняне, которые с таким усердием соблюдали законы своей страны, как-то раз, будучи связаны одним из своих законов, воспрещавшим вторичное избрание начальником флота того же лица,— а между тем обстоятельства настоятельно требовали от них, чтобы эту должность снова занял Лисандр,[42] — нашли выход в том, что поставили начальником флота Арака, а Лисандра назначили „главным распорядителем“ морских сил. Подобной же уловкой воспользовался один их посол, который был направлен ими к афинянам с тем, чтобы добиться отмены какого-то изданного этими последними распоряжения. Когда Перикл в ответ сослался на то, что строжайшим образом запрещается убирать доску, на которой начер-

тан какой-нибудь закон, посол предложил повернуть доску обратною стороной, так как это, во всяком случае, не запрещается. Это то, наконец, за что Плутарх воздает хвалу Филопэмену: рожденный повелевать, он умел повелевать не только согласно с законами, но в случае общественной необходимости и самими законами.[43]

Глава XXIV

ПРИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ НАМЕРЕНИЯХ ВОСПОСЛЕДОВАТЬ МОЖЕТ РАЗНОЕ

Жак Амио,[1] главный придворный священник и раздаватель милостыни французского короля, рассказал мне как-то про одного нашего принца[2] (кто — другой, а этот был наш с головы до пят, даром что по происхождению чужеземец) нижеследующую, делающую ему честь историю. Вскоре после того, как начались наши смуты, во время осады Руана,[3] этот принц был извещен королевою-матерью,[4] что на его жизнь готовится покушение, причем в письме королевы точно указывалось, кто именно должен его прикончить. Это был один не-то анжуйский, не-то менский дворянин, постоянно, в указанных целях, бывавший в доме принца. Принц никого не поставил в известность об этом предупреждении. Но, прогуливаясь на следующий день на горе святой Екатерины, откуда бомбардировали Руан (ибо в ту пору мы его осаждали) и имея рядом с собой вышеназванного главного придворного священника и еще одного епископа, он заметил этого дворянина, которого знал в лицо, и велел, чтобы его позвали к нему. Когда тот предстал перед ним, принц, видя, что он побледнел и дрожит, ибо совесть его была нечиста, сказал ему следующее: „Господин такой-то, вы догадываетесь, конечно, чего я хочу от вас; это написано на вашем лице. Вам следует признаться во всем, ибо я настолько осведомлен в вашем деле, что, пытаясь отпереться, вы только ухудшите свое положение. Вы отлично знаете о том-то

и том-то (тут он выложил ему решительно все, вплоть до мельчайших подробностей, касающихся заговора). Так не играйте же своей жизнью и расскажите всю правду о своем умысле". Когда бедняга окончательно понял, что он пойман с поличным и что от этого никуда не уйти (ибо их заговор открыл королеве один из его сообщников), ему ничего другого не оставалось, как, сложив умоляюще руки, просить принца о милости и пощаде; и он уже готовился пасть ему в ноги, но тот, удержав его, продолжал таким образом: „Послушайте: обидел ли я вас когда-нибудь? Преследовал ли я кого-нибудь из ваших друзей своей ненавистью? Всего три недели, как я знаком с вами; что же могло побудить вас покуситься на мою жизнь?". Дворянин, запинаясь, ответил, что никаких особых причин у него не было, но что он руководствовался интересами своей партии; его убедили, будто уничтожение столь могущественного врага их веры, каким бы способом оно ни было выполнено, будет делом, угодным богу. „А я,— продолжал принц,— хочу показать вам воочию, насколько вера, которую я считаю своей, незлобивее той, которой придерживаетесь вы. Ваша годала вам совет убить меня, даже не выслушав, хотя я ничем не обидел вас; моя же требует, чтобы я даровал вам прощение, хотя вы полностью изобличены в том, что готовились злодейски прикончить меня, не имея к этому ни малейшего основания. Ступайте, идите прочь, и чтоб я вас здесь больше не видел. И если вы обладаете хоть крупицей благоразумия, выбирайте себе в советники, принимаясь за дело, более честных людей".

Император Август, находясь в Галлии, получил достоверное сообщение о составленном против него Люцием Цинной заговоре; решив покарать его, он велел вызвать своих ближайших друзей на совет, назначив его на следующий день. Ночь накануне совета он провел, однако, чрезвычайно тревожно, мучимый мыслью, что обрекает на смерть молодого человека хорошего рода, племянника прославленного Помпея. Сетуя на трудность своего положения, он перебирал всевозможные доводы: „Так что же,— говорил он,— неужели нужно сказать себе: пребывай в тревоге и страхе и отпусти своего убийцу разгуливать на свободе? Неужели

допустить, чтобы он ушел невредимым,— он, покусившийся на мою жизнь, которую я сберег в стольких гражданских войнах, в стольких сражениях на суше и море? Неужели простить того, что умыслил не только убить меня — и когда! после того, что я установил мир во всем мире!— но и воспользоваться мною самим, как жертвой, приносимой богам?". Ибо заговорщики предполагали убить его в то время, когда он будет совершать жертвоприношение. Затем, помолчав некоторое время, он снова, и еще более твердым голосом, продолжал, обращаясь к самому себе: „К чему тебе жить, если столь многие хотят твоей смерти? Где же конец твоему мщению и жестокостям? Стоит ли твоя жизнь затрат, необходимых для ее сбережения?". Тогда жена его Ливия, слыша все эти сетования, сказала ему: „А не может ли жена подать тебе добрый совет? Поступи так, как поступают врачи: когда обычные лекарства не помогают, они испытывают те, которые оказывают противоположное действие. Суровостью ты ничего не добился: за Сальвидиеном последовал Лепид, за Лепидом — Мурена, за Мureной — Цепион, за Цепионом — Эгнаций. Испытай, не помогут ли тебе мягкость и милосердие. Цинна изобличен, но прости его — ведь вредить тебе он больше не сможет, — а это послужит к увеличению твоей славы". Август был очень доволен, что нашел поддержку своим добрым намерениям. Поблагодарив жену и отменив прежнее приказание о созыве друзей на совет, он велел призвать к себе только Цинну. Удалив всех из покоев и усадив Цинну, он сказал ему следующее: „Прежде всего, Цинна, я хочу, чтобы ты спокойно выслушал меня. Давай условимся, что ты не станешь прерывать мою речь; я предоставлю тебе возможность в свое время ответить. Ты очень хорошо знаешь, Цинна, что я захватил тебя в стане моих врагов, причем ты не то чтобы сделался мне врагом: ты, можно сказать, враг мой от рождения; однако я пощадил тебя; я возвратил тебе все, что было отнято у тебя и чем ты владеешь теперь; наконец, я обеспечил тебе изобилие и богатство в такой степени, что победители, в данном случае, завидуют побежденному. Ты попросил у меня должность жреца, и я удовлетворил твою просьбу, отказав в этом другим,

чьи отцы сражались бок о бок со мной. И вот, хотя ты кругом предо мною в долгу, ты замыслил убить меня!". Когда Цинна в ответ на это воскликнул, что он и не помышлял о подобном злодеянии, Август заметил: „Ты забыл, Цинна, о нашем условии; ведь ты обещал, что не станешь прерывать мою речь. Да, ты замыслил убить меня там-то, в такой-то день, при участии таких-то лиц и таким-то способом". Видя, что Цинна глубоко потрясен услышанным и молчит, но на этот раз не потому, что таков был уговор между ними, но потому, что его мучит совесть, Август добавил: „Что же толкает тебя на это? Или, быть может, ты сам метишь сделаться императором? Воистину, плачевны дела в государстве, если только я один стою на твоем пути к императорской власти. Ведь ты не в состоянии даже защитить своих близких и совсем недавно проиграл тяжбу из-за вмешательства какого-то вольноотпущенника. Или, быть может, у тебя не хватает ни возможностей, ни власти ни на что иное, кроме того как покуситься на жизнь цезаря? Я готов уступить и отойти в сторону, если только помимо меня нет никого, кто препятствует твоим надеждам. Неужели ты думаешь, что Фабий, сторонники Коссов или Сервилиев[5] потерпят тебя? Что примирится с тобою многолюдная толпа знатных,— знатных не только по имени, но делающих своими добродетелями честь своей знатности?". И после многого в этом же роде (ибо он говорил более двух часов) Август сказал ему: „Ну так вот что: я дарую тебе жизнь, Цинна, тебе, изменнику и убийце, как некогда уже даровал ее, когда ты был просто моим врагом; но отныне между нами должна быть дружба. Посмотрим, кто из нас двоих окажется прямодушнее, я ли, подаривший тебе жизнь, или ты, получивший ее из моих рук?". На этом они расстались. Некоторое время спустя Август предоставил Цинне должность консула, попеняв за то, что тот сам не обратился к нему с просьбой об этом. С этой поры Цинна сделался одним из наиболее любимых его приближенных, и Август назначил его единственным наследником своего достояния. После этого случая, имевшего место, когда Августу шел сороковой год, за всю его жизнь не было больше ни одного заговора против него, ни одного покушения на

него, и он был, можно сказать, справедливо вознагражден за свою снисходительность. Но совсем иначе случилось с нашим принцем, ибо мягкость нимало не помогла ему, и он попался впоследствии в расставленные ему сети предательства.[6] Вот до чего неверная и ненадежная вещь — человеческое благоразумие; ибо наперекор всем нашим планам, решениям и предосторожностям судьба всегда удерживает в своих руках власть над событиями.

Когда врачам удается добиться благоприятного исхода лечения, мы говорим, что им посчастливилось,— как будто их искусство единственное, которому требуется поддержка извне, так как, имея слишком шаткие основания, оно не может держаться собственной силою; как будто только оно нуждается в том, чтобы к его действиям приложила руку удача. Я готов думать о врачебном искусстве все, что угодно, и самое худшее и самое лучшее, ибо, благодарение богу, мы не водим с ним никакого знакомства. В этом смысле я составляю противоположность всем прочим, так как всегда, при любых обстоятельствах, пренебрегаю его услугами; а когда мне случается заболеть, то, вместо того, чтобы смириться пред ним, я начинаю еще вдобавок ненавидеть и страшиться его. Тем, кто побуждает меня принять лекарство, я отвечаю обычно, чтобы они обождали, по крайней мере, пока у меня восстановятся здоровье и силы, дабы я мог противостоять с бо́льшим успехом действию их настоя и таящимся в нем опасностям. Я предоставляю полную свободу природе, полагая, что она имеет зубы и когти, чтобы отбиваться от совершаемых на нее нападений и поддерживать здание, распада которого она всячески старается избежать. И поскольку, вступая в схватку с недугом, она входит в тесное соприкосновение с ним, я опасаюсь, как бы лекарство, вместо того чтобы оказать ей содействие, не помогло бы ее противнику и не возложило на нее еще больше работы.

Итак, я утверждаю, что не в одной медицине, но и в других, менее шатких искусствах, фортуне принадлежит далеко не последнее место. А приливы вдохновения, захватывающие и уносящие ввысь поэта,— почему бы и их не приписывать его удаче? Ведь он и сам признает, что они превосходят то, чего могли бы достиг-

нуть его силы и дарования; ведь он и сам ощущает, что они пришли к нему помимо него и от него не зависят. То же самое говорят и ораторы, признающие, что они не властны над охватывающим их порывом и необыкновенным волнением, увлекающими их дальше первоначального их намерения. Так же точно и в живописи, ибо и здесь рука живописца создает порою творения, превосходящие и его замыслы и меру его мастерства, творения, восхищающие и изумляющие его самого. Но сколь велика в этих произведениях доля удачи, видно особенно явственно из наличных здесь черт изящества и красоты, которые возникли без всякого намерения и даже без ведома художника. Смыслящий в этих вещах читатель нередко находит в чужих сочинениях совершенства совсем иного рода, нежели те, какие хотел вложить в них и усматривал сам автор, и благодаря этому придает им более глубокий смысл и выразительность.

Что до военного дела, то тут уже каждому ясно, сколь многое зависит в нем от удачи. Если мы обратимся хотя бы к нашим собственным расчетам и соображениям, то и здесь придется признать, что дело не обходится без участия судьбы и удачи, ибо мудрость человеческая в этих вещах мало чего стоит. Чем острее и проницательнее наш ум, тем отчетливее понимает он свое бессилие и тем меньше доверяет себе. Я держусь того же мнения, что и Сулла, и когда всматриваюсь более пристально в наиболее прославляемые военные деяния, то вижу, что те, кто руководят ими, прибегают, на мой взгляд, к рассуждениям и составлению планов, так сказать, для очистки совести, самое главное и основное в своем предприятии предоставляя случаю, и, полагаясь на его помощь, отваживаются на действия, никак не оправданные здравым рассудком. Их рассуждения перебиваются порою приливами внезапного душевного подъема или дикой ярости, толкающими их на самые необоснованные, повидимому, решения и придающими им смелость, выходящую за пределы благоразумия. Это-то и побуждало многих великих полководцев древности, с целью внушить войскам доверие к их безрассудным решениям, ссылаться на некое снизошедшее на них вдохновение

или на указание свыше в виде пророчеств или знамений.

Вот почему, пребывая в неуверенности и тревоге, порождаемых в нас нашею неспособностью видеть и избирать наиболее правильное решение, поскольку всякое дело сопряжено с трудностями, возникающими в связи со всевозможными случайностями и обстоятельствами,— самым надежным, даже если прочие соображения и не склоняют нас к этому, является, на мой взгляд, избирать такой образ действий, который сопряжен с наибольшей честностью и справедливостью; и когда нас одолевают сомнения, какой путь самый короткий,— предпочитать всегда самый прямой. Так вот и в обоих приведенных мною выше примерах со стороны тех, на чью жизнь готовилось покушение, было, несомненно, и красивее и благороднее простить покушавшихся, чем поступать по-иному. И если первый из них все же кончил плохо, то тут его добрые намерения не при чем: ведь нам совершенно не известно, избежал ли бы он уготованной ему судьбою гибели, если бы поступил в данном случае иным образом; но мы наверно знаем, что тогда он не приобрел бы той славы, которую ему доставило столь удивительное милосердие.

Читая историю, мы наталкиваемся на великое множество властителей, дрожавших за свою жизнь, причем бо́льшая часть их предпочитала отвечать на заговоры и покушения местью и казнями; но я вижу из их числа лишь очень немногих, кому это средство пошло на пользу; пример — целый ряд римских императоров. Тот, кому грозит опасность подобного рода, не должен возлагать чрезмерных надежд на свою силу или бдительность. В самом деле, что может быть труднее, чем уберечься от врага, надевшего на себя личину нашего самого преданного друга, или проникнуть в сокровенные мысли и побуждения тех, кто находится постоянно около нас? Тут не помогут отряды иноземных наемников, не поможет тесно обступившая стража: тот, кто с презрением относится к собственной жизни, всегда сумеет лишить жизни другого. К тому же, вечная подозрительность, заставляющая государя сомневаться во всех, не может не быть для него крайне мучительной.

И все же Дион, предупрежденный о том, что Каллипп изыскивает способ убить его, не мог заставить себя удостовериться в этом и заявил, что он скорей готов умереть, чем влачить столь жалкую жизнь, остерегаясь не только врагов, но и друзей.[7] Подобные же чувства еще ярче, и притом не на словах, а на деле, проявил Александр, когда, извещенный письмом Пармениона о том, что Филипп, его самый любимый врач, подкуплен Дарием, чтобы отравить его, передал это письмо в руки Филиппу и одновременно выпил приготовленное им питье. Не показал ли он этим, что, если друзья хотят убить его, он ничего не имеет против того, чтобы они это сделали? Никто не совершил столько отважных деяний, как Александр; но я не знаю в его жизни другого случая, когда он проявил бы столько же твердости и, во всех отношениях, столько же нравственной красоты. Те, кто советует своим государям быть недоверчивыми и подозрительными, потому что этого якобы требуют соображения безопасности, советуют им итти навстречу своему позору и гибели. Всякое благородное дело сопряжено с риском. Я знаю одного государя, наделенного от природы весьма деятельной и мужественной душой, которому каждодневно ставят палки в колеса следующими советами: он, мол, должен замкнуться в тесном кругу своих приближенных, не помышлять ни о каком примирении со своими былыми врагами, держаться в стороне и, боже упаси, не доверяться более сильному, какие бы обещания ему ни давали и какие бы выгоды ни сулили. Я знаю также другого государя, которому неожиданно удалось достигнуть крупных успехов, потому что он последовал советам противоположного рода. Доблесть, которою так жаждут прославиться, может проявиться, при случае, столь же блистательно, независимо от того, надето ли на вас домашнее платье или боевые доспехи, находитесь ли вы у себя в доме или в военном лагере, опущена ли ваша рука или занесена для удара. Мелочное и настороженное благоразумие — смертельный враг великих деяний. Сципион, желая добиться дружбы Сифакса, не поколебался покинуть свои войска в Испании, которая была еще очень не спокойна после недавнего завоевания, и переправиться в Африку на двух неболь-

ших кораблях, чтобы на враждебной земле доверить свою жизнь никому неведомому варварскому царьку, без каких-либо обязательств с его стороны, без заложников, полагаясь лишь на величие своего сердца, на свою удачу, на то, что сулили ему его высокие надежды: habita fides ipsam plerumque fidem obligat.[8]

Человек, жизнь которого исполнена честолюбивых стремлений и славных деяний, должен держать подозрительность в крепкой узде и ни в чем не давать ей поблажки: боязливость и недоверие вызывают и навлекают опасность. Самый недоверчивый из наших монархов успешно уладил свои дела, главным образом благодаря тому, что по доброй воле доверил свою жизнь и свободу своим давним врагам,[9] сделав при этом вид, что вполне на них полагается, чтобы и они ответили ему тем же. Цезарь противопоставил своим взбунтовавшимся и взявшимся за оружие легионам лишь властность своего лица и гордость речей; он настолько был проникнут верой в себя и в свою судьбу, что не побоялся доверить ее мятежному и своевольному войску.[10]

Stetit aggere fultus
Cespitis, intrepidus vultu, meruitque timeri
Nil metuens.[11]

Несомненно, однако, что эта уверенность может быть проявлена во всей непосредственности и полноте только теми, кого не страшат ни смерть, ни то еще худшее, что может предшествовать смерти. Если же, добиваясь умиротворения в каком-либо важном случае, мы дадим почувствовать, что наша уверенность чисто наружная, а на самом деле нами владеют страх, сомнения и тревога, то наши усилия пропали даром. Прекрасный способ завоевать сердца и волю других — это предстать перед ними, отдавшись в их руки и доверившись им, но, разумеется, только при том условии, что это делается по собственной воле, а не в силу необходимости, что вы доверяете искренно и до конца и уж, конечно, не дадите заметить на своем лице и тени тревоги. В детстве мне пришлось видеть одного дворянина, управлявшего большим городом, в состоянии полной растерянности перед восставшим, разъ-

яренным народом. Желая потушить восстание в самом зародыше, он решил покинуть вполне безопасное место, где находился, и выйти к мятежной толпе; это плохо кончилось для него: он был безжалостно убит.[12] Я считаю, однако, что ошибка его заключалась не столько в том, что он вышел к толпе, в чем обыкновенно и упрекают его, сколько в том, что он предстал перед нею с покорным и заискивающим лицом, что он хотел усыпить ее гнев, скорее идя за нею на поводу, чем подчиняя ее себе, скорее как упрашивающий, чем как призывающий к порядку. Я думаю также, что умеренная суровость и исполненная твердости военная властность, более подобавшие его званию и значительности занимаемой должности, позволили бы ему с бóльшим успехом и уж, во всяком случае, с большей честью и бóльшим достоинством выйти из трудного положения. Менее всего можно надеяться, чтобы толпа — это возбужденное чудовище — обнаружила человечность и кротость; ей можно внушить скорее страх и благоговение. Я упрекнул бы погибшего дворянина и в том, что, приняв решение (на мой взгляд, скорее смелое, чем безрассудное) броситься слабым и беззащитным в это бушующее море обезумевших людей, он, вместо того чтобы испить чашу до дна и выдержать, чего бы это ни стоило, взятую на себя роль,— увидав рядом с собою опасность, сдал и струсил, и если вначале весь его облик говорил об угодливости и льстивости, то в дальнейшем их сменило выражение ужаса: у него пошла носом кровь, а в голосе и глазах можно было прочесть испуг и мольбу о пощаде. Пытаясь спрятаться и забиться в щель, он еще более разжег ярость толпы и натравил ее на себя.

Однажды обсуждался вопрос об устройстве общего смотра различных отрядов,[13] а это, как известно, самый удобный случай для сведéния личных счетов: тут это можно проделать с большею безопасностью, чем где бы то ни было. Имелись явные и несомненные признаки того, что некоторым из военачальников, прямой и непременной обязанностью которых было присутствовать при прохождении войск, может не поздоровиться. Тут можно было услышать целую кучу самых разнообразных советов, как это бывает всегда в любом трудном деле, имеющем большое значение

и чреватом последствиями. Я предложил не подавать вида, что на этот счет существуют какие-либо опасения: пусть эти военачальники находятся в самой гуще солдатских рядов, с поднятой головой и открытым лицом; я советовал также ни в чем не отступать от принятого порядка и не ограничивать залпов (к чему, однако, склонялось мнение большинства), но, напротив, убедить офицеров, чтобы они приказали солдатам палить в честь присутствующего начальства, не жалея пороха, бойко и дружно. Это вызвало признательность находившихся на подозрении войсковых частей и обеспечило на будущее столь благотворное для обеих сторон доверие.

Я нахожу, что способ действий, избранный Юлием Цезарем, является наилучшим из всех возможных. Сначала он пытался добиться ласковым обхождением и милосердием, чтобы его полюбили даже враги. Когда он узнавал о заговорах, то ограничивался простым заявлением, что оповещен обо всем. Сделав это, он с благородной решимостью дожидался, без всякого страха и тревоги, что́ принесет ему будущее, вверяя себя охране богов и отдаваясь на волю судьбы. Таково же, бесспорно, было его поведение и в тот день, когда заговорщики умертвили его.

Один чужеземец, приехавший в Сиракузы, принялся болтать на всех перекрестках, что, если бы Дионисий, тамошний тиран, хорошо ему заплатил, он научил бы его безошибочно угадывать и распознавать дурные умыслы против него его подданных. Узнав об этом, Дионисий призвал приезжего к себе и попросил открыть ему этот способ, столь необходимый для сохранения его жизни. На это чужеземец ответил, что никакого особого уменья тут нет: пусть только Дионисий велит выплатить ему один талант серебром, а потом пусть похваляется перед всеми, будто бы приезжий открыл ему великий секрет. Выдумка эта весьма понравилась Дионисию, который велел отсчитать чужеземцу шестьсот экю. В самом деле, невероятно было бы предположить, что он уплатил такие деньги какому-то иноземцу, не получив от него взамен чрезвычайно полезных сведений. И Дионисий воспользовался возникшими по этому поводу толками, чтобы держать своих врагов в страхе. Вот почему государи поступают весьма разумно, когда предают гласности

предостережения, которые они получили относительно происков, направленных против их жизни; они хотят заставить поверить, будто отлично обо всем осведомлены и что нельзя предпринять против них ничего такого, о чем бы они немедленно не узнали. Герцог Афинский,[14] сделавшись тираном Флоренции, натворил на первых порах великое множество глупостей, но главнейшая среди них заключается в том, что, заблаговременно предупрежденный о заговоре, который составился против него в народе, он велел умертвить оповестившего его об этом Маттео ди Морозо, одного из участников заговора, для того чтобы сохранить в тайне это сообщение и чтобы никто не подумал, будто хоть кто-нибудь в городе может тяготиться его столь прекрасным правлением.

Помнится, я читал когда-то историю одного римлянина, человека весьма почтенного, который, спасаясь от тирании триумвирата, благодаря своей исключительной ловкости и изворотливости сотни раз ускользал от преследователей. Случилось однажды, что отряд всадников, которому было поручено изловить его, проехал совсем рядом с кустом, за которым он притаился, и не заметил его. Тем не менее, подумав о всех тяготах и страданиях, которые ему уже столько времени приходилось переносить, скрываясь от непрерывных, настойчивых и производящихся повсеместно поисков, размыслив также о том, может ли доставить ему удовольствие подобная жизнь в будущем и насколько было бы для него легче сделать один решительный шаг, нежели пребывать и впредь в таком страхе,— он окликнул всадников и открыл свой тайник, добровольно отдавшись им на жестокую казнь, дабы избавить и их и себя от дальнейших хлопот. Подставить шею под удар врага — решение, пожалуй, чересчур смелое: однако же, мне думается, лучше принять его, чем вечно трястись в лихорадочном ожидании бедствия, против которого нет никакого лекарства. И поскольку меры предосторожности, о которых нужно постоянно заботиться, требуют бесконечных усилий и не могут считаться надежными, лучше проникнуться благородною твердостью и приготовить себя ко всему, что может случиться, находя некоторое утешение в том, что, быть может, оно все-таки не случится.

Глава XXV

О ПЕДАНТИЗМЕ[1]

Я нередко досадовал в моем детстве на то, что в итальянских комедиях педанты[2] — неизменно шуты, да и между нами слово „магистр“ пользуется не большим почетом и уважением. Ведь, отданный под их надзор и на их попечение, мог ли я безразлично относиться к их доброму имени? Я пытался найти объяснение этому в естественной неприязни, существующей между невеждами и людьми, непохожими на остальных и выделяющимися своим умом и знаниями, тем более, что они идут совсем иною дорогою, чем все прочие люди. Но меня совершенно ставило в тупик то, что как раз самые тонкие умы наиболее презирают педантов; например, добрейший наш Дю Белле, сказавший:

Но ненавистен мне ученый вид педанта.[3]

Так уж повелось издавна; ведь еще Плутарх говорил, что слова „грек“ и „ритор“ были у римлян бранными и презрительными.[4] В дальнейшем, с годами, я понял, что подобное отношение к педантизму в высшей степени обосновано и что magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes.[5] Но каким образом может случиться, чтобы душа, обогащенная знанием столь многих вещей, не становилась от этого более отзывчивой и живой, и каким образом ум грубый и пошлый способен вмещать в себя, нисколько при этом не совершенствуясь, рассуждения и мысли самых великих мудрецов, когда-либо живших на свете, — вот чего я не возьму в толк и сейчас.

Чтобы вместить в себя столько чужих мозгов, и, к тому же, таких великих и мощных, необходимо (как выразилась о ком-то одна девица, первая среди наших принцесс), чтобы собственный мозг человека потеснился, съежился и сократился в объеме.

Я готов был бы сказать, что подобно тому, как растения угасают от чрезмерного обилия влаги, а светильники — от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Но в действительности дело обстоит иначе, ибо чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится, и среди тех, кто жил в стародавние времена, можно встретить, напротив, немало людей, прославившихся на общественном поприще, — например, великих полководцев или государственных деятелей, обладавших вместе с тем и большою ученостью.

Что до философов, уклонявшихся от всякого участия в общественной жизни, то недаром их порою высмеивала без всякого стеснения современная им комедия, ибо их мнения и повадки действительно казались забавными. Угодно вам сделать их судьями, которые вынесли бы приговор по чьей-либо тяжбе или оценили действия того или иного лица? О, они с великой готовностью сделают это! Они прежде всего займутся такими вопросами, как: существует ли жизнь, существует ли движение? Представляет ли собой человек нечто иное, чем бык? Что значит действовать и страдать? Что это за звери — законы и правосудие? Говорят ли они о правителях или с правителями, речи их непочтительны и распущенны. Слышат ли они похвалы своему князю или царю, — для них он не более, как пастух, праздный, как все пастухи, занятый исключительно тем, что стрижет и доит свое стадо, только еще более грубый. Считаете ли вы кого-нибудь стоящим выше других по той причине, что ему принадлежат две тысячи арпанов[6] земли, — они начинают издеваться над этим, ибо привыкли рассматривать весь мир как свою собственность. Гордитесь ли вы своей знатностью на том основании, что можете насчитать

семь богатых предков, — они не ставят вас ни во что, ибо вы не постигли, по их мнению, общей картины природы и сколько каждый из нас насчитывает в своей родословной предшественников, богатых и бедных, царей и слуг, просвещенных людей и варваров. И будь вы даже в пятидесятом колене потомком Геркулеса, они и в этом случае скажут, что вы суетны, если цените этот подарок судьбы. Вот в этом и заключается причина презрения, которое к ним питает толпа, как к людям, не понимающим самых простых общеизвестных вещей, притом заносчивым и надменным.[7] Но это принадлежащее Платону изображение весьма далеко от того, что представляют собою наши педанты. Философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой особый лад, руководствуясь несколькими возвышенными и не получившими всеобщего распространения правилами. Наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже общего уровня, неспособны выполнять общественные обязанности и, наконец, придерживаются образа жизни и нравов еще более грубых и низменных, нежели нравы и образ жизни толпы.

Odi homines ignava opera, philosopha sententia.[8]

Так вот, что до философов древности, то они, по моему мнению, великие в мудрости, проявляли еще больше величия в своей жизни. Таков был, судя по рассказам, великий сиракузский геометр,[9] который отвлекся от своих ученых разысканий, дабы применить их отчасти на практике для защиты своей родины, когда он неожиданно пустил в ход диковинные машины, действие которых превосходило все, что в состоянии вообразить человек. Но сам он глубоко презирал свои изобретения, считая, что, занявшись ими, унизил свою науку, для которой они были не более, как ученические упражнения или игрушки. Таким образом, эти мудрецы всякий раз, когда им приходилось подвергать себя испытанию действием, взлетали на огромную высоту, и всякому делалось ясно, что их сердца и их души возросли и обогатились столь поразительным образом благодаря познанию сути

вещей. Некоторые, однако, видя, что важнейшие должности в государстве заняты людьми неспособными, отказались от служения обществу; и тот, кто спросил Кратеса, доколе же следует философствовать, услышал в ответ: „Пока погонщики ослов не перестанут стоять во главе нашего войска“. Гераклит отказался от царства, уступив его брату и эфесцам, порицавшим его за то, что он отдает все свое время играм с детьми перед храмом, ответил: „Разве это не лучше, чем вершить дела совместно с вами?“. Иные, вознесясь мыслью над мирскими делами и судьбами, сочли не только судейские кресла, но и самые царские троны чем-то низменным и презренным. Отказался же Эмпедокл от престола, который ему предлагали жители Агригента. Фалесу, который неоднократно обличал скопидомство и жажду обогащения, бросили упрек в том, что он, как лисица в басне, чернит то, добраться до чего не может. И вот, однажды, ему захотелось забавы ради произвести опыт; унизив свою мудрость до служения прибыли и наживе, он начал торговлю, которая в течение года доставила ему такие богатства, какие с превеликим трудом удавалось скопить за всю жизнь людям, наиболее опытным в делах подобного рода.

Аристотель рассказывает, что некоторые называли Фалеса, Анаксагора и прочих, подобных им, мудрецами, но людьми отнюдь не разумными, по той причине, что они проявляли недостаточную заботу в отношении более полезных вещей. Но не говоря о том, что я не очень-то улавливаю разницу между значениями этих двух слов, сказанное ни в какой мере не могло бы послужить к оправданию наших педантов: зная, с какой низкой и бедственной долей они мирятся, мы скорее имели бы основание применить к ним оба эти слова, сказав, что они и не мудры и не разумны.

Я не разделяю мнения тех людей, о которых говорит Аристотель; мы были бы ближе к истине, я полагаю, если б сказали, что все зло — в их неправильном подходе к науке. Принимая во внимание способ, которым нас обучают, неудивительно, что ни ученики, ни сами учителя не становятся от этого мудрее, хотя и приобретают ученость. И, в самом деле, заботы и издержки на-

ших отцов не преследуют другой цели, как только набить нашу голову всевозможными знаниями; что до разума и добродетели, то о них почти и не помышляют. Крикните нашей толпе о комнибудь из мимо идущих: „Это ученейший муж!“, и о другом: „Это человек, исполненный добродетели!“, — и она не преминет обратить свои взоры и свое уважение к первому. А следовало бы, чтобы еще кто-нибудь крикнул: „О, тупые головы! Мы постоянно спрашиваем: знает ли такой-то человек греческий или латынь? Пишет ли он стихами или прозой? Но стал ли он от этого лучше и умнее, — что, конечно, самое главное, — этим меньше всего интересуются. А между тем, надо стараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше“.

Мы трудимся лишь над тем, чтобы начинить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают его птенцам; так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру.

До чего же, однако, я сам могу служить примером той же глупости! Разве не то же делаю и я в большей части этого сочинения? Я продвигаюсь вперед, выхватывая из той или другой книги понравившиеся мне изречения не для того, чтобы сохранить их в себе, ибо нет у меня для этого кладовых, но чтобы перенести их все в это хранилище, где, говоря по правде, они не больше принадлежат мне, чем на своих прежних местах. Наша ученость — так, по крайней мере, считаю я — состоит только в том, что́ мы знаем в это мгновение; наши прошлые знания, а тем более будущие, тут не при чем.

Но, что еще хуже, ученики и птенцы наших педантов не насыщаются их наукой и не усваивают ее; она лишь переходит из рук в руки, служа только для того, чтобы ею кичились, развлекали других и делали из нее предмет занятного разговора, вроде счетных фишек, непригодных для иного употребления и использования, кроме как в счете или в игре: Apud alios loqui didicerunt, non ipsi secum.[10] — Non est loquendum, sed gubernandum.[11]

Природа, стремясь показать, что в подвластном ей мире не существует ничего дикого, порождает порой среди мало просвещенных народов такие жемчужины остроумия, которые могут поспорить с наиболее совершенными творениями искусства. Как хороша и как подходит к предмету моего рассуждения следующая гасконская поговорка: „Bouha prou bouha, mas a remuda lous ditz qu'em" — „Все дуть да дуть, но нужно же и пальцами перебирать" (речь идет об игре на свирели).

Мы умеем сказать с важным видом: „Так говорит Цицерон" или „таково учение Платона о нравственности", или „вот подлинные слова Аристотеля". Ну, а мы-то сами, что́ мы скажем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог бы сказать и попугай. По этому поводу мне вспоминается один римский богач, который, не останавливаясь перед затратами, приложил немало усилий, чтобы собрать у себя в доме сведущих в различных науках людей; он постоянно держал их подле себя, чтобы в случае, если речь зайдет о том или другом предмете, один мог выступить вместо него с каким-нибудь рассуждением, другой — прочесть стих из Гомера, словом, каждый по своей части. Он полагал, что эти знания являются его личною собственностью, раз они находятся в головах принадлежащих ему людей. Совершенно так же поступают и те, ученость которых заключена в их роскошных библиотеках.

Я знаю одного такого человека: когда я спрашиваю его о чем-нибудь, хотя бы хорошо ему известном, он немедленно требует книгу, чтобы отыскать в ней нужный ответ; и он никогда не решится сказать, что у него на заду завелась парша, пока не справится в своем лексиконе, что собственно значит зад и что значит парша.

Мы берем на хранение чужие мысли и знания, вот и все. Нужно, однако, сделать их собственными. Мы уподобляемся человеку, который, имея нужду в огне, отправился за ним к соседу и, найдя у него прекрасный, яркий огонь, стал греться у чужого очага, забыв о своем намерении разжечь очаг у себя дома. Что

толку набить себе брюхо говядиной, если мы не перевариваем ее, если она не преобразуется в ткани нашего тела, если не прибавляет нам веса и силы? Или, быть может, мы думаем, что Лукулл, ознакомившийся с военным делом только по книгам и сделавшийся, несмотря на отсутствие личного опыта, столь видным полководцем, изучал их по нашему способу?

Мы опираемся на чужие руки с такой силой, что, в конце концов, обессиливаем. Хочу ли я побороть страх смерти? Я это делаю за счет Сенеки. Стремлюсь ли утешиться сам или утешить другого? Я черпаю из Цицерона. А, между тем, я мог бы обратиться за этим к себе самому, если бы меня надлежащим образом воспитали. Нет, не люблю я этого весьма относительного и собранного с сумою богатства.

И если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

Μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός.[12]
Ex quo Ennius:
Nequicquam sapere sapientem, qui ipse
sibi prodesse non quiret.[13]

si cupidus, si
Vanus et Euganea quantumvis vilior agna.[14]

Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sapientia est.[15]

Дионисий издевался над теми грамматиками, которые со всей тщательностью изучают бедствия Одиссея, но не замечают своих собственных; над музыкантами, умеющими настроить свои флейты, но не знающими, как внести гармонию в свои нравы; над ораторами, старающимися проповедывать справедливость, но не соблюдающими ее на деле.[16]

Если учение не вызывает в нашей душе никаких поворотов к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здравыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. Но взгляните: вот он возвращается после пятнадцати или шестнадцати лет занятий; найдется ли еще кто-нибудь, столь же непри-

способленный к практической деятельности? От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров, — вот и все его приобретения. Ему полагалось бы притти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиться, а она у него только раздулась.

Наши учителя, подобно своим братьям-софистам, о которых это же самое говорит Платон,[17] среди всех прочих людей — те, которые обещают быть всех полезнее человечеству, на деле же, среди всех прочих людей — единственные, которые не только не совершенствуют отданной им в обработку вещи, как делают, например, каменщик или плотник, а напротив, портят ее, и притом требуют, чтобы им заплатили за то, что они привели ее в еще худшее состояние.

Если бы у нас было принято правило, предложенное Протагором[18] тем, кто у него обучался, а именно: либо они платят ему, сколько бы он ни назначил, либо под присягою заявляют во всеуслышание в храме, во сколько сами оценивают пользу от занятий с ним, и в соответствии с этим вознаграждают его за труд, то мои учителя не разжились бы, получив плату на основании принесенной мною присяги.

Мои земляки перигорцы очень метко называют таких ученых мужей — lettreferits [окниженные], вроде того как по-французски сказали бы lettre-ferus, то есть те, кого наука как бы оглушила, стукнув по черепу. И действительно, чаще всего они кажутся нам пришибленными, лишенными даже самого обыкновенного здравого смысла. Возьмите крестьянина или сапожника: вы видите, что они просто и не мудрствуя лукаво живут помаленьку, говоря только о тех вещах, которые им в точности известны. А наши ученые мужи, стремясь возвыситься над остальными и щегольнуть своими знаниями, на самом деле крайне поверхностными, все время спотыкаются на своем жизненном пути и попадают впросак. Они умеют красно говорить, но нужно, чтобы кто-то другой применил их слова на деле. Они хорошо знают Галена,[19] но совершенно не знают больного. Еще не разобравшись, в чем суть вашей

тяжбы, они забивают вам голову целою кучей законов. Им известна теория любой вещи на свете; надо только найти того, кто применил бы ее на практике.

Мне довелось как-то наблюдать у себя дома, как один из моих друзей, встретившись с подобным педантом, принялся, развлечения ради, подражать их бессмысленному жаргону, нанизывая без всякой связи ученейшие слова, нагромождая одно на другое и лишь время от времени вставляя выражения, относящиеся к предмету их диспута. Целый день заставлял он этого дуралея, вообразившего, будто он отвечает на возражения, которые ему делают, вести нескончаемый спор. А ведь это был человек высокоученый, пользовавшийся известностью и занимавший видное положение.

Vos, o patricius sanguis, quos vivere par est
Occipiti caeco, posticae occurrite sannae.[20]

Кто присмотрится внимательнее к этой породе людей, надо сказать, довольно распространенной, тот найдет, подобно мне, что чаще всего они не способны понять ни самих себя, ни других, и что, хотя память их полна всякой всячины, в голове у них совершенная пустота, — кроме тех случаев, когда природа сама не пожелала устроить их иначе. Таков был, например, Адриан Турнеб.[21] Не помышляя ни о чем другом, кроме науки, в которой, по моему мнению, он должен почитаться величайшим гением за последнее тысячелетие, он не имел в себе ничего от педанта, за исключением разве покроя платья и кое-каких привычек, не одобряемых, может быть, придворными нравами. Впрочем, это мелочи, на которые незачем обращать внимание; я ненавижу наших модников, относящихся нетерпимее к платью с изъяном, чем к такой же душе, и судящих о человеке лишь по тому, насколько ловок его поклон, как он держит себя на людях и какие на нем башмаки. По существу же, Турнеб обладал самой тонкой и чувствительною душой на свете. Я часто умышленно наводил его на беседу, далекую от предмета его обычных занятий; глаз его был до такой степени зорок, ум так восприимчив, суждения так здравы, что казалось, будто он никогда не занимался ничем иным, кроме

военных вопросов и государственных дел. Натуры сильные и одаренные,

queis arte benigna
Ex meliore luto finxit praecordia Titan,[22]

сохраняются во всей своей цельности, как бы ни коверкало их воспитание. Недостаточно, однако, чтобы воспитание только не портило нас; нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему.

Некоторые наши парламенты, принимая на службу чиновников, проверяют лишь, насколько они обладают нужными знаниями; но другие присоединяют к этому также испытание их ума, предлагая высказаться по поводу того или иного судебного дела. Последние, на мой взгляд, поступают гораздо правильнее; хотя необходимо и то и другое и надлежит, чтобы оба эти качества были в наличии, все же, говоря по правде, знания представляются мне менее ценными, нежели ум. Последний может обойтись без помощи первых, тогда как первые не могут обойтись без ума. Ибо, как гласит греческий стих,

Ὡς οὐδὲν ἡ μάθησις, ἢν μὴ νοῦς παρῇ,[23]

к чему наука, если нет разумения? Дай бог, чтобы ко благу нашего правосудия эти судебные учреждения сделались столь же разумны и совестливы, как они богаты ученостью. Non vitae, sed scholae discimus.[24] Ведь дело не в том, чтобы прицепить к душе знания: они должны внедриться в нее; не в том, чтобы слегка помазать ее ими: нужно, чтобы они пропитали ее насквозь; и если она от этого не изменится и не улучшит своей несовершенной природы, то, безусловно, благоразумнее махнуть на это дело рукой. Знания — обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться: ut fuerit melius non didicisse.[25]

Быть может, именно по этой причине и мы сами, и теология не требуют от женщин особых познаний; и когда Франциску, герцогу бретонскому, сыну Иоанна V, сообщили, ввиду его предполагаемой женитьбы на Изабелле Шотландской,[26] что она вос-

питана в простоте и не обучена книжной премудрости, он ответил, что ему это как раз по душе и что женщина достаточно образована, если не путает рубашку своего мужа с его фуфайкой.

Поэтому вовсе не так уже удивительно, как об этом кричат повсюду, что науки не очень-то ценились нашими предками и что люди, овладевшие ими, и сейчас еще редкое исключение среди ближайших королевских советников. И если бы всеобщее стремление разбогатеть, — чего в наши дни можно достигнуть при помощи юриспруденции, медицины, преподавания да еще теологии, — не поддерживало авторитета науки, мы бы видели ее, без сомнения, в таком же пренебрежении, в каком она находилась когда-то. Как жаль, однако, если она не учит нас ни правильно мыслить, ни правильно действовать! Postquam docti prodierunt, boni desunt.[27]

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Причина этого, которую я пытался только что выяснить, заключается, быть может, и в том, что у нас во Франции обучение наукам не преследует, как правило, никакой иной цели, кроме прямой выгоды. Я не считаю тех, весьма немногих лиц, которые, будучи созданы самой природой для занятий скорей благородных, чем прибыльных, всей душой отдаются науке; да из них некоторые, не успев как следует познать вкус науки, оставляют ее ради деятельности, не имеющей ничего общего с книгами. Таким образом, по-настоящему уходят в науку едва ли не одни горемыки, ищущие в ней средства к существованию. Однако в душе этих людей, и от природы и вследствие домашнего воспитания, а также повседневных примеров весьма низкопробной, наука приносит чаще всего дурные плоды. Ведь она не в состоянии озарить светом душу, которая лишена его, или заставить видеть слепого; ее назначение не в том, чтобы даровать человеку зрение, но в том, чтобы научить его правильно пользоваться зрением, когда он движется, при условии, разумеется, что он располагает здоровыми и способными передвигаться ногами. Наука — великолепное снадобье; но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям,

если плох сосуд, в котором его хранят. У иного, казалось бы, и хорошее зрение, да на беду он косит; вот почему он видит добро, но уклоняется от него в сторону, видит науку, но не следует ее указаниям. Основное правило в государстве Платона — это поручать каждому гражданину только соответствующие его природе обязанности. Природа все может и все делает. Хромые мало пригодны к тому, что требует телесных усилий; так же и те, кто хромает душой, мало пригодны к тому, для чего требуются усилия духа. Душа ублюдочная и низменная не может возвыситься до философии. Встретив дурно обутого человека, мы говорим себе: неудивительно, если это сапожник. Равным образом, как указывает нам опыт, нередко бывает, что врач менее, чем всякий другой, печется о врачевании своих недугов, теолог — о самоусовершенствовании, а ученый — о подлинных знаниях.

В древние времена Аристон из Хиоса был несомненно прав, высказав мысль, что философы оказывают вредное действие на своих слушателей, ибо душа человеческая, в большинстве случаев, неспособна извлечь пользу из тех поучений, которые, если не сеют блага, то сеют зло: asotos ex Aristippi, acerbos ex Zenonis schola exire.[28]

Из рассказа Ксенофонта о замечательном воспитании, которое давалось детям у персов, мы узнаем, что они обучали их добродетели, как другие народы обучают детей наукам. Платон говорит,[29] что старшие сыновья их царей воспитывались следующим образом: новорожденного отдавали не на попечение женщин, а тех евнухов, которые по причине своих добродетелей пользовались расположением царской семьи. Они следили за тем, чтобы тело ребенка было красивым и здоровым, и на восьмом году начинали приучать его к верховой езде и охоте. Когда мальчику исполнялось четырнадцать лет, его передавали под надзор четырех воспитателей: самого мудрого, самого справедливого, самого умеренного и самого доблестного в стране. Первый обучал его религиозным верованиям и обрядам, второй — никогда не лгать, третий — властвовать над своими страстями, четвертый — ничего не страшиться.

Весьма примечательно, что в превосходном своде законов Ликурга, можно сказать, исключительном по своему совершенству, так мало говорится об обучении, хотя воспитанию молодежи уделяется весьма много внимания и оно рассматривается как одна из важнейших задач государства, причем законодатель не забывает даже о музах: выходит, будто это благородное юношество, презиравшее всякое другое ярмо, кроме ярма добродетели, нуждалось вместо наших преподавателей различных наук лишь в учителях доблести, благоразумия и справедливости, — образец, которому последовал в своих законах Платон. Обучали же их следующим образом: обычно к ним обращались с вопросом, какого они мнения о тех или иных людях и их поступках, и если они осуждали или, напротив, хвалили то или иное лицо или действие, их заставляли обосновать свое мнение; этим путем они изощряли свой ум и, вместе с тем, изучали право. Астиаг, у Ксенофонта, требует от Кира отчета обо всем происшедшем на последнем уроке. „У нас в школе, — говорит тот, — мальчик высокого роста, имея слишком короткий плащ, отдал его одному из товарищей меньшего роста, отобрав у него более длинный плащ. Учитель велел мне быть судьею в возникшем из-за этого споре, и я решил, что все должно остаться как есть, потому что случившееся наилучшим образом устраивает и того и другого из тяжущихся. На это учитель заметил, что я неправ, ибо ограничился соображениями удобства, между тем как сначала следовало решить, не пострадает ли справедливость, которая требует, чтобы никто не подвергался насильственному лишению собственности“. Мальчик добавил, что его высекли, совсем так, как у нас секут детей в деревнях за то, что он забыл, как будет первый аорист глагола τύπτω [я бью]. Моему ректору пришлось бы произнести искуснейшее похвальное слово in genere demonstrativo,[30] прежде чем он убедил бы меня в том, что его школа не уступает описанной. Древние хотели сократить путь и, — поскольку никакая наука, даже при надлежащем ее усвоении, не способна научить нас чему-либо большему, чем благоразумию, честности и решительности, — сразу же привить их своим детям, обучая последних не

на слух, но путем опыта, направляя и формируя их души не столько наставлениями и словами, сколько примерами и делами, с тем, чтобы эти качества не были восприняты их душой как некое знание, но стали бы ее неотъемлемым свойством и как бы привычкой, чтобы они не ощущались ею как приобретения со стороны, но были бы ее естественной и неотчуждаемой собственностью. Напомню по этому поводу, что, когда Агесилая спросили, чему, по его мнению, следует обучать детей, он ответил: „Тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми". Неудивительно, что подобное воспитание приносило столь замечательные плсды.

Говорят, что ораторов, живописцев и музыкантов приходилось искать в других городах Греции, но законодателей, судей и полководцев — только в Лакедемоне. В Афинах учили хорошо говорить, здесь — хорошо действовать; там — стряхивать с себя путы софистических доводов и сопротивляться обману словесных хитросплетений, здесь — стряхивать с себя путы страстей и мужественно сопротивляться смерти и ударам судьбы; там пеклись о словах, здесь — о деле; там непрестанно упражняли язык, здесь — душу. Не удивительно поэтому, что, когда Антипатр потребовал у спартанцев выдачи пятидесяти детей, желая иметь их заложниками, их ответ был мало похож на тот, какой дали бы на их месте мы; а именно, они заявили, что предпочитают выдать двойное количество взрослых мужчин. Так высоко ставили они воспитание на их родине и до такой степени опасались, как бы их дети не лишились его. Агесилай убеждал Ксенофонта отправить своих детей на воспитание в Спарту не для того, чтобы они изучали там риторику или диалектику, но для того, чтобы усвоили самую прекрасную (как он выразился) из наук — науку повиноваться и повелевать.

Весьма любопытно наблюдать Сократа, когда он подсмеивается, по своему обыкновению, над Гиппием, который рассказывает ему, что, занимаясь преподаванием, главным образом в небольших городах Сицилии, он заработал немало денег и что, напротив, в Спарте он не добыл ни гроша; там живут совершенно темные

люди, не имеющие понятия о геометрии и арифметике, ничего не смыслящие ни в метрике, ни в грамматике и интересующиеся только последовательностью своих царей, возникновением и падением государств и тому подобной чепухой. Выслушав Гиппия, Сократ постепенно, путем остроумных вопросов, заставил его признать превосходство их общественного устройства, а также, насколько добродетельную и счастливую жизнь ведут спартанцы, предоставив своему собеседнику самому сделать вывод о бесполезности для них преподаваемых им наук.

Многочисленные примеры, которые являют нам и это управляемое на военный лад государство и другие подобные ему, заставляют признать, что занятия науками скорее изнеживают души и способствуют их размягчению, чем укрепляют и закаляют их. Самое мощное государство на свете, какое только известно нам в настоящее время — это империя турок, народа, воспитанного в почтении к оружию и в презрении к наукам.[31] Мы знаем, что и Рим был гораздо могущественнее, пока там не распространилось образование. И в наши дни самые воинственные народы являются вместе с тем и самыми дикими и невежественными. Доказательством могут служить также скифы, парфяне, Тамерлан. Во время нашествия готов на Грецию ее библиотеки не подверглись сожжению только благодаря тому из завоевателей, которому пришло в голову предложить оставить всю эту утварь, как он выразился, неприятелю, дабы она отвлекла его от военных упражнений и склонила к мирным и оседлым забавам. Когда наш король Карл VIII, не извлекши даже меча из ножен, увидал себя властелином неаполитанского королевства и доброй части Тосканы, его приближенные приписали неожиданную легкость победы только тому, что государи и дворянство Италии прилагали гораздо больше усилий, чтобы стать утонченными и образованными, чем чтобы сделаться сильными и воинственными.[32]

Глава XXVI

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Госпоже Диане де Фуа, графине де Гюрсон.[1]

Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивел или горбат, хотя бы это и было очевидною истиной. И не потому — если только его не ослепило окончательно отцовское чувство, — чтобы он не замечал его недостатков, но потому, что это его собственный сын. Так и я: ведь я вижу лучше, чем кто-либо другой, что эти строки — не что иное, как измышление человека, отведавшего только вершков науки, да и то лишь в детские годы, и сохранившего в памяти только самое общее и весьма смутное представление об ее облике: капельку того, чуточку этого, а в общем почти ничего, как водится у французов. В самом деле, я знаю, например, о существовании медицины, юриспруденции, четырех частей математики,[2] а также, весьма приблизительно, в чем именно состоит их предмет. Я знаю еще, что науки, вообще говоря, притязают на служение человечеству. Но углубиться в их дебри, грызть себе ногти за изучением Аристотеля, властителя современной науки,[3] или уйти с головою в какую-нибудь из ее отраслей, этого со мною никогда не бывало; и нет такого предмета школьного обучения, начатки которого я в состоянии был бы изложить. Вы не найдете ребенка в средних классах училища, который не был бы вправе сказать, что он образованнее меня, ибо я не мог бы подвергнуть его экзамену даже по первому из данных ему уроков; во всяком случае, это за-

висело бы от содержания такового. Если бы меня все же принудили к этому, то, не имея иного выбора, я выбрал бы из такого урока, и притом очень неловко, какие-нибудь самые общие места, чтобы на них проверить умственные способности учащегося, — испытание, для него столь же неведомое, как его урок для меня.

Я не знаю по-настоящему ни одной основательной книги, если не считать Плутарха и Сенеки, из которых я черпаю, как Данаиды,[4] непрерывно наполняясь и изливая из себя полученное от них. Кое-что оттуда попало и на эти страницы; во мне же осталось так мало, что, можно сказать, почти ничего.

История — та дает мне больше поживы; также и поэзия, к которой я питаю особую склонность. Ибо, как говорил Клеанф,[5] подобно тому, как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой. Что до моих природных способностей, образчиком которых являются эти строки, то я чувствую, как они изнемогают под бременем этой задачи. Мой ум и мысль бредут ощупью, пошатываясь и спотыкаясь, и даже тогда, когда мне удается достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворен достигнутым мною; я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять. И когда я принимаюсь рассуждать без разбора обо всем, что только приходит мне на ум, не прибегая к сторонней помощи и пользуясь только своими природными данными, то, если при этом мне случается — а это бывает не так уж редко — встретить, на мое счастье, у кого-нибудь из хороших писателей те самые мысли, которые я имел намерение развить (так было, например, совсем недавно с рассуждением Плутарха о силе нашего воображения), я начинаю понимать, насколько, по сравнению с такими людьми, я ничтожен и слаб, тяжеловесен и вял, — и тогда я проникаюсь жалостью и презрением к самому себе. Но в то же время я и поздравляю

себя, ибо вижу, что мои мнения имеют честь совпадать иной раз с их мнениями и что они подтверждают, пусть издалека, их правильность. Меня радует также и то, что я сознаю — а это не всякий может сказать про себя, — какая пропасть лежит между ними и мною. И все же, несмотря ни на что, я не задумываюсь предать гласности эти мои измышления, сколь бы слабыми и недостойными они ни были, и притом в том самом виде, в каком я их создал, не ставя на них заплат и не подштопывая пробелов, которые открыло мне это сравнение. Нужно иметь достаточно крепкие ноги, чтобы пытаться итти вровень с такими людьми. Пустоголовые писаки нашего века, вставляя в свои ничтожные сочинения обильные отрывки из древних писателей, дабы таким способом прославить себя, достигают совершенно обратного. Ибо столь резкое различие в яркости делает принадлежащее их перу до такой степени тусклым, вялым и уродливым, что они теряют от этого гораздо больше, чем выигрывают.

Разные авторы поступали по-разному. Философ Хрисипп, например, вставлял в свои книги не только отрывки, но и целые сочинения других авторов, а в одну из них он включил даже „Медею“ Эврипида. Аполлодор говорил о нем, что, если изъять из его книг все то, что принадлежит не ему, то, кроме сплошного белого места, там ничего не останется. У Эпикура, напротив, в трехстах оставшихся после него свитках не найдешь ни одной цитаты.

Однажды мне случилось наткнуться на такой заимствованный отрывок. Я со скукою перелистывал французский текст, бескровный, немощный, настолько лишенный и содержания и мысли, что иначе его не назовешь, как французским текстом, пока, наконец, после долгого и скучного блуждания, я не добрался до чего-то прекрасного, роскошного, возвышающегося до облаков. Если бы склон, по которому я поднимался, был пологим и подъем, вследствие этого, продолжительным, все было б в порядке; но это была столь обрывистая, совсем отвесная пропасть, что после первых же слов, прочтенных мною, я почувствовал, что взлетел в совсем иной мир. Оказавшись в нем, я окинул взором низину, из

которой сюда поднялся, и она показалась мне такой безрадостной и далекой, что у меня пропало всякое желание снова спуститься туда. Если бы я приукрасил какое-нибудь из моих рассуждений сокровищами прошлого, это лишь подчеркнуло бы убожество всего остального.

Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать — а это я делаю весьма часто — чужие в себе. Обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища. Я-то хорошо знаю, сколь дерзновенно пытаюсь я всякий раз сравняться с обворованными мной авторами, не без смелой надежды обмануть моих судей, которые, мол, ничего не заметят. Но я стремлюсь достигнуть этого путем уместного применения того, что я заимствую, в такой же мере как и путем приложения к этому собственной моей умственной работы. А кроме того, я не борюсь с этими испытанными бойцами по-настоящему, не схожусь с ними грудь с грудью, но делаю время от времени лишь небольшие легкие выпады. Я не упорствую в этой схватке; я только соприкасаюсь со своими противниками и скорее делаю вид, что соревнуюсь с ними, чем в действительности делаю это.

И если бы мне удалось оказаться достойным соперником, я показал бы себя честным игроком, ибо вступаю я с ними в борьбу лишь по части того, в чем они сильнее всего.

Но делать то, что делают, как я указал выше, иные, а именно: облачаться до кончиков ногтей в чужие доспехи, выполнять задуманное, как это нетрудно людям, имеющим общую осведомленность, путем использования клочков древней мудрости, понатыканных то здесь, то там, словом, пытаться скрыть и присвоить чужое добро — это, во-первых, бесчестно и низко, ибо, не имея ничего за душой, за счет чего они могли бы творить, эти писаки все же пытаются выдать чужие ценности за свои, а, во-вторых, — это величайшая глупость, поскольку они вынуждены довольствоваться добытым с помощью плутовства одобрением невежественной толпы, роняя себя в глазах людей сведущих, которые презрительно морщат нос при виде этой надерган-

ной отовсюду мозаики, тогда как только их похвала и имеет значение. Что до меня, то нет ничего, чего бы я столь же мало желал. Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя. Сказанное мною не относится к центонам,[6] публикуемым в качестве таковых; в молодости я видел между ними несколько составленных с большим искусством, какова, например, одна, выпущенная в свет Капилупи,[7] не говоря уже о созданных в древности. Авторы их, по большей части, проявили свое дарование и в других сочинениях; таков, например, Липсий,[8] автор ученейшей, потребовавшей огромных трудов компиляции, названной им „Политика“.

Как бы там ни было, — я хочу сказать: каковы бы ни были допущенные мною нелепости, — я не собираюсь утаивать их, как не собираюсь отказываться и от написанного с меня портрета, где у меня лысина и волосы с проседью, так как живописец изобразил на нем не совершенный образец человеческого лица, а лишь мое собственное лицо. Таковы мои склонности и мои взгляды; и я предлагаю их как то, во что я верю, а не как то, во что должно верить. Я ставлю своею целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра, быть может, я стану другим, если узнаю что-нибудь новое, способное произвести во мне перемену. Я не пользуюсь достаточным авторитетом, чтобы каждому моему слову верили, да и не стремлюсь к этому, ибо сознаю, что слишком дурно обучен, чтобы учить других.

Итак, некто, познакомившись с предыдущей главой, сказал мне однажды, будучи у меня, что мне следовало бы несколько подробнее изложить свои мысли о воспитании детей. Сударыня, если я и впрямь обладаю хоть какими-нибудь познаниями в этой области, я не в состоянии дать им лучшее применение, как принеся в дар тому человечку, который грозит в скором будущем совершить свой торжественный выход на свет божий из вас (вы слишком доблестны, чтобы начинать иначе как с мальчика). Ведь, приняв в свое время столь значительное участие в устройстве вашего брака, я имею известное право печься о величии и процветании всего, что от него воспоследует; я не говорю уж о том,

что давнее мое пребывание в вашем распоряжении в качестве вашего покорнейшего слуги обязывает меня желать всею душой чести, всяческих благ и успеха всему, что связано с вами. Но, говоря по правде, я ничего в названном выше предмете не разумею, кроме того, пожалуй, что с наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте.

Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, как перед нами встает великое разнообразие этих приемов и множество трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми: не велика хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как же их вырастить и воспитать.

Склонности детей в раннем возрасте проявляются так слабо и так неотчетливо, задатки их так обманчивы и неопределенны, что составить себе на этот счет определенное суждение очень трудно.

Взгляните на Кимона, взгляните на Фемистокла и стольких других! До чего непохожи были они на себя в детстве! В медвежатах или щенках сказываются их природные склонности; люди же, быстро усваивающие привычки, чужие мнения и законы, легко подвержены переменам и, к тому же, скрывают свой подлинный облик.

Трудно поэтому преобразовать то, что вложено в человека самой природой. От этого и происходит, что, вследствие ошибки в выборе правильного пути, зачастую тратят даром труд и время на натаскивание детей в том, чего те, как следует, усвоить не в состоянии. Я считаю, что в этих затруднительных обстоятельствах следует неизменно стремиться к тому, чтобы направить детей в сторону наилучшего и полезнейшего, не особенно полагаясь на легковесные предзнаменования и догадки, которые мы

извлекаем из движений детской души. Даже Платон, на мой взгляд, придавал им в своем „Государстве“, чрезмерно большое значение.

Сударыня, наука — великое украшение и весьма полезное орудие, особенно если им владеют лица столь обласканные судьбой, как вы. Ибо, поистине, в руках людей низких и грубых она не находит своего надлежащего применения. Она неизмеримо больше гордится в тех случаях, когда ей доводится предоставлять свои средства для ведения войн или управления народом, для того чтобы поддерживать дружеское расположение чужеземного государя и его подданных, чем тогда, когда к ней обращаются за доводом в философском споре, или чтобы выиграть тяжбу в суде или прописать коробочку пилюль. Итак, сударыня, полагая, что, воспитывая ваших детей, вы не забудете и об этой стороне дела, ибо вы и сами вкусили сладость науки и принадлежите к высокопросвещенному роду (ведь сохранились произведения графов де Фуа,[9] от которых происходит и господин граф, ваш супруг, и вы сами; да и господин Франсуа де Кандаль, ваш дядюшка, и ныне еще всякий день трудится над сочинением новых, которые продлят на многие века память об этих дарованиях вашей семьи), я хочу сообщить вам на этот счет мои домыслы, противоречащие общепринятым взглядам; вот и все, чем я в состоянии услужить вам в этом деле.

Обязанности наставника, которого вы дадите вашему сыну, — учитывая, что от его выбора, в конечном счете, зависит, насколько удачным окажется воспитание ребенка, — включают в себя также и многое другое, но я не стану на всем этом останавливаться, так как не сумею тут привнести ничего путного. Что же касается затронутого мною предмета, по которому я беру на себя смелость дать наставнику ряд советов, то и здесь пусть он верит мне ровно настолько, насколько мои соображения покажутся ему убедительными. Ребенка из хорошей семьи обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка (ибо подобная цель является низменной и недостойной милостей и покровительства муз и,

к тому же, предполагает искательство и зависимость от другого) и не для того, чтобы были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри. Вот почему я хотел бы, чтобы, выбирая ему наставника, вы отнеслись к этому с возможной тщательностью; желательно, чтобы это был человек скорее с хорошей, чем с туго набитой головой, ибо, хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и другим, все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености; и нужно также, чтобы, отправляя свои обязанности, он применил новый способ обучения.

Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали. Я хотел бы, чтобы воспитатель вашего сына отказался от этого обычного приема и чтобы с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему ребенка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему самому. Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы он слушал тоже своего питомца. Сократ, а впоследствии и Аркесилай заставляли сначала говорить учеников, а затем уже говорили сами. Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum, qui docent.[10]

Пусть он заставит ребенка пройтись перед ним и, таким образом, получит возможность судить о его походке, а, следовательно, и о том, насколько ему самому нужно сжаться, чтобы приспособиться к силам ученика. Не соблюдая здесь соразмерности, мы можем испортить все дело; уменье отыскать такое соответствие и разумно его соблюдать — это одна из труднейших задач, какие только я знаю. Способность снизойти до влечений ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной. Что до меня, то я тверже и увереннее иду в гору, нежели спускаюсь с горы.

Если учителя, как это обычно у нас делается, просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по своему объему и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания.

Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но смысл и самую суть его, и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит к множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это; и в последовательности своих разъяснений пусть он руководствуется примером Платона.[11] Если кто изрыгает пищу в том самом виде, в каком проглотил ее, то это свидетельствует о неудобоваримости пищи и о несварении желудка. Если желудок не изменил качества и формы того, что ему надлежало сварить, значит он не выполнил своего дела.

Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу. Nunquam tutelae suae fiunt.[12] Я знавал в Пизе одного весьма достойного человека, который настолько почитал Аристотеля, что первейшим его догматом было: „Пробным камнем и основой всякого прочного мнения и всякой истины является их согласие с учением Аристотеля; все, что вне этого — химеры и суета, ибо Аристотель все решительно предусмотрел и все высказал“. Это положение, истолкованное слишком широко и неправильно, подвергло его значительной и весьма долго угрожавшей ему опасности со стороны римской инквизиции.

Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние; пусть

принципы Аристотеля не становятся его неизменными основами, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности.

Che non men che saper dubiar m'aggrada.[13]

Ибо, если он примет мнения Ксенофонта или Платона, поразмыслив над ними, они перестанут быть их собственностью, но сделаются также и его мнениями. Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит; да он и не ищет ничего. Non sumus sub rege; sibi quisque se vindicet.[14] Главное — чтобы он знал то, что знает. Нужно, чтобы он проникся духом былых мыслителей, а не заучивал их наставления. И пусть он не страшится забыть, если это угодно ему, откуда он почерпнул эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их своей собственностью. Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то или то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько и с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаковым образом. Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, дабы собрать мед, который, однако, есть целиком их изделие; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Подобным же образом и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Пусть он таит про себя все, что взял у других, и предает гласности только то, что из него создал. Грабители и стяжатели выставляют напоказ выстроенные ими дома и свои приобретения, а не то, что они вытянули из чужих кошельков. Вы не видите подношений, полученных от просителей каким-нибудь членом пар-

ламента; вы видите только то, что у него обширные связи и что детей его окружает почет. Никто не подсчитывает своих доходов на людях; каждый ведет им счет про себя.

Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее.

Только рассудок, говорил Эпихарм,[15] все видит и все слышит; только он умеет обратить решительно все на пользу себе, только он располагает всем по своему усмотрению, только он, действительно, деятелен — он господствует над всем и царит; все прочее слепо, глухо, бездушно. Правда, мы заставляем его быть угодливым и трусливым, дабы не предоставить ему свободы действовать хоть в чем-нибудь самостоятельно. Кто же спрашивает ученика о его мнении относительно риторики и грамматики, о том или ином изречении Цицерона? Их вколачивают в нашу память в совершенно готовом виде, как некие оракулы, в которых буквы и слоги заменяют сущность вещей. Но знать наизусть еще вовсе не значит знать; это — только держать в памяти то, что ей дали на хранение. А тем, что знаешь по-настоящему, ты вправе распорядиться, не оглядываясь на хозяина, не кося глазами на книгу. Ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость! Я считаю, что она украшение, но никак не фундамент; в этом я следую Платону, который говорит, что истинная философия — это твердость, верность и добросовестность; прочие же знания и все, что направлено к другой цели, — не более, как румяна.

Хотел бы я поглядеть, как Палюэль или Помпей — эти превосходные танцовщики нашего времени — стали бы обучать пируэтам, только проделывая их перед нами и не сдвигая нас с места. Совсем так многие наставники хотят образовать наш ум, не расшевеливая его. Можно ли научить управлять конем, владеть копьем, лютней или голосом, не заставляя изо дня в день упражняться в этом, подобно тому, как некоторые хотят научить нас здравым рассуждениям и искусной речи, не заставляя упражняться ни в рассуждениях, ни в речах? А, между тем, при воспитании в нас этих способностей все, что представляется нашим глазам, стоит

назидательной книги; проделка пажа, тупость слуги, застольная беседа — все это новая пища для нашего ума.

В этом отношении особенно полезно общение с другими людьми, а также поездки в чужие края, не для того, разумеется, чтобы, следуя обыкновению нашей французской знати, привозить с собой оттуда разного рода сведения — о том, например, сколько шагов имеет в ширину церковь Санта-Мария Ротонда[16] или до чего роскошны панталоны синьоры Ливии, или, подобно иным, насколько лицо Нерона на таком-то древнем изваянии длиннее или шире его же изображения на такой-то медали, но для того, чтобы вывезти оттуда знание духа этих народов и их образа жизни, и для того также, чтобы отточить и отшлифовать свой ум путем соприкосновения с умами других. Я бы советовал посылать нашу молодежь за границу в возможно более раннем возрасте и, чтобы убить одним ударом двух зайцев, именно к тем из наших соседей, чья речь наименее близка к нашей, так что, если не приучить к ней свой язык смолоду, то потом уж никак ее не усвоить.

Недаром всеми разделяется мнение, что неразумно воспитывать ребенка под крылышком у родителей. Вложенная в последних самой природой любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность. Они неспособны ни наказывать своих детей за проступки, ни допускать, чтобы они изведали суровые стороны жизни, подвергаясь некоторым опасностям. Они не могут примириться с тем, что их дети возвращаются после различных упражнений потными и перепачкавшимися, что они пьют, как придется, — то теплое, то слишком холодное; они не могут видеть их верхом на норовистом коне или фехтующими с рапирой, зажатой в кулак, с сильным противником, или когда они впервые берутся за аркебузу. Но ведь тут ничего не поделаешь: кто желает, чтобы его сын вырос настоящим мужчиною, тот должен понять, что молодежь от всего этого не уберечь и что тут, хочешь не хочешь, а нередко приходится поступаться предписаньями медицины:

Vitamque sub dio et trepidis agat
In rebus.[17]

Недостаточно закалять душу ребенка; столь же необходимо закалять и его мышцы. Наша душа слишком перегружена заботами, если у нее нет должного помощника; на нее тогда возлагается непосильное бремя, так как она несет его за двоих. Я-то хорошо знаю, как тяжело приходится моей душе в компании со столь нежным и чувствительным, как у меня, телом, которое постоянно ищет ее поддержки. И, читая различных авторов, я не раз замечал, что то, что они выдают за величие духа и мужество, в гораздо большей степени свидетельствует о толстой коже и крепких костях. Мне доводилось встречать мужчин, женщин и даже детей, настолько нечувствительных от природы, что удары палкою значили для них меньше, чем для меня щелчок по носу: получив удар, такие люди не только не вскрикнут, но даже и бровью не поведут. Когда атлеты своею выносливостью уподобляются философам, то здесь скорее сказывается крепость их мышц, нежели твердость души. Ибо привычка терпеливо трудиться — это то же, что привычка терпеливо переносить боль: labor callum obducit dolori.[18] Нужно закалять свое тело тяжелыми и суровыми упражнениями, чтобы приучить его стойко переносить боль и страдания от вывихов, колик, прижиганий и даже от мук тюремного заключения и пыток. Ибо надо быть готовым и к этим последним; ведь в иные времена и добрые разделяют порой участь злых. Мы хорошо знаем это по себе! Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и веревкой. Добавлю еще, что и авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непререкаемым, страдает и расшатывается от такого вмешательства родителей. Сюда присоединяется еще то, что почтительность, которою окружает ребенка челядь, а также его осведомленность о богатстве и величии своего рода являются, на мой взгляд, немалыми помехами в правильном воспитании детей этого возраста.

Что до той школы, которой является общение с другими людьми, то тут я нередко наталкивался на один обычный порок: вместо того, чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить себя напоказ, и наши заботы направлены

скорее на то, чтобы не дать залежаться своему товару, нежели чтобы приобрести для себя новый. Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные. Ребенка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расходовании знаний, которые им будут накоплены; чтобы он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в его присутствии, ибо весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу. Пусть он довольствуется исправлением самого себя и не корит другого за то, что ему самому не по сердцу; пусть он не восстает также против общепринятых обычаев. Licet sapere sine pompa, sine invidia.[19] Пусть он избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не гонится он за известностью человека, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая. Si quid Socrates et Aristippus contra morem et consuetudinem fecerint, idem sibi ne arbitretur licere: magnis enim illi et divinis bonis hanc licentiam assequebantur.[20] Следует научить ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы; его нужно научить также не применять все те возражения, которые могут ему пригодиться, но только сильнейшие из них. Надо приучить его тщательно выбирать доводы, отдавая предпочтение наиболее точным, а следовательно и кратким. Но, прежде всего, пусть научат его склоняться перед истиной и складывать перед нею оружие, лишь только он увидит ее — независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого. Ведь ему не придется подыматься на кафедру, чтобы читать предписанное заранее. Ничто не обязывает его защищать мнения, с которыми он не согласен. Он не принадлежит к тем, кто продает за наличные денежки право признаваться в своих грехах и каяться в них. Neque, ut omnia quae praescripta et imperata sint, defendat, necessitate ulla cogitur.[21]

Если его наставником будет человек такого же склада, как я, он постарается пробудить в нем желание быть верноподданным, беззаветно преданным и беззаветно храбрым слугой своего государя; но, вместе с тем, он и охладит пыл своего питомца, если тот проникнется к государю привязанностью иного рода, нежели та, какой требует от нас общественный долг. Не говоря уже о самых разнообразных стеснениях, налагаемых на нас этими особыми узами, высказывания человека, нанятого или подкупленного, либо не так искренни и свободны, либо могут быть приняты за проявление неразумия или неблагодарности.

Придворный не волен — да и далек от желания — говорить о своем повелителе иначе, как только хорошее; ведь среди стольких тысяч подданных государь отличил его, дабы осыпать своими милостями и возвысить над остальными. Эта монаршая благосклонность и связанные с ней выгоды убивают в нем, естественно, искренность и ослепляют его. Вот почему мы видим, что язык этих господ отличается, как правило, от языка всех прочих сословий и что слова их не очень-то достойны доверия.

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума. Пусть его заставят понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своем рассуждении, даже если она никем, кроме него, не замечена, есть свидетельство ума и чистосердечия, к чему он в первую очередь и должен стремиться; что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам и что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора — качества редкие, ценные и свойственные философам.

Его следует также наставить, чтобы, бывая в обществе, он присматривался ко всему и ко всем, ибо я нахожу, что наиболее высокого положения достигают обычно люди не слишком способные и что судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных. Так, например, я не раз наблюдал, как на верхнем конце стола, за разговором о красоте какой-нибудь шпалеры или о вкусе мальвазии, упускали много любопытного из того, что го-

ворилось на противоположном конце. Он должен добраться до нутра всякого, кого бы ни встретил — пастуха, каменщика, прохожего; нужно использовать все и взять от каждого по его возможностям, ибо все, решительно все, пригодится, — даже чьи-либо глупость или недостатки содержат в себе нечто поучительное. Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитает в себе влечение к их хорошим чертам и презренье к дурным.

Пусть его душе будет привита благородная любознательность, пусть он осведомляется обо всем без исключения; пусть осматривает все примечательное, что только ему ни встретится, будь то какое-нибудь здание, фонтан, человек, поле битвы, происходившей в древности, места, по которым проходили Цезарь или Карл Великий;

Quae tellus sit lenta gelu, quae putris ab aestu,
Ventus in Italiam quis bene vela ferat.[22]

Пусть он осведомляется о нравах, о доходах и связях того или иного государя. Знакомиться со всем этим весьма занимательно и знать очень полезно.

В это общение с людьми я включаю, конечно, и притом в первую очередь, и общение с теми, воспоминание о которых живет только в книгах. Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков. Подобное изучение прошлого для иного — праздная трата времени; другому же оно приносит неоценимую пользу. История — единственная наука, которую чтили, по словам Платона,[23] лакедемоняне. Каких только приобретений не сделает он для себя, читая жизнеописания нашего милого Плутарха? Пусть, однако, мой воспитатель не забывает, в чем его основная задача; пусть он старается запечатлеть в памяти ученика не столько дату разрушения Карфагена, сколько нравы Ганнибала и Сципиона; не столько то, где умер Марцелл, сколько то, почему, окончив жизнь так-то и так-то, он принял недостойную его положения смерть.[24] Пусть он преподает юноше не столько события, сколько уменье судить о них. Это, по-моему, в ряду прочих наук, именно та область знания, к которой наши умы под-

ходят с самыми разнообразными мерками. Я вычитал у Тита Ливия сотни таких вещей, которых иной не приметил; Плутарх же — сотни таких, которых не сумел вычитать я, и, при случае, даже такое, чего не имел в виду и сам автор. Для одних — это чисто грамматические занятия, для других — анатомия философии, открывающая нам доступ в наиболее сокровенные закоулки нашей натуры. У Плутарха мы можем найти множество пространнейших рассуждений, достойных самого пристального внимания, ибо, на мой взгляд, он в этом великий мастер, но вместе с тем и тысячи таких вещей, которых он касается только слегка. Он всего лишь указывает пальцем, куда нам итти, если мы того пожелаем; иногда он довольствуется тем, что обронит мимоходом намек, хотя бы дело шло о самом важном и основном. Все эти вещи нужно извлечь из него и выставить напоказ. Так, например, его замечание о том, что жители Азии были рабами одного единственного монарха, потому что не умели произнести один единственный слог „нет“, дало, быть может, Ла Боэси[25] тему и повод к написанию „Добровольного рабства“. Иной раз также он отмечает какой-нибудь незначительный с виду поступок человека или его ничтожное словечко, — а на деле это стоит целого рассуждения. До чего досадно, что люди выдающегося ума так любят краткость! Слава их от этого, без сомнения, возрастает, но мы остаемся в накладе. Плутарху важнее, чтобы мы восхваляли его за ум, чем за знания; он предпочитает оставить нас алчущими, лишь бы мы не ощущали себя пресыщенными. Ему было отлично известно, что даже тогда, когда дело идет об очень хороших вещах, можно наговорить много лишнего и что Александрид бросил вполне справедливый упрек тому из ораторов, который обратился к эфорам с прекрасной, но слишком длинной речью: „О чужестранец, ты говоришь то, что требуется, но не так, как требуется“.[26] У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот раздувает ее словами.

Общаясь с людьми, ум человеческий достигает изумительной ясности. Ведь мы погружены в себя, замкнулись в себе; наш кругозор крайне мал, мы не видим дальше своего носа. У Со-

крата как-то спросили, откуда он родом. Он не ответил: „Из Афин“, а сказал: „Из вселенной“. Этот мудрец, мысль которого отличалась такой широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, — не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами. Когда у меня в деревне случается, что виноградники прихватит морозом, наш священник объясняет это тем, что род человеческий прогневил бога и считает, что по этой же самой причине и каннибалам на другом конце света нечем промочить себе горло. Кто, глядя на наши гражданские войны, не восклицает: весь мир рушится и близится светопреставление, забывая при этом, что бывали еще худшие вещи и что тысяча других государств наслаждается в это самое время полнейшим благополучием? Я же, учитывая царящую среди нас распущенность и безнаказанность, склонен удивляться тому, что войны эти протекают еще так мягко и безболезненно. Кого град молотит по голове, тому кажется, будто все полушарие охвачено грозою и бурей. Говорил же один савоец, что, если бы этот дурень, французский король, умел дельно вести свои дела, он, пожалуй, годился бы в дворецкие к его герцогу. Ум этого савойца не мог представить себе ничего более величественного, чем его государь. В таком же заблуждении, сами того не сознавая, находимся и мы, а заблуждение это, между тем, влечет за собой большие последствия и приносит огромный вред. Но кто способен представить себе, как на картине, великий облик нашей матери-природы, во всем ее царственном великолепии; кто умеет читать ее бесконечно изменчивые и разнообразные черты; кто ощущает себя, — и не только себя, но и целое королевство, — как крошечную, едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами.

Этот огромный мир, многократно увеличиваемый, к тому же теми, кто рассматривает его как вид внутри рода, и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, дабы познать себя до конца. Короче говоря, я хочу, чтобы он был книгой для моего

юноши. Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность; а ведь это наука не из особенно легких. Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не слишком гордиться собой. Столько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечить в истории свое имя захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения, или взятием в плен десятка конных вояк. Пышные и горделивые торжества в других государствах, величие и надменность стольких властителей и дворов укрепят наше зрение и помогут смотреть, не щурясь, на блеск нашего собственного двора и властителя, а также преодолеть страх перед смертью и спокойно отойти в иной мир, где нас ожидает столь отменное общество. То же и со всем остальным.

Наша жизнь, говорил Пифагор, напоминает собой большое и многолюдное сборище на олимпийских играх. Одни упражняют там свое тело, чтобы завоевать себе славу на состязаниях, другие тащат туда для продажи товары, чтобы извлечь из этого прибыль. Но есть и такие — и они не из худших, — которые не ищут здесь никакой выгоды: они хотят лишь посмотреть, каким образом и зачем делается то-то и то-то, они хотят быть попросту зрителями, наблюдающими жизнь других, чтобы вернее судить о ней и соответственным образом устроить свою.

За примерами могут с удобством последовать наиболее полезные философские правила, к которым надлежит прикладывать для проверки человеческие поступки. Пусть наставник расскажет своему питомцу,

quid fas optare; quid asper
Utile nummus habet: patriae carisque propinquis
Quantum elargiri deceat; quem te deus esse
Iussit, et humana qua parte [locatus es] in re;
Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur; [27]

что означает: знать и не знать; какова цель познания; что такое храбрость, воздержанность и справедливость; в чем различие между жадностью и честолюбием, рабством и подчинением, распущенностью и свободою; какие признаки позволяют распознавать истинное и устойчивое довольство; до каких пределов допустимо страшиться смерти, боли или бесчестия,

Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem;[28]

какие пружины приводят нас в действие и каким образом в нас возникают столь разнообразные побуждения. Ибо я полагаю, что рассуждениями, долженствующими в первую очередь напитать его ум, должны быть те, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, научить его познавать самого себя, а также жить и умереть подобающим образом. Переходя к свободным искусствам, мы начнем с того между ними, которое делает нас свободными.

Все они в той или иной мере наставляют нас, как жить и как пользоваться жизнью, — каковой цели, впрочем, служит и все остальное. Остановим, однако, свой выбор на том из этих искусств, которое прямо направлено к ней и которое служит ей непосредственно.

Если бы нам удалось свести потребности нашей жизни к их естественным и законным границам, мы нашли бы, что бо́льшая часть обиходных знаний не нужна в обиходе; и что даже в тех науках, которые так или иначе находят себе применение, все же обнаруживается множество никому не нужных сложностей и подробностей, таких, какие можно было бы отбросить, ограничившись, по совету Сократа, изучением лишь бесспорно полезного.[29]

Sapere aude,
Incipe: vivendi recte qui prorogat horam,
Rusticus exspectat dum defluat amnis; at ille
Labitur, et labetur in omne volubilis aevum.[30]

Величайшее недомыслие — учить наших детей тому,

Quid moveant Pisces, animosaque signa Leonis,
Lotus et Hesperia quid Capricornus aqua,[31]

или науке о звездах и движении восьмой сферы, раньше, чем науке об их собственных душевных движениях:

Τί Πλειάδεσσι κάμοί
Τί δ'ἀστράσι Βοωτεω.[32]

Анаксимен[33] писал Пифагору: „Могу ли я увлекаться тайнами звезд, когда у меня вечно пред глазами смерть или рабство?". (Ибо это было в то время, когда цари Персии готовились итти походом на его родину). Каждый должен сказать себе: „Будучи одержим честолюбием, жадностью, безрассудством, суевериями и ощущая внутри себя столько других врагов, угрожающих моей жизни, буду ли я задумываться над движениями небесных светил?".

После того как юноше разъяснят, что́ же, собственно, ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и, какую бы из этих наук он ни выбрал, — раз его ум к этому времени будет уже развит, — он быстро достигнет в ней успехов. Преподавать ему должны то путем собеседования, то с помощью книг; иной раз наставник просто укажет ему подходящего для этой цели автора, а иной раз он изложит содержание и сущность книги в совершенно разжеванном виде. А если сам воспитатель не настолько сведущ в книгах, чтобы быть в состоянии отыскивать в них подходящие для его целей места, то можно будет дать ему в помощь какого-нибудь ученого человека, который каждый раз будет снабжать его тем, что требуется, а наставник потом будет уже сам указывать и предлагать их своему питомцу. Можно ли сомневаться, что подобное обучение много приятнее и естественнее, чем преподавание по способу Газы?[34] Там — докучные и трудные правила, слова, пустые и как бы бесплотные; ничто не влечет вас к себе, ничто не будит ума. Здесь же наша душа получит вдоволь поживы, здесь найдется, чем и где попастись. Плоды здесь несравненно более крупные и созревают они быстрее.

Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ни-

чего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — бесконечные словопрения, которыми ее окружили. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающей страх. Кто напялил на нее эту лживую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть-было не сказал — шаловливого. Философия призывает только к празднествам и веселью. Если пред вами нечто печальное и унылое, — значит философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в дельфийском храме на кучку сидевших вместе философов, сказал им: „Или я заблуждаюсь, или, — судя по вашему столь мирному и веселому настроению, — вы беседуете о пустяках". На что один из них — это был Гераклеон из Мегары — ответил: „Морщить лоб, беседуя о науке — это удел тех, кто предается спорам, требуется ли в будущем времени глагола βάλλω две ламбды или одна или как образована сравнительная степень χεῖρον и βέλτιον и превосходная χείριστον и βέλτιστον.[35] Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют их хмурить лоб и предаваться печали".

Deprendas animi tormenta latentis in aegro
Corpore, deprendas et gaudia: sumit utrumque
Inde habitum facies.[36]

Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать во вне; она не может, равным образом, не переделать по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей, соответственно, исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это barroco и baralipton[37] измазывают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе

не она; впрочем, она известна им лишь по наслышке. В самом деле, это она утишает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод, не при помощи каких-то воображаемых эпициклов,[38] но опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума. Ее конечная цель — добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось подходить к добродетели ближе других, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогории, откуда отчетливо видит все находящееся под нею; достигнуть ее может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут тенистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды небесные, склону. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшею добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но, вместе с тем, и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками — счастье и наслаждение, то, по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающее род человеческий.

Мой воспитатель, сознавая свой долг, состоящий в том, чтобы поселить в воспитаннике желание не только уважать, но в равной, а то и в большей мере и любить добродетель, разъяснит ему, что поэты, подобно всем остальным, подвержены тем же слабостям; он также растолкует ему, что даже боги и те прилагали гораздо больше усилий, чтобы проникнуть в покои Венеры, нежели в покои Паллады. И когда его ученик начнет испытывать свойственное молодым людям томление, он представит ему Брадаманту и рядом с нею Анджелику,[39] как возможные предметы его обожания: первую во всей ее непосредственной, не ведающей о себе красоте — деятельную, благородную, мужественную, но никоим образом не мужеподобную, и вторую, исполненную жен-

ственной прелести — изнеженную, хрупкую, изощренную, жеманную; одну — одетую юношей, с головой, увенчанной сверкающим шишаком шлема, другую — в девичьем наряде, с наколкой, шитой жемчугом в волосах. И остановив свой выбор совсем не на той, которой отдал бы предпочтение этот женоподобный фригийский пастух,[40] юноша докажет своему воспитателю, что его любовь достойна мужчины. Пусть его воспитатель преподаст ему еще и такой урок: ценность и возвышенность истинной добродетели определяются легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения; бремя ее настолько ничтожно, что нести его могут как взрослые, так и дети, как те, кто прост, так и те, кто хитер. Упорядоченности, не силы, вот чего она от нас требует. И Сократ, первейший ее любимец, сознательно забыл о своей силе, чтобы радостно и бесхитростно отдаться усовершенствованию в ней. Это — мать-кормилица человеческих наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придает им чистоту и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отмечая те, которые она считает недостойными, она обостряет в нас влечение к дозволенным ею; таких — великое множество, ибо она оставляет нам с материнской щедростью до полного насыщения, а то даже и пресыщения, все то, что согласно с требованиями природы. Ведь не станем же мы утверждать, что известные ограничения, ограждающие любителя выпить от пьянства, обжору от несварения желудка и распутника от лысины во всю голову — враги человеческих наслаждений! Если обычная житейская удача не достается на долю добродетели, эта последняя отворачивается от нее, обходится без нее и выковывает себе свою собственную фортуну, менее шаткую и изменчивую. Она умеет быть богатой, могущественной и ученой и возлежать на раздушенном ложе. Она любит жизнь, любит красоту, славу, здоровье. Но главная и основная ее задача — научить пользоваться этими благами, соблюдая известную меру, а также сохранять твердость, теряя их, — задача более благородная, нежели тягостная, ибо без этого течение нашей жизни искажается, мутнеет, уродуется; тут нас подстерегают подводные камни, пучины и всякие чудища. Если же

ученик проявит не отвечающие нашим чаяньям склонности, если он предпочтет побасенки занимательному рассказу о путешествии или назидательным речам, которые мог бы услышать; если, заслышав барабанный бой, разжигающий воинственный пыл его юных товарищей, он обратит свой слух к другому барабану, сзывающему на представление ярмарочных плясунов; если он не сочтет более сладостным и привлекательным возвращаться в пыли и грязи, но с победою с поля сражения, чем с призом после состязания в мяч или танцев, то я не вижу никаких иных средств, кроме следующих: пусть воспитатель — и чем раньше, тем лучше, причем, разумеется, без свидетелей, — удавит его или отошлет в какой-нибудь торговый город и отдаст в ученики пекарю, будь он даже герцогским сыном. Ибо, согласно наставлению Платона, „детям нужно определять место в жизни в зависимости не от способностей их отца, но от способностей их души“.

Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты, — почему бы не приобщить к ней и детей?

> Udum et molle lutum est; nunc nunc properandus et acri
> Fingendus sine fine rota.[+]

А между тем нас учат жить, когда жизнь уже прошла. Сотни школяров заражаются сифилисом прежде, чем дойдут до того урока из Аристотеля, который посвящен воздержанию. Цицерон говорил, что, проживи он даже двойную жизнь, все равно у него не нашлось бы досуга для изучения лирических поэтов. Что до меня, то я смотрю на них с еще бо́льшим презрением — это совершенно бесполезные болтуны. Нашему юноше приходится еще более торопиться; ведь учению могут быть отданы лишь первые пятнадцать-шестнадцать лет его жизни, а остальное предназначено деятельности. Используем же столь краткий срок, как следует; научим его только необходимому. Не нужно излишеств: откиньте все эти колючие хитросплетения диалектики, от которых наша жизнь не становится лучше; остановитесь на простейших положениях философии и сумейте надлежащим образом отобрать и

истолковать их; ведь постигнуть их много легче, чем новеллу Боккаччо, и дитя, едва выйдя из рук кормилицы, готово к их восприятию в большей мере, чем к искусству чтения и письма. У философии есть свои рассуждения как для тех, кто вступает в жизнь, так и для дряхлых старцев.

Я согласен с Плутархом, что Аристотель занимал своего великого ученика не столько искусством составлять силлогизмы или основами геометрии, сколько добрыми наставлениями по части того, что относится к доблести, смелости, великодушию, воздержанности и не ведающей страха уверенности в себе; с таким снаряжением он и отправил его, совсем еще мальчиком, завоевывать мир, имея с собой всего лишь тридцать тысяч пехоты, четыре тысячи всадников и сорок две тысячи экю деньгами. Что до прочих наук и искусств, то, как говорит Плутарх, хотя Александр и относился к ним с большим почтением и восхвалял их пользу и великое достоинство, все же, несмотря на удовольствие, которое они ему доставляли, не легко было побудить его заниматься ими с охотою.

Petite hinc, iuvenesque senesque,
Finem animo certum, miserisque viatica canis.[42]

Сходно говорит Эпикур в начале письма своего к Меникею „Ни самый юный не бежит философии, ни самый старый не устает от нее“.[43] Кто поступает иначе, тот как бы показывает этим, что пора счастливой жизни для него либо еще не настала, либо уже прошла.

По всем этим причинам я не хочу, чтобы нашего мальчика держали в неволе. Я не хочу оставлять его в жертву мрачному настроению какого-нибудь жестокого нравом учителя. Я не хочу уродовать его душу, устраивая ему сущий ад и заставляя, как это в обычае у иных, трудиться каждый день по четырнадцати или пятнадцати часов, словно он какой-нибудь грузчик. Если же он, склонный к уединению и меланхолии, с чрезмерным усердием, которое в нем воспитали, будет корпеть над изучением книг, то и в этом, по-моему, мало хорошего: это сделает его неспособным

к общению с другими людьми и оттолкнет от более полезных занятий. И сколько же на своем веку перевидал я таких, которые, можно сказать, утратили человеческий облик из-за безрассудной страсти к науке! Карнеад[44] до такой степени ошалел от нее, что не мог найти времени, чтобы остричь себе волосы и ногти. Я не хочу, кроме того, подвергать порче его благородные нравы соприкосновением с дикостью и грубостью. Французское благоразумие издавна вошло в поговорку, в качестве такого, однако, которое хотя и сказывается весьма рано, но зато и недолго держится. И впрямь, трудно сыскать что-нибудь столь прелестное, как маленькие дети во Франции; но, как правило, они обманывают наши надежды и, став взрослыми, не обнаруживают в себе ничего выдающегося. Я слышал от людей рассудительных, что коллежи, куда их посылали учиться, — их у нас теперь великое множество, — и являются причиной такого их отупения.

Что касается нашего воспитанника, то для него все часы хороши и всякое место пригодно для занятий, будет ли то классная комната, сад, стол или постель, одиночество или компания, утро иль вечер, ибо философия, которая, образуя суждения и нравы людей, является главным предметом его изучения, имеет привилегию примешиваться решительно ко всему. Исократ-оратор, когда его попросили однажды во время пира произнести речь о своем искусстве, ответил — и всякий признает, что он был прав — такими словами: „Для того, что я умею, сейчас не время; сейчас время для того, чего я не умею“. Ибо, и в самом деле, произносить речи или пускаться в словесные ухищрения перед обществом, собравшимся, чтобы повеселиться и попировать, значило бы соединить вместе вещи несоединимые. То же самое можно было бы сказать и о всех прочих науках. Но когда речь заходит о философии и именно о том разделе ее, где рассматривается человек, а также в чем его долг и обязанности, то, согласно мнению всех мудрецов, дело здесь обстоит совсем по-иному, и от нее не подобает отказываться, принимая во внимание приятность беседы о ней, ни на любом пире, ни на любых игрищах. И мы видим, как, явившись по приглашению Платона на его пир,[45]

она изящно и сообразно месту и времени развлекает присутствующих, хотя и пускается в самые назидательные и возвышенные рассуждения:

Aeque pauperibus prodest, locupletibus aeque;
Et neglecta, aeque pueris senibusque nocebit.[46]

Таким образом, наш воспитанник, без сомнения, будет пребывать в праздности меньше других. Но подобно тому, как шаги, которые мы делаем, прогуливаясь по галлерее, будь их хоть в три раза больше, не утомляют нас в такой мере, как те, что затрачены на преодоление какой-нибудь определенной дороги, так и урок, проходя как бы случайно, без обязательного места и времени, в сочетании со всеми другими нашими действиями, будет протекать совсем незаметно. Даже игры и упражнения — и они станут неотъемлемой и довольно значительной частью обучения: я имею в виду бег, борьбу, музыку, танцы, охоту, верховую езду, фехтование. Я хочу, чтобы благовоспитанность, светскость, внешность ученика совершенствовались вместе с его душою. Ведь воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя расчленять его надвое. И, как говорит Платон, нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так, как если бы это была пара впряженных в одно дышло коней.[47] И, слушая Платона, не кажется ли нам, что он уделяет и больше времени и больше старания телесным упражнениям, считая, что душа упражняется вместе с телом, а не наоборот?

Вообще же, обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью, а не так, как это делается обычно, когда, вместо того, чтобы приохотить детей к науке, им преподносят ее как сплошной ужас и жестокость. Откажитесь от насилия и принуждения; нет ничего, по моему мнению, что так бы уродовало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам. Приучайте его к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать; отвадьте его от

изнеженности и разборчивости; пусть он относится с безразличием к тому, во что он одет, на какой постели спит, что ест и что пьет; пусть он привыкнет решительно ко всему. Пусть не будет он маменькиным сынком, похожим на изнеженную девицу, но пусть будет сильным и крепким юношей. В юности, в зрелые годы, в старости — я всегда рассуждал и смотрел на дело именно так. И, наряду со многими другими вещами, порядки, заведенные в большинстве наших коллежей, никогда не нравились мне. Быть может, вред, приносимый ими, был бы значительно меньше, будь воспитатели хоть немножечко снисходительней. Но ведь это настоящие тюрьмы для заключенной в них молодежи. Там развивают в ней развращенность, наказывая за нее прежде, чем она действительно проявилась. Зайдите в такой коллеж во время занятий: вы не услышите ничего, кроме криков — криков школьников, подвергаемых порке, и криков учителей, ошалевших от гнева. Можно ли таким способом пробудить в детях охоту к занятиям, можно ли с такой страшной рожей, с плеткой в руках руководить этими пугливыми и нежными душами? Ложный и губительный способ! Добавим правильное замечание, сделанное на этот счет Квинтилианом: столь безграничная власть учителя чревата опаснейшими последствиями, особенно если учесть характер принятых у нас наказаний.[48] Насколько пристойнее было бы усыпать полы классных комнат цветами и листьями вместо окровавленных ивовых прутьев! Я велел бы там расписать стены изображениями Радости, Веселья, Флоры, Граций, как это сделал у себя в школе философ Спевсипп.[49] Где для детей польза, там же должно быть для них и удовольствие. Когда кормишь ребенка, полезные для него кушанья надо подсахаривать, а к вредным примешивать желчь.

Поразительно, сколько внимания уделяет в своих „Законах“ Платон увеселениям и развлечениям молодежи в своем государстве; как подробно говорит он об их состязаниях в беге, играх, песнях, прыжках и плясках, руководство и покровительство над которыми, по его словам, в древности было вверено самим божествам — Аполлону, музам, Минерве. Мы найдем у него тысячу предписаний касательно его гимнасий; книжные знания его, однако, весьма

мало интересуют, и он, мне кажется, советует заниматься поэзией только потому, что она связана с музыкой.

Нужно избегать всего странного и необычного в наших нравах и поведении, поскольку это мешает нам общаться с людьми и поскольку это вообще — уродства. Кто не удивился бы необычайным свойствам кравчего Александра, Демофона, который обливался потом в тени и трясся от озноба на солнце? Мне случалось видеть людей, которым страшнее был запах яблок, чем выстрелы из аркебуз, и таких, которые до смерти боялись мышей, и таких, которых начинало мутить, когда они видели сливки, и таких, которые не могли смотреть, когда при них взбивали перину, подобно тому, как Германик[50] не выносил ни вида петухов, ни их пения. Возможно, что это происходит от какого-нибудь тайного свойства натуры; но, по-моему, все это можно побороть, если во-время взяться за дело. Мое воспитание, правда не без труда, добилось того, что мой вкус, за исключением пива, приспособился ко всему, что употребляется в пищу. Пока тело еще гибко, его нужно изгибать всеми способами и на все лады. И если воля и вкусы нашего юноши проявят податливость, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже, при случае, к беспутству и излишествам, если это окажется нужным. Пусть он приспосабливается к обычаям своего времени. Он должен уметь делать все без исключения, но любить делать должен только хорошее. Сами философы не одобряют поведения Каллисфена, утратившего благосклонность великого Александра из-за того, что он отказался пить так же много, как тот. Пусть юноша хохочет, пусть шалит, пусть беспутничает вместе со своим государем. Я хотел бы, чтобы даже в разгуле он превосходил выносливостью и крепостью своих сотоварищей. И пусть он никому не причиняет вреда не по недостатку возможностей и умения, а лишь по недостатку злой воли. Multum interest utrum peccare aliquis nolit aut nesciat.[51] Как-то раз, находясь в веселой компании, я обратился к одному вельможе, который, пребывая во Франции, никогда не отличался беспорядочным образом жизни, с вопросом, сколько раз в жизни ему пришлось напиться, находясь на королевской службе в Германии. Задавая

этот вопрос, я имел в виду выразить ему свое уважение, и он так это и принял. Он ответил, что это случилось с ним трижды, и тут же рассказал, при каких обстоятельствах это произошло. Я знаю лиц, которые, не обладая способностями подобного рода, попадали в весьма тяжелое положение, ведя дела с этой нацией. Не раз восхищался я удивительной натурой Алкивиада,[52] который с такой легкостью умел приспособляться, без всякого ущерба для своего здоровья, к самым различным условиям, то превосходя роскошью и великолепием самих персов, то воздержанностью и строгостью нравов — лакедемонян, то поражая всех своим целомудрием, когда был в Спарте, то сладострастием, когда находился в Ионии.

Omnis Aristippum decuit color, et status, et res.[53]

Таким хотел бы я воспитать и моего питомца,

quem duplici panno patientia velat
Mirabor, vitae via si conversa decebit,
Personamque feret non inconcinnus utramque. [54]

Вот мои наставления. И больше пользы извлечет из них не тот, кто их заучит, а тот, кто применит их на деле. Если вы это видите, вы это и слышите; если вы это слышите, вы это и видите.

Да не допустит бог, говорит кто-то у Платона, чтобы занятия философией состояли лишь в усвоении разнообразных знаний и погружении в науку! Hanc amplissimam omnium artium bene vivendi disciplinam, vita magis quam litteris persecuti sunt.[55]

Леон, властитель Флиунта, спросил как-то Гераклида Понтийского, какой наукой или каким искусством он занимается. „Я не знаю ни наук, ни искусств, — ответил тот, — я — философ“.[56]

Диогена упрекали в том, что, будучи невежественным в науках, он решается браться за философию. „Я берусь за нее, — сказал он в ответ, — с тем бо́льшими основаниями“. Гегесий[57] попросил его прочитать ему какую-то книгу. „Ты смешишь меня! — отвечал Диоген. — Ведь ты предпочитаешь настоящие фиги нарисованным, — так почему же тебе больше нравятся не действительные деяния, а рассказы о них?“.

Пусть наш юноша научится не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь. Пусть он повторяет их в своих действиях. И тогда будет видно, лежит ли благоразумие в основе его начинаний, проявляет ли он справедливость и доброту в своем поведении, ум и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, умеренность в наслаждениях, неприхотливость в питье и пище, — мясо ли то будет или рыба, вино или вода, — умеет ли соблюдать порядок в своих домашних делах: Qui disciplinam suam, non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet, quique obtemperet ipse sibi, et decretis pareat.[58]

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

Зевксидам[59] ответил человеку, спросившему его, почему лакедемоняне не излагают письменно своих предписаний относительно доблести и не дают их в таком виде читать молодежи: „Потому, что они хотят приучить ее к делам, а не к словам". Сравните их юношу пятнадцати или шестнадцати лет с одним из наших латинистов-школьников, который затратил столько же времени только на то, чтобы научиться как следует говорить. Свет слишком болтлив; я не встречал еще человека, который говорил бы не больше, а меньше, чем полагается; во всяком случае, половина нашей жизни уходит на разговоры. Четыре или пять лет нас учат правильно понимать слова и строить из них фразы; еще столько же — объединять фразы в небольшие рассуждения из четырех или даже пяти частей; и последние пять, если не больше — уменью ловко сочетать и переплетать эти рассуждения между собой. Оставим это занятие тем, кто сделал его своим ремеслом.

Направляясь как-то в Орлеан, я встретил на равнине около Клери двух школьных учителей, шедших в Бордо на расстоянии примерно пятидесяти шагов один позади другого. Еще дальше, за ними, я увидел военный отряд во главе с офицером, которым оказался не кто иной, как граф де Ларошфуко, ныне покойный. Один из сопровождавших меня людей спросил первого из учителей, кто этот дворянин. Тот, не заметив шедших подальше солдат и думая, что с ним говорят о его товарище, презабавно ответил:

„Он вовсе не дворянин; это — грамматик, а что до меня, то я — логик“. Но поскольку мы стараемся воспитать не логика или грамматика, а дворянина, предоставим им располагать своим временем столь нелепо, как им будет угодно; а нас ждут другие дела. Итак, лишь бы наш питомец научился как следует делам; слова же придут сами собой, — а если не захотят притти, то он притащит их силой. Мне приходилось слышать, как некоторые уверяют, будто голова их полна всяких прекрасных мыслей, да только выразить их они не умеют: во всем, мол, виновато отсутствие у них красноречия. Но это — пустые отговорки! На мой взгляд, дело обстоит так. В головах у этих людей носятся какие-то бесформенные образы и обрывки мыслей, которые они не в состоянии привести в порядок и уяснить себе, а, стало быть, и передать другим: они еще не научились понимать самих себя. И хотя они лепечут что-то как будто бы уже готовое родиться, вы ясно видите, что это скорей похоже на зачатие, чем на роды, и что они только подбираются издали к смутно мелькающей перед ними мысли. Я лично полагаю, — и в этом я могу опереться на Сократа, — что тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на бергамском наречии, а если он немой, то с помощью мимики:

Verbaque praevisam rem non invita sequentur.[60]

Как выразился — хотя и прозой, но весьма поэтически — Сенека: cum res animum occupavere verba ambiunt.[61] Или, как говорил другой древний автор: Ipsae res verba rapiunt.[62] Не беда, если мой питомец никогда не слышал о творительном падеже, о сослагательном наклонении и о существительном и вообще из грамматики знает не больше, чем его лакей или уличная торговка селедками. Да ведь этот самый лакей и эта торговка, лишь дай им волю, наговорят вам с три короба и сделают при этом не больше ошибок против правил своего родного языка, чем первейший магистр наук во Франции. Пусть наш ученик не знает риторики, пусть не умеет в предисловии снискать благоволение доверчивого читателя, но ему и не нужно знать всех этих вещей. Ведь, говоря по

правде, все эти роскошные украшения легко затмеваются светом, излучаемым простой и бесхитростной истиной. Эти завитушки могут увлечь только невежд, неспособных вкусить от чего-либо более основательного и жесткого, как это отчетливо показано Апром у Тацита.[63] Послы самосцев явились к Клеомену, царю Спарты, приготовив прекрасную и пространную речь, которою хотели склонить его к войне с тираном Поликратом. Дав им возможность высказаться, Клеомен ответил: „Что касается зачина и вступления вашей речи, то я их забыл, равно как и середину ее; ну а что касается заключения, то я несогласен". Вот, как мне представляется, прекрасный ответ, оставивший этих говорунов с носом.

А что вы скажете о следующем примере? Афинянам надлежало сделать выбор между двумя строителями, предлагавшими свои услуги для какого-то крупного сооружения. Один, более хитроумный, выступил с великолепной, заранее обдуманной речью о том, каким следует быть этому строению, и почти склонил народ на свою сторону. Другой же ограничился следующими словами: „Мужи афиняне, что он сказал, то я сделаю".

Многие восхищались красноречием Цицерона в пору его расцвета; но Катон лишь подсмеивался над ним: „У нас, — говорил он, — презабавный консул". Будь оно впереди или сзади, полезное изречение или меткое словцо всегда уместно. И если оно не подходит ни к тому, что ему предшествует, ни к тому, что за ним следует, оно все же хорошо само по себе. Я не принадлежу к числу тех, кто считает, что раз в стихотворении безупречен размер, то значит и все оно безупречно; по-моему, если поэт где-нибудь вместо краткого слога поставит долгий, беда не велика, лишь бы стихотворение звучало приятно, лишь бы оно было богато смыслом и содержанием — и я скажу, что перед нами хороший поэт, хоть и плохой стихотворец:

Emunctae naris, durus componere versus.[64]

Удалите, говорил Гораций, из его стихотворения чередование долгих и кратких слогов, удалите из него размеры, —

Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est,
Posterius facias, praeponens ultima primis,
Invenias etiam disiecti membra poetae,[65]

оно не станет от этого хуже; даже отдельные части его будут прекрасны. Вот что ответил Менандр[66] бранившим его за то, что он еще не притронулся к обещанной им комедии, хотя назначенный для ее окончания срок уже истекал: „Она полностью сочинена и готова; остается только изложить это в стихах“. Разработав в уме план комедии и расставив все по своим местам, он считал остальное безделицей. С той поры как Ронсар и Дю Белле создали славу нашей французской поэзии, нет больше стихоплетов, сколь бы бездарными они ни были, которые не пучились бы словами, не нанизывали, подобно им, слогов, подражая им: Plus sonat quam valet.[67] Никогда еще не было у нас столько поэтов, пишущих на родном языке. Но хотя им и было легко усвоить ритмы двух названных поэтов, они все же не доросли до того, чтобы подражать роскошным описаниям первого и нежным фантазиям второго.

Но как же должен поступить наш питомец, если его начнут донимать софистическими тонкостями вроде следующего силлогизма: ветчина возбуждает желание пить, а питье утоляет жажду, стало быть, ветчина утоляет жажду? Пусть он посмеется над этим. Гораздо разумнее смеяться над подобными глупостями, чем пускаться в обсуждение их. Пусть он позаимствует у Аристиппа его остроумное замечание: „К чему мне распутывать это хитросплетение, если, даже будучи запутанным, оно изрядно смущает меня?“. Некто решил выступить против Клеанфа во всеоружии диалектических ухищрений. На это Хрисипп сказал: „Забавляй этими фокусами детей и не отвлекай подобной чепухой серьезные мысли взрослого человека“.

Если эти софистические нелепости, эти contorta et aculeata sophismata[68] способны внушить ученику ложные понятия, то это и в самом деле опасно; но если они не оказывают на него никакого влияния и не вызывают в нем ничего, кроме смеха, я не вижу никаких оснований к тому, чтобы он уклонялся от них.

Существуют такие глупцы, которые готовы свернуть с пути и сделать крюк в добрую четверть лье в погоне за острым словцом: aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba conveniant.[69] А вот с чем мы встречаемся у другого писателя: sunt qui alicuius verbi decore placentis vocentur ad id quod non proposuerant scribere.[70] Я охотнее изменю какое-нибудь хорошее изречение, чтобы вклеить его в мои собственные писания, чем оборву нить моих мыслей, чтобы предоставить ему подходящее место. По-моему, это словам надлежит подчиняться и итти следом за мыслями, а не наоборот, и там, где бессилен французский, пусть его заменит гасконский. Я хочу, чтобы вещи преобладали, чтобы они заполняли собой воображение слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о словах. Речь, которую я люблю, это бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как на устах; речь сочная и острая, краткая и сжатая, не столько тонкая и приглаженная, сколько мощная и суровая:

Haec demum sapiet dictio, quae feriet;[71]

скорее трудная, чем скучная; свободная от всякой напыщенности, непринужденная, нескладная, смелая; каждый кусок ее должен выполнять свое дело; она не должна быть ни речью педанта, ни речью монаха, ни речью сутяги, но, скорее, солдатскою речью, как называет Светоний речь Цезаря,[72] хотя, говоря по правде, мне не совсем понятно, почему он ее так называет.

Я охотно подражал в свое время той небрежности, с какой, как мы видим, наша молодежь носит одежду: плащ, свисающий на завязках, капюшон на плече, кое-как натянутые чулки — все это призвано выразить гордое презрение к этим иноземным нарядам, а также пренебрежение ко всякому лоску. Но я нахожу, что еще более уместным было бы то же самое в отношении нашей речи. Всякое жеманство, особенно при нашей французской живости и непринужденности, совсем не к лицу придворному, а в монархии любой дворянин должен вести себя как придворный. Поэтому мы поступаем, по-моему, правильно, слегка выпячивая в себе простодушие и небрежность.

Я ненавижу ткань, испещренную узелками и швами, подобно тому, как и красивое тело не должно быть таким, чтобы можно было пересчитать все заключенные в нем кости и вены. Quae veritati operam dat oratio, incomposita sit et simplex.[73] Quis accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui?[74]

Красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей.

Желание отличаться от всех остальных непринятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов происходят от ребяческого тщеславия педантов. Почему я не могу пользоваться той же речью, какою пользуются на парижском рынке? Аристофан Грамматик,[75] ничего в этом не смысля, порицал в Эпикуре простоту его речи и цель, которую он ставил перед собой как оратор и которая состояла исключительно в ясности языка. Подражание чужой речи в силу своей доступности, — вещь, которой постоянно занимается целый народ; но подражать в мышлении и в воображении — это дается не так уж легко. Большинство читателей, находя облачение одинаковым, глубоко заблуждаются, полагая, что под ним скрыты и одинаковые тела.

Силу и сухожилия нельзя позаимствовать; заимствуются только уборы и плащ. Большинство среди тех, кто посещает меня, говорит так же, как написаны эти „Опыты“; но я, право, не знаю, думают ли они так же или как-нибудь по-иному.

Афиняне, говорит Платон,[76] заботятся преимущественно о богатстве и изяществе своей речи, лакедемоняне — о ее краткости, а жители Крита проявляют больше заботы об изобилии мыслей, нежели о самом языке: эти последние поступают правильнее всего. Зенон говорил, что у него было два рода учеников: одни, как он именует их φιλολόγοι, жадные к познанию самых вещей, — и они были его любимцами; другие — λογοφίλοι, которые заботились только о языке.[77] Этим нисколько не отрицается, что умение красно говорить — превосходная и весьма полезная вещь; но все же она совсем не так хороша, как принято считать, и во мне вызывает досаду, что вся наша жизнь наполнена стремлением к ней. Что

до меня, то я прежде всего хотел бы знать надлежащим образом свой родной язык, а затем язык соседних народов, с которыми я чаще всего общаюсь. Овладение же языками греческим и латинским — дело, несомненно, прекрасное и важное, но оно покупается слишком дорогой ценой. Я расскажу здесь о способе приобрести эти знания много дешевле обычного, — способе, который был испытан на мне самом. Его сможет применить всякий, кто пожелает.

Покойный отец мой, наведя тщательнейшим образом справки у людей ученых и сведущих, как лучше всего изучать древние языки, был предупрежден ими об обычно возникающих здесь помехах; ему сказали, что единственная причина, по которой мы не в состоянии достичь величия и мудрости древних греков и римлян, это продолжительность изучения их языков, тогда как им самим они не стоили ни малейших усилий. Я, впрочем, не думаю, чтобы это была, действительно, единственная причина. Так или иначе но мой отец нашел выход в том, что прямо из рук кормилицы и прежде, чем мой язык научился первому лепету, отдал меня на попечение одному немцу,[78] много лет спустя скончавшемуся во Франции знаменитым врачом. Мой учитель совершенно не знал нашего языка, но прекрасно владел латынью. Приехав, по приглашению моего отца, предложившего ему превосходные условия, исключительно ради моего обучения, он неотлучно находился при мне. Чтобы облегчить его труд, ему было дано еще двое помощников, не столь ученых, как он, которые были приставлены ко мне дядьками. Все они в разговоре со мною пользовались только латынью. Что до всех остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакей или горничная, не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских, усвоенных каждым из них, дабы кое-как объясняться со мною. Поразительно, однако, сколь многого они в этом достигли. Отец и мать выучились латыни настолько, что вполне понимали ее, а в случае нужды могли и изъясниться на ней; то же можно сказать и о тех слугах, которым приходилось больше соприкасаться со мною. Короче говоря, мы до такой степени олатинились, что наша латынь добра-

лась даже до расположенных в окрестностях деревень, где и по сию пору сохраняются укоренившиеся вследствие частого употребления латинские названия некоторых ремесел и относящихся к ним орудий. Что до меня, то даже на седьмом году я столько же понимал французский или окружающий меня перигорский говор, сколько, скажем, арабский. И без всяких ухищрений, без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розог и слез я постиг латынь, такую же безупречно чистую, как и та, которой владел мой наставник, ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и искажать ее. Когда случалось предложить мне, ради проверки, письменный перевод на латинский язык, то приходилось давать мне текст не на французском языке, как это делают в школах, а на дурном латинском, который мне надлежало переложить на хорошую латынь. И Никола Груши, написавший „De comitiis Romanorum“, Гильом Герант, составивший комментарии к Аристотелю, Джордж Бьюкенен, великий шотландский поэт, Марк-Антуан Мюре,[79] которого и Франция и Италия считают лучшим оратором нашего времени, бывшие также моими наставниками, не раз говорили мне, что в детстве я настолько легко и свободно говорил по-латыни, что они боялись подступиться ко мне. Бьюкенен, которого я видел и позже в свите покойного маршала де Бриссака, сообщил мне, что, намереваясь писать о воспитании детей, он взял мое воспитание в качестве образца; в то время на его попечении находился молодой граф де Бриссак, представивший нам впоследствии доказательства своей отваги и доблести.

Что касается греческого, которого я почти вовсе не знаю, то отец имел намерение обучить меня этому языку, используя совершенно новый способ — путем разного рода забав и упражнений. Мы перебрасывались склонениями вроде тех юношей, которые с помощью определенной игры, например шашек, изучают арифметику и геометрию. Ибо моему отцу, среди прочего, советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это

проводилось им с такой неукоснительностью, что, — во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна (в который они погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые), — мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из услужающих мне.

Этого примера достаточно, чтобы судить обо всем остальном, а также чтобы получить надлежащее представление о заботливости и любви столь исключительного отца, которому ни в малой мере нельзя поставить в вину, что ему не удалось собрать плодов, на какие он мог рассчитывать при столь тщательной обработке. Два обстоятельства были причиной этого: во-первых, бесплодная и неблагодарная почва, ибо, хоть я и отличался отменным здоровьем и податливым, мягким характером, все же, наряду с этим, я до такой степени был тяжел на подъем, вял и сонлив, что меня не могли вывести из состояния праздности, даже чтобы заставить хоть чуточку поиграть. То, что я видел, я видел как следует, и под этой тяжеловесной внешностью предавался смелым мечтам и не по возрасту зрелым мыслям. Ум же у меня был медлительный, шедший не дальше того, докуда его довели, усваивал я также не сразу; находчивости во мне было мало, и, ко всему, я страдал почти полным — так что трудно даже поверить — отсутствием памяти. Поэтому нет ничего удивительного, что отцу так и не удалось извлечь из меня что-нибудь стоющее. А во-вторых, подобно всем тем, кем владеет страстное желание выздороветь и кто прислушивается поэтому к советам всякого рода, этот добряк, безумно боясь потерпеть неудачу в том, что он так близко принимал к сердцу, уступил, в конце концов, общему мнению, которое всегда отстает от людей, что идут впереди, вроде того как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю, не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии. Итак, он отправил меня, когда мне было около шести лет, в гиеньскую школу, в то время находившуюся в расцвете и почитавшуюся лучшей во

Франции. И вряд ли можно было бы прибавить еще что-нибудь к тем заботам, которыми он меня там окружил, выбрав для меня наиболее достойных наставников, занимавшихся со мною отдельно, и выговорив для меня ряд других, не предусмотренных в школах, преимуществ. Но как бы там ни было, это все же была школа. Моя латынь скоро начала здесь портиться, и, отвыкнув употреблять ее в разговоре, я быстро утратил владение ею. И все мои знания, приобретенные благодаря новому способу обучения, сослужили мне службу только в том отношении, что позволили мне сразу перескочить в старшие классы. Но, выйдя из школы тринадцати лет и окончив, таким образом, курс наук (как это называется на их языке), я, говоря по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену.

Впервые влечение к книгам зародилось во мне благодаря удовольствию, которое я получил от рассказов Овидия в его „Метаморфозах". В возрасте семи-восьми лет я отказывался от всех других удовольствий, чтобы наслаждаться чтением их; помимо того, что латынь была для меня родным языком, это была самая легкая из всех известных мне книг и к тому же наиболее доступная по своему содержанию моему незрелому уму. Ибо о всяких там Ланселотах с Озера, Амадисах, Гюонах Бордоских[80] и прочих дрянных книжонках, которыми увлекаются в юные годы, я в то время и не слыхивал (да и сейчас толком не знаю, в чем их содержание), — настолько строгой была дисциплина, в которой меня воспитывали. Больше небрежности проявлял я в отношении других задаваемых мне уроков. Но тут меня выручало то обстоятельство, что мне приходилось иметь дело с умным наставником, который умел очень мило закрывать глаза как на эти, так и на другие, подобного же рода мои прегрешения. Благодаря этому я проглотил последовательно „Энеиду" Вергилия, затем Теренция, Плавта, наконец, итальянские комедии, всегда увлекавшие меня занимательностью своего содержания. Если бы наставник мой проявил тупое упорство и насильственно оборвал это чтение, я бы вынес из школы лишь лютую ненависть к книгам, как это случается почти со всеми нашими молодыми дворянами. Но он вел себя

весьма мудро. Делая вид, что ему ничего не известно, он еще больше разжигал во мне страсть к поглощению книг, позволяя лакомиться ими только украдкой и мягко понуждая меня выполнять обязательные уроки. Ибо главные качества, которыми, по мнению отца, должны были обладать те, кому он поручил мое воспитание, были добродушие и мягкость характера. Да и в моем характере не было никаких пороков, кроме медлительности и лени. Опасаться надо было не того, что я сделаю что-нибудь плохое, а того, что я ничего не буду делать. Ничто не предвещало, что я буду злым, но все — что я буду бесполезным. Можно было предвидеть, что мне будет свойственна любовь к безделью, но не любовь к дурному.

Я вижу, что так оно и случилось. Жалобы, которыми мне протрубили все уши, таковы: „Он ленив; равнодушен к обязанностям, налагаемым дружбой и родством, а также к общественным; слишком занят собою". И даже те, кто менее всего расположен ко мне, все же не скажут: „На каком основании он захватил то-то и то-то? На каком основании он не платит?". Они говорят: „Почему он не уступает? Почему не дает?".

Я буду рад, если и впредь ко мне будут обращать лишь такие, порожденные сверхтребовательностью, упреки. Но некоторые несправедливо требуют от меня, чтобы я делал то, чего я не обязан делать, и притом гораздо настойчивее, чем требуют от себя того, что они обязаны делать. Осуждая меня, они заранее отказывают тем самым любому моему поступку в награде, а мне — в благодарности, которая была бы лишь справедливым воздаянием должного. Прошу еще при этом учесть, что всякое хорошее дело, совершенное мною, должно цениться тем больше, что сам я меньше кого-либо пользовался чужими благодеяниями. Я могу тем свободнее распоряжаться моим имуществом, чем больше оно мое. И если бы я любил расписывать все, что делаю, мне было бы легко отвести от себя эти упреки. А иным из этих господ я сумел бы без труда доказать, что они не столько раздражены тем, что я делаю недостаточно много, сколько тем, что я мог бы сделать для них значительно больше.

В то же время душа моя сама по себе вовсе не лишена была сильных движений, а также отчетливого и ясного взгляда на окружающее, которое она достаточно хорошо понимала и оценивала в одиночестве, ни с кем ни общаясь. И среди прочего я, действительно, думаю, что она не способна была бы склониться пред силою и принуждением.

Следует ли мне упомянуть еще об одной способности, которую я проявлял в своем детстве? Я имею в виду выразительность моего лица, подвижность и гибкость в голосе и телодвижениях, умение сживаться с той ролью, которую я исполнял. Ибо еще в раннем возрасте,

Alter ab undecimo tum me vix ceperat annus,[81]

я справлялся с ролями героев в латинских трагедиях Бьюкенена, Геранта и Мюре, которые отлично ставились в нашей гиеньской школе. Наш принципал, Андреа де Гувеа,[82] как и во всем, что касалось исполняемых им обязанностей, был и в этом отношении, без сомнения, самым выдающимся среди принципалов наших школ. Так вот, на этих представлениях меня считали первым актером. Это — такое занятие, которое я ни в какой мере не порицал бы, если бы оно получило распространение среди детей наших знатных домов. Впоследствии мне доводилось видеть и наших принцев, которые отдавались ему, уподобляясь в этом кое-кому из древних, с честью для себя и с успехом.

В древней Греции считалось вполне пристойным, когда человек знатного рода делал из этого свое ремесло: Aristoni tragico actori rem aperit; huic et genus et fortuna honesta erant; nec ars, quia nihil tale apud Graecos pudori est, ea deformabat.[83]

Я всегда осуждал нетерпимость ополчающихся против этих забав, а также несправедливость тех, которые не допускают искусных актеров в наши славные города, лишая тем самым народ этого общественного удовольствия. Разумные правители, напротив, прилагают всяческие усилия, чтобы собирать и объединять горожан как для того, чтобы сообща отправлять обязанности, налагаемые на нас благочестием, так и для упражнений и игр

разного рода: дружба и единение от этого только крепнут. И потом, можно ли было бы предложить им более невинные развлечения, чем те, которые происходят на людях и на виду у властей? И, по-моему, было бы правильно, если бы власти и государь угощали время от времени за свой счет городскую коммуну подобными зрелищами, проявляя тем самым свою благосклонность и как бы отеческую заботливость, и если бы в городах с многочисленным населением были отведены соответствующие места для представлений этого рода, которые отвлекали бы горожан от худших и избегающих гласности дел.

Возвращаясь к предмету моего рассуждения, повторю, что самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью. Поощряя их ударами розог, им отдают на хранение торбу с разными знаниями, но для того, чтобы они были действительным благом, недостаточно их держать при себе, — нужно ими проникнуться.

Глава XXVII

БЕЗУМИЕ СУДИТЬ, ЧТО ИСТИННО И ЧТО ЛОЖНО НА ОСНОВАНИИ НАШЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ[1]

Не без основания, пожалуй, приписываем мы простодушию и невежеству склонность к легковерию и податливость на убеждение со стороны. Ведь меня, как кажется, когда-то учили, что вера есть нечто, как бы запечатлеваемое в нашей душе; а раз так, то чем душа мягче и чем менее способна оказывать сопротивление, тем легче в ней запечатлеть что бы то ни было. Ut necesse est lancem in libra ponderibus impositis deprimi, sic animum perspicuis cedere.[2]

В самом деле, чем менее заполнена и чем меньшим противовесом обладает наша душа, тем легче она сгибается под тяжестью первого обращенного к ней убеждения. Вот почему дети, простолюдины, женщины и больные склонны к тому, чтобы их водили, так сказать, за уши. Но, с другой стороны, было бы глупым бахвальством презирать и осуждать как ложное то, что кажется нам невероятным, а это обычный порок всех, кто считает, что они превосходят знаниями других. Когда-то им страдал и я, и если мне доводилось слышать о привидениях, предсказаниях будущего, чарах, колдовстве или еще о чем-нибудь, что было мне явно не по зубам,

Somnia, terrores magicos, miracula, sagas,
Nocturnos lemures portentaque Thessala,[3]

меня охватывало сострадание к бедному народу, одолеваемому всеми этими бреднями. Теперь, однако, я думаю, что столько же,

если не больше, я должен был бы жалеть себя самого; и не потому, чтобы опыт принес мне что-нибудь новое, сверх того, во что я верил когда-то, — хотя в любознательности у меня никогда не было недостатка, — а по той причине, что разум мой с той поры научил меня, что осуждать что бы то ни было с такой решительностью, как ложное и невозможное, — значит приписывать себе преимущество знать границы и пределы воли господней и могущества матери нашей природы; а также потому, что нет на свете большего безумия, чем мерить их мерой наших способностей и нашей осведомленности. Если мы зовем диковинным или чудесным недоступное нашему разуму, то сколько же таких чудес непрерывно предстает нашему взору! Вспомним, сквозь какие туманы и как неуверенно приходим мы к познанию большей части вещей, с которыми постоянно имеем дело, — и мы поймем, разумеется, что если они перестали казаться нам странными, то причина этому скорее привычка, нежели знание —

Iam nemo, fessus satiate videndi,
Suspicere in coeli dignatur lucida templa.[4]

и что, если бы эти же вещи предстали перед нами впервые, мы сочли бы их столь же или даже более невероятными, чем воспринимаемые нами как таковые.

si nunc primum mortalibus adsint
Ex improviso, ceu sint objecta repente,
Nil magis his rebus poterat mirabile dici,
Aut minus ante quod auderent fore credere gentes.[5]

Кто никогда не видел реки, тот, встретив ее в первый раз, подумает, что перед ним океан. И вообще, вещи, известные нам как самые что ни на есть большие, мы считаем пределом того, что могла бы создать в том же роде природа, —

Scilicet et fluvius, qui non est maximus, ei est
Qui non ante aliquem maiorem vidit, et ingens
Arbor homoque videtur; et omnia de genere omni
Maxima quae vidit quisque, haec ingentia fingit.[6]

Consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum quas semper vident.[7]

Не столько величественность той или иной вещи, сколько ее новизна побуждает нас доискиваться ее причины.

Нужно отнестись с бо́льшим почтением к этому поистине безграничному могуществу природы и яснее осознать нашу собственную невежественность и слабость. Сколько есть на свете маловероятных вещей, засвидетельствованных, однако, людьми, заслуживающими всяческого доверия! И если мы не в состоянии убедиться в действительном существовании этих вещей, то вопрос о них должен оставаться, в худшем случае, нерешенным; ибо отвергать их в качестве невозможных означает не что иное, как ручаться, в дерзком самомнении, будто знаешь, где именно находятся границы возможного. Если бы люди достаточно хорошо отличали невозможное от необычного и то, что́ противоречит порядку вещей и законам природы, от того, что противоречит общераспространенным мнениям, если бы они не были ни безрассудно доверчивыми, ни столь же безрассудно склонными к недоверию, тогда соблюдалось бы предписываемое Хилоном[8] правило: „Ничего чрезмерного“.

Когда мы читаем у Фруссара, что граф де Фуа, будучи в Беарне, узнал о поражении короля Иоанна Кастильского под Альхубарротой[9] уже на следующий день после того, как это случилось, а также его объяснения касательно того, как это могло произойти, то над этим можно лишь посмеяться; то же относится и к содержащемуся в наших анналах[10] рассказу о папе Гонории, который в тот же самый день, когда король Филипп-Август[11] умер в Манте, повелел совершить торжественный обряд его погребения в Риме, а также по всей Италии, ибо авторитет этих свидетелей не столь уж значителен, чтобы мы безропотно подчинялись ему. Но так ли это всегда? Когда Плутарх, помимо других примеров, которые он приводит из жизни древних, говорит, что, как он знает из достоверных источников, во времена Домициана известие о поражении, нанесенном Антонию где-то в Германии, на расстоянии многих дней пути, дошло до Рима и стало общим достоянием в тот же самый день, когда было проиграно это сражение;[12] когда Цезарь уверяет, что молва часто упреждает события,[13] — скажем ли

мы, что эти простодушные люди, не столь проницательные, как мы, попались на ту же самую удочку, что и невежественная толпа? Существует ли что-нибудь столь же тонкое, точное и живое, как суждения Плиния, когда он считает нужным сообщить их читателю, что-нибудь столь же далекое от пустословия, не говоря уже об исключительном богатстве его познаний, которым я придаю меньше значения? Так вот, чем же мы превосходим его в том и другом? И, тем не менее, нет ни одного школьника, сколь бы юным он ни был, который не уличал бы его во лжи и не горел бы желанием прочитать ему лекцию о законах природы.

Когда мы читаем у Буше[14] о чудесах, совершенных якобы мощами святого Илария, то не станем задерживаться на этом: доверие к этому писателю не столь уж велико, чтобы мы не осмелились усомниться в правдивости его рассказов. Но отвергнуть с одного маха все истории подобного рода я считаю недопустимой дерзостью. Святой Августин, этот величайший из наших святых, говорит, что он видел, как мощи святых Гервасия и Протасия, выставленные в Милане, возвратили зрение слепому ребенку; как одна женщина в Карфагене была исцелена от язвы крестным знамением, которым ее осенила другая, только что окрещенная женщина; как один из его друзей, Гесперий, изгнал из его дома злых духов с помощью горсти земли с гробницы нашего господа и как потом эта земля, перенесенная в церковь, мгновенно исцелила параличного; как одна женщина, до этого много лет слепая, коснувшись своим букетом, во время религиозной процессии, раки святого Стефана, потерла себе этим букетом глаза и тотчас прозрела; и о многих других чудесах, которые, как он говорит, совершились в его присутствии. В чем же могли бы мы предъявить обвинение и ему и святым епископам Аврелию и Максимину, на которых он ссылается как на свидетелей? В невежестве, глупости, легковерии? Или даже в злом умысле и обмане? Найдется ли в наше время столь дерзостный человек, который считал бы, что он может сравняться с ними в добродетели иль благочестии, в познаниях, уме и учености? Qui, ut rationem nullam afferent, ipsa auctoritate me frangerent.[15]

Презирать то, чего мы не можем постигнуть, — опасная смелость, чреватая неприятнейшими последствиями, не говоря уж о том, что это нелепое безрассудство. Ведь установив, согласно вашему премудрому разумению, границы истинного и ложного, вы тотчас же должны будете отказаться от них, ибо неизбежно обнаружите, что приходится верить вещам еще более странным, чем те, которые вы отвергаете. И как мне кажется, уступчивость, проявляемая католиками в вопросах веры, вносит немалую смуту и в нашу совесть и в те религиозные разногласия, в которых мы пребываем. Им представляется, что они проявляют терпимость и мудрость, когда уступают своим противникам в тех или иных спорных пунктах. Но, не говоря уже о том, сколь значительное преимущество дает нападающей стороне то, что противник начинает подаваться назад и отступать, и насколько это подстрекает его к упорству в достижении поставленной цели, эти пункты, которые они выбрали как наименее важные, в некоторых отношениях представляют большое значение. Надо либо полностью подчиниться авторитету наших церковных властей, либо решительно отвергнуть его. Нам не дано устанавливать долю повиновения, которую мы обязаны ему оказывать. Я могу сказать это на основании личного опыта, ибо некогда разрешал себе устанавливать и выбирать по своему усмотрению, в чем именно я могу нарушить обряды католической церкви, из которых иные казались мне либо совсем незначительными, либо особенно странными; но, переговорив с людьми сведущими, я нашел, что и эти обряды имеют весьма глубокое и прочное основание и что лишь недомыслие и невежество побуждают нас относиться к ним с меньшим уважением, чем ко всему остальному. Почему бы не вспомнить нам, сколько противоречий ощущаем мы сами в своих суждениях! Сколь многое еще вчера было для нас нерушимыми догматами, а сегодня воспринимается нами как басни! Тщеславие и любопытство — вот два бича нашей души. Последнее гонит нас всюду совать свой нос, первое запрещает оставлять что-либо неопределенным и нерешенным.

Глава XXVIII

О ДРУЖБЕ

Присматриваясь к приемам работы одного находящегося у меня живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему умением, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. И, по правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные из различных частей, как попало, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?

Desinit in piscem mulier formosa superne.[1]

В последнем я иду вровень с моим живописцем, но что до другой, лучшей части его труда, то я весьма отстаю от него, ибо мое умение не простирается так далеко, чтобы я мог решиться задумать прекрасную, тщательно отделанную картину, написанную в соответствии с правилами искусства. Мне пришло в голову позаимствовать ее у Этьена де Ла Боэси, и она принесет честь всему остальному в этом труде. Я имею в виду его рассуждение, которому он дал название „Добровольное рабство“ и которое люди, не знавшие этого, весьма удачно перекрестили в „Против единого“.[2] Он написал его в виде опыта, в ранней молодости, в честь свободы и против тиранов. Оно с давних пор

ходит по рукам людей просвещенных и получило с их стороны высокую и заслуженную оценку, ибо прекрасно написано и полно превосходных мыслей. Нужно, однако, добавить, что это отнюдь не лучшее из того, что он мог бы создать; и если бы в том, более зрелом возрасте, когда я его знал, он возымел такое же намерение, как я, то есть записывать все, что ни придет в голову, мы увидели бы многие, поистине редкостные творения, которые доставили бы нам честь приблизиться к древности, ибо я не знаю никого другого, кто мог бы сравняться с ним природными дарованиями в этой области. Но до нас дошло, да и то случайно, только это его рассуждение, которого, как я полагаю, он никогда после написания больше не видел и еще кое-какие заметки о январском эдикте[3] (заметки эти, быть может, будут преданы гласности где-нибудь в другом месте), — эдикте столь знаменитом благодаря нашим гражданским войнам. Вот и все — если не считать книжечки его сочинений, которую я выпустил в свет,[4] — что мне удалось раскопать в оставшихся от него бумагах, после того, как он, уже на смертном одре, в знак любви и расположения, сделал меня по завещанию наследником и своей библиотеки и своих рукописей. Я исключительно многим обязан этому произведению, тем более, что оно послужило поводом к установлению между нами знакомства. Мне показали его еще задолго до того, как мы встретились, и оно, познакомив меня с его именем, способствовало, таким образом, возникновению между нами дружбы, которую мы питали друг к другу, пока богу угодно было, дружбы столь глубокой и совершенной, что другой такой вы не найдете и в книгах, не говоря уж о том, что между нашими современниками невозможно встретить что-либо похожее. Для того, чтобы возникла подобная дружба, требуется совпадение стольких обстоятельств, что и то много, если судьба ниспосылает ее один раз в три столетия.

Нет, кажется, ничего, к чему бы природа толкала нас более, чем к дружескому общению. И Аристотель указывает, что хорошие законодатели пекутся больше о дружбе, нежели о справедливости.[5] Ведь высшая ступень ее совершенства — это и есть

справедливость. Ибо, вообще говоря, всякая дружба, которую порождают и питают наслаждение или выгода, нужды частные или общественные, тем менее прекрасна и благородна и тем менее является истинной дружбой, чем больше посторонних самой дружбе причин, соображений и целей примешивают к ней.

Равным образом, не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая гостеприимством и любовная, — ни каждая в отдельности, ни все вместе взятые.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение. Дружба питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу слишком большого неравенства в летах, и к тому же она мешала бы иногда выполнению детьми их естественных обязанностей. Ибо отцы не могут посвящать детей в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с предупреждениями и увещаниями, что есть одна из первейших обязанностей между друзьями. Существовали народы, у которых, согласно обычаю, дети убивали своих отцов, равно как и такие, у которых, напротив, отцы убивали детей, как будто бы те и другие в чем-то мешали друг другу и жизнь одних зависела от гибели других. Бывали также философы, питавшие презрение к этим естественным узам, как, например, Аристипп; когда ему стали доказывать, что он должен любить своих детей хотя бы уже потому, что они родились от него, он начал плеваться, говоря, что эти плевки тоже его порождение и что мы порождаем также вшей и червей. А другой философ, которого Плутарх хотел примирить с его братом, заявил: „Я не придаю большого значения тому обстоятельству, что мы оба вылезли из одного и того же отверстия“. А между тем слово „брат“ — поистине прекрасное слово, выражающее глубокую привязанность и любовь, и по этой причине я и Ла Боэси постоянно прибегали к нему, чтобы дать понятие о нашей дружбе. Но эта общность имущества, разделы его и то, что богатство одного есть в то же время бедность другого, все это до крайности ослабляет и уродует кровные

связи. Стремясь увеличить свое благосостояние, братья вынуждены итти тем же шагом и той же тропой, в силу чего они с неизбежностью часто сталкиваются и мешают друг другу. Кроме того, почему им должны быть обязательно свойственны то соответствие склонностей и душевное сходство, которые только одни и порождают истинную и совершенную дружбу? Отец и сын по свойствам своего характера могут быть весьма далеки друг от друга; то же и братья. Это мой сын, это мой отец, но вместе с тем это человек жестокий, злой или глупый. И затем, поскольку подобная дружба предписывается нам законом или узами, налагаемыми природой, здесь гораздо меньше нашего выбора и свободной воли. А между тем ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба. Это вовсе не означает, чтобы я не испытывал на себе всего того, что могут дать родственные чувства, поскольку у меня был лучший в мире отец, необычайно снисходительный до самой глубокой своей старости, да и вообще я происхожу из семьи, прославленной тем, что в ней из рода в род передавалось образцовое согласие между братьями:

et ipse
Notus in fratres animi paterni.[6]

Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ей любовь к женщине, хотя такая любовь и возникает из нашего свободного выбора. Ее пламя, охотно признаюсь в этом, —

neque enim est dea nescia nostri
Quae dulcem curis miscet amaritiem,[7]

более неотступно, более жгуче и томительно. Но это — пламя безрассудное и летучее, непостоянное и переменчивое, это — лихорадочный жар, то затухающий, то вспыхивающий с новой силой и гнездящийся лишь в одном уголке нашей души. В дружбе же — теплота общая и всепроникающая, умеренная, сверх того, ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой нет ничего резкого и ранящего. Больше того, любовь — это неистовое влечение к тому, что убегает от нас:

Come segue la lepre il cacciatore
Al freddo, al caldo, alla montagna, al lito;
Nè più l'estima poi che presa vede,
Et sol dietro a chi fugge affretta il piede.[8]

Как только такая любовь переходит в дружбу, то есть в согласие желаний, она чахнет и угасает. Наслаждение, сводясь к телесному обладанию и потому подверженное пресыщению, убивает ее. Дружба, напротив, становится тем желаннее, чем полнее мы наслаждаемся ею; она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое доставляет нам, и так как наслаждение это — духовное, то душа, предаваясь ему, возвышается. Наряду с этой совершенною дружбой и меня захватывали порой эти мимолетные увлечения; я не говорю о том, что подвержен им был и мой друг, который весьма откровенно в этом признается в своих стихах. Таким образом, обе эти страсти были знакомы мне, отлично уживаясь между собой в моей душе, но никогда они не были для меня соизмеримы: первая величаво и горделиво совершала свой путь, поглядывая презрительно на вторую, копошившуюся где-то внизу, вдалеке от нее.

Что касается брака, то, — не говоря уж о том, что он является сделкой, которая бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (ибо длительность ее навязывается нам принудительно и не зависит от нашей воли), и сверх того, сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях, — в нем бывает еще тысяча посторонних обстоятельств, в которых трудно разобраться, но которых вполне достаточно, чтобы оборвать нить и нарушить развитие живого чувства. Между тем, в дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой. Добавим к этому, что, по правде говоря, обычный уровень женщин отнюдь не таков, чтобы они были способны поддерживать ту духовную близость и единение, которыми питается этот возвышенный союз; да и душа их, повидимому, не обладает достаточной стойкостью, чтобы не тяготиться стеснительностью столь прочной и длительной связи. И, конечно, если бы это не составляло препятствий и если бы мог возникнуть такой добровольный и свободный союз, в кото-

ром не только души вкушали бы это совершенное наслаждение, но и тела тоже в нем соучаствовали, союз, которому человек отдавался бы безраздельно, то несомненно, что и дружба в нем была бы еще полнее и безусловнее. Но ни разу еще слабый пол не показал нам примера этого, и, по единодушному мнению всех философских школ древности, женщин здесь приходится исключить.

Распущенность древних греков в любви, имеющая совсем особый характер, при наших нынешних нравах справедливо внушает нам отвращение. Но сверх всего прочего, эта любовь, согласно принятому у них обычаю, неизбежно предполагала такое неравенство в возрасте и такое различие в общественном положении, что ни в малой мере не представляла собой того совершенного единения и соответствия, о которых мы здесь говорим: Quis est enim iste amor amicitiae? Cur neque deformem adolescentem quisquam amat, neque formosum senem?[9] И даже то изображение этой любви, которое дает Академия,[10] не отнимает, как я полагаю, у меня права сказать со своей стороны следующее: когда сын Венеры поражает впервые сердце влюбленного страстью к предмету его обожания, пребывающему во цвете своей нежной юности, — по отношению к которой греки позволяли себе любые бесстыдные и страстные домогательства, какие только может породить безудержное желание, — то эта страсть может иметь своим основанием исключительно внешнюю красоту, только обманчивый образ телесной сущности. Ибо о духе тут не могло быть и речи, поскольку он не успел еще обнаружить себя, поскольку он только еще рождается и не достиг той поры, когда происходит его созревание. Если такой страстью воспламенялась низменная душа, то средствами, к которым она прибегала для достижения своей цели, были богатство, подарки, обещание впоследствии обеспечить высокие должности и прочие низменные приманки, которые порицались философами. Если же она западала в более благородную душу, то и приемы завлечения были более благородными, а именно: наставления в философии, увещания чтить религию, повиноваться законам, отдать жизнь, если понадобится, за благо

родины, беседы, в которых указывались образцы доблести, благоразумия, справедливости; при этом любящий прилагал всяческие усилия, дабы увеличить свою привлекательность добрым расположением и красотой своей души, понимая, что красота его тела увяла уже давно, и надеясь с помощью этого умственного общения установить более длительную и прочную связь с любимым. И когда усилия увенчивались успехом после долгих стараний (ибо, если от любящего и не требовалось осторожности и осмотрительности в выражении чувств, то эти качества обязательно требовались от любимого, которому надлежало оценить внутреннюю красоту, обычно неясную и трудно различимую), тогда в любимом рождалось желание духовно зачать от духовной красоты любящего. Последнее для него было главным, а плотское — случайным и второстепенным, тогда как у любящего все было наоборот. Именно по этой причине любимого древние философы ставили выше, утверждая, что и боги придерживаются того же. По этой же причине порицали они Эсхила, который, изображая любовь Ахилла к Патроклу, отвел роль любящего Ахиллу, хотя он был безбородым юношей, только-только вступившим в пору своего цветения и к тому же прекраснейшим среди греков. Поскольку в том целом, которое представляет собой такое содружество, главная и наиболее достойная сторона выполняет свое назначение и господствует, оно, по их словам, порождает плоды, приносящие огромную пользу как отдельным лицам, так и всему обществу; они говорят, что именно в этом заключалась сила тех стран, где был принят этот обычай, что он был главным оплотом равенства и свободы и что свидетельством этого является столь благодетельная любовь Гармодия и Аристогитона. Они называют ее поэтому божественной и священной. И лишь произвол тиранов и трусость народов могут, по их мнению, противиться ей. В конце концов, все, что можно сказать в оправдание Академии, сводится лишь к тому, что эта любовь заканчивалась подлинной дружбой, а это не так уже далеко от определения любви стоиками: Amorem conatum esse amicitiae faciendae ex pulchritudinis specie.[11] Возвращаюсь к моему предмету, к дружбе более естественной и не столь нерав-

ной. Omnino amicitiae, corroboratis iam confirmatisque ingeniis et aetatibus, iudicandae sunt.[12]

Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, это не более, чем короткие и близкие знакомства, которые мы завязали случайно или из соображений удобства и благодаря которым наши души вступают в общение. В той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто и они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: „Потому, что это был он, и потому, что это был я".

Где-то, за пределами доступного моему уму и того, что я мог бы высказать по этому поводу, существует какая-то необъяснимая и неотвратимая сила, устроившая этот союз между нами. Мы искали друг друга прежде, чем свиделись, и отзывы, которые мы слышали один о другом, вызывали в нас взаимное влечение большей силы, чем это можно было бы объяснить из содержания самих отзывов. Полагаю, что таково было веление неба. Самые имена наши сливались в объятиях. И уже при первой встрече, которая произошла случайно на большом празднестве, в многолюдном городском обществе, мы почувствовали себя настолько очарованными друг другом, настолько знакомыми, настолько связанными между собой, что никогда с той поры не было для нас ничего ближе, чем он — мне, а я — ему. В написанной им и впоследствии изданной превосходной латинской сатире[13] он оправдывает и объясняет ту необыкновенную быстроту, с какой мы установили взаимное понимание, которое так скоро достигло своего совершенства. Возникнув столь поздно и имея в своем распоряжении столь краткий срок (мы оба были уже людьми сложившимися, причем он — старше на несколько лет),[14] наше чувство не могло терять времени и взять себе за образец ту размеренную и спокойную дружбу, которая принимает столько предосторожностей и нуждается в длительном, предваряющем ее общении. Наша дружба не знала иных помыслов,

кроме как о себе, и опору искала только в себе. Тут была не одна какая-либо причина, не две, не три, не четыре, не тысяча особых причин, но какая-то квинт-эссенция или смесь всех причин вместе взятых, которая захватила мою волю, заставила ее погрузиться в его волю и раствориться в ней, точно так же, как она захватила полностью и его волю, заставив ее погрузиться в мою и раствориться в ней, с той же жадностью, с тем же пылом. Я говорю „раствориться", ибо в нас не осталось ничего, что было бы достоянием только одного или только другого, ничего, что было бы только его или только моим.

Когда Лелий в присутствии римских консулов, подвергших преследованиям, после осуждения Тиберия Гракха, всех единомышленников последнего, приступил к допросу Гая Блоссия — а он был одним из ближайших его друзей — и спросил его, на что он был бы готов ради Гракха, тот ответил: „На все". „То есть, как это на все? — продолжал допрашивать Лелий. — А если бы он приказал тебе сжечь наши храмы?". — „Он не приказал бы мне этого", — возразил Блоссий. „Ну, а если бы он все-таки это сделал?" — настаивал Лелий. „Я бы повиновался ему", — сказал Блоссий. Будь он и в самом деле столь совершенным другом Гракха, как утверждают историки, ему все же незачем было раздражать консулов своим смелым признанием; ему не следовало, кроме того, отступаться от своей уверенности в невозможности подобного приказания со стороны Гракха. Во всяком случае, те, которые осуждают этот ответ как мятежный, не понимают по-настоящему тайны истинной дружбы и не могут постичь того, что воля Гракха была его волей, что он знал ее и мог располагать ею. Они были больше друзьями, чем гражданами, больше друзьями, чем друзьями или недругами своей страны, чем друзьями честолюбия или смуты. Полностью вверив себя друг другу, каждый из них полностью управлял склонностями другого, ведя их как бы на поводу, и поскольку они должны были итти в этой запряжке, руководствуясь добродетелью и велениями разума, — ибо иначе взнуздать их было бы невозможно, — ответ Блоссия был таким, каким должен был быть. Если бы в их действиях наблюдался

разлад, они, согласно тому мерилу, которым я пользуюсь, не были бы друзьями ни друг другу, ни самим себе. Вообще ответ Блоссия звучал не иначе, чем звучал бы мой, если бы кто-нибудь обратился ко мне с вопросом: „Убили бы вы свою дочь, если бы вам это приказала ваша воля?“ и я ответил бы утвердительно. Такой ответ не свидетельствует еще о готовности к этому, ибо у меня нет никаких сомнений в моей воле, так же как и в воле такого друга. Никакие доводы в мире не могли бы поколебать моей уверенности в том, что я знаю волю и мысли моего друга. В любом поступке его, в каком бы виде мне его не представили, я могу тотчас же разгадать побудительную причину. Наши души были столь тесно спаяны, они взирали друг на друга с таким пылким чувством и, отдаваясь этому чувству, до того раскрылись одна перед другой, обнажая себя до самого дна, что я не только знал его душу, как свою собственную, но и поверил бы ему во всем, касающемся меня, больше чем самому себе.

Пусть не пытаются уподоблять этой дружбе обычные дружеские связи. Я знаком с этими последними так же, как всякий другой, и притом с самыми глубокими из них. Не следует, однако, смешивать их с истинной дружбой: делающий так впал бы в большую ошибку. В этой обычной дружбе надо быть всегда начеку, не отпускать узды, проявлять всегда сдержанность и осмотрительность, ибо узы, скрепляющие подобную дружбу, таковы, что могут в любое мгновение оборваться. „Люби своего друга, — говорил Хилон,[15] — так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь возненавидеть его; и ненавидь его так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь полюбить его“. Это правило, которое кажется отвратительным, когда дело идет о возвышенной, всепоглощающей дружбе, весьма благодетельно в применении к обыденным, ничем не замечательным дружеским связям. В отношении этих последних весьма уместно вспомнить излюбленное изречение Аристотеля: „О друзья мои, нет больше ни одного друга!“.[16]

В этом благородном общении разного рода услуги и благодеяния, питающие другие виды дружеских связей, не заслуживают того, чтобы принимать их в расчет; причина этого — полное и

окончательное слияние воли обоих друзей. Ибо подобно тому, как любовь, которую я испытываю к самому себе, нисколько не возрастает от того, что по мере надобности я себе помогаю, — что бы ни говорили на этот счет стоики, — или подобно тому, как я не испытываю к себе благодарности за оказанное мною себе одолжение, так и единение между такими друзьями, как мы, будучи поистине совершенным, лишает их способности ощущать, что они тем-то и тем-то обязаны один другому, и заставляет их отвергнуть и изгнать из своего обихода слова, означающие разделение и различие, как например: благодеяние, обязательство, признательность, просьба, благодарность и тому подобное. Поскольку все у них, действительно, общее: желания, мысли, суждения, имущество, жены, дети, честь и самая жизнь, и поскольку их союз есть не что иное, как — по весьма удачному определению Аристотеля — одна душа в двух телах,[17] — они не могут ни ссужать, ни давать что-либо один другому. Вот почему законодатели, дабы возвысить брак каким-нибудь, хотя бы воображаемым, сходством с этим божественным единением, запрещают дарения между супругами, как бы желая этим показать, что все у них общее и что им нечего делить и распределять между собой.

Если бы в той дружбе, о которой я говорю, один все же мог что-либо подарить другому, то именно принявший от друга благодеяние, обязал бы этим его: ведь оба они не желают ничего лучшего, как сделать один другому благо, и именно тот, кто предоставляет своему другу возможность и повод к этому, проявляет щедрость, доставляя ему удовлетворение, ибо тот получает возможность осуществить свое самое пламенное желание. Когда философ Диоген нуждался в деньгах, он не говорил, что попросит их у друзей; он говорил, что попросит друзей возвратить ему долг. И для того, чтобы показать, как это происходит на деле, я приведу один замечательный пример из древности.

Эвдамид, коринфянин, имел двух друзей: Хариксена, сикионца, и Аретея, коринфянина. Будучи беден, тогда как оба его друга были богаты, он, почувствовав приближение смерти, составил следующее завещание: „Завещаю Аретею кормить мою мать и

поддерживать ее старость, Хариксену же выдать замуж мою дочь и дать ей самое богатое приданое, какое он только сможет; а в случае, если жизнь одного из них пресечется, я возлагаю его долю обязанностей на того, кто останется жив". Первые, кто прочитали это завещание, посмеялись над ним; но душеприказчики Эвдамида, узнав о его содержании, приняли его с глубочайшим удовлетворением. А когда один из них, Хариксен, умер через пять дней и обязанности его перешли к Аретею, этот последний стал заботливо ухаживать за матерью Эвдамида и из пяти талантов, составлявших его состояние, два с половиной отдал в приданое своей единственной дочери, а другие два с половиною — дочери Эвдамида, которую выдал замуж в тот же день, что и свою.

Этот пример был бы вполне хорош, если бы не одно обстоятельство — то, что у Эвдамида было целых двое друзей, а не один. Ибо та совершенная дружба, о которой я говорю, неделима: каждый с такой полнотой отдает себя другу, что ему больше нечего уделить кому-нибудь еще; напротив, он постоянно скорбит о том, что он — только одно, а не два, три, четыре существа, что у него нет нескольких душ и нескольких воль, чтобы отдать их все предмету своего обожания. В обычных дружеских связях можно свое чувство делить: можно в одном любить его красоту, в другом — простоту нравов, в третьем — щедрость; в том — отеческие чувства, в этом — братские, и так далее. Но что касается дружбы, которая подчиняет себе душу всецело и неограниченно властвует над нею, тут никакое раздвоение невозможно. Если бы два друга одновременно попросили вас о помощи, к которому из них вы бы поспешили? Если бы они обратились к вам за услугами, совместить которые невозможно, как бы вышли вы из положения? Если бы один из них доверил вам тайну, которую полезно знать другому, как бы вы поступили?

Но дружба единственная, заслоняющая все остальное, не считается ни с какими другими обязательствами. Тайной, которую я поклялся не открывать никому другому, я могу, не совершая клятвопреступления, поделиться с тем, кто для меня не „другой", а то же, что я сам. Удваивать себя — великое чудо, и величие

его недоступно тем, кто может себя утраивать. Нет ничего такого наивысшего, что имело бы свое подобие. И тот, кто предположил бы, что двух моих истинных друзей я могу любить с одинаковой силой и что они могут одинаково любить друг друга, а, вместе с тем, и меня с той же силой, с какой люблю я их, превратил бы в целое братство нечто совершенно единое и единственное, нечто такое, что и в единичном виде трудно сыскать на свете.

Конец рассказанной мной истории отлично подходит к тому, о чем я сейчас говорил, — ибо Эвдамид, поручая своим друзьям позаботиться о его нуждах, сделал это из любви и расположения к ним. Он оставил их наследниками своих щедрот, заключавшихся в том, что именно им дал он возможность сделать ему благо. И, без сомнения, в его поступке сила дружбы проявилась намного ярче, чем в том, что сделал для него Аретей. Словом, эти проявления дружбы непонятны тому, кто сам не испытал их. Вот почему я чрезвычайно ценю ответ того молодого воина Киру, который на вопрос царя, за сколько продал бы он коня, доставившего ему первую награду на скачках, и не согласен ли он обменять его на целое царство, ответил: „Нет, государь. Но я охотно отдал бы его, если бы мог такой ценой найти друга, достойного такого союза“.

Он не плохо выразился, сказав „если бы мог найти“, ибо легко бывает найти только таких людей, которые подходят для поверхностных дружеских связей. Но в той дружбе, какую я имею в виду, затронуты самые сокровенные глубины нашей души, в дружбе, поглощающей нас без остатка, нужно, конечно, чтобы все душевные побуждения человека были чистыми и безупречными.

Когда дело идет об отношениях, которые устанавливаются для какой-либо определенной цели, нужно заботиться лишь об устранении изъянов, имеющих прямое отношение к этой цели. Мне совершенно безразлично, каких религиозных взглядов придерживается мой врач или адвокат. Это обстоятельство не имеет никакой связи с теми дружескими услугами, которые они обязаны мне оказывать. То же и в отношении услужающих мне. Я очень мало забочусь о чистоте нравов моего лакея; я требую от него лишь усердия.

ном придворном совете. Он похвалялся затем, что ему на этот раз было так же хорошо, как тогда, когда он лишил свою жену девственности тайком от ее и своих родителей.[10]

Цари Персии хотя и приглашали своих жен на пиры, но когда желания их от выпитого вина распалялись и им начинало казаться, что еще немного и придется снять узду со страстей, они отправляли их на женскую половину, дабы не сделать их соучастницами своей безудержной похоти, и звали вместо них других женщин, к которым не обязаны были относиться с таким уважением.

Не всякие удовольствия и не всякие милости в одинаковой мере приличествуют людям разного положения. Эпаминонд велел посадить в темницу одного распутного юношу; Пелопид попросил его выпустить, ради него, узника на свободу; Эпаминонд ответил отказом, но уступил ходатайству одной из своих подруг, которая также об этом просила. Он следующим образом объяснил свое поведение: это была милость, оказанная приятельнице, но недостойная по отношению к военачальнику. Софокл, будучи претором одновременно с Периклом, увидел однажды проходившего мимо красивого юношу. „Погляди, какой прелестный юноша!“ — сказал он Периклу, на что Перикл ответил: „Он может быть желанен для всякого, но не для претора, у которого должны быть незапятнанными не только руки, но и глаза“.

Элий Вер, император, когда его жена стала жаловаться, что он наведывается для любовных утех к другим женщинам, ответил ей, что делает это со спокойной совестью, так как брак есть исполненный достоинства, честный союз, а не легкомысленная и сладострастная связь. И наши старинные церковные авторы с похвалой вспоминают о женщине, которая дала развод своему мужу, потому что не пожелала терпеть его чрезмерно сладострастные и бесстыдные ласки. И, вообще говоря, нет такого дозволенного и законного наслаждения, в котором излишества и неумеренность не заслуживали бы нашего порицания.

Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение, и однако же он сам

тырьмя годами, которые мне было дано провести в отрадной для меня близости и сладостном общении с этим человеком, — мне хочется сказать, что все это время — дым, темная и унылая ночь. С того самого дня, как я потерял его,

quem semper acerbum,
Semper honoratum (sic, dii, voluistis) habebo,[22]

я томительно прозябаю; и даже удовольствия, которые мне случается испытывать, вместо того, чтобы принести утешение, только усугубляют скорбь от утраты. Все, что было у нас, мы делили с ним поровну, и мне кажется, что я отнимаю его долю;

Nec fas esse ulla me voluptate hic frui
Decrevi, tantisper dum ille abest meus particeps.[23]

Я настолько привык быть всегда и во всем его вторым „Я“, что мне представляется, будто теперь я лишь полчеловека.

Illam meae si partem animae tulit
Maturior vis, quid moror altera,
Nec carus aeque, nec superstes
Integer? Ille dies utramque
Duxit ruinam.[24]

И что бы я ни делал, о чем ни думал, я неизменно повторяю мысленно эти стихи, — как и он делал бы применительно ко мне; ибо насколько он был выше меня в смысле всяких достоинств и добродетели, настолько же превосходил он меня и в исполнении долга дружбы.

Quis desiderio sit pudor aut modus
Tam cari capitis?[25]

O misero frater adempte mihi!
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
Quae tuus in vita dulcis alebat amor.
Tu mea, tu moriens fregisti commoda, frater;
Tecum una tota est nostra sepulta anima,
Cuius ego interitu tota de mente fugavi
Haec studia atque omnes delicias animi.
. . . . . .

Alloquar? audiero nunquam tua verba loquentem?
Nunquam ego te, vita frater amabilior,
Aspiciam posthac? At certe semper amabo?[26]

Но послушаем этого шестнадцатилетнего юношу.

Так как я узнал, что это произведение уже напечатано и притом в злонамеренных целях, людьми, стремящимися расшатать и изменить наш государственный строй, не заботясь о том, смогут ли они улучшить его, — и напечатано вдобавок вместе со всякими изделиями в их вкусе, — я решил не помещать его на этих страницах.[27] И чтобы память его автора не пострадала в глазах тех, кто не имел возможности познакомиться ближе с его взглядами и поступками, я их предупреждаю, что рассуждение об этом предмете было написано им в ранней юности, в качестве упражнения на ходячую и избитую тему, тысячу раз обрабатывавшуюся в разных книгах. Я нисколько не сомневаюсь, что он придерживался тех взглядов, которые излагал в своем сочинении, так как он был слишком совестлив, чтобы лгать, хотя бы в шутку. Больше того, я знаю, что если бы ему дано было выбрать место своего рождения, он предпочел бы Сарлаку[28] Венецию, — и с полным основанием. Но, вместе с тем, в его душе было накрепко запечатлено другое правило — свято повиноваться законам страны, в которой он родился. Никогда еще не было лучшего гражданина, больше заботившегося о спокойствии своей страны и более враждебного смутам и новшествам своего времени. Он скорее отдал бы свои способности на то, чтобы погасить этот пожар, чем на то, чтобы содействовать его разжиганию. Дух его был создан по образцу иных веков, чем наш.

Поэтому вместо обещанного серьезного сочинения, я помещу здесь другое, написанное им в том же возрасте, но более веселое и жизнерадостное.[29]

Глава XXIX

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СОНЕТОВ ЭТЬЕНА ДЕ ЛА БОЭСИ

Госпоже де Граммон, графине де Гиссен.

Сударыня, я не предлагаю вам чего-либо своего, поскольку оно и без того уже ваше и поскольку я не нахожу ничего достойного вас. Но мне захотелось, чтобы эти стихи, где бы они ни появились в печати, были отмечены в заголовке вашим именем и чтобы им выпала тем самым честь иметь своей покровительницей славную Коризанду Андуанскую.[1] Мне казалось, что это подношение уместно тем более, что во Франции немного найдется дам, которые могли бы столь же здраво судить о поэзии и находить ей столь же удачное употребление, как это свойственно вам. И еще: ведь нет никого, кто мог бы вложить в нее столько жизни и столько души, сколько вы вкладываете в нее благодаря богатым и прекрасным звучаниям вашего голоса, которыми природа одарила вас, наряду с целым миллионом других совершенств. Сударыня, эти стихи заслуживают того, чтобы вы оказали им благосклонность; вы, несомненно, согласитесь со мною, что наша Гасконь еще не порождала произведений, которые были бы изящнее и поэтичнее этих и которые могли бы свидетельствовать, что они вышли из-под пера более одаренного автора. И не досадуйте, что вы обладаете лишь остатком, поскольку часть этих стихов я как-то уже напечатал, посвятив их вашему достойному родственнику, господину де Фуа; ведь в тех, что остались на вашу долю,

как-то больше жизни и пылкости, так как они были сочинены в пору зеленой юности и согреты прекрасной и благородной страстью, о которой я как-нибудь расскажу вам на ушко. Что же касается тех других стихов, то он написал их позднее, когда готовился вступить в брак, в честь невесты, и от них веет уже каким-то супружеским холодком. А я придерживаюсь мнения тех, кто считает, что поэзия улыбается только там, где ей приходится иметь дело с предметами шаловливыми и легкомысленными. (Эти стихи можно прочесть в другом месте).[2]

Глава XXX

ОБ УМЕРЕННОСТИ[1]

Можно подумать, что наше прикосновение несет с собою заразу; ведь мы портим все, к чему ни приложим руку, будь оно само по себе хорошо и прекрасно. Можно и к добродетели подойти так, что она утратит свою чистоту: для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение. Те, кто утверждает, что в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что все чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами:

Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui,
Ultra quam satis est virtutem si petat ipsam.[2]

Это не более, как философское ухищрение. Можно и чересчур любить добродетель и впасть в крайность, ревнуя к справедливости. Здесь уместно вспомнить слова апостола: „Не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру".[3]

Я видел одного из великих мира сего, который подорвал в глазах всех славу о своем благочестии, будучи слишком благочестив для людей его положения.[4]

Я люблю натуры умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность в чем бы то ни было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет меня, то, во всяком случае, удивляет, и я затрудняюсь, каким бы именем ее окрестить. И мать Павсания,[5] которая первой изобличила сына и первой понесла камень для его умерщвления, и диктатор Постумий, осудивший на смерть своего сына[6] только за то, что пыл юности увлек того во время успеш-

ной битвы с врагами, и он оказался немного впереди своего ряда, кажутся мне скорее странными, чем справедливыми. И я не имею ни малейшей охоты ни призывать к столь дикой и столь дорогой ценой купленной добродетели, ни следовать ей.

Лучник, который допустил перелет, стоит того, чья стрела не долетела до цели. И моим глазам бывает так же тягостно, когда их поражает внезапно яркий свет, как и тогда, когда я вперяю их во мрак. Калликл у Платона[7] говорит, что крайнее увлечение философией вредно, и советует не углубляться в нее далее тех пределов, в каких она полезна; если заниматься ею умеренно, она приятна и удобна, но, в конце концов, она делает человека порочным и диким, презирающим общие верования и законы, врагом приятного обхождения, врагом всех человеческих наслаждений, неспособным заниматься общественной деятельностью и оказывать помощь не только другому, но и себе самому, готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав, ибо, если предаваться в философии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который указывает нам природа.

Привязанность, которую мы питаем к нашим женам, вполне законна; теология, однако, всячески обуздывает и ограничивает ее. Я когда-то нашел у святого Фомы, в том месте, где он осуждает браки между близкими родственниками, среди других доводов также и следующий: есть опасность, что чувство, питаемое к жене-родственнице, может стать неумеренным; ведь, если муж в должной мере испытывает к жене подлинную и совершенную супружескую привязанность и к ней еще добавляется та привязанность, которую мы должны испытывать к родственникам, то нет никакого сомнения, что этот излишек заставит такого мужа выйти за пределы разумного.

Науки, определяющие поведение и нравы людей, — как философия и теология, — вмешиваются во все: нет среди наших дел и занятий такого, — сколь бы оно ни было личным и сокровенным, — которое могло бы укрыться от их назойливых взглядов и их суда. Хорошо таиться от них умеют лишь те, кто ревниво оберегают

Я не так боюсь конюха-картежника, как конюха-дурака. Мне нужно не то, чтобы повар мой никогда не сквернословил, а то, чтобы он знал свое дело. Впрочем, я не собираюсь указывать другим, как нужно им поступать — для этого найдется много охотников, — я говорю только о том, как поступаю я сам.

Mihi sic usus est; tibi, ut opus est facto, face.[18]

За столом я предпочитаю более занимательного собеседника благонравному; в постели красоту — доброте; для серьезных бесед — людей основательных, но свободных от педантизма. И то же во всем остальном.

Некий отец, застигнутый скачущим верхом на палочке, когда он играл со своими детьми, попросил человека, заставшего его за этим занятием, воздержаться от суждения об этом до тех пор, пока он сам не станет отцом: когда в его душе пробудится отцовское чувство, он сможет более здраво и справедливо судить о его поведении.[19] Совсем так же и я; и мне хотелось бы говорить о дружбе лишь с теми, которым довелось самим испытать то, о чем я рассказываю. Но зная, что это — вещь необычная и редко в жизни встречающаяся, я не очень надеюсь найти сведущего в этих делах судью. Ибо даже те рассуждения о дружбе, которые оставила нам древность, кажутся мне слишком бледными по сравнению с чувствами, которые я в себе ощущаю. Действительность здесь превосходит все наставления философии:

Nil ego contulerim iucundo sanus amico.[20]

Древний поэт Менандр говорил: счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень настоящего друга.[21] Он, конечно, имел основания к этому, в особенности, если сам испытал нечто подобное. И действительно, когда я сравниваю всю последующую часть моей жизни, которую я, благодарение богу, прожил тихо, благополучно, и, — если не говорить о потере такого друга, — без больших печалей, в нерушимой ясности духа, довольствуясь тем, что мне было отпущено, не гоняясь за большим, — так вот, говорю я, когда я сравниваю всю остальную часть моей жизни с теми че-

свою свободу. Таковы женщины, предоставляющие свои прелести для распутства всякому, кто того пожелает: однако стыд не велит им показываться врачу. Итак, я хочу от имени этих наук наставить мужей (если еще найдутся такие, которые и в браке сохраняют неистовство страсти), что даже те наслаждения, которые они вкушают от близости с женами, заслуживают осуждения, если при этом они забывают о должной мере, и что в законном супружестве можно так же впасть в распущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки, на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполнены непристойности, но и несут в себе пагубу нашим женам. Пусть лучше их учит бесстыдству кто-нибудь другой. Они и без того всегда готовы пойти нам навстречу. Что до меня, то я следовал лишь естественным и простым влечениям, внушаемым нам самой природой.

Брак — священный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которые он нам приносит, должны быть сдержанными, серьезными, даже, в некоторой мере, строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная. И поскольку основная цель такого союза — деторождение, некоторые сомневаются, дозволительна ли близость с женой в тех случаях, когда мы не можем надеяться на естественные плоды, например, когда женщина беременна или когда она вышла уже из возраста. По мнению Платона, это то же, что убийство.[8] Некоторые народы и, между прочим, магометане гнушаются сношений с беременными женщинами; другие — когда у женщины месячные. Зенобия допускала к себе мужа один только раз, а затем, в течение всего периода беременности, не разрешала ему прикасаться к ней; и только тогда, когда ей наступало время снова зачать, он снова приходил к ней. Вот похвальный и благородный пример супружества.[9]

У какого-то истомившегося и жадного до этой утехи поэта Платон позаимствовал такой рассказ. Однажды Юпитер до того возгорелся желанием насладиться со своей женой, что не имея терпения подождать, пока она ляжет на ложе, повалил ее на пол. От полноты испытанного им удовольствия он начисто забыл о решениях, только что принятых им совместно с богами на его небес-

старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли:

Fortunae miseras auximus arte vias.[11]

Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь придумать, как бы ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, более естественный путь, который и впрямь является и более удобным и более праведным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.

Между тем, наши врачеватели, и телесные и духовные, словно сговорившись между собой, не находят ни другого пути к исцелению, ни других лекарств против болезней души и тела, кроме мучений, боли и наказаний. Бдения, посты, власяница, изгнание в отдаленные и пустынные местности, заключение навеки в темницу, бичевание и прочие муки были введены именно с этой целью, и притом с непременным условием, чтобы они были самыми что ни на есть настоящими муками и мы со всей остротой ощущали их горечь, и чтобы не получалось так, как произошло с некиим Галлионом,[12] который, будучи отправлен в изгнание на остров Лесбос, как сообщили оттуда в Рим, жил там в свое удовольствие, и, таким образом, то, что предназначалось ему в наказание, превратилось для него в благоденствие; тогда сенат, изменив ранее принятое решение, возвратил его обратно к жене и приказал ему не отлучаться из дома, дабы он и в самом деле почувствовал, что наказан. Ибо, кому пост придает здоровья и бодрости, кому рыба нравится больше, для того пост уже не будет исцеляющим душу средством; и точно так же, при врачевании тела, лекарства не оказывают полезного действия на того, кто принимает их с охотою и удовольствием. Горечь и отвращение, которое они вызывают, являются обстоятельствами, содействующими их целительным

свойствам. Человек, который мог бы употреблять ревень как обычную пищу, не испытывал бы никакой пользы от его применения; надо, чтобы ревень бередил желудок, — только тогда он может оказать полезное действие. Отсюда вытекает общее правило, что все исцеляется своею противоположностью, ибо только боль исцеляет боль.

Это наводит на мысль о другом, весьма старинном мнении, будто бы небесам и природе можно угодить кровопролитием и человекоубийством, как это признавалось всеми религиями. Еще на памяти наших отцов Мурад,[13] захватив Истм, принес в жертву душе своего отца шестьсот молодых греков, с тем, чтобы их кровь смыла и искупила грехи покойного. И в новых землях, открытых уже в наше время, столь чистых и девственных по сравнению с нашими, подобный обычай имеет повсеместное распространение:[14] все их идолы захлебываются в человеческой крови, причем нередки примеры невообразимой жестокости. Жертв поджаривают живыми и наполовину изжаренными вытаскивают из жаровни, чтобы вырвать у них сердце и внутренности. У других, в том числе даже у женщин, сдирают заживо кожу и этой еще окровавленной кожей накрываются сами и облачают в нее других. И мы встречаем у этих народов не меньше, чем у нас, примеров твердости и мужества. Ибо эти несчастные — старики, женщины, дети, предназначенные в жертву — за несколько дней перед священнодействием обходят, собирая милостыню, дома, дабы принести ее в дар при своем жертвоприношении, и являются на эту бойню пляшущие и поющие вместе с сопровождающей их толпой. Послы мексиканского царя, изображая Фернандо Кортесу мощь и величие своего господина, сообщили ему прежде всего о том, что у него тридцать вассалов и каждый из них может выставить по сто тысяч воинов, что он обитает в самом красивом и самом укрепленном, какой только существует в мире, городе, и под конец добавили, что ему полагается ежегодно приносить в жертву богам пятьдесят тысяч человек. Он ведет, — говорили они, — непрерывные войны с некоторыми большими, живущими по соседству народами не только для того, чтобы доставить упражнение молодежи своей страны,

но и с целью обеспечить жертвоприношения в своем царстве военнопленными. В другой раз, в одном из их городов, по случаю прибытия туда Кортеса, было единовременно принесено в жертву пятьдесят человек. Расскажу еще следующее: некоторые из этих народов, разбитые Кортесом, отправили к нему, дабы признать себя побежденными и искать его дружбы, своих представителей; послы, передавая ему три вида подарков, сказали: „Господин, вот тебе пять рабов. Если ты грозный бог и питаешься мясом и кровью, пожри их, и мы тебя еще больше возлюбим; если ты кроткий бог, вот ладан и перья; если же ты человек, прими этих птиц и эти плоды“.

Глава XXXI

О КАННИБАЛАХ[1]

Царь Пирр,[2] переправившись в Италию и увидев боевой строй высланного против него римского войска, сказал: „Я не знаю, что тут за варвары (ибо греки называли так всех чужестранцев), но расположение войска, которое я пред собой вижу, нисколько не варварское“. То же самое говорили и греки о войске, переправленном к ним Фламинием;[3] то же мнение высказал и Филипп, рассматривая с холма порядок и расположение римского лагеря, разбитого на его земле Публием Сульпицием Гальбой.[4] Это показывает, с какой осторожностью следует относиться к общепринятым мнениям, а также, что судить о чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не на общее мнение.

У меня довольно долго служил человек, проведший десять или двенадцать лет в том Новом Свете, который открыт уже в наше время; он жил в тех местах, где пристал к берегу Вильганьон,[5] назвавший эту землю Антарктической Францией. Это открытие бескрайней страны является, повидимому, весьма важным. Я не мог бы, впрочем, поручиться за то, что в будущем не будет открыта еще какая-нибудь другая, ведь столько людей, гораздо ученее нас, ошибались на этот счет. Я опасаюсь, однако, что наши глаза алчут большего, чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы захватываем решительно все, но наша добыча — ветер.

Солон у Платона[6] пересказывает слышанное им от жрецов города Саиса в Египте: некогда, еще до потопа, существовал

большой остров, по имени Атлантида, расположенный прямо на запад от того места, где Гибралтарский пролив смыкается с океаном. Этот остров был больше Африки и Азии взятых вместе, и цари этой страны, владевшие не телько одним этим островом, но утвердившиеся и на материке, — так что они господствовали в Африке вплоть до Египта, а в Европе вплоть до Тосканы, — задумали вторгнуться даже в Азию и подчинить народы, обитавшие на берегах Средиземного моря до залива его, известного под именем Большого моря.[7] С этой целью они переправились в Испанию, пересекли Галлию, Италию и дошли до Греции, где их задержали афиняне. Однако, некоторое время спустя и они, и афиняне, и их остров были поглощены потопом. Весьма вероятно, что эти ужасные опустошения, причиненные водами, вызвали много причудливых изменений в местах обитания человека; ведь считают же, что море оторвало Сицилию от Италии,

Haec loca, vi quondam et vasta convulsa ruina,
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus
Una foret.[8]

Кипр от Сирии, остров Негрепонт[9] от материковой Беотии и, напротив, воссоединило другие земли, которые прежде были отделены друг от друга, заполнив песком и илом углубления между ними:

sterilisque diu palus aptaque remis
Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum.[10]

Но не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, который мы недавно открыли, ибо вышеупомянутый остров почти соприкасался с Испанией, и трудно поверить, чтобы наводнение могло затопить страну протяжением более чем на тысячу двести лье; а кроме того, открытия мореплавателей нашего времени с точностью установили, что это не остров, но материк, примыкающий, с одной стороны, к Ост-Индии, а с другой — к землям, расположенным у того и другого полюса, — или, если он все-таки не смыкается с ними, то они отделены друг от друга настолько узким проливом, что это не дает основания называть новооткрытую землю островом.[11]

Повидимому, в этих огромных телах наблюдаются, как это имеет место и в наших, движения двоякого рода — естественные и судорожные. Когда я вспоминаю о переменах, произведенных, можно сказать у меня на глазах, моею родною Дордонью на правом ее берегу, если смотреть вниз по течению, и о том, что за двадцать лет она передвинулась до такой степени, что размыла фундаменты многих строений, я отчетливо вижу, что тут дело идет не об естественном, но о судорожном движении, ибо, если бы она и прежде перемещалась с подобной быстротой и впредь стала бы вести себя не иначе, то весь облик мира был бы изменен ею одной. Но реки, как правило, не всегда ведут себя одинаково: то они смещаются в одну сторону, то в другую, а то держатся своего старого русла. Я не говорю о внезапных наводнениях, причины которых нам хорошо известны. Земля моего брата, господина д'Арсака, расположенная в Медоке,[12] вдоль моря, оказалась засыпанной извергнутым им песком; видны были лишь коньки крыш некоторых домов; сдаваемые в аренду участки, а также обрабатываемые им земли превратились в скудные пастбища. Обитатели этих мест говорят, что с некоторых пор море так стремительно наступает на них, что они потеряли уже целых четыре лье приморской земли. Эти пески как бы его квартирьеры, и мы видим огромные груды их, которые движутся на пол-лье впереди него, завоевывая для него сушу.

Другое свидетельство древних, с которым также хотят связать открытие Нового Света, мы находим у Аристотеля, если только та книжечка, где повествуется о неслыханных чудесах, действительно принадлежит ему.[13] В ней он рассказывает, что несколько карфагенян, миновав Гибралтарский пролив и выйдя в Атлантический океан, после долгого плавания открыли, в конце концов, большой плодородный остров, весь покрытый лесами и орошаемый полноводными и глубокими реками, вдалеке от всякого материка; впоследствии и они, и вслед за ними другие, привлекаемые красотой и плодородием этого острова, отправились туда вместе с женами и детьми и начали там обосновываться. Властители Карфагена, однако, увидев, что страна их мало-помалу стано-

вится все безлюднее, издали строгий приказ, которым запрещалось под страхом смерти, переселяться туда кому бы то ни было; этим же самым приказом они изгнали оттуда всех раньше поселившихся там, как говорят, из опасения, что эти последние, чрезвычайно размножившись, подавят их и разорят их государство. Но и этот рассказ Аристотеля не имеет ни малейшего отношения к недавно открытым землям.

Человек, который служил у меня, был человек простой и необразованный, а это как раз одно из необходимых условий достоверности показаний, ибо люди с более тонким умом наблюдают, правда, с большей тщательностью и видят больше, но они склонны придавать всему свое толкование и, желая поднять ему цену и убедить слушателей, не могут удержаться, чтобы не исказить, хоть немного, правду; они никогда не изобразят вам вещей такими, каковы они есть; они их переиначивают и принаряжают в соответствии с тем, какими показались они им самим; и с целью придать вес своему мнению и склонить вас на свою сторону, они охотно присочиняют к истине кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняя ее. Тут нужен либо человек исключительно добросовестный, либо настолько простой, что сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам превосходило бы его способности; и вообще человек без предвзятых мыслей. Таким именно человеком и был мой слуга. А кроме того, он неоднократно приводил ко мне матросов и купцов, с которыми свел знакомство во время своего путешествия. Таким образом, меня вполне удовлетворяют сведения, которыми они снабдили меня, и я не стану справляться, что говорят об этих вещах космографы.

Нам нужны географы, которые дали бы точное описание местностей, где они побывали. Но имея перед нами то преимущество, что они собственными глазами видели, например, Палестину, они стремятся воспользоваться этою привилегией и засыпать нас кучею новостей обо всем остальном мире. Я хотел бы, чтобы не только в этой области, но и во всех остальных каждый писал только о том, что он знает, и в меру того, насколько он знает, ибо иной может обладать точнейшими сведениями или опытом в отно-

шении свойств такой-то реки или источника, а, вместе с тем, не знать всего прочего, что известно каждому. Но вместо того, чтобы пустить в обращение малую толику своих знаний, он непременно затеет писать целую естественную историю. Из этого порока проистекают многие весьма важные неудобства.

Итак, я нахожу — чтобы вернуться, наконец, к своей теме, — что в этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, повидимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи. Они дики в том смысле, в каком дики растущие на свободе, естественным образом, плоды; в действительности же надо было бы скорее назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил, отклонив их от естественного их роста. В дичках наличны и сохраняются в полной силе их истинные и наиболее полезные свойства и качества, тогда как в плодах, выращенных нами искусственно, мы только извратили их, приспособив к своему испорченному дурному вкусу. И все же даже на наш вкус наши плоды в нежности и сладости уступают плодам этих стран, не знавшим никакого ухода. Да и нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую и всемогущую мать-природу. Мы настолько загрузили красоту и богатство ее творений своими выдумками, что, можно сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания,

Et veniunt hederae sponte sua melius,
Surgit et in solis formosior arbutus antris,
. . . . . .
Et volucres nulla dulcius arte canunt.[14]

Все наши усилия не в состоянии воспроизвести гнездо даже самой маленькой птички, его строение, красоту и целесообраз-

ность его устройства, как, равным образом, и паутину жалкого паука. Всякая вещь, говорит Платон, порождена либо природой, либо случайностью, либо искусством человека; самые великие и прекрасные — первой и второй; самые незначительные и несовершенные — последним.[15]

Итак, эти народы кажутся мне варварскими только в том смысле, что их разум еще мало возделан и они еще очень близки к первобытной непосредственности и простоте. Ими все еще управляют законы природы, почти не извращенные нашими. Они пребывают все еще в такой чистоте, что мне порою бывает досадно, почему сведения о них не достигли нас раньше, в те времена, когда жили такие люди, которые могли бы судить об этом лучше, чем мы. Мне досадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платон; ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой век, и все ее выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления и пожелания философии. Философы не были в состоянии вообразить себе столь простую и чистую непосредственность, как та, которую мы видим собственными глазами; они не могли поверить, что наше общество может существовать без всяких искусственных ограничений, налагаемых на человека. Вот народ, мог бы сказать я Платону, у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со счетом, никаких признаков власти или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никаких занятий, кроме праздности, никакого особого почитания родственных связей, никаких одежд, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина или хлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательство, притворство, скупость, зависть, злословие, прощение. Насколько далеким от совершенства пришлось бы ему признать вымышленное им государство![16] Viri a diis recentes.[17]

Hos natura modos primum dedit.[18]

К тому же, они обитают в стране с очень приятным и умеренным климатом, так что там, как сообщали мои свидетели, очень редко можно встретить больного; и они уверяли меня, что им ни разу не пришлось видеть в этой стране старика, у которого тряслись бы от старости руки, гноились глаза, согнулась спина или выпали зубы. Они живут на морском побережье, и со стороны материка их защищают огромные и высокие горы, причем между горами и морем остается полоса приблизительно в сто лье шириной. У них великое изобилие рыбы и мяса, различных животных, совершенно непохожих на наших, и едят они эту пищу без всяких приправ, лишь изжарив ее. Первый, кто появился у них верхом на коне, хотя они и знали этого человека по прежним его путешествиям, вызвал у них такой неописуемый ужас, что они убили его, забросав копьями, прежде чем узнали его. Их здания очень вытянуты в длину и вмещают от двухсот до трехсот душ; они обложены корою больших деревьев, причем полосы этой коры одним концом упираются в землю, а другим сходятся у вершины, образуя конек и поддерживая друг друга, наподобие наших риг, кровля которых спускается до самой земли, служа зараз также и боковыми стенами.

Есть у них столь твердое дерево, что они изготовляют из него мечи и вертелы для жарения мяса. Их постели сделаны из бумажной ткани, и они подвешивают их к потолку, вроде того, как это принято у нас на кораблях, причем у каждого своя собственная постель, ибо жена у них спит отдельно от мужа. Встают же они вместе с солнцем и, как только встанут, принимаются за еду, наедаясь сразу на целый день, ибо другой трапезы у них не бывает. При этом они совершенно не пьют, подобно тому, как и некоторые живущие на востоке народы, которые, по словам Свиды,[19] никогда не пьют за едою; зато они пьют несколько раз в течение дня, и помногу. Их питье варится из какого-то корня и цветом напоминает наше легкое красное вино. Пьют они его только теплым; оно сохраняется не более двух-трех дней; оно на вкус несколько терпкое, нисколько не опьяняет и благотворно действует на желудок; на тех, однако, кто не привык к нему, оно

действует как слабительное; но для тех, кто привык, это очень приятный напиток. Вместо хлеба они употребляют какое-то белое вещество, напоминающее сваренный в сахаре кориандр.[20] Я отведал его; оно сладкое и немного приторное на вкус. Весь день проходит у них в плясках. Более молодые отправляются в лес на охоту; охотятся же они на зверей вооруженные луком. Часть женщин занимается в это время подогреванием их напитка, и это главное их занятие. Один из стариков по утрам, прежде чем все примутся за еду, читает проповедь всем обитателям дома, двигаясь с одного конца его до другого и бормоча одно и то же, пока не обойдет всех (ведь их постройки в длину имеют добрую сотню шагов). Он внушает им только две вещи: храбрость в битвах с врагами и добрые чувства к женам, причем никогда не забывает прибавить, словно припев, что к женам должно питать благодарность за их заботу о том, чтобы их питье было теплым и вкусным. У многих и, в частности, у меня можно увидеть образцы их постелей, бечевок, мечей и деревянных запястий, которыми они прикрывают кисть руки во время сражений, а также длинных, выдолбленных с одного конца тростинок, дудя в которые они извлекают звуки, ритмизирующие их пляски. Они бреют лицо, голову и все тело, причем выбриты глаже нашего, хоть бритвы у них только каменные или деревянные. Они верят в бессмертие души и полагают, что те, кто заслужил это перед богами, пребывают на той стороне неба, где солнце всходит, а осужденные — на той, где оно заходит.

Есть у них своего рода жрецы и пророки, которые, однако, очень редко показываются народу, ибо живут где-то в горах. Когда они приходят, в честь этого устраивается большое празднество, на которое собираются обитатели нескольких деревень (каждое жилище, мною описанное, представляет собой деревню, и находятся они примерно на расстоянии французского лье одно от другого). Этот пророк держит речь перед жителями, призывая их к добродетели и к исполнению долга; впрочем вся их мораль сводится к двум предписаниям, а именно: быть отважными на войне и любить своих жен. Такой пророк предсказывает

им будущее и разъясняет, на какой исход своих начинаний они могут рассчитывать; он же побуждает их к войне, или, напротив, отговаривает от нее. Он должен угадать правильно, потому что, если случится не так, как он предсказал, его объявят лжепророком и, поймав, изрубят на тысячу кусков. Поэтому тот из пророков, который ошибся в своих предсказаниях, старается навсегда скрыться с глаз своих земляков.

Дар прорицания — дар божий: вот почему злоупотребление им есть обман, который подлежит наказанию. Когда у скифов случалось, что предсказание их прорицателя не оправдывалось, они сковывали его по рукам и ногам, бросали на полные вереска и влекомые быками повозки и затем сжигали на них. Можно простить ошибки людей, берущихся судить о вещах, находящихся в пределах человеческого разума и способностей, если они сделали все, что в их силах. Но тех, кто хвалится обладанием необычайных способностей, превосходящих силу человеческого разумения, — не следует ли карать их за невыполнение обещанного и за дерзость обмана?

Они ведут войны с народами, обитающими в глубине материка, по ту сторону гор, причем на войну они отправляются совершенно нагими, не имея другого оружия, кроме луков и стрел или деревянных мечей, заостренных наподобие железных наконечников наших копий. Поразительно, до чего упорны их битвы, которые никогда не заканчиваются иначе, как страшным кровопролитием и побоищем, ибо ни страх, ни бегство им не известны. Каждый приносит с собой в качестве трофея голову убитого им врага, которую и подвешивает у входа в свое жилище. С пленными они долгое время обращаются хорошо, предоставляя им все удовольствия, какие те только могут пожелать; но затем владелец пленника приглашает к себе множество своих друзей и знакомых; обвязав руку пленника веревкою и крепко зажав конец ее в кулаке, он отходит на несколько шагов, чтобы пленник не мог до него дотянуться, а своему лучшему другу он предлагает держать пленника за другую руку, обвязав ее веревкою точно так же; после чего на глазах всех собравшихся, оба они убивают

его, нанося удары мечами. Сделав это, они жарят его и все вместе съедают, послав кусочки мяса тем из друзей, которые почему-либо не могли явиться. Они делают это, вопреки мнению некоторых, не ради своего насыщения, как делали, например, в древности скифы, но чтобы осуществить высшую степень мести. И что это действительно так, доказывается следующим: увидев, что португальцы, вступившие в союз с их врагами, казнят попавших к ним в плен их сородичей по-иному, а именно зарывая их до пояса в землю и осыпая открытую часть тела стрелами, а затем вешая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним из другого мира, распространившие среди их соседей знакомство со многими неведомыми доселе пороками и более изощренные в злодеяниях, чем они, не без основания, должно быть, применяют такой вид мести, который, очевидно, мучительнее принятого у них, — и вот, они начали отказываться от своего старого способа и переходить к новому. Меня огорчает не то, что мы замечаем весь ужас и варварство подобного рода действий, а то, что, должным образом оценивая прегрешения этих людей, до такой степени слепы к своим. Я нахожу, что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать его мертвым, большее варварство раздирать на части пытками и истязаниями тело, еще полное живых ощущений, поджаривать его на медленном огне, выбрасывать на растерзание собакам и свиньям (и мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами их, когда это проделывали не с закосневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами и, что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией), чем изжарить человека и съесть его после того, как он умер.

Хрисипп и Зенон, основатели стоической школы, полагали, что нет ничего зазорного в том, чтобы любым способом использовать наши трупы, если в этом есть надобность, и даже питаться ими; именно так поступили наши предки, которые во время осады Цезарем города Алезии[21] решили смягчить голод, вызванный этой осадою, употребив в пищу тела стариков, женщин и всех неспособных носить оружие.

Vascones, fama est, alimentis talibus usi
Produxere animas.[22]

Да и врачи также не стесняются извлекать из трупов различные лечебные средства для возвращения нам здоровья, то прописывая последние внутрь, то применяя их, как наружные;[23] но никогда никто не придерживался столь безнравственных взглядов чтобы оправдывать измену, бесчестность, тиранию, жестокость, то есть наши обычные прегрешения.

Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения требований разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Их способ ведения войны честен и благороден, и даже извинителен и красив — настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недуг человечества: основанием для их войн является исключительно влечение к доблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все еще наслаждаются плодородием девственной природы, снабжающей их, без всякого усилия с их стороны, всем необходимым для жизни в таком изобилии, что им незачем расширять собственные пределы. Они все еще пребывают в том благословенном состоянии духа, когда в человеке еще нет желаний сверх вызываемых его естественными потребностями; все то, что превосходит эти потребности им ни к чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакового с ними возраста, они называют братьями, младших — своими детьми, стариков же — отцами. Эти последние оставляют свое имущество в наследство всей общине, без раздела и без всякого иного права на владение им, кроме того, какое дарует своим созданиям, производя их на свет, природа. Если соседи их, перейдя через горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то вся добыча победителя — только в славе да еще в сознании своего превосходства в силе и доблести; им нет дела до имущества побежденных, и они возвращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в чем, а главное — в том величайшем благе, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ею. Так же посту-

пают, в свою очередь, и они сами, когда им случается быть победителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, что те признали себя побежденными; но в течение целого столетия не нашлось среди них такого, который не предпочел бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих речах или действиях величием своего несокрушимого мужества; и не встретишь среди них такого, который из страха быть убитым и съеденным соизволил бы попросить о том, чтобы с ним не сделали этого. Они представляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела для них тем бо́льшую цену, и постоянно толкуют им об угрожающей им близкой смерти, о муках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Все это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотя бы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежать и таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать свое превосходство на́д ними. Ибо, в сущности говоря, именно в этом и состоит подлинная победа:

Quam quae confessos animo quoque victoria nulla est subiugat hostes.[24]

Венгры, весьма воинственная нация, в былые времена никогда не добивали своих врагов, когда те начинали молить их о пощаде. Но, вырвав у них это признание в своем поражении, венгры, не причиняя им вреда, отпускали их без выкупа, самое большее, — взяв с них слово, что впредь те никогда уже не выступят против них.

Весьма часто своим превосходством над врагом мы бываем обязаны преимуществам внешним, случайным, а не таким, которые относятся к числу наших достоинств. Крепкие руки и ноги хороши для носильщика, но они не имеют никакого отношения к доблести; наше сложение — это качество бездушное и чисто телесное; если наш противник споткнулся или глаза его ослепило солнце, это

подарок судьбы и ничего больше; хорошо фехтовать — не что иное, как знание и искусство, которые могут быть усвоены человеком трусливым и ничтожным. Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его воле; именно здесь — основа его подлинной чести. Доблесть есть сила не наших рук или ног, но мужества и души; она зависит от качеств не нашего коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, si succiderit, de genu pugnat,[25] тот, кто пред лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто, испуская последнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом, — тот сражен, но не побежден.

Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми.

Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей. Четыре сестринские победы, прекраснейшие из всех, какие когда-либо видело солнце, — при Саламине, Платеях, при Микале и в Сицилии, — не осмелились противопоставить всю свою славу, вместе взятую, славе поражения царя Леонида и его воинов в Фермопильском ущелье.

Устремлялся ли кто-нибудь когда-нибудь с таким великолепным и гордым мужеством навстречу своей победе, как Исхолай[26] устремился навстречу верному поражению? Кто столь же искусно и предусмотрительно действовал ради своего спасения, как он — ради гибели? Ему было поручено оборонять от аркадян одно из ущелий, ведущих в Пелопоннес. Выяснив, что это совершенно невыполнимо по причине условий местности и неравенства в силах и понимая, что всякий, кто выступит против врага, неминуемо ляжет на месте, но считая, вместе с тем, недостойным своей доблести и величия и имени лакедемонянина не выполнить возложенной на него задачи, он принял следующее, среднее между двумя этими крайностями, решение. Наиболее сильных и молодых воинов, дабы сберечь их для служения и защиты родины, он отослал от себя, с остальными же, гибель которых была не столь ощутительна, он решил отстаивать это ущелье, чтобы своей и их смертью принудить врагов оплатить возможно дороже этот проход. Так

оно и случилось, ибо, окруженные почти отовсюду аркадянами, среди которых они учинили страшное избиение, и он и все его воины были перебиты один за другим. Существует ли какой-нибудь трофей в честь победителей, который не подобало бы присудить скорее таким побежденным? Кто — победитель, решается не исходом сражения, а ходом его; и честь воина и доблесть его в том, чтобы биться, а не в том, чтобы разбить врага.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Как бы пленников ни запугивали, так и не удается заставить их проявить малодушие; напротив, в течение двух-трех месяцев, пока их не трогают, они держатся бодро и весело, торопят своих победителей поскорее подвергнуть их последнему испытанию, поносят их, осыпают бранью и упреками в трусости, перечисляют битвы, проигранные ими их соплеменникам. У меня есть сочиненная одним из пленников песнь, в которой имеется и такое место: пусть все они смело приходят и собираются, чтобы насытиться им; ведь они будут есть своих отцов и своих предков, которые послужили пищей для его тела и взрастили его. „Эти мышцы, — говорит он, — это мясо и жилы — ваши, жалкие вы глупцы! Вы не хотите признать, что в них еще сохраняется вещество, из которого состояли тела ваших предков? Так распробуйте же их хорошенько, и вы ощутите в них вкус своего мяса“.

Такая поэзия нисколько не отзывается варварством. Люди, видевшие, как они расстаются с жизнью, изображая картину их казни, рассказывают, что пленник плюет в лицо своим убийцам и дразнит их. Поистине, до последнего своего вздоха они не перестают держать себя вызывающе и выказывать свое презрение словами и жестами. Право же, по сравнению с нами их можно назвать сущими дикарями, ибо, по совести говоря, одно из двух — либо они дикари, либо мы: так велико различие между их образом жизни и нашим.

Мужчины у них имеют по нескольку жен, и их бывает тем больше, чем больше мужчина славится своей доблестью. И вот прекрасная и изумительная особенность их брачных союзов: насколько наши жены стараются воспрепятствовать нам добиваться

расположения и близости других женщин, настолько их жены сами стремятся к этому. Заботясь о чести своих мужей больше, чем о чем-либо ином, они прилагают все усилия к тому, чтобы у них было как можно больше товарок, ибо это свидетельствует о доблести их мужей.

Наши жены, пожалуй, скажут, что это чудо из чудес. Вовсе нет: это проявление истинной супружеской добродетели, но только в самой высокой ее форме. Загляните в библию: Лия, Рахиль, Сарра и жены Иакова[27] приводили к своим мужьям красивых рабынь; Ливия также, в ущерб себе, потворствовала вожделениям Августа, а жена Дейотара[28] Стратоника не только отдала в распоряжение мужа свою красивую молодую служанку, но даже заботливо воспитала ее детей и помогла им унаследовать царство отца.

Но дабы кто-нибудь не подумал, что все это не более как простая и рабская покорность общепринятым обычаям, внушенная им авторитетом давно установившегося уклада, который они принимают безропотно и без рассуждений, ибо ум их настолько не развит, что не в состоянии представить себе что-либо иное, я могу привести несколько доказательств их одаренности и ума. Выше я привел уже отрывок из песни их воина, теперь приведу другую, любовную песню, которая начинается так: „Остановись, змейка, остановись, чтобы сестра моя могла всмотреться в узор твоей шкурки и по образцу его сделать роскошную ленту, которую я мог бы подарить моей милой; и пусть твоей красоте, твоим формам будет навсегда отдано предпочтение перед всеми другими змейками“. Таков первый куплет и он же припев этой песни. Я достаточно знаком с поэзией, чтобы утверждать, что в этой песне не только нет ничего варварского, но что это самое настоящее анакреонтическое произведение.[29] Кстати сказать, их язык очень мягкий, приятный на слух, напоминает своими окончаниями греческий.

Трое из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, когда там находился король Карл IX.[30] Не подозревая того, как тяжело в будущем отзовется на их покое и счастье знакомство

с нашей испорченностью, не ведая того, что общение с нами навлечет на них гибель, — а я предполагаю, что она уже и в самом деле очень близка — эти несчастные, увлекшись жаждою новизны, покинули приветливое небо своей милой родины, чтобы посмотреть, что представляет собою наше. Король долго беседовал с ними; им показали, как мы живем, нашу пышность, прекрасный город. После этого кому-то захотелось узнать, каково их мнение обо всем виденном ими и что сильнее всего поразило их; они назвали три вещи, из которых я забыл, что именно было третьим, и очень сожалею об этом; но две первые сохранились у меня в памяти. Они сказали, что прежде всего им показалось странным, как это столько больших, бородатых людей, сильных и вооруженных, которых они видели вокруг короля (весьма возможно, что они говорили о швейцарских гвардейцах), безропотно подчиняются мальчику, и почему они сами не изберут кого-нибудь из своей среды, кто начальствовал бы над ними; во-вторых, — у них есть та особенность в языке, что они называют людей „половинками“ друг друга, — они заметили, что между нами есть люди, обладающие в изобилии всем тем, чего только можно пожелать, в то время как их „половинки“, истощенные голодом и нуждой, выпрашивают милостыню у их дверей; и они находили странным, как это столь нуждающиеся „половинки“ могут терпеть такую несправедливость, — почему они не хватают тех других за горло и не поджигают их дома.

С одним из этих туземцев я очень долго беседовал, но мой толмач так плохо переводил мои слова, и ему, по причине его тупости, так трудно было улавливать мои мысли, что я не извлек никакого удовольствия из этого разговора. На мой вопрос: какие преимущества доставляет ему высокое положение среди соплеменников (ибо это был вождь и наши матросы называли его королем), он ответил: „Итти впереди всех на войну“. Когда я спросил, сколько же людей ведет он за собой, он жестом отмерил некоторое пространство, желая сказать, что их столько, сколько может здесь поместиться; получалось примерно четыре или пять тысяч человек. Наконец, на вопрос, не прекращается ли его власть

вместе с войной, он ответил, что сохраняет ее и в мирное время и что заключается она в том, что, когда он посещает подчиненные ему деревни, жители их прокладывают для него сквозь чащу лесов тропинки, по которым он может с полным удобством пройти.

Все это не так уж плохо. Но помилуйте, они не носят штанов!

Глава XXXII

О ТОМ, ЧТО СУДИТЬ О БОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДНАЧЕРТАНИЯХ СЛЕДУЕТ С ВЕЛИЧАЙШЕЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ [1]

Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и, кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишают нас средств бороться с ними. По этой причине, замечает Платон, гораздо легче удовлетворить слушателей, говоря о природе богов, чем о природе людей; ибо невежество слушателей дает полнейший простор и неограниченную свободу для размалевывания таинственного.[2]

Поэтому люди ничему не верят так твердо, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен, — например алхимики, астрологи, предсказатели, хироманты, врачи, id genus omne.[3] Я охотно присоединил бы сюда, если б осмелился, еще целую кучу народа, а именно заправских истолкователей и проверщиков намерений божьих, которые считают своей обязанностью отыскивать причины всего, что случается, разглядывать в тайнах воли господней непостижимые побуждения деяний его; и хотя разнообразие и постоянная несогласованность происходящих событий и заставляют их метаться из стороны в сторону, и из одной крайности в другую, они все же не бросают своей игры и той же самой кистью размалевывают все без разбора то в белый, то в черный цвет.

У одного индейского племени есть похвальный обычай: когда им не повезет в какой-нибудь стычке или в сражении, они всей общиной просят за это у солнца, своего бога, прощения, словно они совершили неправедное деяние; ибо свою удачу и неудачу они приписывают божественному разуму, ставят по сравнению с ним ни во что свои домыслы и суждения.

Для христианина достаточно верить, что все исходит от бога, принимать все с благодарностью и признанием его неисповедимой божественной мудрости, считать благом все выпавшее на его долю, в каком бы обличии оно ни было ему ниспослано. Но я никоим образом не могу примириться с тем, что вижу повсеместно в обычае, а именно, со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию ссылками на успех и процветание наших дел. Наша вера располагает достаточным количеством иных оснований, чтобы нуждаться еще в подобного рода ссылках на события; ведь существует опасность, что народ, привыкнув к этим столь соблазнительным и пришедшимся ему по вкусу доводам, когда вдруг случится что-нибудь противоположное и ему неприятное, может поколебаться в своей вере. И вот вам пример из происходящих ныне у нас религиозных войн. Победители в битве при Ларошлабейле предавались величайшему ликованию по поводу своей удачи и использовали ее в качестве доказательства правоты своего дела. Когда же им довелось испытать поражения при Монконтуре и при Жарнаке,[4] им пришлось, чтобы как-нибудь объяснить их, вспомнить и об отеческих розгах и об отеческих наказаниях. И если бы народ не был всецело у них в руках, он бы сразу почуял, что это то же самое, что за помол одного мешка брать плату дважды или, дуя себе на пальцы, одновременно студить и согревать их. Было бы много лучше сказать ему чистую правду. Несколько месяцев тому назад, под командованием Дон-Жуана Австрийского, была одержана блестящая морская победа над турками;[5] но господу богу не раз бывало угодно допускать также и победы турок над христианами. Короче говоря, трудно взвешивать на наших весах дела божии, чтобы они не терпели при этом ущерба. И кто пожелал бы придать особый смысл тому, что Арий и близкий

к нему по образу мыслей папа Лев, важнейшие главари ереси ариан,[6] умерли хотя и в разное время, но столь сходной и странной смертью (оба они, покинув из-за резей в желудке диспут, внезапно скончались в отхожем месте), и, сверх того, особо подчеркнуть обстоятельства и самое место, где совершилось это божественное возмездие, — тому я мог бы указать в придачу и на Гелиогабала, который был убит также в нужнике.[7] Но помилуйте! И святого Иринея[8] постигла та же самая участь. Господь бог, желая показать нам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого должен страшиться злой, не имеют ничего общего с удачами и неудачами мира сего, располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям, отнимая, тем самым, у нас возможность пускаться на этот счет в нелепейшие рассуждения. И в дураках остаются те, кто пытается разобраться в этих вещах, опираясь на свой человеческий разум. За каждым удачным ударом у них следует, по меньшей мере, два промаха. Это хорошо показал святой Августин на примере своих противников. Этот спор решается скорее оружием, чем оружием разума. Нужно довольствоваться тем светом, который солнцу угодно изливать на нас своими лучами; кто же поднимет взор, чтобы впитать в себя немного больше его, пусть не сетует, если в наказание за свою дерзость он лишится зрения. Quis hominum potest scire consilium dei? aut quis poterit cogitare quid velit dominus?[9]

Глава XXXIII

О ТОМ, КАК ЦЕНОЙ ЖИЗНИ УБЕГАЮТ ОТ НАСЛАЖДЕНИЙ[1]

Я убедился в том, что мнения древних, в большинстве случаев, сходятся в следующем: когда в жизни человека больше зла, нежели блага, значит настал час ему умереть; и еще: сохранять нашу жизнь для мук и терзаний — значит нарушать самые законы природы; о чем и говорят приводимые ниже древние изречения:

Ἢ ζῆν ἀλύπως, ἢ θανεῖν εὐδαιμόνως.
Καλὸν τὸ θνήσκειν οἷς ὑβριν τὸ ζῆν φέρει,
Κρεῖσσον τὸ μὴ ζῆν ἐστίν ἢ ζῆν ἀθλίως.[2]

Но доводить презрение к смерти до такой степени, чтобы использовать ее в качестве средства избавиться от почестей, богатства, высокого положения и других преимуществ и благ, которые мы называем счастьем, возлагать на наш разум еще и это новое бремя, как будто ему и без того не пришлось достаточно потрудиться, чтобы убедить нас отказаться от них, — ни таких советов, ни упоминания о действительных случаях подобного рода я не встречал, пока мне случайно не попал в руки следующий отрывок из Сенеки. Обращаясь к Люцилию, человеку весьма могущественному и имевшему большое влияние на императора, с советом сменить свою роскошную и исполненную наслаждений жизнь и суетность света на тихое и уединенное существование, заполненное философскими размышлениями, и, зная о том, что Люцилий ссылается на связанные с этим некоторые трудности, Сенека го-

ворит: „Я держусь того мнения, что тебе надлежит либо отказаться от этого образа жизни, либо от жизни вообще; я советую, однако, избрать менее трудный путь и скорее развязать, нежели разрубить тот узел, который ты так неудачно завязал, при условии, разумеется, что, если развязать его не удастся, ты все же его разрубишь. Нет человека, каким бы трусом он ни был, который не предпочел бы упасть один единственный раз, но уже навсегда, чем быть постоянно колеблемым из стороны в сторону“.[3] Я склонен был думать, что такой совет подходит лишь к суровому учению стоиков; однако, удивительное дело, он оказался позаимствованным у Эпикура, который по этому поводу писал Идоменею весьма сходные вещи.

Нечто подобное, как мне кажется, подметил я и между людьми нашего исповедания, правда, смягченное до некоторой степени христианством. Святой Иларий, епископ города Пуатье,[4] этот знаменитый враг арианской ереси, находясь в Сирии, был извещен о том, что его единственная дочь Абра, оставленная им дома вместе со своей матерью, окружена толпой поклонников, людей значительных в этой стране, домогающихся сочетаться с ней браком, так как была она девицей весьма хорошо воспитанной, красивой, богатой и в цвете лет. Он написал ей (как нам это известно), чтобы она отвратилась от всех соблазнов и наслаждений, которые ей предлагают; он добавлял, что во время своего путешествия подыскал ей супруга несравненно более высокого и достойного, обладающего неизмеримо большею властью и величием, который одарит ее бесценнейшими нарядами и украшениями. Его намерение состояло в том, чтобы, искоренив в ней влечение и привычку к мирским удовольствиям, обратить ее целиком к богу. Но поскольку ему казалось, что простейшим и самым верным средством для этого была бы смерть его дочери, он неустанно обращался к богу с просьбами и мольбами, чтобы он призвал ее к себе из этого мира; так оно и случилось, ибо вскоре после возвращения Илария его дочь скончалась, чему он был несказанно рад. Этот Иларий, пожалуй, превзошел своим рвением остальных, ибо прибегнул к подобному средству сразу же, тогда как другие при-

бегают к нему, когда уже нет иного исхода, а также потому, что он это сделал по отношению к единственной своей дочери. Однако мне хочется досказать эту историю до конца, хотя конец ее и не касается непосредственно предмета моего рассуждения. Жена святого Илария, узнав от него, что смерть их дочери была вызвана им намеренно и сознательно, а также, насколько она стала счастливее, покинув наш мир, вместо того чтобы и дальше томиться в нем, прониклась столь пылким влечением к вечному блаженству на небе, что осаждая своего супруга непрестанными просьбами, умолила его сделать то же самое и для нее. И господь, вняв просьбам их обоих, взял и ее немного времени спустя к себе; и эта смерть была встречена и им и ею с глубоким удовлетворением.

Глава XXXIV

СУДЬБА НЕРЕДКО ПОСТУПАЕТ РАЗУМНО[1]

Непостоянство и шаткость судьбы приводят к тому, что ей приходится представать перед нами в самых разнообразных обличиях. Свершалось ли когда-нибудь правосудие с такой стремительностью, как в следующем случае? Герцог Валантинуа,[2] решив отравить Адриана, кардинала Корнето, у которого в Ватикане собирались отужинать он сам и его отец папа Александр VI, отправил заранее в его покои бутылку отравленного вина, наказав кравчему хорошенько беречь ее. Папа, прибыв туда раньше сына, попросил пить, и кравчий, думая, что вино было поручено его особому попечению только из-за своего отменного качества, предложил его папе. В этот момент появляется, к началу пира, и герцог; полагая, что к его бутылке не прикасались, он пьет то же самое вино. И вот, отца постигла внезапная смерть, а сын, долгое время тяжело проболев, выжил, чтобы претерпеть еще худшую участь.

Иногда кажется, что судьба дожидается определенного часа, чтобы сыграть с нами шутку. Господин д'Эстре, в то время знаменосец в полку господина Вандома, и господин де Лик, заместитель начальника отряда герцога д'Аско, ухаживали одновременно, хотя и принадлежали к враждующим сторонам (как это бывает с соседями, которых разделяет граница), за сестрою господина де Фукероля, отдавшей, в конце концов, предпочтение второму из них. Но в день свадьбы и, что еще хуже, прежде, чем разделить с новобрачной ложе, молодой супруг пожелал преломить

копье в честь своей супруги и с этой целью засел в засаде близ Сент-Омера, где господин д'Эстре, оказавшись сильнее, захватил его в плен; и в довершение торжества д'Эстре случилось так, что молодая дама,

> Coniugis ante coacta novi dimittere collum,
> Quam veniens una atque altera rursus hiems
> Noctibus in longis avidum saturasset amorem,[3]

лично обратилась к нему с просьбой оказать ей любезность и отпустить пленника, что он и сделал, ибо французский дворянин никогда и ни в чем не отказывает даме.

Не кажется ли порой, что судьба — остроумная выдумщица? Константин, сын Елены, основал Константинопольскую империю, и много столетий спустя Константином, сыном Елены, завершилось ее многовековое существование.[4]

Иногда ей угодно бывает передразнивать совершаемые богом чудеса. Передают, будто бы, когда король Хлодвиг осаждал Ангулем, стены его сами собой пали перед ним; кроме того, и Буше[5] также сообщает, позаимствовав этот рассказ у какого-то автора, что король Роберт осадил некий город, а затем отлучился из войска, чтобы, выполняя обет, отправиться в Орлеан отпраздновать день святого Агнана; но когда он присутствовал на торжественном богослужении, то в какой-то момент мессы стены осажденного города, без всякого усилия со стороны осаждающих сами собой развалились. Нечто совсем иное произошло во время наших войн за Миланское герцогство. Полководец Риенци, сражаясь на нашей стороне, осадил город Эронну и заложил мину под изрядный кусок крепостной стены. Когда пришел срок, часть стены целиком взлетела кверху, а затем — подобно пущенной прямо в небо и упавшей обратно стреле, — опустилась, так же целиком, на свое прежнее место, так что осажденные ничего от этого не потеряли.

Иногда судьба занимается и врачеванием: Ясон Ферский[6] страдал нарывом в груди, и врачи от него отказались, считая, что он безнадежен. Страстно желая избавиться от страданий, хотя бы ценой смерти, он очертя голову бросился, во время сра-

жения, в самую гущу врагов, и был ранен, но так удачно, что нарыв его прорвало и он выздоровел.

Не превзошла ли судьба художника Протогена в его искусстве? Этот последний, нарисовав в совершенстве усталую и измученную собаку, был вполне удовлетворен своей работой, однако за одним исключением: ему никак не удавалось изобразить, как ему хотелось, слюну и пену у ее рта. Раздосадованный этим, он схватил губку, пропитанную разными красками, и запустил ее в картину, чтобы стереть все нарисованное; судьба, однако, весьма кстати направила удар прямо в морду собаки и выполнила таким путем то, что было не под силу искусству.

Не руководит ли порой судьба нашими замыслами и не исправляет ли она их? Изабелла, королева английская, переправляясь с войском из Зеландии в свое королевство, чтобы оказать помощь сыну в борьбе против мужа, погибла бы, если бы прибыла в ту самую гавань, куда направлялась, ибо именно там-то ее и поджидали враги; но судьба, наперекор ее воле, отбросила ее корабли в другое место, где она благополучно высадилась.[7] И не имел ли оснований тот древний, который, швырнув камень в собаку, попал в мачеху и убил ее, произнести следующий стих:

Ταὐτόματον ἡμῶν καλλίω βουλεύεται.[8]

то есть: судьба лучше нас знает, что надо делать.

Икет[9] подговорил двух воинов, чтобы они убили Тимолеона, проживавшего в то время в Адране, в Сицилии. Они договорились, что сделают это, как только он приступит к жертвоприношению, и, замешавшись в толпу, уже перемигнулись между собой в знак того, что настало время выполнить их намерение. Но в это мгновение возле них появился третий воин, который хватил одного из них мечом по голове так, что тот упал замертво, а затем пустился бежать. Товарищ убитого, считая, что все открылось и он погиб, бросился к алтарю, и, моля о пощаде, обещал признаться во всем. Но в то время, как он рассказывал о заговоре, удалось схватить третьего воина, и народ, среди страшной давки, потащил его, осыпая ударами, как убийцу, к Тимолеону и наиболее вид-

ным лицам, присутствовавшим на торжестве. Схваченный, моля о помиловании, заявил, что он совершил акт правосудия, умертвив убийцу своего отца; и свидетели, которых ему весьма кстати послал его счастливый жребий, подтвердили, что, действительно, в городе леонтинцев его отец был убит тем, кому он сейчас отомстил. Ему тут же было пожаловано десять аттических мин, ибо на его долю выпало счастье, мстя за смерть отца, избавить от смерти отца сицилийцев. Судьба, как мы видим, в этом случае превзошла хитроумием хитроумие наших расчетов.

И еще один, последний, пример. Не проявилось ли в том, о чем я хочу рассказать, особая доброта, милость и человеколюбие судьбы? Игнации, отец и сын, внесенные римскими триумвирами в проскрипционные списки, приняли благородное решение отдать свою жизнь один другому, обманув тем самым жестокость тиранов; и вот, обнажив мечи, они ринулись один на другого. Судьбе было угодно направить острия мечей таким образом, что и сын и отец были поражены насмерть; и та же судьба, воздавая дань почтения столь поразительной и прекрасной любви, позволила им сохранить достаточно сил, чтобы каждый из них, вырвав свой меч из тела другого, мог сжать своего близкого окровавленной и вооруженной рукой в столь цепком объятии, что палачам, отрубившим обе головы сразу, пришлось оставить тела в этом благородном сплетении, так, что рана одного приникла к ране другого, и они любовно впивали в себя остатки крови и жизни друг друга.

Глава XXXV

ОБ ОДНОМ УПУЩЕНИИ В НАШИХ ПОРЯДКАХ

Мой покойный отец, человек, руководствовавшийся всю свою жизнь опытом и природной сметкой, при этом обладавший ясным умом, говорил мне когда-то, что ему очень хотелось бы, чтобы во всех городах было известное место, куда бы сходились все имеющие в чем-либо нужду и где бы они могли сообщить о ней и записать ее у приставленного к этому делу чиновника, например: „Хочу продать жемчуг, хочу купить жемчуг"; „такой-то ищет спутника для поездки в Париж", „такой-то — слугу, умеющего делать то-то и то-то"; „такой-то — учителя"; „такой-то нуждается в рабочем"; одним словом, тот нуждается в том, этот в этом, каждый согласно своим потребностям. И мне кажется, что подобная мера должна была бы в немалой степени облегчить общественные сношения, ибо всегда и везде имеются люди, обстоятельства которых складываются таким образом, что они ощущают нужду друг в друге, но, так и не отыскав друг друга, испытывают крайние неудобства.

Мне известно, что, к величайшему стыду нашего века, у нас на глазах умерли, не имея чем утолить голод, два человека выдающихся знаний: Лилио Грегорио Джиральди в Италии и Себастиан Касталион в Германии;[1] полагаю, что существует масса людей, которые предложили бы им занятия на весьма хороших условиях или, во всяком случае, оказали бы помощь, где бы они ни жили, если бы знали об их бедственном положении. Мир не

настолько еще испорчен, чтобы не нашлось человека, — и я знаю такого, — который не пожелал бы от всего сердца расходовать унаследованные им от родителей средства, пока судьбе будет угодно, чтобы он ими располагал, на избавление от нищеты людей редкостных и выдающихся в какой-либо имеющей значение области, ибо нередко судьба преследует их по пятам и доводит до крайности. Этот человек создал бы им, по меньшей мере, такие условия, что если бы среди них и нашелся кто-нибудь, кто не был бы ими доволен, то это могло бы случиться лишь по причине его собственного неразумия.

И в делах хозяйственных моим отцом были установлены такие порядки, которые я считаю похвальными, но которые, увы, я не в силах поддерживать. Речь идет о том, что, помимо записей, относящихся к ведéнию различных хозяйственных дел, куда заносились счета помельче, платежи, сделки, не требующие скрепления рукой нотариуса, — ибо регистрация таковых возлагается на правительственного сборщика податей, — он поручил тому из своих доверенных слуг, которого использовал как писца, вести также дневник, в котором полагалось отмечать все достойные внимания происшествия, а также день за днем решительно все события, относящиеся к истории нашего дома. И теперь, когда время начинает изглаживать в памяти живые воспоминания, заглянуть в эту летопись чрезвычайно приятно и столь же полезно, ибо она нередко разрешает наши сомнения: когда именно было задумано такое-то дело? Когда оно было закончено? Как оно шло? Как завершилось? Тут же мы можем прочесть о наших путешествиях, наших отлучках, браках, смертях, о получении счастливых или печальных известий, о смене важнейших из наших слуг и тому подобных вещах. Это — старинный обычай, и я думаю, что неплохо было бы каждому освежить его у своего камелька. А себя я считаю глупцом, что не придерживался его.

Глава XXXVI

ОБ ОБЫЧАЕ НОСИТЬ ОДЕЖДУ

В какую бы область ни пожелал я забраться, мне приходится преодолевать преграды, созданные обычаем, — настолько опутал он каждый наш шаг. В эту прохладную пору года я думал как-то о том, является ли для недавно открытых народов привычка ходить совершенно нагими следствием высокой температуры воздуха, как мы утверждаем это относительно индейцев и мавров, или же она первоначально была свойственна всем людям. Но поскольку все, что живет под небом, как говорит писание, подвластно одинаковым законам,[1] люди мыслящие, сталкиваясь с вопросами подобного рода, где нужно проводить различение между законами естественными и измышленными нами самими, имеют обыкновение обращаться к общему миропорядку, в котором не может быть ничего надуманного. Итак, раз все, что только существует, вооружено, так сказать, иголкой и ниткой, чтобы поддерживать свое бытие, право же, трудно поверить, что только одни мы созданы столь немощными и убогими, что не в состоянии поддержать себя без сторонней помощи. Я полагаю поэтому, что, подобно тому как любое растение, дерево, животное, да и вообще все, что живет, самой природой обеспечено покровами, достаточными, чтобы защитить себя от суровой непогоды:

Proptereaque fere res omnes aut corio sunt
Aut seta, aut conchis, aut callo, aut cortice tectae,[2]

точно так же было когда-то и с нами; но подобно тем, кто заменяет дневной свет искусственным, и мы заменили естественные

средства заимствованными. И нетрудно убедиться, что этот обычай делает для нас невозможным то, что в действительности вовсе не является таковым. В самом деле, народы, не имеющие никакого понятия об одежде, обитают примерно в том же климате, что и мы; а, кроме того, наиболее чувствительные части нашего тела остаются открытыми, например, глаза, рот, нос, уши, а у наших крестьян, — как, впрочем, и наших предков, — сверх того, еще грудь и живот. И если бы нам от рождения было предопределено носить штаны или юбки, то можно не сомневаться, что природа снабдила бы те части нашего тела, которые она оставила уязвимыми для суровостей погоды, более толстой кожей, как она это сделала на концах пальцев и на ступнях ног.

Почему же трудно поверить этому? Между моим способом одеваться и тем, как одет в наших краях крестьянин, я нахожу различие большее, чем между его одеждою и одеждою человека, прикрытого только своею кожей.

А сколько людей, особенно в Турции, ходят нагими из благочестия!

Некто, увидев в разгаре зимы одного из наших нищих, который, не имея на себе ничего, кроме рубашки, чувствовал себя все же не хуже, чем тот, кто закутан по самые уши в куний мех, спросил его, как он может терпеть такой холод. „Ну, а вы, сударь, — ответил тот, — ведь и у вас тоже лицо ничем не прикрыто. Вот так и я — весь словно лицо“. Итальянцы рассказывают о шуте, если не ошибаюсь, герцога Флорентийского, который на вопрос своего господина, как он может, столь плохо одетый, переносить холод, когда он, герцог, так от него страдает, ответил: „Последуйте моему совету, наденьте на себя все, что только у вас найдется, как это сделал я, и вы не больше моего будете страдать от мороза“. Царя Масиниссу до глубокой старости нельзя было убедить покрывать голову ни в мороз, ни в бурю, ни в дождь.[3] То же передают и об императоре Севере.[4]

Геродот рассказывает, что во время войн египтян с персами и им и другими было замечено, что головы убитых египтян несравненно крепче, чем головы персов, потому что первые бреют

их и оставляют непокрытыми с детских лет, тогда как у вторых они постоянно покрыты в юные годы колпаками, а позднее — тюрбанами.[5]

Царь Агесилай до преклонного возраста носил зимой и летом одинаковую одежду. Цезарь, как сообщает Светоний, выступал всегда впереди своего войска и чаще всего шел пешком, с непокрытой головой, все равно — палило ли солнце или лил дождь;[6] то же самое рассказывают и о Ганнибале,

tum vertice nudo
Excipere insanos imbres coelique ruinam.[7]

Один венецианец, который прожил долгое время в царстве Пегу[8] и только недавно возвратился оттуда, пишет, что их мужчины и женщины, хотя и покрывают прочие части тела одеждой, ходят всегда босые и так же ездят верхом на лошади.

И замечательно, что Платон также советует ради здоровья всего нашего тела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того, которым их одарила сама природа.[9]

Король, которого поляки избрали себе после нашего,[10] — он и впрямь один из самых великих государей нашего века, — никогда не носит перчаток и не сменяет ни зимою, ни в непогоду той шапочки, что он носит у себя дома.[11]

Если я терпеть не могу ходить нараспашку, не застегнув камзол на все пуговицы, то мои соседи-землепашцы почувствовали бы себя, напротив, очень стесненными, когда бы им пришлось ходить в таком виде. Варрон считает, что предписавшие римлянам обнажать голову в присутствии богов и должностных лиц сделали это скорее имея в виду здоровье граждан, а также желая закалить их от непогоды, чем из уважения к высшим.[12]

И раз уж речь зашла о холодах и о французах, привыкших напяливать на себя целую кучу пестрого тряпья (я не говорю о себе, ибо подражая моему покойному отцу, я одеваюсь исключительно в черное и белое), то добавлю, что согласно рассказу нашего полководца Мартина Дю Белле, ему во время похода в Люксембург[13] довелось испытать морозы настолько суровые,

что вино в провиантском складе кололи топорами и клиньями, выдавая его солдатам по весу, и те уносили его в корзинах. Совсем так, как у Овидия:

Nudaque consistunt formam servantia testae
Vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt.[14]

У устья Меотийского озера морозы бывают настолько суровы, что в том самом месте, где полководец Митридата дал бой врагам и разбил их в пешем строю, он же, когда наступило лето, выиграл у них еще и морское сражение.[15]

Римлянам пришлось претерпеть много бедствий во время сражения с карфагенянами близ Плаценции,[16] ибо, когда они бросились на врагов, у них от холода стыла кровь и коченели руки и ноги, тогда как Ганнибал велел развести костры, чтобы солдаты во всем его войске могли обогреваться у них, а также распределить по отрядам масло, дабы, обмазав им свое тело, они придали мышцам больше гибкости и подвижности и защитили поры от морозного воздуха и порывов дувшего тогда студеного ветра.

Отступление греков из Вавилона на родину знаменито теми лишениями и трудностями, которые им потребовалось преодолеть. Застигнутые в горах Армении ужасной снежной бурей, они заблудились и потеряли дорогу; яростно, можно сказать, осаждаемые непогодой, они в течение суток ничего не ели и не пили, бо́льшая часть бывших с ними животных пала; многие воины умерли, многие были ослеплены градом и белизной снега; иные изувечили себе руки и ноги, иные закоченели до того, что остались неподвижными на месте, хотя и полностью сохранили сознание.

Александр видел народ, где плодовые деревья закапывают на зиму в землю, чтобы предохранить их таким способом от мороза.

Что касается одежды, то мексиканский царь менял четыре раза в день свои облачения и никогда не надевал снова уже хотя бы раз надетого платья. Он употреблял их для раздачи в качестве наград и пожалований; равным образом, ни один горшок, блюдо или другая кухонная и столовая утварь не были подаваемы ему дважды.

Глава XXXVII

О КАТОНЕ МЛАДШЕМ

Я не разделяю всеобщего заблуждения, состоящего в том, чтобы судить о других путем сравнения их с собой. Я охотно представляю себе существа, непохожие на меня. И, ощущая в себе определенные свойства, я не обязываю весь свет к тому же, как это делает каждый; я допускаю и представляю себе тысячи иных образов жизни, и, вопреки общему обыкновению, с большей готовностью принимаю несходство другого человека со мною, нежели сходство. Я нисколько не навязываю другому моих взглядов и обычаев и рассматриваю его таким, как он есть, без каких-либо сопоставлений, но меряя его, так сказать, его собственной меркой. Отнюдь не будучи сам воздержанным, я охотно воздаю должное воздержанности фельянтинцев и капуцинов,[1] находя весьма достойным их образ жизни; и силой моего воображения я без труда переношу себя на их место.

И я тем больше люблю их и уважаю, что они иные, чем я. И ничего я так не хотел бы, как чтобы о каждом из нас судили особо и чтобы меня не стригли под общую гребенку со всеми.

Моя собственная слабость нисколько не умаляет того высокого мнения, которое мне подобает иметь о стойкости и силе людей, этого заслуживающих. Sunt qui nihil laudant, nisi quod se imitari posse confidunt.[2] Пресмыкаясь во прахе земном, я, тем не менее, не утратил способности замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом дей-

ствовать, и сохранять, по крайней мере, неиспорченной эту главнейшую сторону моего существа, — по мне, и то уже много. Ведь обладать доброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами, — настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в реторике:

virtutem verba putant, ut
Lucum ligna.[3]

Quam vereri deberent, etiamsi percipere non possent.[4]

Это безделушка, которую можно повесить у себя на стенке или на кончике языка, или на кончике уха в виде украшения.

Не заметно больше поступков, исполненных добродетели; те, которые кажутся такими, на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава, страх, привычка и другие столь же далекие от добродетели побуждения. Справедливость, доблесть, доброта, которые мы обнаруживаем при этом, могут быть названы так лишь теми, кто смотрит со стороны, на основании того облика, в каком они предстают на людях, но для самого деятеля это никоим образом не добродетель; он преследует совершенно иные цели, им руководят иные побудительные причины. А добродетель, между тем, признает своим только то, что творится посредством нее одной и лишь ради нее.

После великой битвы при Потидее, в которой греки под предводительством Павсания нанесли Мардонию и персам страшное поражение, победители, следуя принятому у них обычаю, стали судить, кому принадлежит слава этого великого подвига, и признали, что наибольшую доблесть в этой битве проявили спартанцы. Когда же спартанцы, эти отличные судьи в делах добродетели, стали решать, в свою очередь, кому из них принадлежит честь свершения в этот день наиболее выдающегося деяния, они пришли к выводу, что храбрее всех сражался Аристодем; и все же они не дали ему этой почетной награды, потому что его доблесть

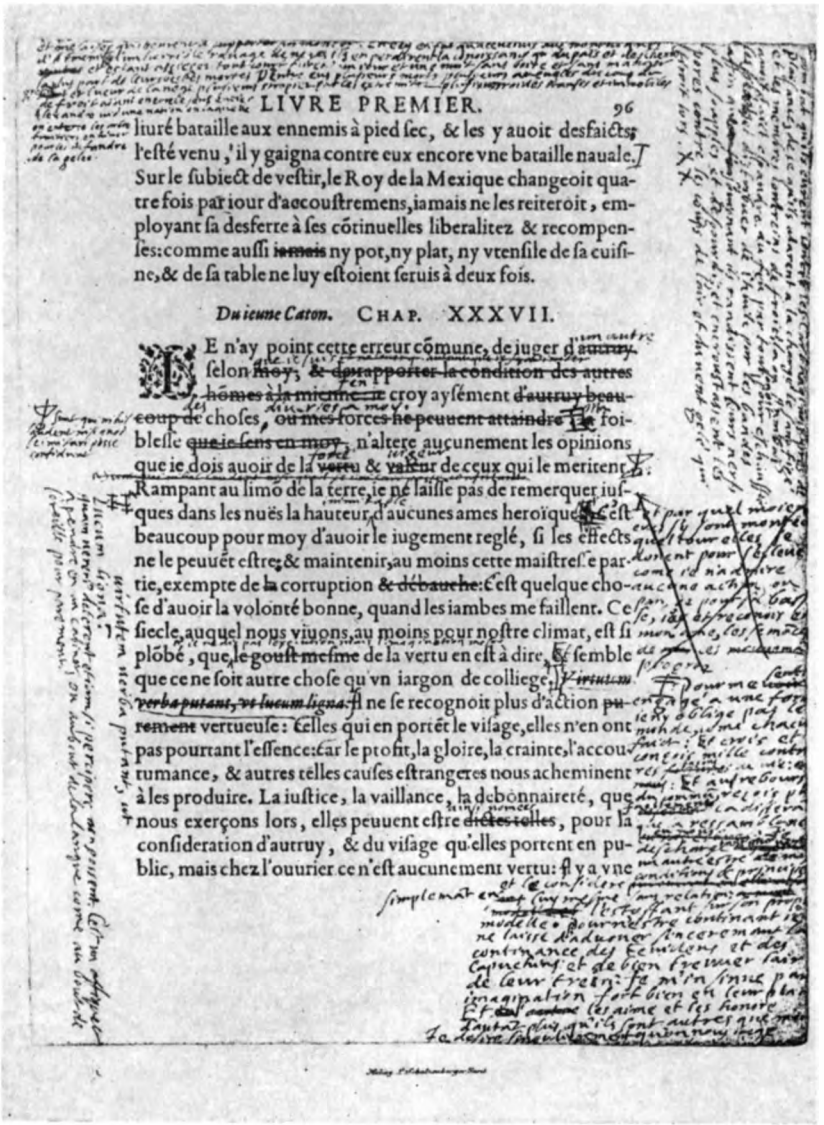
воспламенялась желанием смыть пятно, которое лежало на нем со времени Фермопил, и он жаждал пасть смертью храброго, дабы искупить свой прежний позор.[5]

К тому же, наши суждения также свихнулись, следуя за общей порчею нравов. Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы затемнить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины.

Велика хитрость! Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем, с полным правдоподобием, полсотни порочных намерений. Одному богу известно, сколько разнообразнейших побуждений можно, при желании, вычитать в человеческой воле! Но хитроумцы, занимающиеся подобным злословием, поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием.

С таким же усердием и свободой, какими глупцы чернят эти великие имена, я хотел бы подставить им свои плечи, чтобы снова их приподнять. Я не тешу себя надеждой, что мне удастся восстановить в их былом достоинстве эти драгоценнейшие образы, могущие, по мнению мудрецов, служить примером для всего мира, но я все же постараюсь использовать для этого все доступные мне возможности и всю силу моей аргументации, как бы недостаточна она ни была. Ибо надо помнить, что все усилия нашего воображения не в состоянии подняться до уровня их заслуг.

Долг честных людей — изображать добродетель как можно более прекрасною, и не беда, если мы увлечемся страстью к этим священным образам. Что же до наших умников, то они идут противоположным путем либо по злобе, либо в силу порочной склонности мерить все по собственной мерке, о чем я говорил уже выше, либо — что мне представляется наиболее вероятным — от того, что не обладают достаточно ясным и острым зрением, чтобы различить блеск добродетели во всей ее непосредственной чистоте: к таким вещам их глаз непривычен. Так, например, Плутарх говорит, что в его время некоторые считали причиной самоубийства



liuré bataille aux ennemis à pied sec, & les y auoit desfaicts; l'esté venu, il y gaigna contre eux encore vne bataille nauale. Sur le subiect de vestir, le Roy de la Mexique changeoit quatre fois par iour d'accoustremens, iamais ne les reiteroit, employant sa desserte à ses cõtinuelles liberalitez & recompenses: comme aussi ~~iamais~~ ny pot, ny plat, ny vtensile de sa cuisine, & de sa table ne luy estoient seruis à deux fois.

Du ieune Caton. CHAP. XXXVII.

IE n'ay point cette erreur cõmune, de juger d'~~autruy~~ selon ~~moy~~; ~~& dutrapporter la condition des autres hõmes à la mesme~~ ie croy aysément ~~d'autruy beaucoup de~~ choses, ~~ou mes forces ne peuuent attaindre~~ La foiblesse ~~que ie sens en moy~~, n'altere aucunement les opinions que ie dois auoir de la ~~vertu~~ & ~~valeur~~ de ceux qui le meritent. Rampant au limõ de la terre, ie ne laisse pas de remerquer iusques dans les nuës la hauteur d'aucunes ames heroïques: C'est beaucoup pour moy d'auoir le iugement reglé, si les effects ne le peuuẽt estre; & maintenir, au moins cette maistresse partie, exempte de ~~la~~ corruption ~~& débauche~~: C'est quelque chose d'auoir la volonté bonne, quand les iambes me faillent. Ce siecle, auquel nous viuons, au moins pour nostre climat, est si plõbé, que, le goust mesme de la vertu en est à dire, & semble que ce ne soit autre chose qu'vn iargon de colliege. ~~Virtutem verba putant, vt lucum ligna.~~ Si ne se recognoit plus d'action ~~purement~~ vertueuse: Celles qui en portẽt le visage, elles n'en ont pas pourtant l'essence: car le profit, la gloire, la crainte, l'accoustumance, & autres telles causes estrangeres nous acheminent à les produire. La iustice, la vaillance, la debonnaireté, que nous exerçons lors, elles peuuent estre ~~dictes telles~~, pour la consideration d'autruy, & du visage qu'elles portent en public, mais chez l'ouurier ce n'est aucunement vertu: Il y a vne

Страница текста из бордоского экземпляра „Опытов“.

Катона Младшего его мнимый страх перед Цезарем, и он, вполне основательно, возмущается этим;[6] можно себе представить, какое негодование вызвали бы у него те из наших современников, которые приписывают самоубийство Катона его честолюбию! Глупцы! Он совершил бы прекрасное, благородное и возвышенное деяние даже в том случае, если бы его ожидал за это позор, а не слава. Этот человек был, поистине, образцом, отмеченным природой для того, чтобы показать нам, каких пределов может достигнуть человеческая добродетель и твердость.[7]

Я не буду пытаться исчерпать здесь эту благородную тему. Мне хочется, однако, устроить своего рода соревнование между стихами пяти латинских поэтов, восхвалявших Катона и этим поставивших памятник не только ему, но, в известном смысле, и самим себе. Всякий не худосочный младенец заметит, что первые два из высказываний, по сравнению с остальными, немного хромают, а третье, хотя и будет покрепче, именно в силу избытка своей силы отличается некоторой сухостью; словом, целая ступень, или даже две, поэтического совершенства отделяют их от четвертого, прочитав которое, всякий всплеснет руками от восхищения. Наконец, прочитав последнее или, лучше сказать, первое, идущее впереди всех остальных на известном расстоянии, на таком, однако, что, готов поклясться, его не заполнить никаким усилием человеческого ума, — он будет поражен, он замрет от восторга.

Но странная вещь: у нас больше поэтов, чем истолкователей и судей поэзии. Творить ее легче, чем разбираться в ней. О поэзии, не превышающей известного, весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписаний и правил поэтического искусства. Но поэзия прекрасная, выдающаяся, божественная — выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить ее красоту твердым и уверенным взглядом, может разглядеть ее не более, чем сверкание молнии. Она нисколько не обогащает наш ум; она пленяет и опустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, заражает и тех, кто слушает, как рассуждают о ней или читают ее образцы; тут то же самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу,

но и передает ей способность притягивать в свою очередь другие иглы. И всего отчетливее это заметно в театре. Мы видим, как священное вдохновение муз, ввергнув сначала поэта в гнев, скорбь, ненависть, самозабвение, во все, что им будет угодно, поражает затем чрез посредство поэта — актера и, наконец, через посредство актера — публику. Это целая цепь наших магнитных игл, висящих одна на другой. С самого раннего детства поэзия приводила меня в упоение и пронизывала все мое существо. Но заложенная во мне самой природой восприимчивость к ней с течением времени все обострялась и совершенствовалась благодаря знакомству со всем ее многообразием — я имею в виду не то, чтобы поэзию прекрасную и дурную (ибо я избирал всегда наиболее высокие образцы в каждом поэтическом роде), а различие в ее оттенках; вначале это была веселая и искрометная легкость, затем возвышенная и благородная утонченность и, наконец, зрелая непоколебимая сила. Примеры скажут об этом еще яснее: Овидий, Лукан, Вергилий. Но вот мои поэты, — пусть говорят за себя.

Sit Cato, dum vivit, sane vel Caesare maior,[8] —

заявляет один.

Et invictum, devicta morte, Catonem,[9] —

вспоминает другой.

Третий, касаясь гражданских войн между Цезарем и Помпеем, говорит:

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.[10]

Четвертый, воздав хвалу Цезарю, добавляет:

Et cuncta terrarum subacta,
Praeter atrocem animum Catonis.[11]

И, наконец, корифей этого хора, перечислив всех наиболее прославленных римлян, которых он изобразил на своей картине, заканчивает именем Катона:

His dantem iura Catonem.[12]

Глава XXXVIII

О ТОМ, ЧТО МЫ СМЕЕМСЯ И ПЛАЧЕМ ОТ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Когда мы читаем в исторических сочинениях о том, что Антигон разгневался на своего сына, когда тот поднес ему голову врага его, царя Пирра, только что убитого в сражении с его войсками, и что, увидев ее, Антигон заплакал,[1] или что герцог Рене Лотарингский также оплакал смерть герцога Карла Бургундского,[2] которому он только что нанес поражение, и облачился на его похоронах в траур, или что в битве при Оре,[3] которую граф де Монфор выиграл у Шарля де Блуа, своего соперника в борьбе за герцогство Бретонское, победитель, наткнувшись на тело своего умершего врага, глубоко опечалился, — давайте воздержимся от того, чтобы воскликнуть:

Et cosi avven che l'animo ciascuna
Sua passion sotto'l contrario manto
Ricopre, con la vista or'chiara, or bruna.[4]

Историки сообщают, что когда Цезарю поднесли голову Помпея, он отвратил от нее свой взор, как от ужасного и тягостного зрелища.[5] Между ними так долго царило согласие, они так долго сотрудничали в управлении государственными делами, их связывали такая общность судьбы, столько взаимных услуг и совместных деяний, что нет никаких оснований полагать, будто поведение Цезаря было не более, как притворством, хотя такого мнения придерживается автор следующих стихов:

tutumque putavit
Iam bonus esse socer: lacrimas non sponte cadentes
Effudit, gemitusque expressit pectore laeto.[6]

Ибо хотя большинство наших поступков и в самом деле не что иное, как маска и лицемерие, и поэтому иногда вполне соответствует истине, что

Haeredis fletus sub persona risus est.[7]

Все же размышляя по поводу вышеприведенных случаев, нужно учитывать, до чего часто нашу душу раздирают противоположные страсти. В нашем теле, говорят врачи, существует целый ряд различных соков, среди которых господствующим является тот, который обычно преобладает в нас в зависимости от нашего телосложения; так и в нашей душе: сколько бы различных побуждений ни волновало ее, среди них есть такое, которое неизменно одерживает верх. Впрочем, его победа никогда не бывает настолько решительной, чтобы, в силу податливости и изменчивости нашей души, более слабые побуждения не отвоевывали себе при случае места и не добивались, в свою очередь, кратковременного преобладания. Именно по этой причине одна и та же вещь, как мы видим, может заставить и смеяться и плакать не только детей, следующих с непосредственностью во всем природе, но зачастую и нас самих; в самом деле, ведь ни один из нас не может похвастаться, что, отправляясь в путешествие, сколь бы желанным оно для него ни было, и отрываясь от семьи и друзей, он не чувствовал бы, что у него щемит сердце; и, если у него тут же не выступят слезы, все же он будет вдевать ногу в стремя с лицом, по меньшей мере, унылым и опечаленным. И как бы ни согревало нежное пламя сердце благонравной девицы, ее приходится, можно сказать, насильно вырывать из объятий матери, дабы вручить супругу, что бы ни говорил на этот счет наш добрый приятель Катулл:

Estne novis nuptis odio Venus, anne parentum
Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,
Ubertim thalami quas intra limina fundunt?
Non, ita me divi, vera gemunt, iuverint.[8]

Итак, нет ничего удивительного, что иной оплакивает смерть человека, которого он вовсе не желал бы видеть живым.

Когда я браню моего слугу, я браню его от всего сердца, и проклятия мои искренние, а не притворные; но пусть только уляжется мое раздражение, и у того же слуги будет нужда во мне, я охотно сделаю все, что в моих силах, словно я начал читать совсем новую главу. Когда я называю его болваном или ослом, у меня нет и в мыслях прилепить к нему навсегда эти прозвища, и я не считаю, что противоречу себе, когда, через короткое время, называю его славным малым. Нет таких качеств, которые целиком и сполна господствовали бы в нас. Если бы разговаривать с самим собой не было свойством сумасшедших, то каждый день могли бы слышать, как я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. И все же я не считаю, чтобы это слово могло служить точным моим определением.

Глупцом был бы тот, кто, видя меня то равнодушным, то влюбленным возле моей жены, счел бы, что я притворяюсь в обоих случаях. Нерон, прощаясь с матерью, когда ее уводили, чтобы по его приказанию утопить, испытал все же при этом сыновнее чувство; он содрогнулся и пожалел ее![9]

Говорят, что солнечный свет не представляет собой чего-то сплошного, но что солнце настолько часто мечет свои лучи один за другим, что мы не в состоянии заметить промежутки, которые их отделяют:

> Largus enim liquidi fons luminis, aetherius sol
> Inrigat assidue coelum candore recenti,
> Suppeditatque novo confestim lumine lumen,[10]

так и наша душа испускает различные лучи с неуловимыми переходами от одного из них к другому.

Артабан, заметив однажды внезапную перемену в выражении лица своего племянника Ксеркса, пожурил его за это. Ксеркс в это время взирал на свои несметные полчища, переправлявшиеся через Гелеспонт, чтобы вторгнуться в Грецию. При виде стольких тысяч подвластных ему людей он сначала затрепетал от удовольствия, и это вызвало выражение радости и торжества на его лице.

Но вдруг в то же мгновение ему пришла в голову мысль, что не пройдет и ста лет, как из всего этого великого множества не останется в живых ни одного человека, — тогда на чело его набежали морщины, и он огорчился до слез.

Мы, не колеблясь, отомстили за нанесенное нам оскорбление и испытали глубокое удовлетворение, добившись своего; и вдруг мы залились слезами. Разумеется, не успех побудил нас заплакать, и все осталось попрежнему; но душа наша смотрит теперь на дело другими глазами, и оно представляется ей в новом обличии, ибо всякая вещь многообразна и многоцветна. Теперь нашим воображением овладели воспоминания о родственных связях, давнем знакомстве и дружбе, и, в зависимости от их яркости, оно оказывается потрясено им; но только образы эти проносятся в нашем сознании так стремительно, что мы не в состоянии задержаться на них:

Nil adeo fieri celeri ratione videtur
Quam si mens fieri proponit et inchoat ipsa.
Ocius ergo animus quam res se perciet ulla,
Ante oculos quarum in promptu natura videtur.[11]

И по этой причине, желая объединить все эти последовательные переживания в нечто цельное, мы впадаем в ошибку. Когда Тимолеон оплакивает убийство, совершенное им после возвышенного и зрелого размышления, он оплакивает не свободу, возвращенную его деянием родине, он оплакивает не тирана, нет, он оплакивает брата.[12] Часть своего долга он выполнил, предоставим же ему выполнить и другую.

Глава XXXIX

ОБ УЕДИНЕНИИ

Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединенной и жизни деятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрываются честолюбие и стяжательство, а именно: „Мы рождены не для себя, но для общества“, то пусть его повторяют вдоволь те, кто без стеснения пляшет со всеми другими. Но если у них есть хоть крупица совести, они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорей ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие возвышаются в наши дни, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. А честолюбию давайте ответим, что ведь никто, как оно, прививает нам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как к тому, чтобы иметь руки свободными? Добро и зло можно творить повсюду: впрочем, если справедливы слова Бианта, что „бóльшая часть — это всегда наихудшая“,[1] или также Экклезиаста, что „и в целой тысяче не найти ни одного доброго“, —

> Rari quippe boni: numero vix sunt totidem, quot
> Thebarum portae, vel divitis ostia Nili,[2]

то в этой толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людям порочным, или же ненавидеть их. И то и другое опасно:

и походить на них, ибо их превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас непохожи.

Купцы, отправляясь за море, имеют все основания приглядываться к своим попутчикам на корабле, не развратники ли они, не богохульники ли, не злодеи ли, считая, что подобная компания приносит несчастье. Вот почему Биант, обратившись к тем, которые, будучи с ним на море во время разыгравшейся бури, молили богов об избавлении от опасности, шутливо сказал: „Помолчите, чтобы боги не заметили, что и вы здесь вместе со мной!“.

Еще убедительнее пример Альбукерке,[3] вице-короля Индии в царствование португальского короля Мануэля. Когда кораблю, на котором он находился, стала угрожать близкая гибель, он посадил себе на плечи мальчика, с той единственной целью, чтобы этот невинный ребенок, судьбу которого он связал со своей, помог ему снискать и обеспечил милость всевышнего, и тем самым спас бы их от гибели.

Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в свое удовольствие где угодно, чувствуя себя в одиночестве даже среди толпы придворных; но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постарался бы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажется необходимым, но если дело будет зависеть от него самого, он изберет совершенно иное. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился от пороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных.

Харонд карал, как преступников, даже тех, кто был уличен, что они вращаются в дурном обществе. И нет другого существа, которое было бы столь же неуживчиво и столь же общительно, как человек: первое — по причине его пороков, второе — в силу его природы.

И Антисфен, когда кто-то упрекнул его в том, что он общается с дурными людьми, ответил, по-моему, не вполне удовлетворительно, сославшись на то, что и врачи проводят жизнь среди больных. Дело в том, что, заботясь о здоровье больных, врачи, бесспорно, наносят ущерб своему собственному, поскольку они по-

стоянно соприкасаются с больными и имеют дело с ними, подвергая себя риску заразы.

Цель, как я полагаю, всегда и у всех одна, а именно жить свободно и независимо; но не всегда люди избирают правильный путь к ней. Часто они думают, будто удалились от дел, а оказывается, что только сменили одно на другое. Не меньше мучения управлять своею семьей, чем государством: ведь если что-нибудь тяготит душу, она уже полностью отдается этому; и хотя хозяйственные заботы не столь существенны, все же они достаточно отравляют существование. Сверх того, отделавшись от двора и городской площади, мы не отделались от основных и главных мучений нашего существования:

ratio et prudentia curas,
Non locus effusi late maris arbiter, aufert.[4]

Честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделения не покидают нас с переменой места.

Et post equitem sedet atra cura.[5]

Они преследуют нас нередко даже в монастыре, даже в убежище философии. Ни пустыни, ни дикие скалы, ни власяница, ни посты не избавляют от них:

haeret lateri letalis arundo.[6]

Сократу сказали о каком-то человеке, что путешествие нисколько его не исправило: „Охотно верю, — сказал на это Сократ. — Ведь он возил с собой себя самого“.

Quid terras alio calentes
Sole mutamus? patria quis exul
Se quoque fugit?[7]

Если не сбросить сначала со своей души бремени, которое ее угнетает, то в дорожной тряске она будет еще чувствительней. Ведь так же и с кораблем: ему легче плыть, когда груз на нем хорошо уложен и закреплен. Вы причиняете больному больше вреда, чем пользы, заставляя его менять положение, шевеля его,

вы загоняете болезнь внутрь. Чем больше мы раскачиваем воткнутые в землю колья и нажимаем на них, тем глубже они уходят в землю и погрязают в ней. Недостаточно поэтому уйти от людей, недостаточно переменить место, нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой и затем заново обрести себя.

Rupi iam vincula dicas:
Nam luctata canis nodum arripit; attamen illi,
Cum fugit, a collo trahitur pars longa catenae.[8]

Мы волочим за собой свои цепи; здесь нет еще полной свободы — мы обращаем свой взор к тому, что оставили за собой, наше воображение еще заполнено им;

Nisi purgatum est pectus, quae proelia nobis
Atque pericula tunc ingratis insinuandum?
Quantae conscindunt hominem cuppedinis acres
Sollicitum curae, quantique perinde timores?
Quidve superbia, spurcitia, ac petulantia, quantas
Efficiunt clades? quid luxus desidiesque?[9]

Зло засело в нашей душе, а она не в состоянии бежать от себя самой:

In culpa est animus qui se non effugit unquam.[10]

Итак, ей нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинное уединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов и при дворах королей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. Но поскольку мы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, сделаем так, чтобы наша удовлетворенность или неудовлетворенность зависели всецело от нас; заставим себя сознательно жить в одиночестве, и притом так, чтобы это доставляло нам удовольствие.

Стильпону удалось спастись от пожара, опустошившего его родной город; но в огне погибли его жена, дети и все его имущество. Встретив его и не прочитав на его лице, несмотря на столь ужасное бедствие, постигшее его родину, ни испуга, ни потрясения, Деметрий Полиоркет[11] задал ему вопрос, неужели он

не потерпел никакого убытка. На это Стильпон ответил, что дело обошлось без убытков и ничего своего, благодарение богу, он не потерял. То же самое выражено философом Антисфеном в следующем шутливом совете: „Человек должен запасать себе только такое, что держится на воде и в случае кораблекрушения может вместе с ним вплавь добраться до берега“.[12]

И действительно, мыслящий человек ничего не потерял, пока он владеет собой. После разрушения варварами города Нолы, тамошний епископ Павлин, потеряв все и попав в плен к победителям, обратился к богу с такой молитвой: „Господи, не дай мне почувствовать эту потерю; ибо ничего из моего, как тебе ведомо, они пока что не тронули“. Те богатства, которые делали его богатым, и то добро, которое делало его добрым, остались целыми и невредимыми.

Вот что значит умело выбирать для себя сокровища, которые невозможно похитить, и укрывать их в таком тайнике, куда никто не может проникнуть, так что выдать его можем только мы сами. Надо иметь жен, детей, имущество и, прежде всего, здоровье, кому это дано: но не следует привязываться ко всему этому свыше меры, так, чтобы от этого зависело наше счастье. Нужно приберечь для себя какую-нибудь клетушку, которая была бы целиком наша, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединиться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние; здесь надлежит нам размышлять и радоваться, забывая о том, что у нас есть жена, дети, имущество, хозяйство, слуги, дабы, если случится, что мы потеряем их, для нас не было бы чем-то необычным обходиться без всего этого. Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что в этом уединении мы будем коснеть в томительной праздности:

in solis sis tibi turba locis.[13]

Добродетель, говорит Антисфен, довольствуется собой: она не нуждается ни в правилах, ни в поучениях, ни в воздействии со стороны.

Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, который мы совершали бы непосредственно ради себя. Посмотри: вот человек, который карабкается вверх по обломкам стены, разъяренный и вне себя, будучи мишенью для выстрелов из аркебуз; а вот другой, весь в нарывах, изможденный, бледный от голода, решивший скорей умереть, но только не отворить городские ворота перед первым. Считаешь ли ты, что они здесь ради себя? Они здесь ради того, кого никогда не видели, кто нисколько не утруждает себя мыслями об их подвигах, утопая в это самое время в праздности и наслаждениях. А вот еще один: харкающий, с гноящимися глазами, неумытый и непричесанный он покидает далеко заполночь свой рабочий кабинет: думаешь ли ты, что он роется в книгах, чтобы стать добродетельнее, счастливее и мудрее? Ничуть не бывало. Он готов замучить себя до смерти, лишь бы поведать потомству, каким размером писал свои стихи Плавт, или как правильнее пишется такое-то латинское слово. Кто бы не согласился с превеликой охотой отдать свое здоровье, покой или самую жизнь в обмен на известность и славу — самые бесполезные, ненужные и фальшивые из всех монет, находящихся у нас в обращении? Нам мало страха за свою жизнь, так давайте же трепетать еще за жизнь наших жен, детей, домочадцев! Нам мало хлопот с нашими собственными делами, так давайте же мучиться и ломать себе голову из-за дел наших друзей и соседей!

> Vah! quemquamne hominem in animum instituere aut
> Parare, quod sit carius quam ipse est sibi?[14]

Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех, кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы, как это сделал, скажем, Фалес.

Мы пожили достаточно для других, проживем же для себя хотя бы остаток жизни. Сосредоточим на себе и на своем собственном благе все наши помыслы и намерения! Ведь нелегкое дело —

отступать, не теряя присутствия духа; всякое отступление достаточно хлопотливо само по себе, чтобы прибавлять к этому еще другие заботы. Когда господь дает нам возможность подготовиться к нашему переселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимся заблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним миром и отдаляют от самих себя. Нужно разорвать эти на редкость крепкие связи. Можно еще любить то или другое, но не связывая себя до конца с чем-либо, кроме себя самого. Иначе говоря: пусть все остается нам попрежнему близким, но пусть оно не сплетается и не срастается с нами до такой степени прочно, чтоб нельзя было его отделить от нас, не ободрав у нас кожу и не вырвав заодно еще кусок мяса. Самая великая вещь на свете — это владеть собой.

Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как нам больше нечего предложить ему. И кто не может ссужать, тот не должен и брать взаймы. Мы теряем силы; соберем же их и прибережем для себя. Кто способен пренебречь обязанностями, возлагаемыми на него дружбой и добрыми отношениями, и начисто вычеркнуть их из памяти, пусть сделает это! Но ему нужно остерегаться, как бы в эти часы заката, который превращает его в ненужного, тягостного и докучного для других, он не стал бы докучным и для себя самого, а также тягостным и ненужным. Пусть он нежит и ублажает себя, но, главное, пусть управляет собой, относясь с почтением и робостью к своему разуму и своей совести, — так, чтобы ему не было стыдно взглянуть им в глаза. Rarum est enim ut satis se quisque vereatur.[15]

Сократ говорил, что юношам подобает учиться, взрослым — упражняться в добрых делах, старикам — отстраняться от всяких дел как гражданских, так и военных и жить по своему усмотрению без каких-либо определенных обязанностей.[16]

Есть люди такого темперамента, что им легко дается выполнение правил уединенной жизни. Натуры, чувства которых ленивы и вялы, а воля и страсти не отличаются большой пылкостью, вследствие чего они нелегко подчиняются им, увлекаются чем-

либо, — таков, например, я, и по природному складу характера, и по моим убеждениям, — такие натуры скорее и охотнее примут этот совет, нежели души деятельные и живые, стремящиеся охватить решительно все, вмешивающиеся во все, увлекающиеся всем, что бы ни попалось им на глаза, предлагающие и себя и свои услуги во всех случаях жизни и готовые взяться за любое дело. Следует пользоваться случайными и не зависящими от нас удобствами, которые дарует нам жизнь, раз они доставляют нам удовольствие, но не следует смотреть на них как на главное в нашем существовании; это не так, и ни разум, ни природа не хотят этого. К чему, вопреки законам ее, ставить в зависимость удовлетворенность или неудовлетворенность нашей души от вещей, зависящих не от нас? Предвосхищать возможные удары судьбы, лишать себя тех удобств, которыми мы можем располагать, — как это делали многие из благочестия, а некоторые философы — в соответствии со своими воззрениями, — отказываться от помощи слуг, спать на голых досках, выкалывать глаза, выбрасывать свое богатство в реку, искать страданий (первые — для того, чтобы мучениями в этой жизни снискать блаженство в грядущей, вторые — чтобы, спустившись на самую нижнюю ступень лестницы, обезопасить себя от падения еще ниже) — это чрезмерные проявления добродетели. Превращать же свой тайник в источник собственной славы и в образец для других — пусть этим занимаются другие, те, которые тверже и сильнее:

tuta et parvula laudo,
Cum res deficiunt, satis inter vilia fortis:
Verum ubi quid melius contingit et unctius, idem
Hos sapere, et solos aio bene vivere, quorum
Conspicitur nitidis fundata pecunia villis.[17]

Что до меня, то у меня хватит своего дела, чтобы забираться так далеко. Мне более, чем достаточно, пока судьба дарит меня своей благосклонностью, подготовлять себя к ее неблагосклонности и, пребывая в благополучии, представлять себе настолько мрачное будущее, насколько хватает моего воображения, — наподобие того, как мы приучаем себя к фехтованию и турнирам, играя в войну среди нерушимого мира.

Философ Аркесилай нисколько не теряет в моем уважении из-за того, что он употреблял, как известно, золотую и серебряную посуду, поскольку ему позволяло это его состояние; и он внушает мне тем большее уважение, что не лишил себя всех этих благ, но пользовался ими с умеренностью и отличался, вместе с тем, неизменной щедростью.[18]

Я вижу, до чего ограничены естественные потребности человека; и, глядя на беднягу-нищего у моей двери, часто гораздо более жизнерадостного и здорового, чем я сам, я мысленно ставлю себя на его место, стараюсь почувствовать себя в его шкуре. И хоть я превосходно знаю, что смерть, нищета, презрение и болезни подстерегают меня на каждом шагу, все же, вспоминая о таком нищем и о многом другом в этом же роде, я убеждаю себя не проникаться ужасом перед тем, что стоящий ниже меня принимает с таким терпением. Я не могу заставить себя поверить, чтобы неразвитый ум мог сотворить большее, чем ум сильный и развитой, а также, чтобы с помощью размышления нельзя было достигнуть того же, что достигается простой привычкой. И зная, насколько ненадежны эти второстепенные жизненные удобства, я, живя в полном довольстве, неустанно обращаюсь к богу с главнейшей моей просьбой, а именно, чтобы он даровал мне способность довольствоваться самим собою и благами, порождаемыми мной самим. Я знаю цветущих юношей, которые постоянно держат в своем ларце множество разных пилюль на случай простуды и, полагая, что они обладают средством против нее, они меньше опасаются этой болезни. Нужно подражать им в этом, а, кроме того, если вы подвержены какой-нибудь более серьезной болезни, вам следует обзавестись такими лекарствами, которые унимают боль и усыпляют пораженные органы.

При подобном образе жизни должно избрать для себя такое занятие, которое не было бы ни слишком хлопотливым, ни слишком скучным; в противном случае, не к чему было устраивать себе уединенное существование. Это зависит от личного вкуса; что до моего, то хозяйство ему явно не по нутру. Кто же любит его, пусть и занимается им, но отнюдь не чрезмерно:

Conentur sibi res, non se submittere rebus.[19]

В противном случае это увлечение хозяйственными делами превратится, по словам Саллюстия,[20] в своего рода рабство. Есть тут отрасли и более благородные, например, плодоводство, пристрастие к которому Ксенофонт приписывал Киру.[21] Вообще же здесь можно найти нечто среднее между низкой и жалкой озабоченностью, связанных с вечной спешкой, которые мы наблюдаем у тех, кто уходит во всякое дело с головой, и глубоким, совершеннейшим равнодушием, допускающим, чтобы все приходило в упадок, как мы это наблюдаем у некоторых:

Democriti pecus edit agellos
Cultaque, dum peregre est animus sine corpore velox.[22]

Но выслушаем совет, который дает по поводу все того же уединенного образа жизни Плиний Младший своему другу Корнелию Руфу: „Я советую тебе поручить своим людям эти низкие и отвратительные хлопоты по хозяйству и, воспользовавшись своим полным и окончательным уединением, целиком отдаться наукам, чтобы оставить после себя хоть крупицу такого, что принадлежало бы только тебе“.[23] Он подразумевает здесь славу, совсем так же, как и Цицерон, заявляющий, что он хочет использовать свой уход от людей и освобождение от общественных дел, дабы обеспечить себе своими творениями вечную жизнь:[24]

usque adeone
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.[25]

Это, мне кажется, было бы вполне правильно, если бы речь шла о том, чтобы уйти из мира, рассматривая его как нечто, находящееся вне тебя; названные же мною авторы делают это только наполовину. Они задумываются над тем, что будет, когда их самих больше не будет; но тут получается забавное противоречие, ибо плоды своих намерений они рассчитывают пожать в этом мире, однако лишь тогда, когда они сами будут уже за его пределами. Гораздо более здравыми представляются мне соображения тех, кто ищут уединения из благочестия, поддержи-

вая в себе мужество верой в будущую жизнь, которая принесет им осуществление обещанного нам богом. Они отдают себя богу, существу бесконечному и в благости и в могуществе; а уже где, как не здесь, необозримый простор для чаяний нашей души! И болезни и страдания идут им на пользу, ибо через них они добывают себе вечное здоровье и вечное наслаждение; и даже смерть представляется им желанною, ибо она — переход к этому совершенному состоянию. Суровость их дисциплины благодаря привычке вскоре перестает казаться им тягостной, их плотские вожделения, будучи подавляемы, успокаиваются и замирают, ибо они поддерживаются в нас исключительно тем, что мы беспрепятственно удовлетворяем их. Эта единственная их цель, а именно блаженная и бессмертная жизнь, и в самом деле заслуживает того, чтобы отказаться ради нее от радостей и утех нашего бренного существования. И кто может зажечь в своей душе пламя этой живой веры, а также надежды, по-настоящему и навсегда, тот создает себе и в пустыне жизнь, полную наслаждений и радостей, превышающих все, чего можно достигнуть при всяком ином образе жизни.

Итак, ни цель, ни средства, которые предлагает Плиний, не удовлетворяют меня; следуя ему, мы лишь попадаем из огня да в полымя. Эти книжные занятия столь же обременительны, как все прочее, и столь же вредны для здоровья, которое должно быть главной нашей заботой. И никоим образом нельзя допускать чтобы удовольствие, доставляемое нашими занятиями, затмило все остальное: ведь это то самое удовольствие, которое губит жадного хозяина, стяжателя, сладострастника и честолюбца. Мудрецы затратили немало усилий, чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей и научить отличать подлинные, полноценные удовольствия от таких, к которым примешиваются заботы и которые омрачены ими. Ибо большинство удовольствий, по их словам, щекочут и увлекают нас лишь для того, чтобы задушить до смерти, как это делали те разбойники, которых египтяне называли филетами. И если бы головная боль начинала нас мучить раньше опьянения, мы остерегались бы пить через меру. Но наслажде-

ние, чтобы нас обмануть, идет впереди, прикрывая собой своих спутников. Книги приятны, но если, погрузившись в них, мы утрачиваем, в конце концов, здоровье и бодрость, то есть самое ценное, что у нас есть, оставим и их. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что польза от них не может уравновесить эту потерю. Подобно тому как люди, ослабленные длительным недомоганием, отдают себя, в конце концов, на попечение медицины и соглашаются подчинить свою жизнь некоторым предписанным ею правилам, которые и стараются не преступать, так и тому, кто, усталый и разочарованный, покидает людей, надлежит устроить для себя жизнь согласно правилам разума, упорядочить ее и соразмерить с помощью предварительного размышления. Он должен распрощаться с любым видом труда, каков бы он не был; и, вообще, он должен остерегаться страстей, нарушающих наш телесный и душевный покой; он должен избрать для себя тот путь, который ему больше всего по душе:

Unusquisque sua noverit ire via.[26]

Занимаетесь ли вы хозяйством, науками, охотой или чем-либо иным, вы должны отдаваться этому не дальше того предела, где кончается удовольствие; берегитесь увлечься и устремиться вперед, туда, где к удовольствию примешивается усилие. Нужно предаваться занятиям и заботам лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы сохранять бодрость и обезопасить себя от неприятностей, порождаемых противоположною крайностью, а именно, вялым и сонным бездельем. Есть науки бесплодные и тернистые, и большинство из них создано ради житейской суеты; их следует предоставить тем, кто находится на службе у мира. Что до меня, то я люблю лишь развлекательные и легкие книги, либо те, которые возбуждают мое любопытство, либо те, которые утешают меня или советуют, как упорядочить мою жизнь и мою смерть:

tacitum silvas inter reptare salubres,
Curantem quidquid dignum sapiente bonoque est.[27]

Люди более мудрые, имея душу мужественную и сильную, способны обеспечить себе спокойствие духа, независимо от всего

прочего. Но так как душа у меня самая что ни на есть средняя, мне приходится поддерживать ее телесными удовольствиями; и поскольку возраст отнимет у меня те из них, которые мне были всего больше по вкусу, я приучаю себя острее воспринимать другие, более соответствующие этой новой поре моей жизни. Нужно вцепиться и зубами нашими и когтями в те удовольствия жизни, которые годы вырывают у нас из рук одно за другим:

carpamus dulcia: nostrum est
Quod vivis: cinis et manes et fabula fies.[28]

Что до славы, предлагаемой нам Цицероном и Плинием в качестве нашей цели, то я очень далек от подобных влечений. Честолюбие несовместимо с уединением. Слава и покой не могут ужиться под одной крышей. Сколько я вижу, и покой и слава унесли из житейской толчеи только руки да ноги; душой же и помыслами они больше с нею, чем когда-либо прежде:

Tun', vetule, auriculis alienis colligis escas?[29]

Они всего-навсего лишь отступили немного назад, чтобы прыгнуть дальше и лучше, чтобы более сильным движением сделать прыжок в самую гущу толпы. Хотите убедиться, насколько легковесны их рассуждения? Сопоставим мнения двух философов,[30] принадлежащих к совершенно различным школам и пишущих, один — Идомению, другой — Люцилию, их друзьям, убеждая их отказаться от дел и почестей и уединиться от мира. Вы жили, говорят они, до этого времени, плавая и носясь по волнам, — так доберитесь, наконец, до гавани, чтобы там умереть. Всю свою жизнь вы отдали свету, — проведите остаток ее в тени. Невозможно отрешиться от дел, не отрешившись от их плодов; по этой причине сбросьте с себя заботу о своем имени и о славе. Есть опасность, что блеск ваших былых деяний освещает вас слишком ярко и не оставит вас и в вашем убежище. Откажитесь, вместе со всеми прочими наслаждениями и от того, которое вы испытываете, когда вас одобряют другие; а что касается ваших знаний и ваших талантов, то не тревожьтесь о них; они не утратят свое-

го значения от того, что вы сами сделаетесь более достойными их. Пусть вам припомнится тот, кто на вопрос, к чему он затрачивает столько усилий, постигая искусство, с которым все равно не сможет ознакомить людей, ответил: „С меня довольно очень немногих, с меня довольно и одного, с меня довольно, если даже не будет ни одного“. Он говорил сущую правду. Вы и хотя бы еще один из ваших друзей — это уже целый театр для вас обоих, и даже вы один — театр для себя самого. Пусть целый народ будет для вас этим „одним“ и этот „один“ — целым народом. Желание извлечь славу из своей праздности и своего затворничества — это суетное тщеславие. Нужно поступать так, как поступают дикие звери, заметающие следы у входа в свою берлогу. Вам не следует больше стремиться к тому, чтобы о вас говорил весь мир; старайтесь лишь о том, чтобы вы сами могли говорить с собой о себе. Удалитесь в себя, но позаботьтесь сначала о том, чтобы принять себя подобающим образом; было бы безумием довериться себе самому, если вы не умеете управлять собой. Можно ошибаться в уединении так же, как и в обществе подобных себе. Пока вы не сделаетесь таким, перед которым не посмеете отступиться, и пока вы не будете внушать себе почтение и легкий трепет, — observentur species honestae animo,[31] — помните всегда о Катоне, Фокионе и Аристиде, в присутствии которых даже безумцы старались скрыть свои заблуждения, и изберите их судьями всех своих помыслов; если эти последние пойдут по кривому пути, уважение к названным героям возвратит вас на правильный путь. Они поддержат вас на нем, они помогут вам довольствоваться самим собой, ничего не заимствовать ни у кого, кроме как у себя самого, сосредоточить и укрепить свою душу на определенных и строго ограниченных размышлениях, таких, где она сможет находить для себя усладу и, познав, наконец, истинные блага, наслаждение которыми усиливается по мере познания их, удовольствоваться всем этим, не желая ни продления жизни, ни увековечения своего имени. Вот совет истинной и бесхитростной философии, а не болтливой и показной, как у первых двух названных мной мыслителей.

Глава XL

РАССУЖДЕНИЕ О ЦИЦЕРОНЕ

Вот еще одна черта, полезная для сравнения двух этих пар. Произведения Цицерона и Плиния (на мой взгляд очень мало походившего по складу ума на своего дядю) представляют собою бесконечный ряд свидетельств о чрезмерном честолюбии их авторов. Между прочим, всем известно, что они добивались от историков своего времени, чтобы те не забывали их в своих произведениях. Судьба же, словно в насмешку, донесла до нашего времени сведения об этих домогательствах, а самые повествования давным-давно предала забвению. Но что переходит все пределы душевной низости в людях, занимавших такое положение, так это стремление приобрести высшую славу болтовней и краснобайством, доходящее до того, что для этой цели они пользовались даже своими частными письмами к друзьям, причем и в тех случаях, когда письмо своевременно не было отправлено, они все же предавали его гласности с тем достойным извинением, что не хотели, мол, даром потерять затраченный труд и часы бдения. Подобало ли двум римским консулам, верховным должностным лицам государства, повелевающего миром, употреблять свои досуги на тщательное отделыванье красивых оборотов в письме, для того чтобы прославиться хорошим знанием языка, которому их научила нянька? Разве хуже писал какой-нибудь школьный учитель, зарабатывавший себе этим на жизнь? Не думаю, чтобы Ксенофонт или Цезарь стали описывать свои деяния, если бы эти деяния не превосходили во много раз их красноречие. Они старались прославиться не

словами, а делами. И если бы совершенство литературного слога могло принести крупному человеку завидную славу, наверно Сципион и Лелий не уступили бы чести создания своих комедий, блещущих тонкостью и прелестью латинского языка, на котором они написаны, рабу родом из Африки:[1] красота и совершенство этих творений говорят о том, что они принадлежат им, да и сам Теренций признает это. И я возражал бы против всякой попытки разубедить меня в этом.

Насмешкой и оскорблением является стремление прославить человека за те качества, которые не подобают его положению, хотя бы они сами по себе были достойны похвалы, а также за те, которые для него не наиболее существенны, как, если бы, например, прославляли какого-нибудь государя за то, что он хороший живописец или хороший зодчий, или метко стреляет из аркебузы или быстро бегает наперегонки. Подобные похвалы приносят честь лишь в том случае, если они присоединяются к другим, прославляющим качества, важные в государе, а именно — его справедливость и искусство управлять народом в дни мира и во время войны. Так, в этом смысле Киру приносят честь его познания в земледелии, а Карлу Великому — его красноречие и знакомство с изящной литературой. Мне приходилось встречать людей, для которых уменье владеть пером было призванием, обеспечившим им высокое положение, но которые, тем не менее, отрекались от своего искусства, нарочно портили свой слог и щеголяли таким низменным невежеством, которое наш народ считает невозможным у людей образованных; они старались внушить к себе уважение достоинствами более высокого порядка.

Сотоварищи Демосфена, вместе с ним отправленные послами к Филиппу, стали восхвалять этого царя за его красоту, красноречие и за то, что он мастер выпить. Демосфен же нашел, что такие похвалы больше подходят женщине, стряпчему и хорошей губке, но отнюдь не царю.

Imperet bellante prior, iacentem
Lenis in hostem.[2]

Не его дело быть хорошим охотником или плясуном,

Orabunt causas alii, coelique meatus
Describent radio, et fulgentia sidera dicent;
Hic regere imperio populos sciat.[3]

Более того, Плутарх говорит, что обнаруживать превосходное знание вещей, не столь уж существенных, это значит вызывать справедливое нарекание в том, что ты плохо использовал свои досуги и недостаточно изучал вещи, более нужные и полезные.[4] Филипп, царь македонский, услышав однажды на пиру своего сына, великого Александра, который пел, вызывая зависть прославленных музыкантов, сказал ему: „Не стыдно ли тебе так хорошо петь?". Тому же Филиппу некий музыкант, с которым он вступил в спор об его искусстве, заметил: „Да не будет угодно богу, государь, чтобы тебе когда-либо выпало несчастье смыслить во всем этом больше меня".

Царь должен иметь возможность ответить так, как Ификрат ответил оратору, который бранил его в своей речи: „А ты кто такой, чтобы так храбриться? Воин? Стрелок из лука? Копьеносец?". — „Я ни то, ни другое, ни третье, но я тот, кто умеет надо всеми начальствовать".

И Антисфен считал доказательством ничтожности Исмения то обстоятельство, что его хвалили как отличного флейтиста.[5]

Когда я слышу тех, кто распространяется о языке моих опытов, должен сказать, я предпочел бы, чтобы они помолчали, ибо они не столько превозносят мой слог, сколько принижают мысли, и эта критика особенно язвительна именно потому, что она косвенная. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли многие другие больше меня заботились именно о содержании. Худо ли, хорошо ли, но не думаю, чтобы какой-либо другой писатель дал в своих произведениях большее богатство содержания или, во всяком случае, разбросал бы его более густо, чем я на этих страницах. Чтобы его было еще больше, я в сущности напихал сюда одни лишь заглавные положения, а если бы я стал их еще и развивать, мне пришлось бы во много раз увеличить объем

этого тома. А сколько я раскидал здесь всяких историй, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения! Но тот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашел бы материал еще для бесконечного количества опытов. Ни эти рассказы, ни мои собственные рассуждения не служат мне только в качестве примера, авторитетной ссылки или же украшения. Для меня они не просто потребный мне материал. Зачастую они заключают в себе, независимо от того, о чем я говорю, семена мыслей, более богатых и смелых,[6] и, словно под сурдинку, намекают о них и мне, не желающему на этот счет распространяться, и тем, кто способен улавливать те же звуки, что и я. Возвращаясь к дару слова, я должен сказать, что не нахожу большой разницы между тем, кто умеет только неуклюже выражаться, и теми, кто ничего не умеет делать, кроме как выражаться изящно. Non est ornamentum virile concinnitas.[7]

Мудрецы утверждают, что для познания — философия, а для деятельности — добродетель, вот то, что пригодно всегда, на всех ступенях и при всех обстоятельствах.

Нечто подобное обнаруживается и у знакомых нам двух философов, ибо они тоже обещают вечность тем письмам, которые писали своим друзьям[8].

Но они делают это совсем иным образом, с благой целью снисходя к тщеславию ближнего. Ибо они пишут своим друзьям, что если стремление стать известными в грядущих веках и жажда славы еще препятствуют этим друзьям покинуть дела и заставляют опасаться уединения и отшельничества, к которым они их призывают, то не следует им беспокоиться об этом: ведь они, философы, будут пользоваться у потомства достаточной известностью и потому могут отвечать за то, что одни только письма, полученные от них друзьями, сделают имена друзей более известными и более прославят их, чем они могли бы достичь этого своей общественной деятельностью. И помимо указанной разницы это отнюдь не пустые и бессодержательные письма, весь смысл которых в тонком подборе слов, сгруппированных и размещенных, согласно определенному ритму, — они полным полны прекрасных

и мудрых рассуждений, которые учат не красноречию, а мудрости, которые поучают не хорошо говорить, а хорошо поступать. Долой красноречие, которое привлекает только к себе самому, а не к стоящим за ним вещам! Впрочем, о цицероновском слоге говорят, что, достигая исключительного совершенства, он в нем и обретает свое содержание.

Добавлю еще один рассказ о Цицероне, который рисует его натуру с осязательной наглядностью. Ему предстояло публично произнести речь и нехватало времени, чтобы как следует подготовиться. Один из его рабов, по имени Эрот, пришел к нему с известием, что выступление переносится на следующий день. Он был до того обрадован, что за эту добрую весть отпустил раба на волю.

Насчет писем хочу сказать, что, по мнению моих друзей, у меня есть способность к этому делу. И для распространения своих выдумок я охотно пользовался бы этой формой, если бы имел подходящего собеседника. Я нуждаюсь в таком общении с собеседником (некогда я его имел!), которое бы поддерживало и вдохновляло меня. Ибо бросать слова на ветер, как делают другие, я мог бы разве только во сне, а изобретать несуществующих людей для того, чтобы писать им о значительных вещах, мне тоже было бы противно, так как я заклятый враг всяких подделок. Если бы я обращался к хорошему другу, то был бы более внимателен и более уверен в себе, чем теперь, когда вижу перед собой многоликую толпу, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в этом случае писал бы удачнее. По природе слог у меня насмешливый и непринужденный, но эта свойственная мне форма изложения не годится для официальных сношений, как и вообще мой язык, слишком сжатый, беспорядочный, отрывистый. И я не отличаюсь уменьем писать церемонные послания, у которых нет другого смысла, кроме изящного нанизыванья любезных слов. Нет у меня ни способности, ни склонности ко всякого рода пространным изъявлениям своего уважения и готовности к услугам. Я вовсе этого не чувствую, и мне неприятно говорить больше, чем я чувствую. В этом я очень далек от теперешней моды, ибо

никогда еще не было столь отвратительного и низменного проституирования слов, выражающих почтение и уважение: „жизнь“, „душа“, „преданность“, „обожание“, „раб“, „слуга“ — все это до того опошлено, что когда люди хотят высказать подлинно горячее чувство и настоящее уважение, у них уже нехватает для этого слов.

Я смертельно ненавижу все, что хоть сколько-нибудь пахнет лестью, и поэтому, естественно, имею склонность говорить сухо, кратко и прямо, а это тем, кто меня плохо знает, кажется высокомерием. С наибольшим почтением отношусь я к тем, кому не расточаю особо почтительных выражений, и если душа моя устремляется к кому-либо с радостью, я уже не могу заставить ее выступать шагом, которого требует учтивость. Тем, кому я действительно принадлежу всей душой, я предлагаю себя скупо и с достоинством и меньше всего заявляю о своей преданности тем, кому больше всего предан. Мне кажется, что они должны читать в моем сердце и что всякое словесное выражение моих чувств только исказит их.

Я не знаю никого, чей язык был бы так туп и неискусен, как мой, когда дело касается всевозможных приветствий по случаю прибытия, прощаний, благодарностей, поздравлений, предложений услуг и других словесных комплиментов, предписываемых церемонными правилами нашей учтивости.

И ни разу не удавалось мне написать письмо с рекомендацией кого-либо или с просьбой об одолжении кому-либо так, чтобы тот, для кого оно писалось, не находил его сухим и вялым.

Величайшие мастера составлять письма — итальянцы. У меня, если не ошибаюсь, не менее ста томов таких писем: лучшие из них, по-моему, письма Аннибале Каро.[9] Если бы вся та бумага, которую я в свое время исписал, обращаясь к женщинам, была теперь налицо, то из написанного мной в те дни, когда руку мою направляла настоящая страсть, может быть и нашлась бы страничка, достойная того, чтобы ознакомить с нею нашу праздную молодежь, обуреваемую пылом любви. Я всегда пишу свои письма торопливо и так стремительно, что, хотя у меня отвратительный

почерк, я предпочитаю писать их своей рукой, а не диктовать другому, так как не могу найти человека, который бы поспевал за мной, и никогда не переписываю набело. Я приучил высоких особ, которые со мной знаются, терпеть мои кляксы и помарки на бумаге без сгибов и полей. Те письма, на которые я затрачиваю больше всего труда, как раз самые неудачные: когда письмо не далось мне сразу, значит мне не удалось вложить в него душу. Приятнее всего для меня — начинать безо всякого плана: пусть одно слово влечет за собой другое. В наше время в письмах больше всяких отступлений и предисловий, чем делового содержания. Так как я предпочитаю написать два письма, чем сложить и запечатать одно, то это дело я всегда возлагаю на кого-нибудь другого. Точно так же, когда все, что нужно было сказать в письме, исчерпано, я охотно поручал бы кому-нибудь другому добавлять к нему все эти длинные обращения, предложения и просьбы, которыми у нас принято уснащать конец письма, и очень желал бы, чтобы какой-нибудь новый обычай избавил нас от этого, а также от необходимости выписывать перечень всех чинов и титулов. Чтобы тут не напутать и не ошибиться, я не раз отказывался от намерения писать, особенно же к людям из судейского и финансового мира. Там постоянно возникают новые должности, царит большая сложность в распределении и упорядочении почетных наименований, а они покупаются настолько дорого, что нельзя забыть их или заменить одно другим, не нанеся обиды. Точно так же нахожу я неподходящим делом помещать посвящение с перечнем чинов и титулов на заглавных листах книг, которые мы посылаем в печать.

Глава XLI

О НЕЖЕЛАНИИ УСТУПАТЬ СВОЮ СЛАВУ

Из всех призрачных стремлений нашего мира самое обычное и распространенное — это забота о нашем добром имени и о славе. Ей жертвуем мы и богатством, и покоем, и жизнью, и здоровьем — благами действительными и существенными — в погоне за этой тщетной тенью, этим пустым звуком, неосязаемым и бесплотным:

La fama, ch'invaghisce a un dolce suono
Gli superbi mortali, et par si bella,
È un echo, un sogno, anzi d'un sogno un'ombra
Ch'ad ogni vento ci delegua e sgombra.[1]

И из всех неразумных человеческих склонностей это, кажется, именно та, от которой даже философы отказываются позже всего и с наибольшей неохотой. Из всех она самая неискоренимая и упорная: quia etiam bene proficientes animos temptare non cessat.[2] Не найдешь другого предрассудка, чью суетность разум обличал бы столь ясно. Но корни его сидят в нас так крепко, что не знаю, удавалось ли кому-нибудь полностью избавиться от него. После того как вы привели все свои доводы, чтобы разоблачить его, вашим рассуждениям противостоит столь глубокое влечение к славе, что вам нелегко устоять перед ним. Ибо, как говорит Цицерон,[3] даже восстающие против него стремятся к тому, чтобы книги, которые они на этот счет пишут, носили их имя, и хотят прославить себя тем, что презрели славу. Все другое может стать

общим; когда нужно, мы жертвуем для друзей и имуществом и жизнью. Но уступить свою честь, подарить другому свою славу — такого обычно не увидишь. Катул Лутаций во время войны против кимвров, исчерпав все средства, чтобы остановить своих солдат, бегущих от неприятеля, сам стал во главе беглецов и выдал себя за труса, дабы всем казалось, что они скорее следуют за своим начальником, чем спасаются от врага: так он пожертвовал своим честным именем, чтобы покрыть чужой стыд. Говорят, что когда Карл V в 1537 г. вторгся в Прованс, Антонио де Лейва[4], видя, что император твердо решил предпринять этот поход, и считая, что он может увенчаться необычайной славой, тем не менее возражал и давал императору противоположный совет, с той лишь целью, чтобы вся слава и честь этого решения была приписана его повелителю и чтобы, по мнению всех, так велика оказалась мудрость и предусмотрительность государя, что, даже вопреки советам окружающих, он успешно завершил столь блестящее предприятие. Таким образом стремился он прославить его за свой счет. Когда фракийские послы, утешая Архилеониду, мать Брасида,[5] потерявшую сына, славили его вплоть до утверждения, будто он не оставил равных себе, она отвергла эту хвалу, частную и личную, чтобы воздать ее всему народу: „Не говорите мне этого, — сказала она; — я знаю, что Спарта имеет граждан более великих и доблестных, чем он.“ Во время битвы при Креси[6] принцу Уэльскому, тогда еще весьма юному, пришлось командовать авангардом. Именно здесь и завязалась самая жестокая схватка. Находившиеся при нем приближенные, видя, что им приходится туго, послали королю Эдуарду просьбу оказать им помощь. Он спросил, в каком положении сейчас его сын и, получив ответ, что тот жив и попрежнему на коне, сказал: „Я повредил бы ему, если бы отнял у него честь победы в этом сражении, в котором он так стойко держался. И хотя ему сейчас трудновато, пусть она достанется ему одному“. И он не пожелал ни сам притти сыну на помощь, ни послать кого-либо, зная, что если бы он отправился, стали бы говорить, что без его поддержки все погибло бы и приписали бы ему одному успех в этом доблестном деле. Semper

enim quod postremum adiectum est, id rem totam videtur traxisse.[7]

В Риме многие считали и говорили повсюду, что главными победами своими Сципион был в значительной степени обязан Лелию, который, однако, всегда и всеми способами содействовал блеску величия и славы Сципиона, нисколько не помышляя о себе.[8] А царь спартанский Феопомп, когда кто-то стал говорить, что государство держится крепко потому, что он умеет хорошо повелевать, ответил: „Нет, скорее потому, что народ умеет так хорошо повиноваться“.

Подобно тому, как женщины, унаследовавшие звание пэров, имели право, несмотря на свой пол, присутствовать и высказываться при разбирательстве дел, подлежащих юрисдикции пэров, так и пэры, принадлежащие к церкви, несмотря на свой духовный сан, обязаны были во время войны помогать нашим королям не только присылкой своих людей и слуг, но и личным присутствием.

Епископ города Бове, находясь при короле Филиппе-Августе во время битвы при Бувине,[9] сражался весьма мужественно. Но он полагал, что ему не следует пожинать плоды и славу такого кровавого и жестокого дела. Многих врагов смирил он в тот день своей рукой, но всегда передавал их первому попавшемуся дворянину, предоставляя ему поступить с ними по своему усмотрению: умертвить или взять в плен. Таким образом передал он Уильяма, графа Сальсбери, мессиру Жану де Нель. С такой же щепетильностью в делах совести, как та, о которой я только что говорил, он соглашался оглушить врага, но не ранить, и сражался только палицей. Уже в наше время некий дворянин, которого король укорил за то, что он поднял руку на священника, твердо и решительно отрицал это. А дело было в том, что он бил его и топтал ногами.

Глава XLII

О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СРЕДИ НАС НЕРАВЕНСТВЕ[1]

Плутарх[2] говорит в одном месте, что животное от животного не отличается так сильно, как человек от человека. Он имеет в виду душевные свойства и внутренние качества человека. И поистине, между Эпаминондом, как я себе его представляю, и тем или другим из известных мне людей, хотя бы и не лишенным способности здраво рассуждать, такое, по-моему, расстояние, что я выразился бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между отдельными людьми разница часто бóльшая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными, —

Hem! vir viro quid praestat?[3] —

и что ступеней духовного совершенства столько же, сколько саженей отсюда до неба; им же несть числа.

Но, если уж говорить об оценке людей, то — удивительное дело, все вещи, кроме нас самих, оцениваются только по их собственным качествам. Мы хвалим коня за силу и резвость:

volucrem
Sic laudamus equum, facili cui plurima palma
Fervet, et exultat rauco victoria circo,[4]

а не за збрую; борзую за быстроту бега, а не за ошейник; охотничьего сокола за крылья, а не за цепочки и бубенчики. Почему таким же образом не судить нам и о человеке по тому, что ему

присуще? Он ведет роскошный образ жизни, у него прекрасный дворец, он обладает таким-то влиянием, таким-то доходом; но все это — при нем, а не в нем самом. Вы не покупаете кота в мешке. Приторговывая себе коня, вы снимаете с него боевое снаряжение, осматриваете в естественном виде; если же он все-таки покрыт попоной, как это делали в старину, приводя коней на продажу царям, то закрыты наименее существенные части, для того, чтобы вы не увлеклись красотой шерсти или шириной крупа, а обратили главное внимание на ноги, глаза, копыта — наиболее существенное во всякой лошади:

Regibus hic mos est: ubi equos mercantur, opertos
Inspiciunt, ne, si facies, ut saepe, decora
Molli fulta pede est, emptorem inducat hiantem,
Quod pulchrae clunes, breve quod caput, ardua cervix.[5]

Почему же, оценивая человека, судите вы о нем, облеченном во все покровы? Он показывает нам только то, что ни в какой мере не является его сущностью, и скрывает от нас все, на основании чего только и можно судить о его достоинствах. Вы ведь хотите знать цену шпаги, а не ножен: увидев ее обнаженной, вы, может быть, не дадите за нее и медного гроша.

Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам, и, как остроумно говорит один древний автор, „знаете ли, почему он кажется вам таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков“.[6] Цоколь — еще не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и звания и предстанет перед вами в одной рубашке. Обладает ли тело его здоровьем и силой, приспособлено ли оно к свойственным ему занятиям? Какая душа у него? Прекрасна ли она, одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли принадлежит ее богатство или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю? Может ли она хладнокровно видеть блеск обнаженных мечей? Способна ли бесстрашно встретить и естественную и насильственную смерть? Достаточно ли в ней уверенности, уравновешенности, удовлетворенности? Вот в чем надо дать себе

отчет, и по этому надо судить о существующих между нами громадных различиях. Если человек

sapiens, sibique imperiosus
Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent,
Responsare cupidinibus, contemnere honores
Fortis, et in se ipso totus teres atque rotundus,
Externi ne quid valeat per laeve morari,
In quem manca ruit semper fortuna?[7]

то он на пятьсот саженей возвышается над всеми королевствами и герцогствами, в самом себе обретая целое царство.

Sapiens... pol ipse fingit fortunam sibi.[8]

Чего ему остается желать?

Nonne videmus
Nil aliud sibi naturam latrare, nisi ut quoi
Corpore seiunctus dolor absit, mente fruatur,
Iucundo sensu cura semotus metuque?[9]

Сравните с ним толпу окружающих нас людей, тупых, низких, раболепных, непостоянных и беспрерывно мятущихся по бушующим волнам различных страстей, которые носят их из стороны в сторону, целиком зависящих от чужой воли: от них до него дальше, чем от земли до неба. И тем не менее, таково обычное наше ослепление, что мы очень мало или совсем не считаемся с этим. Когда же мы видим крестьянина и короля, дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо, богача и бедняка, нашим глазам они представляются до крайности несходными, а между тем они в сущности различаются друг от друга только своим платьем.

Во Фракии царя отличали от его народа способом занятным, но слишком замысловатым: он имел особую религию, бога, ему одному принадлежащего, которому подданные его не имели права поклоняться — то был Меркурий. Он же пренебрегал их богами — Марсом, Вакхом, Дианой. И все же это лишь пестрая видимость, не представляющая никаких существенных различий. Они подобны актерам, изображающим на подмостках королей и императоров. Но сейчас же после спектакля они снова становятся жалкими

слугами или поденщиками, возвращаясь в свое первобытное состояние. Поглядите на императора, чье великолепие ослепляет вас во время парадных выходов:

Scilicet et grandes viridi cum luce smaragdi
Auro includuntur, teriturque Thalassina vestis
Assidue, et Veneris sudorem exercita potat.[10]

А теперь посмотрите на него за опущенным занавесом: это обыкновеннейший человек и, может статься, даже более ничтожный, чем самый жалкий из его подданных: Ille beatus introrsum est. Istius bracteata felicitas est.[11] Трусость, нерешительность, честолюбие, досада и зависть волнуют его, как всякого другого:

Non enim gazae neque consularis
Summovet lictor miseros tumultus
Mentis et curas laqueata circum
Tecta volantes;[12]

тревога и страх хватают его за горло, когда он находится среди своих войск.

Re veraque metus hominum, curaeque sequaces,
Nec metuunt sonitus armorum, nec fera tela;
Audacterque inter reges, rerumque potentes
Versantur, neque fulgorem reverentur ab auro.[13]

А разве лихорадка, головная боль, подагра щадят его больше, чем нас? Когда плечи его согнет старость, избавят ли его от этой ноши телохранители? Когда страх смерти оледенит его, успокоится ли он от присутствия вельмож своего двора? Когда им овладеет ревность или внезапная причуда, приведут ли его в себя низкие поклоны? Полог над его ложем, который весь топорщится от золотого и жемчужного шитья, не способен помочь ему справиться с приступами желудочных болей.

Nec calidae citius decedunt corpore febres,
Textilibus si in picturis ostroque rubenti
Iacteris, quam si plebeia in veste cubandum est.[14]

Льстецы Александра Великого убеждали его в том, что он сын Юпитера. Однажды, будучи ранен, он посмотрел на кровь, теку-

щую из его раны, и заметил: „Ну, что вы теперь скажете? Разве это не красная, самая что ни на есть человеческая кровь? Что-то не похожа она на ту, которая у Гомера вытекает из ран, нанесенных богам“. Поэт Гермодор сочинил стихи в честь Антигона, в которых называл его сыном Солнца. Но Антигон возразил: „Тот, кто выносит мое судно, отлично знает, что это неправда“.[15] Царь — всего навсего человек. И если он плох от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше:

puellae
Hunc rapiant: quicquid calcaverit hic, rosa fiat.[16]

Что толку от всего этого, если, как человек, он душевно ничтожен и груб? Для наслаждения и счастья необходимы и душевные силы и разум:

haec perinde sunt, ut illius animus qui ea possidet,
Qui uti scit, ei bona: illi qui non utitur recte, mala.[17]

Каковы бы ни были блага, дарованные вам судьбой, надо еще обладать способностью ощущать их прелесть. Не владение чем-либо, а наслаждение делает нас счастливыми:

Non domus et fundus, non aeris acervus et auri
Aegroto domini deduxit corpore febres,
Non animo curas: valeat possessor oportet,
Qui comportatis rebus bene cogitat uti.
Qui cupit aut metuit, iuvat illum sic domus aut res,
Ut lippum pictae tabulae, fomenta podagram.[18]

Кто глуп, чьи вкусы грубы и притуплены, тот способен наслаждаться ими не более, чем утративший обоняние и вкус — сладостью греческих вин или лошадь — роскошью сбруи, которой ее украсили. Верно говорит Платон, утверждая, что здоровье, красота, сила, богатство и все, что называется благом, для неразумного столь же плохо, как для разумного хорошо, и наоборот.[19] К тому же, если тело и душа в плохом состоянии, к чему все эти внешние удобства жизни? Ведь малейшего укола булавки, малейшего душевного волнения достаточно для того, чтобы

отнять у человека всякую радость обладания всемирной властью. При первом же приступе подагрических болей, каким бы он там ни был государем или величеством,

Totus et argento conflatus, totus et auro,[20] —

разве не забывает он о своих дворцах и о своем величии? А если он в ярости, то разве его царское достоинство поможет ему не краснеть, не бледнеть и не скрипеть зубами, как безумцу? Если же это человек благородный и обладающий разумом, царский престол едва ли добавит что-нибудь к его счастью.

Si ventri bene, si lateri est pedibusque tuis, nil
Divitiae poterunt regales addere maius.[21]

Он видит, что это только обманчивая личина. Быть может, он даже согласится с мнением царя Селевка, что „тот, кто знает, как тяжел царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы нашел его валяющимся на земле“;[22] он говорил так из-за великого и тягостного бремени, выпадающего на долю хорошего царя. И действительно, управлять другими не легкое дело, когда и самим собою управлять нам достаточно трудно. Что же касается возможности повелевать, которая представляется столь сладостной, то, принимая во внимание жалкую слабость человеческого разумения и трудность выбора между вещами новыми и сомнительными, я придерживаюсь того мнения, что легче и приятнее следовать за кем-либо, чем предводительствовать, и что великое облегчение для души — придерживаться уже предписанного пути и отвечать лишь за себя:

Ut satius multo iam sit parere quietum,
Quam regere imperio res velle.[23]

К тому же Кир говорил, что повелевать может только такой человек, который лучше тех, кем он повелевает. Но царь Гиерон у Ксенофонта утверждает, что даже в наслаждениях своих цари находятся в худшем положении, чем простые люди: ибо, с удобством и легкостью предаваясь удовольствиям, они не находят в них той сладостно-терпкой остроты, которую ощущаем мы.[24]

Pinguis amor nimiumque potens in taedia nobis
Vertitur, et stomacho dulcis ut esca nocet.[25]

Разве детям, поющим в церковном хоре, музыка доставляет большое удовольствие? Пресыщенность ею вызывает у них скорее скуку. Празднества, танцы, маскарады, турниры радуют тех, кто не часто бывает на них, и кого туда влечет. Но человеку, привычному к ним, они кажутся нелюбопытными и пресными. И общество дам не возбуждает того, кто может наслаждаться им до пресыщения; кому не приходится испытывать жажды, тот не станет пить с удовольствием. Выходки фигляров веселят нас, а для них они — тяжелая работа. Так и получается, что для высоких особ — праздник, наслаждение, если иногда они, переодевшись, могут предаться на некоторое время простонародному и грубому образу жизни:

Plerumque gratae principibus vices,
Mundaeque parvo sub lare pauperum
Cenae, sine aulaeis et ostro,
Sollicitam explicuere frontem.[26]

Ничто так не раздражает и не вызывает такого пресыщения, как изобилие. Какой сладострастник не почувствует отвращения, если во власти его окажутся триста женщин, как у султана в его серале? И какое влечение, какой вкус к охоте мог быть у того из его предков, который выезжал в поле, сопровождаемый не менее чем семью тысячами сокольничих? Помимо этого я полагаю, что самый блеск величия привносит немалые неудобства в наслаждении наиболее сладостными удовольствиями: владыки мира слишком освещены отовсюду, слишком на виду. И я не понимаю, как можно обвинять их больше, чем других людей, за старания скрыть или утаить свои прегрешения. Ибо то, что для нас только слабость, у них, по мнению народа, есть проявление тирании, презрение и пренебрежение к законам: кажется, что кроме удовлетворения своих порочных склонностей, они еще тешатся тем, что оскорбляют и попирают ногами общественные установления. Действительно, Платон в „Горгии“ определяет тирана как того, кто имеет возможность в государстве делать все, что ему угодно.

И часто по этой причине открытое выставление напоказ их пороков оскорбляет больше, чем самый порок. Никому не нравится, чтобы за ним следили и проверяли его поступки. У них же подвергаются слежке даже манера держать себя и самые мысли, ибо весь народ считает, что судить об этом — его право и его законный интерес. Я уж не говорю о том, что пятна кажутся больше на поверхности, выдающейся и ярко освещенной, и что царапина или бородавка на лбу сильнее бросается в глаза, чем шрам в месте не столь заметном.

Вот почему поэты изображают, будто Юпитер в своих любовных похождениях принимал различные личины; и из всех любовных историй, которые ему приписываются, есть, мне кажется, только одна, где он выступает во всем своем царственном величии.

Но вернемся к Гиерону. Он также свидетельствует и о том, какие неудобства приходится испытывать от царской власти, не позволяющей ему свободно путешествовать и вынуждающей его, подобно пленнику, оставаться в пределах своей страны, и о том, что во всех своих действиях он подвергается самым досадным стеснениям. И по правде сказать, видя, как наши короли сидят совсем одни за столом, а кругом толпится столько посторонних, которые смотрят на них и судачат на их счет, я часто испытываю больше жалости, чем зависти.

Король Альфонс говорил, что в этом отношении даже ослы находятся в лучшем положении, чем властители: хозяева дают им пастись на свободе, где им угодно, чего короли никак не могут добиться от своих слуг.

Я же никогда не воображал, что разумному человеку может показаться каким-либо особым удобством иметь двадцать надсмотрщиков за своим стульчаком, и не считал, что услуги человека, имеющего десять тысяч ливров дохода, либо взявшего Казале или отстоявшего Сьену,[27] для него более удобны и приемлемы, чем услуги хорошего опытного лакея.

Преимущества царского сана — в значительной степени мнимые: на любой ступени богатства и власти можно ощущать себя царем. Цезарь называл царьками всех владетельных лиц, которые в его

время пользовались во Франции правом суда и расправы. В самом деле, за исключением титула „величество“, положение любого сеньера, в сущности, мало уступает королевскому. А посмотрите, в провинциях, отдаленных от двора, — назовем, к примеру, Бретань — как живет там уединившийся безвыездно в своем поместье сеньер, окруженный слугами, посмотрите на его свиту, его вассалов, как его обслуживают, каким церемониалом он окружен, и посмотрите, куда заносит его полет воображения, — нет ничего более царственного: он слышит о своем короле и повелителе едва ли раз в год, словно о персидском царе, и признает лишь свое старинное родство с ним, которое удостоверено в бумагах, хранящихся у секретаря. По правде сказать, законы наши достаточно свободны, и верховная власть дает себя чувствовать французскому дворянину, может быть, раза два за всю его жизнь. Из нас всех подчиненное положение ощущают по-настоящему, в действительности, только те, кто сам на это идет, желая своей службой достичь почестей и богатств. Ибо тот, кто хочет тихо сидеть у себя дома и умеет вести свое хозяйство без ссор и судебных тяжб, так же свободен, как венецианский дож. Paucos servitus, plures servitutem tenent.[28]

Сверх того, Гиерон особо подчеркивает, что царское достоинство совершенно лишает государя дружеских связей и живого общения с людьми, а ведь именно в этом величайшая радость человеческой жизни. Ибо как я могу рассчитывать на выражение искренней приязни и доброй воли от того, кто — хочет он этого или нет — во всем от меня зависит? Могу ли я доверять его смиренным речам и учтивым приветствиям, раз он вообще не имеет возможности вести себя иначе? Почести, воздаваемые нам теми, кто нас боится, не почести: уважение в данном случае воздается не мне, а царскому сану:

maximum hoc regni bonum est,
Quod facta domini cogitur populus sui
Quam ferre tam laudare.[29]

Разве мы не видим, что и доброму и злому владыке, и тому, кого ненавидят, и тому, кого любят, воздается одно и то же?

С такими же высшими знаками почтения, с тем же церемониалом служили моему предшественнику и будут служить моему преемнику. Если подданные не оскорбляют меня, это не является выражением их привязанности: какое право имел бы я думать, что это привязанность, когда они не могут быть иными, даже если бы захотели? Никто не следует за мной в силу дружеского чувства, возникшего между нами; ибо не может завязаться дружба там, где так мало взаимных связей и соответствия в положении. Высота, на которой я пребываю, поставила меня вне общения с людьми. Они следуют за мной по обычаю или по привычке, или, точнее, не за мной, а за моим счастьем, чтобы приумножить свое. Все, что они мне говорят и для меня делают, — только прикрасы, ибо их свобода со всех сторон ограничена моей великой властью над ними. Все, что я вижу вокруг себя, прикрыто личинами.

Однажды придворные восхваляли императора Юлиана за справедливость. „Я охотно гордился бы, — сказал он, — этими похвалами, если бы они исходили от лиц, которые осмелились бы осудить или подвергнуть порицанию противоположные действия, буде я их совершил бы“.

Все подлинные блага, которыми пользуются государи, общи у них с людьми среднего состояния: только богам дано ездить верхом на крылатых конях и питаться амброзией. Сон и аппетит у них такой же, как у нас; их сталь не лучшего закала, чем та, которой вооружаемся мы; венец не предохраняет их от солнца и дождя. Диоклетиан, царствовавший так счастливо и столь почитавшийся всеми, в конце концов отказался от власти и удалился к радостям частной жизни; когда же через некоторое время обстоятельства стали требовать, чтоб он вернулся к государственным делам, он отвечал тем, кто просил его об этом: „Вы бы не решились уговаривать меня, если бы видели прекрасные ряды деревьев, которые я сам посадил у себя в саду, и чудесные дыни, которые я посеял“.

По мнению Анахарсиса, лучшим управлением было бы такое, в котором, при всеобщем равенстве во всем прочем, первые места были бы обеспечены добродетели, а последние — пороку.[30]

Когда царь Пирр намеревался двинуться на Италию, Кинеад, его мудрый советчик, спросил, желая дать ему почувствовать всю суетность его тщеславия: „Ради чего, государь, затеял ты это великое предприятие?“. — „Чтобы завоевать Италию“, — сразу же ответил царь. — „А потом, — продолжал Кинеад, — когда это будет достигнуто?“. — „Я двинусь, — сказал тот, — в Галлию и в Испанию“. — „Ну, а потом?“. — „Я покорю Африку, и наконец, подчинив себе весь мир, буду отдыхать и жить в свое полное удовольствие“.— „Клянусь богами, государь, — продолжал Кинеад,— что же мешает тебе и сейчас, если ты хочешь, очутиться в таком положении? Почему бы тебе сразу не поселиться там, куда ты, по твоим увереньям, стремишься, и не избежать всех тяжелых трудов и всех случайностей, стоящих на пути к твоей цели?“.[31]

Nimirum, quia non bene norat quae esset habendi
Finis, et omnino quoad crescat vera voluptas.[32]

Закончу это рассуждение кратким изречением одного древнего автора, изумительно, на мой взгляд, подходящим для данного случая: Mores cuique sui fingunt fortunam.[33]

Глава XLIII

О ЗАКОНАХ ПРОТИВ РОСКОШИ

Тот способ, которым законы наши стараются ограничить безумные и суетные траты на стол и одежду, на мой взгляд, ведет к совершенно противоположной цели. Правильнее было бы внушить людям презрение к золоту и шелкам, как вещам суетным и бесполезным. Мы же вместо этого увеличиваем их ценность и заманчивость, а это самый нелепый способ вызвать к ним отвращение. Ибо объявить, что только особы царской крови могут есть палтуса или носить бархат и золотую тесьму, и запретить это простым людям, разве не означает повысить ценность этих вещей и вызвать в каждом желание пользоваться ими? Пусть короли смело откажутся от таких знаков величия — у них довольно других: подобные же излишества извинительны кому другому, только не государю. Взяв пример с других народов, мы можем научиться гораздо лучшим способом внешне отличать людей по рангу (что, по-моему, в государстве действительно необходимо), не насаждая столь явной испорченности и изнеженности нравов. Удивительно, как в этих, по существу безразличных вещах, легко и быстро сказывается власть привычки. И года не прошло с тех пор, как мы, следуя примеру двора, стали носить сукно в знак траура по короле Генрихе II, а шелка настолько упали во всеобщем мнении, что, встречая кого-либо в шелковой одежде, вы тотчас же решали, что это не дворянин, а горожанин. Шелковые ткани достались в удел врачам и хирургам. И хотя все были одеты более или

менее одинаково, оставалось достаточно внешних различий в положении людей.

Как быстро в наших войсках входят в честь засаленные куртки из замши и холста, а чистая и богатая одежда вызывает поношение и презрение!

Пусть короли прекратят это мотовство, и все будет сделано в один месяц, без постановлений и указов: мы сразу же последуем за ними.

Наоборот, закон должен был бы объявлять, что красный цвет и ювелирные украшения запрещены людям всех состояний за исключением комедиантов и куртизанок. Такими законами Залевк[1] исправил развращенные нравы локрийцев. Его указы были таковы: „Женщине свободного состояния запрещается выходить в сопровождении более чем одной служанки, разве что она пьяна. Запрещается ей также выходить из города по ночам, носить золотые драгоценности на своей особе и украшенные вышивкой одежды, если она не девка и не блудница. Ни одному мужчине, кроме распутников, не разрешается носить на пальцах золотые перстни и одеваться в тонкие одежды, как, например, сшитые из шерсти, вытканной в городе Милете“. Благодаря таким постыдным исключениям он искусным образом отвратил граждан от излишеств и гибельной изнеженности.

Это было очень разумное средство — привлечь людей к выполнению долга и повиновению, соблазняя их почетом и удовлетворением честолюбивых стремлений. Короли наши всемогущи в области таких внешних преобразований. Quidquid principes faciunt, praecipere videntur.[2] Вся Франция принимает за правило то, что является правилом при дворе. Пусть они откажутся от этих безобразных панталон, которые выставляют напоказ наши обычно скрываемые члены; от тяжело утолщенных камзолов, придающих нам вид, какого на самом деле мы не имеем, и очень неудобных для ношения оружия; от длинных, как у женщин, кудрей; от обычая целовать предметы, которые мы передаем своим друзьям, или наши пальцы, перед тем как сделать приветственный жест, — в старину эта церемония была в ходу лишь в отношении прин-

цев; от требования, чтобы дворянин находился в парадных местах без шпаги на боку, неряшливый, в расстегнутом камзоле, словно он только что вышел из нужника; от того, чтобы, вопреки обычаю наших отцов и особым вольностям дворян нашего королевства, мы снимали головные уборы, даже стоя очень далеко от королевской особы, где бы она ни находилась, и даже не только в ее окружении, но и вблизи сотен других, ибо сейчас у нас развелось множество королей на одну треть или даже на одну четверть. Так обстоит и с другими подобными вредными нововведениями: они сразу потеряли бы всякую привлекательность и исчезли бы. Все это заблуждения поверхностные, но не предвещающие ничего доброго; ведь хорошо известно, что самая основа стен подвергается порче, когда начинают трескаться краска и штукатурка.

Платон в своих „Законах" считает, что нет более гибельной для государства чумы, чем предоставление молодым людям свободы постоянно переходить — и в манере одеваться, и в жестах, и в танцах, и в гимнастических упражнениях, и в песнях — от одной формы к другой, колебаться в своих мнениях то в одну сторону, то в другую, стремиться ко всяческим новшествам и почитать их изобретателей: ибо таким путем происходит порча нравов, и все древние установления начинают презираться и забываться.[3] Во всем, что не является явно плохим, перемен следует опасаться: это относится и к временам года, и к ветрам, и к пище, и к настроениям. И только те законы заслуживают истинного почитания, которым бог обеспечил существование настолько длительное, что никто уж того не знает, когда они возникли и были ли до них какие-либо другие.

Глава XLIV

О СНЕ

Разум повелевает нам итти все одним и тем же путем, но не всегда с одинаковой быстротой; и хотя мудрый человек не должен позволять страстям своим отклонять его от правого пути, он может, не поступаясь долгом, разрешить им то убыстрять, то умерять его шаг, и ему не подобает стоять на месте, словно он колосс, неподвижный и бесстрастный. Даже у добродетельнейшего из людей, я полагаю, пульс бьется сильнее, когда он идет на приступ, чем когда направляется к обеденному столу; необходимо даже, чтобы он иногда погорячился и разволновался. По этому поводу я заметил, как явление редкое, что иногда великие люди в своих самых возвышенных предприятиях и важнейших делах так хорошо сохраняют хладнокровие, что даже не укорачивают времени, предназначенного для сна.

Александр Великий в день, когда назначена была решающая битва с Дарием, спал таким глубоким сном и так долго, что Пармениону пришлось зайти в его опочивальню и, подойдя к ложу, два или три раза окликнуть царя, чтобы разбудить его, ибо уже наступило время начинать битву.

Император Отон,[1] задумавший покончить жизнь самоубийством, в ту самую ночь, когда он решил умереть, приведя в порядок свои домашние дела, разделив свои деньги между слугами, наточив лезвие меча и ожидая только известий о том, что все его

сторонники находятся в безопасности, погрузился в такой глубокий сон, что его приближенные слуги слышали, как он храпит.

Смерть этого императора имеет много общего со смертью великого Катона даже в подробностях: ибо Катон, собиравшийся покончить с собой и ожидавший сообщения, что сенаторы, которым он хотел обеспечить спасение, уже отплыли из гавани Утики, так крепко заснул, что из соседней комнаты было слышно его дыхание. И когда тот, кого он послал в гавань, разбудил его, чтобы сообщить, что сенаторы не могут выйти в открытое море вследствие поднявшегося сильного ветра, он отправил в гавань другого, а сам, снова улегшись в постель, опять начал дремать, пока посланец не известил его об отъезде сенаторов. Мы имеем право сравнить того же Катона с Александром, когда в дни заговора Катилины, над Катоном нависла великая и грозная опасность вследствие мятежа, поднятого трибуном Метеллом, который хотел обнародовать постановление о возвращении Помпея с его войсками. Так как один лишь Катон возражал против этого, у него с Метеллом дошло в сенате до резких слов и великих угроз. Но окончательное решение должно было состояться лишь на другой день на площади, куда Метелл, и без того сильный поддержкой народа и Цезаря, тогда бывшего с ним в заговоре в пользу Помпея, должен был явиться в сопровождении большого количества рабов-чужеземцев и отчаянных рубак, Катон же — вооруженный только своей непреклонной твердостью. Из-за этого его близкие, члены семьи и многие достойные люди находились в большой тревоге; среди них были такие, которые провели ночь вместе с ним, не желая ни спать, ни пить, ни есть из-за опасности, которой ему предстояло подвергнуться. Даже его жена и сестры только плакали да тревожились в его доме. Он же, наоборот, всех успокаивал и, отужинав как обычно, отправился спать и проспал глубоким сном до утра, пока один из его товарищей по трибунату не разбудил его, чтобы итти на предстоявшую схватку. То, что мы знаем о величии и мужестве этого человека по его дальнейшей жизни, позволяет нам с уверенностью сказать, что все это исходило из души, так высоко вознесенной над подоб-

ными происшествиями, что он и не удостаивал мыслить о них иначе, как о чем-то самом обыкновенном.

Во время морского сражения у берегов Сицилии, в котором Август одержал победу над Секстом Помпеем, он в тот самый момент, когда надо было отправляться на битву, оказался погруженным в такой глубокий сон, что его друзьям пришлось разбудить его, чтобы он дал сигнал к началу сражения: это позволило Марку Антонию упрекнуть его впоследствии, будто у него нехватило храбрости своими глазами взглянуть на расположение войск и будто он не смел предстать перед солдатами, пока Агриппа не пришел к нему объявить о победе, одержанной над неприятелем. Но что касается Младшего Мария, то с ним вышло и того хуже, ибо в день своей последней битвы с Суллой, расставив войска и отдав приказ начать сражение, он прилег в тени дерева отдохнуть и так крепко заснул, что не без труда проснулся, когда его побежденные войска обратились в бегство, и даже не видел самой битвы; это случилось, говорят, потому, что он изнемог от трудов и вынужденной бессоницы, и природа в конце концов взяла свое. Тут врачи должны решить, так ли необходим сон, что от него может зависеть наша жизнь: ибо мы знаем, например, что царя македонского Персея[2] в римском плену довели до смерти, не давая ему спать; впрочем, Плиний приводит в качестве примера других, долго живших без сна.

У Геродота имеются указания на племена, у которых люди полгода спят и полгода бодрствуют.[3]

А те, кто описал жизнь мудреца Эпименида, утверждают, что он проспал, ни разу не пробудившись, пятьдесят семь лет.[4]

Глава XLV

О БИТВЕ ПРИ ДРЁ

В битве при Дрё[1] было много замечательных случаев. Но те, кому не по душе слова господина де Гиза,[2] усиленно подчеркивают, что нет никакого извинения его задержке с подчиненными ему частями и проявленной им медлительности в то время, как с помощью артиллерии был прорван фронт господина коннетабля, командующего армией; они также утверждают, что лучше было положиться на случай и ударить неприятелю во фланг, чем, дожидаясь благоприятного момента, когда он подставит под удар свой тыл, терпеть столь тяжкие потери. Но, помимо даже того, что показал исход сражения, всякий рассуждающий беспристрастно признает, по-моему, что целью и стремлением не только военачальника, но и каждого солдата должна быть окончательная победа и что любые частные и случайные успехи, какую бы выгоду они для них не представляли, не могут отвлекать их от этой заботы. Филопэмен[3] в одном из своих столкновений с Маханидом выслал вперед для нападения сильный отряд, вооруженный луками и дротиками; враги отбросили его, увлеклись стремительным преследованием и помчались вдоль всего фронта войск, где находился Филопэмен. Хотя солдаты его были чрезвычайно возбуждены, он решил не двигаться с места и не нападать на неприятеля, чтобы помочь своим людям; так позволил он отогнать их и уничтожить у себя на глазах, а затем напал на врага, обрушившись на пехоту, как только увидел, что конница оставила ее без при-

крытия; и, поскольку ему удалось захватить врагов в то время, когда они, уверенные, что битва ими уже выиграна, расстроили свои ряды, он, хотя они и были лакедемоняне, быстро справился с ними и затем бросился преследовать Маханида. Этот случай во всем сходен с делом господина де Гиза.

В жестокой битве между Агесилаем и беотийцами, которую участвовавший в ней Ксенофонт считает самой тяжелой из всех виденных им когда-либо, Агесилай пренебрег возможностью, которую давало ему военное счастье — пропустить мимо себя беотийские войска и ударить по их тылам, полагая, что сделать так означало бы проявить больше искусства, чем доблести; чтобы показать свое геройство, он предпочел с изумительным пылом храбрости атаковать их в лоб, но, разбитый и раненный в сражении, был вынужден отступить и принять решение, от которого сперва отказался, — расступиться и пропустить весь этот поток беотийцев между своими частями; затем, после их прохода, убедившись, что они двигаются без всякого порядка, считая себя совершенно в безопасности, он отдает приказ начать преследование и напасть на них с флангов. Но все же ему не удалось обратить их в беспорядочное бегство; и они отступали медленно, все время огрызаясь, до тех пор, пока не оказались в безопасности.

Глава XLVI

ОБ ИМЕНАХ

Сколько бы ни было различных трав, всех их можно обозначить одним словом: „салат“. Так и здесь, под видом рассуждения об именах я устрою мешанину из всякой всячины.

У каждого народа есть некоторые имена, которые, уж не знаю почему, не в чести: у нас это — Жан, Гильом, Бенуа.

Далее, в родословных государей имеются имена, роковым образом встречающиеся постоянно: таковы Птолемеи в Египте, Генрихи в Англии, Карлы во Франции, Балдуины во Фландрии, а в нашей Аквитании в старину — Гильомы, откуда даже, как уверяют, произошло название Гиень: словопроизводство такого рода следовало бы признать очень натянутым, если бы даже у Платона не встречались столь же грубые его образчики.

Можно привести также для примера случай пустяковый, но все же достойный быть отмеченным и описанный очевидцем: Генрих, герцог Нормандский, сын Генриха II, короля Англии, давал однажды во Франции пир, на котором присутствовало столько знати, что забавы ради она разделилась на отряды по признаку общности имен: и в первом отряде — отряде Гильомов — оказалось сто десять рыцарей этого имени, сидящих за столом, не считая простых дворян и слуг.

Рассадить гостей за столами по именам было столь же забавной выдумкой, как со стороны императора Геты[1] установить порядок подаваемых на пиру блюд по первым буквам названий:

так, например, слуги подавали подряд блюда, начинающиеся на „б“: баранину, буженину, бекасов, белугу и тому подобное.

Далее существует выражение: хорошо иметь доброе имя, в смысле пользоваться доверием и хорошей славой. Но ведь, помимо того, приятно обладать и красивым именем, легко произносимым и запоминающимся. Ибо королям и вельможам тогда проще запоминать нас и труднее забывать. И мы сами чаще отдаем распоряжения и даем поручения тем из наших слуг, чьи имена легче всего слетают с нашего языка.

Я сам наблюдал, что король Генрих II не мог правильно произнести фамилию некоего гасконского дворянина, и он же сам решил именовать одну из фрейлин королевы по названию местности, откуда она была родом, так как название ее родового поместья представлялось ему слишком трудным.

И Сократ также считал выбор красивого имени ребенку достойной заботой отца.

Далее, относительно постройки церкви Богоматери в Пуатье рассказывают, что некий развратный юноша, первоначально живший на том месте, приведя к себе однажды девку, спросил ее имя, а оно оказалось — Мария; тогда он внезапно проникся таким религиозным трепетом и уважением к пресвятому имени Девы, матери нашего спасителя, что не только тотчас же прогнал блудницу, но каялся в своем грехе всю остальную жизнь. И в ознаменование этого чуда, на месте, где находился дом юноши, построили часовню Богоматери, а впоследствии и стоящую сейчас церковь. Здесь благочестивое исправление произошло через слово и звук, проникшие прямо в душу. А вот другой случай, в том же роде, когда воздействие на телесные вожделения оказали музыкальные звуки. Находясь однажды в обществе молодых людей, Пифагор почувствовал, что они, разгоряченные пиршеством, сговариваются пойти и учинить насилие в одном доме, где процветало целомудрие. Тогда Пифагор приказал флейтистке настроиться на другой лад и звуками музыки мерной, строгой, выдержанной в спондейном ритме, понемногу заворожил их пыл и убаюкал его.

Далее, не скажет ли потомство о нашей современной реформации, что она показала свою проникновенность и правоту не только тем, что боролась с пороками и заблуждениями, наполнив весь свет благочестием, смирением, послушанием, миром и всякого рода добродетелями, но дошла и до того, что восстала против старых имен, которые нам давались при крещении, — Шарля, Луи, Франсуа, чтобы населить мир Мафусаилами, Иезекиилями, Малахиями, гораздо сильнее отдающими верой? Некий дворянин, мой сосед, который обычаи прошлого предпочитал нынешним, не забывал сослаться при этом и на великолепные, горделивые дворянские имена былых времен — дон Грюмедан, Кедраган, Агезилан — утверждая, что даже по звучанию их чувствуется, что люди те были иного полета, чем какие-нибудь Пьер, Гильо и Мишель.

Далее, я весьма признателен Жаку Амио за то, что, произнося однажды на французском языке проповедь, он оставил все латинские имена в неприкосновенности, а не коверкал их и не изменял так, чтобы они звучали на французский лад. Сначала это немного резало слух, но затем, благодаря успеху его „Плутарха", вошло во всеобщее употребление и перестало представляться нам странным. Я часто высказывал пожелание, чтобы люди, пишущие исторические труды по-латыни, оставляли наши имена такими, какими мы знаем их, ибо когда Водемон превращается в Валлемонтануса[2] и вообще все перекрашивается на греческий или латинский лад, мы перестаем уже разбираться в чем-либо и что-либо понимать.

В заключение скажу, что обыкновение именовать каждого по названию его поместья или лена — очень дурной обычай, приводящий у нас во Франции к самым плохим последствиям: ничто на свете не способствует в такой мере генеалогической путанице и недоразумениям. Младший отпрыск благородного рода, получив во владение землю, а вместе с нею и имя, под которым он приобрел известность и почет, не может отказаться от него без ущерба для своей чести; через десять лет после его смерти земля переходит к совершенно постороннему человеку, который

поступает точно так же; вы сами можете сообразить, легко ли будет разобраться в их родословной. Незачем далеко ходить за примерами — у нас есть наш королевский дом, где каждый раздел земель порождает новые фамильные прозвища, а между тем основная линия родства от нас ускользает.

И все эти изменения происходят так свободно, что в наше время я не видел ни одного человека, достигшего прихотью судьбы исключительно высокого положения, к которому не прилеплялись бы немедленно новые родовые звания, его отцу не известные и взятые из какой-либо знаменитой родословной; и легко понять, что незнатные фамилии особенно охотно идут на подобную подделку. Сколько у нас во Франции дворян, заявляющих права на происхождение от королевского рода! Я полагаю — больше, чем тех, которые на это не притязают. Один из моих друзей рассказал мне такой весьма забавный случай. Однажды собралось вместе несколько дворян и они принялись обсуждать спор, возникший между двумя сеньерами. Один из этих сеньеров имел действительно некоторое преимущество по своим титулам и брачным связям, возвышавшее его над простыми дворянами. Из-за этого его преимущества каждый, пытаясь сравняться с ним, приписывал себе — кто то, кто иное происхождение, ссылаясь либо на сходство своего фамильного имени с каким-либо другим, либо на сходство гербов, либо на старую грамоту, сохранявшуюся у него в доме; и самый ничтожный из этих дворян оказывался потомком какого-нибудь заморского государя. Так как этот спор происходил за обедом, тот, кто рассказал мне о нем, вместо того, чтобы занять свое место, попятился назад с нижайшими поклонами, умоляя собравшихся извинить его за то, что он до сих пор имел смелость жить среди них, как равный; теперь же, узнав об их высоком происхождении, он будет чтить их, согласно их рангам, и ему не подобает сидеть в присутствии стольких принцев. После этой шутовской выходки он крепко выругал их: „Будьте довольны, клянусь богом, тем, чем довольствовались наши отцы, и тем, чем мы в действительности являемся; мы и так достаточно много собой представляем — только бы нам уметь

хорошо поддерживать честь своего имени; не будем же отрекаться от доли и от состояния наших предков и отбросим эти дурацкие выдумки, только вредящие тем, кто имеет бесстыдство на них ссылаться".

Гербы не более надежны, чем фамильные прозвища. У меня, например, лазурное поле, усеянное золотыми трилистниками, и золотая львиная лапа держит щит, пересеченный красной полосой. По какому особому праву эти изображения должны оставаться только в моей семье? Один из зятьев перенесет их в другую; какой-нибудь безродный, приобретший землю за деньги, сделает себе из них новый герб. Ни в чем другом не бывает столько изменений и путаницы.

Но это рассуждение заставляет меня перейти к другому вопросу. Подумаем хорошенько и, ради господа бога, приглядимся внимательно, на каких основаниях зиждятся слава и почет, ради которых мы готовы перевернуть весь мир: на чем покоится известность, которой мы с таким трудом домогаемся. В конце концов, какой-нибудь Пьер или Гильом является носителем этой славы, ее защитником, и его она касается ближе всего. О, полная отваги человеческая надежда! Зародившись в данное мгновение в таком-то из смертных, она готова завладеть необъятным, бесконечным, вечным! Природа одарила нас забавной игрушкой! А что такое эти Пьер или Гильом? Всего-навсего пустой звук, три или четыре росчерка пера, в которых — заметьте при этом! — так легко напутать. Право, я готов спросить: кому же, в конце концов, принадлежит честь стольких побед — Гекену, Глекену или Геакену?[3] Здесь такой вопрос уместнее, чем у Лукиана, где Σ спорит с Т, ибо

non levia aut ludicra petuntur
Praemia.[4]

Здесь дело немаловажное: речь идет о том, какой из этих букв воздать славу стольких осад, битв, ран, дней, проведенных в плену, и услуг, оказанных французской короне этим ее прославленным коннетаблем. Никола Денизо[5] дал себе труд сохра-

нить лишь самые буквы, составляющие его имя, но совершенно изменил их порядок, чтобы путем их перестановки создать себе новое имя — граф д'Альсинуа, которое и венчал славой своего поэтического и живописного искусства. А историку Светонию было дорого только значение его имени, и он сделал Транквилла наследником своей литературной славы, отказав в этом Ленису, как прозывался его отец.[6] Кто поверил бы, что полководцу Баярду принадлежит только та честь, которую он заимствовал у деяний Пьера Террайля?[7] И что Антуан Эскален допустил, чтобы на глазах его капитан Пулен и барон де Ла-Гард похитили у него славу стольких морских путешествий и трудных дел, совершенных на море и на суше?[8]

Кроме того, эти начертания пером одинаковы для тысяч людей. Сколько у того или иного народа носителей одинаковых имен и прозваний! А сколько таких среди различных народов в различных странах и на протяжении веков? История знала трех Сократов, пять Платонов, восемь Аристотелей, семь Ксенофонтов, двадцать Деметриев, двадцать Феодоров. А сколько еще их не сохранилось в памяти истории, — попробуйте угадать! Кто помешает моему конюху назваться Помпеем Великим? Но в конце-то концов, какие способы, какие средства существуют для того, чтобы связать с моим покойным конюхом или тем другим человеком, которому в Египте отрубили голову, соединить с ними эти прославленные голос молвы и начертание пером, чтобы они могли ими гордиться?

Id cinerem et manes credis curare sepultos?[9]

Что знают оба великих мужа, одинаково высоко оцененных людьми, — Эпаминонд о том прославляющем его стихе, который в течение стольких веков передается из уст в уста:

Consiliis nostris laus est attonsa Laconum?[10]

и Сципион Африканский о другом стихе, относящемся к нему:

A sole exoriente supra Moeotis paludes
Nemo est qui factis me aequiparere queat?[11]

Людей, живущих после них, ласкает сладость подобных восхвалений, возбуждая в них ревность и жажду славы, и бессознательно, игрой воображения, они переносят на усопших эти собственные свои чувства; а обманчивая надежда заставляет их верить, что они сами способны на такие же деяния. Богу это известно. И тем не менее,

ad haec se
Romanus, Graiusque, et Barbarus induperator
Erexit, causas discriminis atque laboris
Inde habuit: tanto maior famae sitis est quam
Virtutis.[12]

Глава XLVII

О НЕНАДЕЖНОСТИ НАШИХ СУЖДЕНИЙ

Хорошо говорится в этом стихе:

Ἐπέων δὲ πολὺς νόμος ἔνθα καὶ ἔνθα.[1]

Мы можем обо всем по произволу говорить и за и против. Например:

Vinse Hannibal, et non seppe usar' poi
Ben la vittoriosa sua ventura.[2]

Тот, кто разделяет это мнение и утверждает, что наши сделали ошибку в битве при Монконтуре, не развив своего успеха, или тот, кто осуждает испанского короля за то, что он не использовал своей победы над нами при Сен-Кантене,[3] может сказать, что повинны в этих ошибках душа, опьяненная выпавшей ей удачей, и храбрость, которая, сразу насытившись первыми успехами, теряет всякую охоту умножать их и с трудом переваривает достигнутое: она забрала в охапку сколько могла, больше ей не захватить, она оказалась недостойна дара, полученного от фортуны. Ибо какой смысл в нем, если врагу дана возможность оправиться? Можно ли надеяться, что осмелится вторично напасть на врага, сомкнувшего ряды, отдохнувшего и вновь вооружившегося своей досадой и жаждой мщения, тот, что не решился преследовать его, когда он был разбит и ошеломлен,

Dum fortuna calet, dum conficit omnia terror,[4]

и разве дождется он чего-либо лучшего после такой потери? Это ведь не фехтование, где выигрывает тот, кто большее

количество раз тронул рапирой противника: пока враг не повержен, надо наносить ему удар за ударом; успех — только тогда победа, когда он кладет конец военным действиям. Цезарь, которому не повезло в схватке у города Орика, упрекал солдат Помпея, утверждая что был бы уничтожен, если бы их военачальник сумел победить до конца; сам же он по-иному пришпорил коня, когда пришла его очередь. Но почему, наоборот, не сказать, что неуменье положить конец своим жадным устремлениям есть проявление излишней торопливости и ненасытности? Что желание пользоваться милостями неба без меры, которую им положил сам господь, есть злоупотребление благостью божией? Что устремляться к опасности, уже одержав победу, значит снова испытывать судьбу? Что одно из мудрейших правил в воинском искусстве — не доводить противника до отчаяния? Сулла и Марий, разбившие марсов во время Союзнической войны[5] и увидевшие, что один уцелевший отряд намеревается броситься на них с отчаяньем диких зверей, не стали дожидаться и напали на него первые. Если бы господин де Фуа,[6] увлеченный своим пылом, не стал слишком яростно преследовать остатки разбитого у Равенны врага, он не омрачил бы победы своей гибелью: недаром этот недавний пример сослужил службу господину д'Ангиену и удержал его от подобной же ошибки в битве при Серизоле.[7] Опасное дело — нападать на человека, у которого осталось только одно средство спасения — оружие, ибо необходимость — жестокая учительница: gravissimi sunt morsus irritatae necessitatis.[8]

Vincitur haud gratis iugulo qui provocat hostem.[9]

Вот почему Фаракс воспрепятствовал царю лакедемонян, одержавшему победу над мантинейцами, напасть на тысячу аргивян, которые избежали разгрома; он предоставил им спокойно отступить, чтобы не испытывать доблести этих людей, раздраженных и раздосадованных неудачей. Хлодомир, король Аквитании, одержав победу, стал преследовать разгромленного и обратившегося в бегство Гундемара, короля бургундского, и вынудил его при-

нять бой; но его упорство отняло у него плоды победы, ибо он погиб в этой схватке.

Точно так же, если кому-нибудь приходится делать выбор — давать ли своим солдатам богатое и роскошное военное снаряжение или же снаряжать их только самым необходимым — в пользу первого мнения, которого придерживались Серторий, Филопэмен, Брут, Цезарь и другие, можно сказать, что для солдата пышное снаряжение — лишний повод искать почестей и славы и проявлять большее упорство в бою, поскольку ему надо спасать ценное оружие, как свое имущество или достояние. По этой же причине, говорится у Ксенофонта, азиатские народы брали с собою в походы своих жен и наложниц со всеми их богатствами и драгоценными украшениями.[10] Но, с другой стороны, на это можно возразить, что гораздо правильнее искоренять в солдате мысль о самосохранении, чем поддерживать ее, что, заботясь о ценностях, он еще меньше склонен будет подвергаться риску, и что, вдобавок, возможная богатая добыча только увеличит в неприятеле стремление к победе; замечено было, что именно это удивительно способствовало храбрости римлян в битве с самнитами. Когда Антиох показал Ганнибалу войско, которое он готовил против римлян, великолепно и пышно снаряженное, и спросил его: „Придется ли по вкусу римлянам такое войско?“, Ганнибал ответил ему: „Придется ли по вкусу? Еще бы, ведь они такие жадные“. Ликург запрещал своим воинам не только надевать богатое снаряжение, но даже грабить побежденных, желая, как он говорил, чтобы бедность и умеренность украшали тех, кто вернется после битвы.

Во время осад и в других случаях, когда нам удается сблизиться с противником, мы охотно разрешаем солдатам вести себя с ним заносчиво, выражать ему презрение и осыпать его всевозможными поношениями. И не без некоторого основания, ибо немалое дело отнять у них всякую надежду на пощаду или возможность договориться с врагом, показав, что не приходится ожидать этого от тех, кого они так жестоко оскорбили, и что единственный выход — победа. Так и получилось с Вителлием; ибо, имея против себя Отона, более слабого из-за того, что солдаты его отвыкли

от войны и разнежились среди столичных утех, он так раздразнил их, в конце концов, своими едкими насмешками над их малодушием и тоской по женщинам и пирам, только что оставленным в Риме, что одним этим вернул им мужество, которого не могли в них вдохнуть никакие призывы, и сам заставил их броситься на него, чего от них никак нельзя было добиться. И правда, когда оскорбления задевают за живое, они могут привести к тому, что воин, без всякого усердия шедший на битву за дело своего владыки, ринется в нее с новым пылом, мстя за свою собственную обиду.

Если принять во внимание, что сохранность жизни вождя имеет для всего войска особенное значение и что враг всегда старается поразить именно эту голову, от которой зависят все прочие, нельзя сомневаться в правильности решения, часто принимавшегося многими крупными военачальниками — переодеться и принять другой облик в самый час битвы. Однако же неудобство, проистекающее от этой меры, не меньше того, которого было желательно избежать. Ибо солдатам, не узнающим своего полководца, чье присутствие и пример воодушевляли их, мужество может изменить, и, не видя его обычных отличительных признаков, они могут подумать, что он погиб или бежал с поля битвы, отчаявшись в ее исходе. Что же до проверки этого дела опытом, то мы видим, что он говорит в пользу то одного, то другого мнения. Случай с Пирром в битве, которая произошла в Италии между ним и консулом Левином, служит нам доказательством и того и другого. Ибо, одевшись в доспехи Демогакла и отдав ему свои, он, конечно, спас свою жизнь, но зато претерпел другую беду — проиграл битву.[11] Александр, Цезарь, Лукулл любили в сражении отличаться от других богатством и яркостью своей одежды и вооружения. Наоборот, Агис, Агесилай и великий Гилипп[12] шли в сражение незаметно одетыми и безо всякого царственного великолепия.

В связи с битвой при Фарсале[13] Помпей подвергался многочисленным нападкам и, в частности, за то, что он остановил свое войско, ожидая неприятеля. Тем самым — здесь я приведу собственные слова Плутарха, которые стóят больше моих — „он уме-

рил силу, которую разбег придает первым ударам, воспрепятствовал стремительному напору, с которым сражающиеся сталкиваются друг с другом и который обычно наполняет их особенным буйством и яростью в ожесточенных схватках, распаляя их храбрость криками и движениями, и, можно сказать, охладил, заморозил боевой пыл своих воинов".[14] Вот что говорит он по этому поводу. Но если бы поражение потерпел Цезарь, разве нельзя было бы утверждать, что, наоборот, самая мощная и прочная позиция у того, кто неподвижно стоит на месте, сдерживая себя и накопляя силы для решительного удара, с бо́льшим преимуществом по сравнению с тем, кто двинул свои войска вперед, вследствие чего они запыхались от быстрого бега? К тому же войско ведь является телом, состоящим из многих различных частей; оно не имеет возможности в этом яростном напоре двигаться с такой точностью, чтобы не нарушить порядка и строя и чтобы самые быстрые из воинов не завязали схватки еще до того, как их товарищи смогут им помочь. В злосчастной битве между двумя братьями персами[15] лакедемонянин Клеарх, командовавший греками в армии Кира, повел их в наступление без особой торопливости; когда же они приблизились на пятьдесят шагов, он велел им бежать на врага, рассчитывая, что достаточно короткое расстояние не утомит их и не расстроит рядов, а в то же время они получат то преимущество, которое яростный напор дает и самому воину и его оружию. Другие в своих армиях разрешили это сомнение таким образом: если враг двинулся вперед, жди его, стоя на месте, если же он занял оборонительную позицию, переходи в наступление.

Когда император Карл V задумал свое вторжение в Прованс,[16] король Франциск мог принять одно из двух решений: либо двинуться навстречу ему в Италию, либо ждать его на своей земле. Он, конечно, хорошо сознавал, насколько важно предохранить страну от потрясений войны, чтобы, полностью обладая своими силами, она непрерывно могла предоставлять средства для ведения войны и, в случае необходимости, помощь людьми. Он понимал, что в обстановке войны поневоле приходится производить опустошения, чего следовало бы избегать у себя на родине, ибо крестья-

нин не станет переносить разорение от своих так безропотно, как от врага, и из-за этого среди нас могут вспыхнуть мятежи; что позволение грабить и разорять жителей, которого нельзя дать солдатам у себя дома, очень облегчает им тяготы войны и что трудно удержать от дезертирства того, кто в смысле доходов может рассчитывать только на свое солдатское жалованье и в то же время находится в двух шагах от своей жены и от своего очага; что тот, кто накрывает другому на стол, сам и платит за обед; что нападение больше поднимает дух, чем оборона; что проиграть сражение внутри страны — дело ужасное, которое может поколебать все государство, принимая во внимание, насколько заразителен страх, как легко он воспринимается и как быстро распространяется и что города, которые услышали раскаты этой грозы у своих стен, приняв к себе в качестве беглецов своих полководцев и солдат, еще дрожащих и задыхающихся, могут сгоряча пойти на что угодно. И тем не менее он предпочел вывести свои войска из Италии и ждать вражеского наступления. Ибо, с другой стороны, он мог представить себе, что, находясь у себя дома среди друзей, он будет в изобилии снабжаться всеми припасами, так как по рекам и по дорогам к нему будут подвозить сколько понадобится провианта и денег без особой военной охраны; что сочувствие подданных будет тем вернее, чем ближе угрожающая им опасность; что, имея возможность всегда укрыться в стольких городах и укреплениях, он сможет выбирать выгодное и удобное время и место для столкновений с врагом и что если бы ему захотелось выжидать, он мог бы, находясь в надежном укрытии, взять врага измором и добиться его внутреннего разложения, поскольку перед неприятелем возникли бы непреодолимые трудности: он во вражеской стране, где все воюет с ним и спереди, и сзади, и вокруг; он не имеет никакой возможности ни освежить и пополнить свое войско, если в нем начнут свирепствовать болезни, ни укрыть где-либо раненых, он может лишь силою оружия добывать деньги и провиант; ему негде передохнуть и собраться с силами, у него нет достаточно ясного представления о местности, которое могло бы обезопасить его от засад и других случай-

ностей, а в случае проигрыша битвы — никакой возможности спасти остатки разгромленной армии.

Таким образом, имеется достаточно примеров как в пользу одного, так и в пользу другого мнения. Сципион предпочел напасть на врага в его африканских владениях, вместо того чтобы защищать свои и оставаться у себя в Италии; это обеспечило ему успех.[17] И, наоборот, в этой же самой войне Ганнибал потерпел поражение из-за того, что отказался от завоевания чужой страны ради защиты своей. Судьба оказалась немилостива к афинянам, когда они оставили неприятеля на своей земле, а сами напали на Сицилию;[18] но к Агафоклу, царю Сиракузскому, она была благосклонна, хотя он тоже отправился походом в Африку, оставив неприятеля у себя дома.[19] Потому-то мы и говорим обычно не без основания, что и события и исход их, особенно на войне, большей частью зависят от судьбы, которая вовсе не намерена считаться с нашими соображениями и подчиняться нашей мудрости, как гласят следующие стихи:

Et male consultis pretium est: prudentia fallax,
Nec fortuna probat causas sequiturque merentes;
Sed vaga per cunctos nullo discrimine fertur;
Scilicet est aliud quod nos cogatque regatque
Maius, et in proprias ducat mortalia leges.[20]

Но, в сущности, сами наши мнения и суждения точно так же, повидимому, зависят от судьбы, и она придает даже им столь свойственные ей смутность и неуверенность. „Мы рассуждаем легкомысленно и смело, — говорит у Платона Тимей, — ибо как мы сами, так и рассуждения наши подвержены случайности“.

Глава XLVIII

О БОЕВЫХ КОНЯХ

Вот и я стал грамматиком, я, который всегда изучал какой-либо язык только путем практического навыка, и до сих пор не знаю, что такое имя прилагательное, сослагательное наклонение или творительный падеж. Я от кого-то слышал, что у римлян были лошади, которых они называли funales или dextrarios;[1] они бежали справа от всадника в качестве запасных, чтобы в случае нужды можно было использовать их свежие силы. Потому-то мы и называем destriers добавочных лошадей. А те, кто пользуется романским, обычно говорят adestrer вместо accompaignier. Римляне называли также desultorios equos лошадей, обученных таким образом, что когда они бежали во весь опор попарно, бок о бок, без седла и уздечки, римские всадники в полном вооружении могли во время езды перепрыгивать с одной на другую. Нумидийские воины всегда имели под рукой вторую лошадь, чтобы воспользоваться ею в самом пылу схватки: Quibus, desultorum in modum, binos trahentibus equos, inter acerrimam saepe pugnam in recentem equum ex fesso armatis transsultare mos erat: tanta velocitas ipsis, tamque docile equorum genus.[2]

Существуют кони, обученные так, чтобы помогать своим хозяевам бросаться на всякого, кто встает пред ними с обнаженным мечом, топтать и кусать наступающих и нападающих. Но чаще получается так, что своим они причиняют больше вреда, чем врагам. Добавим, что их уже нельзя укротить, раз они ввязались

в бой, и судьба всадника целиком зависит от случайностей битвы. Так, тяжкая беда постигла Артибия, командовавшего персидскими войсками, когда он вступил в единоборство с Онесилаем, царем Саламина, верхом на коне, обученном таким образом, ибо конь этот стал причиной его смерти: пехотинец, сопровождавший Онесилая, нанес Артибию сокрушительный удар секирой в спину как раз тогда, когда конь Артибия напал на Онесилая и поднялся над ним на дыбы.[3]

Когда же итальянцы рассказывают, что в битве при Форнуово[4] лошадь короля, брыкаясь и лягаясь, спасла его от наседавших врагов и что иначе он бы погиб, то даже если это правда, здесь просто исключительно счастливый случай.

Мамелюки хвалятся тем, что у них лучшие в мире боевые кони и что по природе своей они таковы, да и обучены так, чтобы по данному им голосом или движением знаку узнавать и различать неприятелей. И будто бы точно так же умеют они по приказанию своего хозяина поднимать зубами и подавать ему копья и дротики, разбросанные по полю сражения.

О Цезаре и о Великом Помпее говорят, что, наряду с другими своими выдающимися качествами, они были прекрасные наездники. О Цезаре же, в частности, — что в молодости он садился задом наперед на невзнузданного коня, заложив руки за спину, и пускал его во весь опор. Сама природа сделала из этого человека и из Александра два чуда военного искуства и, можно сказать, она же постаралась вооружить их необыкновенным образом. Ибо о коне Александра Буцефале известно, что голова его походила на бычью, что он позволял садиться на себя только своему господину, не подчинялся никому, кроме него, а после смерти получил почести, и даже один город назван был его именем.

У Цезаря была столь же удивительная лошадь, с передними ногами, напоминавшими человеческие, и копытами, как бы разделенными на пальцы. Она тоже не позволяла садиться на себя и управлять собой никому, кроме Цезаря, который после ее смерти посвятил богине Венере ее изображение.

Я неохотно слезаю с лошади, раз я на нее сел, так как, здоров я или болен, лучше всего чувствую себя верхом. Платон советует ездить верхом для здоровья; Плиний тоже считает верховую езду очень полезной для желудка и для суставов.[5] Вернемся же к тому, о чем мы говорили. У Ксенофонта читаем, что закон запрещал путешествовать пешком человеку, имеющему лошадь.[6] Трог и Юстин утверждают, что парфяне имели обыкновение не только воевать верхом на конях, но также совершать в этом положении все свои общественные и частные дела — торговать, вести переговоры, беседовать и прогуливаться: и что главное различие между свободными и рабами у них состояло в том, что одни ездили верхом, а другие ходили; установление это было введено царем Киром.[7]

В истории Рима мы находим много примеров (Светоний отмечает это в особенности о Цезаре),[8] когда полководцы приказывали своим конникам спешиться в наиболее опасные моменты боя, чтобы лишить их какой бы то ни было надежды на бегство, а также и для того, чтобы использовать все преимущества пешего боя: quo haud dubie superat Romanus, — говорит Тит Ливий.[9]

Для того чтобы предотвратить восстания среди вновь покоренных народов, римляне прежде всего забирали у них оружие и лошадей: потому-то так часто и читаем мы у Цезаря: arma proferri, iumenta produci, obsides dari iubet.[10] В наше время турецкий султан не дозволяет никому из своих подданных христианского или еврейского исповедания иметь собственных лошадей.

Предки наши, особенно в войне с англичанами, во всех знаменитых битвах и прославленных в истории сражениях, большей частью бились пешими, ибо опасались вверять такие ценные вещи, как жизнь и честь, чему-либо иному, кроме своей собственной силы и крепости своего мужества и своих членов. Что бы ни говорил Хрисанф у Ксенофонта,[11] вы всегда связываете и доблесть свою и судьбу с судьбою и доблестью вашего коня: его ранение или смерть влекут за собою и вашу гибель, его испуг или его ярость делают вас трусом или храбрецом; если он плохо слушается узды или шпор, вам приходится отвечать за это своей честью.

По этой причине я не считаю странным, что битвы, которые ведутся в пешем строю, более упорны и яростны, нежели конные:

cedebant pariter, pariterque ruebant
Victores victique, neque his fuga nota neque illis.[12]

В те времена победы в битвах давались с бо́льшим трудом, чем теперь, когда все сводится к натиску и бегству: primus clamor atque impetus rem decernit.[13] И, разумеется, вещь столь важная и в нашем обществе подверженная стольким случайностям, должна находиться всецело в нашей власти. Так же точно советовал бы я выбирать оружие, действующее на наиболее коротком расстоянии, такое, за которое мы можем лучше всего отвечать. Очевидно же, что для нас шпага, которую мы держим в руке, гораздо надежнее, чем пуля, вылетающая из пистолета, в котором столько различных частей — и порох, и кремень, и курок: откажись малейшая из них служить — и вам грозит смертельная опасность.

Мы не можем нанести удар с достаточной уверенностью в успехе, если он должен достигнуть нашего противника через воздух;

Et quo ferre velint permittere vulnera ventis:
Ensis habet vires, et gens quaecunque virorum est,
Bella gerit gladiis.[14]

Что касается огнестрельного оружия, то о нем я буду говорить подробнее при сравнении вооружения древних с нашим. Если не считать грохота, поражающего уши, к которому теперь уже все привыкли, то я считаю его мало действенным и надеюсь, что мы в скором времени от него откажемся.

Оружие, которым некогда пользовались в Италии, — метательные и зажигательные снаряды — было гораздо ужаснее. Древние называли phalarica особый вид копья с железным наконечником длиною в три фута, так что оно могло насквозь пронзить воина в полном вооружении; в стычке его метали рукой, а при защите осажденных крепостей — с помощью различных машин. Древко, обернутое паклей, просмоленной и пропитанной маслом, зажигалось при бросании и разгоралось в полете; вонзившись в тело или в щит, оно лишало воина возможности действовать оружием или

своими членами. Все же мне представляется, что когда дело доходило до рукопашного боя, такие копья вредили также и тому, кто их бросал, и что горящие головешки, усеивавшие поле битвы, мешали во время схватки обеим сторонам:

magnum stridens contorta phalarica venit
Fulminis acta modo.[15]

Имелись у них и другие средства, заменявшие им наш порох и ядра: средствами этими они пользовались с искусством, для нас, вследствие нашего неумения с ними обращаться, просто невероятным.

Они метали копья с такой силой, что зачастую пронзали сразу два щита и двух вооруженных людей, которые оказывались словно нанизанными на одно копье. Так же метко и на столь же большом расстоянии поражали врага их пращи: saxis globosis funda mare apertum incessentes: coronas modici circuli, magno ex intervallo loci, assueti traiicere: non capita modo hostium vulnerabant, sed quem locum destinassent.[16] Их осадные орудия производили такое же действие, как и наши, с таким же грохотом: ad ictus moenium cum terribili sonitu editos pavor et trepidatio cepit.[17] Галаты, наши азиатские сородичи, ненавидели эти предательские летающие снаряды: они привыкли с большей храбростью биться врукопашную: Non tam patentibus plagis moventur: ubi latior quam altior plaga est, etiam gloriosius se pugnare putant: idem, cum aculeus sagittae aut glandis abditae introrsus tenui vulnere in speciem urit, tum, in rabiem et pudorem tam parvae perimentis pestis versi, prosternunt corpora humi.[18] Эта картина очень походит на битву воинов, вооруженных аркебузами.

Десять тысяч греков во время своего долгого и столь знаменитого отступления повстречали на своем пути племя, которое нанесло им большой урон стрельбой из больших крепких луков; стрелы же у этих людей были такие длинные, что пронзали насквозь щит вооруженного воина и его самого, а взяв такую стрелу в руки, можно было пользоваться ею, как дротиком. Машины, изобретенные Дионисием Сиракузским[19] для метания толстых массивных копий и ужасающей величины камней на значительное

расстояние и с большой быстротой, очень схожи с нашими изобретениями.[20]

Кстати будет вспомнить забавную посадку на муле некоего мэтра Пьера Поля, доктора богословия, о котором Монтреле рассказывает, что он имел обыкновение ездить верхом по улицам Парижа, сидя боком, по-дамски. В другом месте он сообщает, что гасконцы имели страшных лошадей, приученных круто поворачиваться на всем скаку, что вызывало великое изумление у французов, пикардийцев, фламандцев и брабантцев, ибо, как он говорит, „не привычно им было видеть подобное".[21] Цезарь говорит о свевах: „Во время конных стычек они часто соскакивают на землю, чтобы сражаться пешими, а лошади их приучены стоять в таких случаях на месте, чтобы они могли, когда понадобится, снова вскочить на них. По их обычаю, пользоваться седлом и потником — дело постыдное для храброго воина, и они так презирают тех, кто употребляет седла, что не боятся даже в малом количестве нападать на крупные их отряды".[22]

В свое время я был очень удивлен, увидев лошадь обученную таким образом, что ею можно было управлять одним лишь хлыстом, бросив поводья на ее шею, но это было обычным делом у массилийцев, которые пользовались своими лошадьми без седел и без уздечек:

Et gens quae nudo residens Massilia dorso
Ora levi flectit, frenorum nescia, virga.[23]
Et Numidae infreni cingunt.[24]

Equi sine frenis, deformis ipse cursus, rigida cervice et extento capite currentium.[25]

Король Альфонс, тот самый, что основал в Испании орден рыцарей Повязки или Перевязи,[26] установил среди прочих правил этого ордена и такое, согласно которому ни один рыцарь не имел права садиться верхом на мула или лошака под страхом штрафа в одну марку серебром; я прочел это недавно в „Письмах" Гевары, которым люди, назвавшие их „золотыми", дают совсем не ту оценку, что я.[27]

В книге „Придворный“[28] говорится, что в прежнее время считалось непристойным для дворянина ездить верхом на этих животных. Наоборот, абиссинцы, наиболее высокопоставленные и приближенные к пресвитеру Иоанну,[29] своему государю, предпочитают в знак своего высокого положения ездить на мулах. Ксенофонт рассказывает, что ассирийцы на стоянках держали своих лошадей спутанными — до того они буйны и дики, а чтобы распутать их и взнуздать, требовалось столько времени, что внезапное нападение врага могло привести войско в полное замешательство; поэтому свои походные лагери они всегда окружали валом и рвом.[30]

Кир, великий знаток в деле обхождения с лошадьми, муштровал своих коней и не разрешал давать им корм, пока они не заслужат его, хорошо пропотев от какого-нибудь упражнения.

Скифы, когда им приходилось голодать в походах, пускали своим коням кровь и утоляли ею голод и жажду:

Venit et epoto Sarmata pastus equo.[31]

Критяне, осажденные Метеллом, так страдали от отсутствия воды, что принуждены были пить мочу своих лошадей.[32]

В доказательство того, насколько турецкие войска выносливее и неприхотливее наших, приводят обычно то обстоятельство, что они пьют только воду и едят только рис и соленое мясо, истолченное в порошок, месячный запас которого каждый легко может унести на себе, а также, подобно татарам и московитам, кровь своих лошадей, которую они солят.

Недавно обнаруженные народы Индии,[33] когда там появились испанцы, приняли этих прибывших к ним людей и их лошадей за богов или за животных, обладающих такими высокими качествами, которые человеческой природе не свойственны. Некоторые из них, после того как они были побеждены, явились просить у испанцев мира и пощады, принеся им золото и пищу; с такими же подношениями они подходили и к лошадям и обращались к ним так же, как к людям, принимая их ржание за выражение согласия и примирения.

А в Индии ближней в старину считалось высшей и царской почестью ехать на слоне, почестью второго разряда ехать на колеснице, запряженной четверкой лошадей, третьего — верхом на верблюде и, наконец, последнею и самой низшей — ехать верхом на коне или в повозке, запряженной одной лошадью.

Кто-то из наших современников пишет, что в тех краях он видел страны, где ездят верхом на быках, употребляя вьючные седла, стремена и уздечки, и что это считается очень удобным.

Квинт Фабий Максим Рутилиан[34] в битве с самнитами, видя, что его конникам даже после трех или четырех атак не удалось врезаться в неприятельские ряды, велел им разнуздать коней и пришпорить их изо всей силы; теперь уж ничто не могло остановить лошадей; они помчались вперед, опрокидывая людей с их оружием, и проложили дорогу пехоте, которая и нанесла врагам кровавое поражение.

Такой же приказ отдал Квинт Фульвий Флакк в битве с кельтиберами: Id cum maiore vi equorum facietis, si effrenatos in hostes equos immittitis; quod saepe Romanos equites cum laude fecisse sua, memoriae proditum est. Detractisque frenis, bis ultro citroque cum magna strage hostium, infractis omnibus hastis, transcurrerunt.[35]

Великий князь Московский в старые времена должен был оказывать татарам такой почет: когда от них прибывали послы, он выходил к ним навстречу пешком и предлагал им чашу с кобыльим молоком (этот напиток они почитают самым сладостным), а если, выпивая его, они проливали хоть несколько капель на гриву своих лошадей, он обязан был слизать их языком.

Войско, посланное в Россию султаном Баязетом, было застигнуто такой ужасной снежной бурей, что для того, чтобы укрыться от нее и спастись от холода, многие решили убить своих лошадей, вспарывали им животы, залезали туда, согреваясь их животной теплотой.[36]

Баязету, после жестокого сражения, в котором он был разбит Тамерланом, удалось бы спастись поспешным бегством на арабской кобыле, если бы он не был вынужден дать ей напиться вволю, когда переезжал через речку: после этого она настолько

остыла и ослабела, что он был легко настигнут своими преследователями. Считают, что лошадь ослабевает, если дать ей помочиться, но что касается питья, то я полагал бы скорее, что это должно освежить ее и придать ей силы.

Крез, проходя в окрестностях города Сарды, нашел там луга, изобиловавшие змеями, которые охотно поедались лошадьми его войска, и это, говорит Геродот, явилось для него дурным предзнаменованием.[37]

Мы считаем, что лошадь в исправном состоянии, если у нее целы грива и уши, и только такие допускаются на смотры и парады. Лакедемоняне, нанеся в Сицилии поражение афинянам и торжественно возвращаясь с победой в Сиракузы, кроме других глумлений над врагами, остригли их лошадей и так вели их в своем триумфальном шествии. Александр воевал с народом, называвшимся дагами:[38] они выступали на войну по-двое в полном вооружении на одном коне; но во время сражения то один из них, то другой соскакивали с коня, и так сражались они по очереди — один верхом, другой пеший.

Я думаю, что ни один народ не превосходит нас в искусстве верховой езды и в изяществе посадки. Впрочем, говоря о хорошем наезднике, обычно имеют в виду скорее храбрость, чем изящество. Из тех, кого я знал, самым умелым, уверенным в себе и ловким наездником был, на мой взгляд, господин де Карневале, этим своим искусством служивший нашему королю Генриху II. Я видел, как один человек скакал, стоя обеими ногами на седле, как он сбросил седло, а затем, на обратном пути поднял, пригладил и сел в него, проделав все это на полном скаку, с брошенными поводьями; промчавшись над брошенной наземь шляпой, он сзади стрелял в нее из лука, а также поднимал с земли все, что угодно, опустив одну ногу и держа другую в стремени, и показывал еще много подобных же фокусов, которыми зарабатывал себе на жизнь.

В наше время в Константинополе видели двух человек, которые, сидя верхом на одном коне, на самом быстром бегу соскакивали по очереди на землю и потом прыгали опять в седло. Видели и

такого, который одними зубами взнуздывал и седлал лошадь. И еще такого, который скакал во всю прыть сразу на двух лошадях, стоя одной ногой на седле первой лошади, а другой на седле второй, и в то же время держал на себе человека, а этот второй человек, стоя на нем во весь рост, очень метко стрелял из лука. Были там и такие, которые пускали коня во весь опор, стоя вверх ногами на седле, причем голова находилась между двух сабель, прикрепленных к седлу. Во времена моего детства князь Сульмоне в Неаполе укрощал как-то всевозможными приемами норовистую лошадь: чтобы показать крепость своей посадки, он держал под коленами и под большими пальцами несколько реалов,[39] которые были там совершенно неподвижны, словно пригвожденные.

Глава XLIX

О СТАРИННЫХ ОБЫЧАЯХ

Я охотно извинил бы наш народ за то, что для совершенствования своего он не имеет никаких других образцов и правил, кроме своих собственных обычаев и нравов. Ибо не одному лишь простонародью, но почти всем людям свойствен этот порок — определять свои желания и взгляды по тем условиям жизни, в которые они поставлены от рождения. Я готов примириться с тем, что наш народ, если бы ему довелось увидеть Фабриция или Лелия,[1] нашел бы их внешность и поведение варварскими, потому что их одежда и обращение не соответствуют нашей моде. Но меня приводит в негодование то исключительное легкомыслие, с которым наши люди позволяют ослеплять и одурачивать себя вкусам нынешнего дня до такой степени, что они способны менять взгляды и мнения каждый месяц, если этого требует мода, и всякий раз готовы судить о себе по-разному. Когда пряжку на своем камзоле они носили на высоте сосков, то самым убедительным образом доказывали, что это и есть самое подходящее для нее место. Но вот прошло несколько лет, она опустилась и носится теперь почти что между бедрами, и люди смеются над прежней модой, находя ее нелепой и безобразной. Принятый сегодня способ одеваться тотчас же заставляет их осудить вчерашний, притом с такой решительностью и таким единодушием, что, кажется, ими овладела какая-то мания, перевернувшая им мозги.

Вкусы наши меняются так быстро и внезапно, что даже самые изобретательные портные не могут поспеть за ними и выдумать столько новинок. Поэтому неизбежно получается так, что отвергнутые формы зачастую снова начинают пользоваться всеобщим признанием, чтобы вскоре опять оказаться в полном пренебрежении. И выходит, что на протяжении пятнадцати-двадцати лет один и тот же человек по одному и тому же поводу высказывает два или три не только различных, но и прямо противоположных мнения, с непостоянством и легкомыслием поразительными. И нет среди нас человека, настолько разумного, чтобы он не поддался чарам всех этих превращений, ослепляющих и внутреннее и внешнее зрение.

Я хочу привести здесь примеры некоторых древних обычаев, сохранившихся у меня в памяти — одни из них сходны с нашими, другие отличаются от них — для того чтобы, имея все время перед глазами эту непрерывную изменяемость вещей, мы могли высказать о ней наиболее трезвое и основательное суждение.

То, что у нас называется фехтованием на шпагах с плащом, было известно еще римлянам, как говорит Цезарь: Sinistris sagos involvunt, gladiosque distringunt.[2] Он же отмечает в нашем племени дурное обыкновение останавливать встречающихся нам по пути прохожих, выпытывать у них, кто они такие, и считать оскорблением и поводом для ссоры, если они отказываются отвечать.[3]

Во время омовений, которые древние совершали перед каждой едой так же часто, как мы моем руки, они первоначально мыли только руки до локтей и ноги, но впоследствии установился обычай, сохранявшийся в течение ряда веков у большинства народов тогдашнего мира, мыть все тело надушенной водой с различными примесями, так что мытье в простой воде стало считаться проявлением величайшей простоты в обиходе. Наиболее утонченные и изнеженные душили себе все тело три-четыре раза в день. Зачастую они выщипывали себе волосы на всей коже, подобно тому как с недавнего времени у французских женщин вошло в обычай выщипывать себе брови,

Quod pectus, quod crura tibi, quod bracchia vellis,[4]

хотя имели для этой же цели особые притирания:

Psilotro nitet, aut arida latet oblita creta.[5]

Они любили мягкие ложа и считали признаком особой выносливости спать на простом матрасе. Они ели, возлежа на ложе, приблизительно так, как это делают в наше время турки,

Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto.[6]

А о Катоне Младшем рассказывают, что после Фарсальской битвы он наложил на себя траур из-за дурного состояния общественных дел и принимал пищу сидя, так как начал вообще вести более суровый образ жизни. В знак уважения и привета они целовали руки вельмож, а друзья, здороваясь, целовались, как это делают венецианцы:

Gratatusque darem cum dulcibus oscula verbis.[7]

А приветствуя высокопоставленное лицо или прося его о чем-либо, притрагивались к его колену. Однажды, при таком случае, философ Пасикл, брат Кратета, коснулся не колен, а половых органов. Когда тот, к кому он обращался, резко оттолкнул его, Пасикл спросил: „Как, разве эти части не твои так же, как колени?“.

Подобно нам они ели фрукты после обеда.

Они подтирали себе задницу (незачем нам по-женски бояться слов) губкой: потому-то слово spongia[8] по-латыни считается непристойным. О такой губке, привязанной к концу палки, идет речь в рассказе об одном человеке, которого вели, чтобы отдать на растерзание зверям на глазах народа. Он попросил отпустить его в отхожее место и, не имея другой возможности покончить с собой, засунул себе палку с губкой в горло и задохся.[9] Помочившись, они подтирались надушенными шерстяными тряпочками.

At tibi nil faciam, sed lota mentula lana.[10]

В Риме на перекрестках ставились особые посудины и низкие чаны, чтобы прохожие могли в них мочиться.

Pusi saepe lacum propter, se ac dolia curta
Somno devincti credunt extollere vestem.[11]

В промежутках между трапезами они закусывали. Летом у них продавали снег для охлаждения вин; а некоторые и зимой пользовались снегом, находя вино недостаточно холодным. У знатных людей имелись особые слуги, которые разливали вино и разрезали мясо, а также шуты, которые их забавляли. Зимой кушанья подавали им на жаровнях, ставившихся на стол. Они имели и переносные кухни — я сам видел такие — со всеми приспособлениями для приготовления пищи: их употребляли во время путешествия;

Has vobis epulas habete lauti;
Nos offendimur ambulante cena.[12]

Летом же они часто проводили в нижние помещения дома по особым каналам прохладную чистую воду, в которой было много живой рыбы, и присутствующие выбирали сами и руками вынимали понравившихся им рыб, чтобы они были приготовлены по их вкусу. Рыба и тогда пользовалась привилегией, которую сохраняет доныне: великие мира сего лично вмешивались в ее приготовление, считая себя знатоками в этом деле. И, действительно, на мой взгляд по крайней мере, — вкус ее гораздо более изысканный, чем вкус мяса. Но во всякого рода роскоши, распущенности, сладострастных прихотях, изнеженности и великолепии мы, по правде сказать, делаем все, чтобы сравняться с древними, ибо желания у нас извращены не меньше, чем у них; но достичь этого мы не способны: сил у нас нехватает, чтобы уподобиться им и в добродетелях и в пороках. Ибо и те и другие проистекают от крепости духа, которой они обладали в несравненно большей степени, чем мы. Чем слабее души, тем меньше возможности имеют они поступать очень хорошо или очень худо.

Самым почетным местом за столом считалась у них середина. Первое или второе место ни в письменной, ни в устной речи не имело никакого значения, как это видно из их литературных произведений: „Оппий и Цезарь“ они скажут так же охотно, как „Цезарь и Оппий“, „я и ты“ для них так же безразлично, как „ты и я“. Вот почему я отметил в жизнеописании Фламиния во французском Плутархе одно место, где автор, говоря о споре

между этолийцами и римлянами — кто из них больше прославился в совместно выигранной ими битве, — кажется, придает значение тому, что в греческих песнях этолийцев называли раньше римлян, если только в переводе этого места на французский не допущена какая-нибудь двусмысленность.

Женщины принимали мужчин в банях; там же их рабы мужеского пола растирали их и умащали:

Inguina succinctus nigra tibi servus aluta
Stat, quoties calidis nuda foveris aquis.[13]

Чтобы меньше потеть, женщины присыпали кожу особым порошком.

Древние галлы, свидетельствует Сидоний Аполлинарий,[14] спереди носили длинные волосы, а затылок выстригали — этот обычай недавно перенял наш изнеженный и расслабленный век.

Римляне платили судовладельцам за перевоз при отплытии; мы же расплачиваемся по прибытии к месту назначения:

dum as exigitur, dum mula ligatur,
Tota abit hora.[15]

Женщины ложились на краю постели. Вот почему Цезаря прозвали spondam regis Nicomedis.[16]

Они пили вино меньшими глотками, чем мы, и разбавляли его водой:

quis puer ocius
Restinguet ardentis falerni
Pocula praetereunte lympha?[17]

Наглые выходки наших лакеев были в ходу и у их слуг:

O Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit,
Nec manus auriculas imitata est mobilis albas,
Nec linguae quantum sitiat canis Apula tantum.[18]

Аргивянки и римлянки носили траур белого цвета, как женщины и у нас делали в старину и, на мой взгляд, должны были бы делать и ныне.

Но обо всех этих вещах написаны целые томы.

Глава L

О ДЕМОКРИТЕ И ГЕРАКЛИТЕ

Рассуждение есть орудие, годное для всякого предмета, и оно примешивается всюду. По этой причине, в моих опытах я пользуюсь им при любом случае. Если речь идет о предмете, мне неясном, я именно для того и прибегаю к рассуждению, чтобы издали нащупать брод и, найдя его слишком глубоким для моего роста, стараюсь держаться поближе к берегу. Но уже понимание того, что переход невозможен, есть результат рассуждения, притом один из тех, которыми способность рассуждения может больше всего гордиться. Иногда я беру предмет пустой и ничтожный и пытаюсь придать ему основательность, размышляя, чем бы его поддержать и подкрепить. Иногда же я применяю рассуждение к предмету возвышенному и часто разрабатывавшемуся; в этом случае ничего своего не найдешь — дорога уже настолько избита, что можно итти только по чужим следам. Тогда игра рассуждающего состоит в том, чтобы избрать путь, который ему представляется наилучшим, и установить, что из тысячи тропок надо предпочесть ту или эту. Я беру наудачу первый попавшийся сюжет. Все они одинаково хороши. И я никогда не стараюсь исчерпать мой сюжет до конца, ибо ничего не могу охватить в целом, и полагаю, что не удается это и тем, кто обещает нам показать это целое. Каждая вещь состоит из многих частей и сторон, и я беру всякий раз какую-нибудь одну из них, чтобы лизнуть или слегка коснуться, хотя порою вгрызаюсь и до кости.

Я стараюсь врезаться не столь широко, сколь глубоко, и представить предмет в каком-нибудь еще небывалом освещении доставляет мне самое большое удовольствие. Если бы я знал себя хуже, то, может быть, и попытался бы досконально исследовать какой-нибудь вопрос. Я бросаю тут одно словечко, там другое — слова отрывочные, лишенные прочной связи, — не ставя себе никаких задач и ничего не обещая. Таким образом, я себя не обязываю до конца исследовать свой предмет или хотя бы все время держаться его, но постоянно перебрасываюсь от одного к другому, а когда мне захочется, отдаюсь сомнению, неуверенности и тому, что мне особенно свойственно, — сознанию своего неведения.

Каждое наше движение раскрывает нас. Та же самая душа Цезаря, которая проявилась в воинском искусстве во время битвы при Фарсале, обнаружила себя и в его досужих и любовных похождениях. О лошади мы должны судить не только по тому, как она несется вскачь, но и по тому, как она идет шагом и даже как ведет себя, когда спокойно стоит в своем стойле.

Среди отправлений человеческой души есть и низменные: кто не видит и этой ее стороны, тот не может сказать, что знает ее до конца. И случается, что легче всего постичь душу человеческую тогда, когда она идет обычным своим шагом. Ибо бури страстей захватывают чаще всего наиболее возвышенные ее проявления. Вдобавок она предается вся целиком каждому затронувшему ее предмету, отдает ему все свои силы, никогда не увлекается сразу двумя предметами и всегда рассматривает то, что в данное время притягивает ее, исходя не из его сущности, а из своей собственной. Вещи, находящиеся вне ее, может быть, и обладают своим весом, своими мерами, своими свойствами, но внутри нас, в нашем душевном восприятии, мы перекраиваем их на свой лад. Смерть представляется ужасной Цицерону, желанной Катону, безразличной Сократу. Здоровье, сознание, власть, наука, богатство, красота и все, что им противоположно, совлекают с себя у порога все свои облачения и получают от нашей души новые одежды такой расцветки, какая ей больше нравится — коричневой, зеленой, светлой, темной, яркой, нежной, глубокой,

поверхностной. И притом каждая душа судит по-своему, ибо они не согласуют между собой свои стили, правила и формы: каждая сама по себе госпожа. Поэтому не будем ссылаться на внешние свойства вещей: мы сами представляем их себе такими, а не иными. Наше счастье или несчастье зависят только от нас самих.

Вот куда нам следует обращаться с дарами и обетами, а не к судьбе. Наши нравы зависят не от нее, наоборот, они увлекают ее за собой и придают ей тот или иной облик по образу своему и подобию. Разве не могу я составить себе мнение об Александре на основании того, как ведет он себя за столом, как беседует и пьет или как он играет в шахматы? Каких только струн его души не затрагивала эта пустая детская игра? Я лично терпеть ее не могу и всячески избегаю именно за то, что она — недостаточно игра, и захватывает нас слишком всерьез; мне совестно уделять ей столько внимания, которое следовало бы отдать на что-либо лучшее. Александр не больше ломал себе голову над планом похода на Индию, или какой-либо другой великий человек — разыскивая путь, от которого зависит спасение человечества. Посмотрите, как наша душа придает этой смешной забаве значение и смысл, как напрягаются все наши нервы и как благодаря этому она дает возможность любому человеку познать себя самого и непосредственно судить о себе. Какие только страсти не возбуждаются при этой игре! Гнев, досада, ненависть, нетерпение и пламенное честолюбивое стремление к победе в состязании, в котором гораздо извинительнее было бы гордиться поражением, ибо недостойно порядочного человека иметь редкие, выдающиеся над средним уровнем способности в таком ничтожном деле. То, что я говорю по поводу этого примера, может быть сказано о любом другом. Каждая мелочь, каждое занятие человека выдает его полностью и показывает во весь рост так же, как и всякий другой пустяк.

Демокрит и Гераклит были два философа, из которых первый, считая судьбу человека ничтожной и смешной, появлялся на людях не иначе, как с насмешливым и смеющимся лицом.

Гераклит же, у которого тот же удел человеческий вызывал жалость и сострадание, постоянно ходил с печальным лицом и полными слез глазами:

alter
Ridebat, quoties a limine moverat unum
Protuleratque pedem; flebat contrarius alter.[1]

Настроение первого мне нравится больше, не потому, что смеяться приятнее, чем плакать, а потому, что в нем больше презрения к людям, и оно сильнее осуждает нас, чем настроение второго: а мне кажется, что нет такого презрения, которого мы бы не заслуживали. Жалость и сострадание всегда связаны с некоторым уважением к тому, что вызывает их; тому же, над чем смеются, не придают никакой цены. Я не думаю, чтобы злонамеренности в нас было так же много, как суетности, и злобы так же много, как глупости: в нас меньше зла, чем безрассудства, и мы не столь мерзки, сколь ничтожны. Так, Диоген, который бездельничал в своем уединении, катаясь в бочке и воротя нос от великого Александра, и считал нас чем-то вроде мух или пузырьков, наполненных воздухом, был судьей более язвительным и жестоким, а следовательно, на мой взгляд, и более справедливым, чем Тимон, прозванный человеконенавистником.[2] Ибо раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу. Тимон желал нам зла, страстно жаждал нашей гибели и избегал общения с нами, как с существами опасными, зловредными и развращенными. Диоген же ставил нас ни во что; общение с нами не могло ни смутить его, ни изменить его настроения; он не желал иметь с нами дела не из каких-либо опасений, но от презрения к нашему обществу, считая нас не способными ни к добру, ни ко злу.

Такого же рода был ответ Статилия Бруту, склонявшему его присоединиться к заговору против Цезаря: замысел этот он нашел справедливым, но не видел людей, достойных того, чтобы сделать ради них хоть малейшее усилие. Тут он следовал учению Гегесия,[3] который утверждал, что мудрец должен заботиться только о себе самом, ибо лишь он один и достоин того, чтобы для него было

что-нибудь сделано, а также учению Феодора,[4] считавшего, что было бы несправедливо, если бы мудрец рисковал собой для блага своей родины и мудрость подвергал опасности ради безумцев.

Наши природные и наши приобретенные свойства столь же нелепы, как и смешны.

Глава LI

О СУЕТНОСТИ СЛОВ

Один ритор былых времен говорил, что его ремесло состоит в том, чтобы вещи малые изображать большими. Пригонять большие сапоги к маленькой ноге — искусство сапожника. В Спарте его подвергли бы бичеванию за то, что он сделал своим ремеслом обман и надувательство. Я думаю, что Архидам, который был царем Спарты, не без удивления выслушал ответ Фукидида[1] на свой вопрос, кто сильнее в единоборстве — он или Перикл. „Это, — сказал Фукидид, — было бы трудно проверить; ибо если бы я свалил его на землю, он сумел бы убедить зрителей, что он не упал, а одержал верх". Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика — потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее. Государства, в управлении которыми господствовал твердый порядок, как, например, критское или лакедемонское, не придавали большого значения ораторам.

Аристон[2] мудро определяет риторику: искусство убеждать народ; Сократ и Платон: искусство льстить и обманывать;[3] а те, кто отвергает такое общее определение, подтверждают его правильность в своих частных наставлениях.

Магометане запрещают обучать своих детей риторике, ввиду ее бесполезности. А афиняне, у которых она была в большом

почете, заметив, сколь губительно оказываемое ею действие, предписали устранить из нее самое главное — все, что возбуждало волнение чувств, вместе со вступлениями и заключениями.

Это орудие, изобретенное для того, чтобы волновать толпу и управлять неупорядоченной общиной, применяется, подобно лекарствам, только в нездоровых государственных организмах. Ораторы во множестве расплодились там, где простонародье, невежды и вообще все без разбору пользовались властью, как, например, в Афинах, на Родосе, в Риме, и где вся общественная жизнь протекала бурно. И действительно, в этих государствах было мало влиятельных людей, которые выдвинулись бы без помощи красноречия: при его поддержке достигли, в конце концов, высших должностей такие люди, как Помпей, Цезарь, Красс, Лукулл, Лентул, Метелл,[4] и оно помогло им больше, чем сила оружия, вопреки воззрениям лучших времен. Ибо Люций Волумний, выступая публично в пользу избрания консулами Квинта Фабия и Публия Деция, сказал: „Это — мужи, рожденные для войны, великие в действии, суровые в словесных схватках, истинно консульские умы; утонченные, красноречивые и ученые, они хороши для городских должностей в качестве преторов, отправляющих правосудие“.

Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясали бури гражданской войны, подобно тому как на невозделанном и запущенном поле пышнее всего разрастаются сорные травы. Из этого можно сделать вывод, что государства, где правит монарх, нуждаются в красноречии меньше, чем все другие. Ибо массе свойственны глупость и легкомыслие, благодаря которым она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей. На подобном легкомыслии, говорю я, не так легко играть, когда речь идет об одном человеке, которого к тому же легче предохранить хорошим воспитанием и добрыми советами от этого яда. Недаром из Македонии или Персии не вышло ни одного знаменитого оратора.

Все сказанное пришло мне в голову после недавнего разговора с одним итальянцем, который служил дворецким у кардинала Караффы до самой его смерти. Я попросил его рассказать мне о должности, которую он отправляет. Он произнес целую речь об этой науке ублаготворения глотки со степенностью и важностью ученого, словно толковал мне какой-нибудь существенный богословский тезис. Он разъяснил мне разницу в аппетитах — какой у человека бывает натощак, какой после второго и какой после третьего блюда; изложил средства, которыми его можно или просто удовлетворить, или возбудить и обострить; дал обстоятельное описание соусов, сперва общее, а затем частное, остановившись на качестве отдельных составных частей и на действии, которое они производят, рассказал о различии салатов в зависимости от времени года, — какие из них следует подогревать, какие любят, чтобы их подавали холодными, каким способом их убирать и украшать, чтобы они были еще и приятны на вид. После этого он распространился о порядке подачи кушаний на стол, высказав много прекрасных и важных соображений:

nec minimo sane discrimine refert
Quo gestu lepores, et quo gallina secetur.[5]

И все это в великолепных и пышных выражениях, таких, какие употребляют, говоря об управлении какой-нибудь империей. Этот человек привел мне на память следующие строки:

Hoc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum est parum,
Illud recte: iterum sic memento; sedulo
Moneo quae possum pro mea sapientia.
Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,
Inspicere iubeo, et moneo quid facto usus sit.[6]

Впрочем, даже греки весьма хвалили порядок и устройство пиршества, которое Павел Эмилий дал им по возвращении своем из Македонии; но здесь я говорю не о существе дела, а о словах.

Не знаю, как у других, но когда я слышу, как наши архитекторы щеголяют пышными словами вроде: пилястр, архитрав, карниз, коринфский и дорический орден, и тому подобными из их

жаргона, моему воображению представляется дворец Аполидона;[7] а на самом деле я вижу здесь только жалкие доски моей кухонной двери.

Вы слышите, как произносят слова: метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования, и не кажется ли вам, что обозначаются таким образом формы необычайной, особо изысканной речи? А ведь они могут применяться и к болтовне вашей горничной.

Подобный же обман — давать нашим государственным должностям великолепные римские названия, хотя наши должности по характеру выполняемых обязанностей имеют очень мало общего с римскими, а по размерам власти и могущества — еще меньше. Укажу еще на один обман, который, по-моему, когда-нибудь будет приводиться в доказательство исключительной умственной ограниченности нашего времени, — это наделять без всяких оснований кого угодно славными прозваниями, которыми древние почтили только одного-двух выдающихся людей на протяжении целых столетий. Прозвание „божественный“ было дано Платону всеобщим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать. Но итальянцы, которые не без основания могут похвалиться тем, что ум у них более развит, а суждения более здравы, чем у других народов нашего времени, недавно почтили этим прозвищем Аретино,[8] который, на мой взгляд, ничем не возвышается над средним уровнем писателей своего времени, если не считать его пышной и заостренной манеры, не лишенной изысканности, но искусственной и надуманной, и кроме того — обычного красноречия, а уж до „божественности“ в том смысле, какой придавали этому слову древние, ему далеко. А прозвище „великий“ мы часто даем государям, которые отнюдь не возвышаются над любым средним человеком.

Глава LII

О БЕРЕЖЛИВОСТИ ДРЕВНИХ

Аттилий Регул,[1] командовавший римскими войсками в Африке, в самый разгар своей славы и своих побед над карфагенянами обратился к республике с письмом, в котором сообщал, что слуга, которому он поручил управлять своим имением, состоявшим из семи арпанов земли, бежал, захватив с собой все земледельческие орудия: поэтому Регул просил предоставить ему отпуск, чтобы он мог вернуться и привести свое хозяйство в порядок, так как он боялся, что его жена и дети могут от этого пострадать. Сенат позаботился о том, чтобы в имение Регула был послан другой управляющий, велел возместить Регулу все убытки и, кроме того, распорядился, чтобы его жена и дети получали содержание от государства.

Катон Старший, возвращаясь из Испании, чтобы занять должность консула, продал лошадь, которой пользовался, желая сберечь деньги, которые пришлось бы заплатить за ее перевозку морем в Италию. Будучи правителем Сардинии, он по всем своим делам ходил пешком в сопровождении одного лишь служителя, состоявшего на жаловании у республики и носившего за ним его мантию и сосуд для совершения жертвоприношений; чаще всего, впрочем, свою поклажу он носил сам. Он хвалился тем, что никогда не имел одежды, стоившей дороже десяти экю, и никогда не тратил на рынке больше десяти су в день; хвалился он также и тем, что ни один из его деревенских домов не был оштукату-

рен и побелен снаружи. Сципион Эмилиан,[2] после того как он получил два триумфа и дважды был избран консулом, отправился легатом в провинцию в сопровождении всего семи слуг. Утверждают, что у Гомера никогда не было больше одного слуги, у Платона более трех, а у Зенона, главы стоической школы, не было даже и одного.

Когда Тиберий Гракх, бывший тогда первым среди римлян, уезжал по делам республики, ему назначали содержание в размере всего пяти с половиной су в день.

Глава LIII

ОБ ОДНОМ ИЗРЕЧЕНИИ ЦЕЗАРЯ

Если бы мы хоть изредка находили удовольствие в том, чтобы присматриваться к самим себе, и время, которое мы затрачиваем на наблюдение за другими и ознакомление с вещами, до нас не касающимися, употребляли на изучение самих себя, мы быстро поняли бы, какое ненадежное и хрупкое сооружение наше „я". Разве не является удивительным свидетельством несовершенства неспособность наша по-настоящему удовлетвориться чем-либо, равно как и то обстоятельство, что даже в желании и воображении не способны мы выбрать то, что нам нужнее всего? Об этом ясно свидетельствует извечный великий спор между философами — в чем заключается высшее благо для человека, — который еще продолжается и будет продолжаться вечно, не находя ни решения, ни примирения;

dum abest quod avemus, id exsuperare videtur
Cetera; post aliud cum contigit illud avemus,
Et sitis aequa tenet. [1]

С чем бы мы ни знакомились, чем бы ни наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет, и жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить: не потому, на мой взгляд, что в нем нет ничего, могущего нас насытить, а потому, что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные:

Nam, cum vidit hic, ad usum quae flagitat usus,
Omnia iam ferme mortalibus esse parata,
Divitiis homines et honore et laude potentes
Affluere, atque bona natorum excellere fama,
Nec minus esse domi cuiquam tamen anxia corda,
Atque animum infestis cogi servire querelis:
Intellexit ibi vitium vas efficere ipsum,
Omniaque illius vitio corrumpier intus,
Quae collata foris et commoda quaeque venirent.[2]

Наше алкание неустойчиво и ненадежно: оно не способно ничего удержать, не способно дать нам чем-либо насладиться по-настоящему. Человек, полагая, что недостаток — в самих вещах, начинает вкушать и поглощать другие вещи, которых он доселе не знал, с которыми еще не ознакомился; к ним устремляет он свои желания и надежды, их он уважает и чтит, как об этом сказал Цезарь: Communi fit vitio naturae ut invisis, latitantibus atque incognitis rebus magis confibamus, vehementiusque exterreamur.[3]

Глава LIV

О СУЕТНЫХ УХИЩРЕНИЯХ[1]

Часто люди пытаются добиться одобрения путем легкомысленных суетных ухищрений. Таковы поэты, которые сочиняют длинные творения, состоящие из стихов, начинающихся с какой-либо одной буквы; так в древности греки подбирали размеры своих стихов, удлиняя или укорачивая строки таким образом, чтобы из сочетания этих строк образовывались какие-нибудь фигуры — яйца, шарики, крылья, топоры; такова же была мудрость и того человека, который увлекся вычислением, сколькими различными способами можно расположить буквы алфавита, обнаружив, в конце концов, как рассказывает об этом Плутарх, что существует невероятное количество таких комбинаций.[2] Я нахожу правильным мнение о подобных вещах одного человека, которому показали искусника, научившегося так ловко метать рукой просяное зерно, что оно безошибочно проскакивало через ушко иголки; когда этого человека попросили вознаградить столь редкое искусство каким-либо подарком, он отдал забавное и, по-моему, вполне правильное приказание выдать искуснику две-три меры пшена, чтобы он мог сколько угодно упражняться в своем прекрасном искусстве.[3] И поразительное свидетельство немощности нашего разума заключается в том, что он оценивает всякую вещь с точки зрения ее редкости и новизны, а также малодоступности, хотя бы сама по себе она и не содержала в себе ничего хорошего и полезного.

Недавно у меня в доме мы занялись игрой — кто подберет большее количество слов, выражающих два совершенно противоположных значения, как, например, sire, которое обозначает титул, присвоенный самой высокой особе в нашем государстве — королю, но применимо также и к простым людям, например торговцам, не касаясь, однако, лиц, занимающих промежуточное между ними положение. Женщину высокопоставленную называют — dame, женщину среднего сословия — demoiselle, а женщин самого низкого состояния опять-таки — dame.

Балдахины над столами допускаются только у особ королевской крови и в трактирах.

Демокрит утверждал, что боги и звери обладают более острой чувствительностью, чем люди, которые в этом отношении находятся на среднем уровне.[4] Римляне носили одинаковые одежды в траурные и в праздничные дни. Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызывают понос.

Прозвище „дрожащий", полученное двенадцатым королем Наварры Санчо, доказывает, что смелость заставляет наши члены дрожать, подобно страху. Однажды слуги, надевая на своего господина доспехи и видя его дрожь, пытались ободрить его и стали приуменьшать опасность, которой ему предстояло подвергнуться, но он сказал им: „Вы плохо меня знаете. Если бы тело мое представляло себе, куда увлечет его сейчас моя храбрость, оно бы, объятое смертным холодом, упало на землю".

Слабость, овладевающая нами вследствие холодности и отвращения к венериным играм, возникает у нас также и от чрезмерных желаний и необузданной пылкости. Слишком сильный холод и слишком сильный жар могут варить и жарить. Аристотель утверждает, что слитки свинца размягчаются и плавятся от холода и от зимних морозов так же, как от сильного жара.[5] Вожделение и пресыщение в равной мере заставляют страдать нас и когда мы еще не достигли наслаждения, и когда мы перешли его границы. Глупость и мудрость сходятся в одном и том же чувстве и в одном и том же отношении к невзгодам, которые

постигают человека: мудрые презирают их и властвуют над ними, а глупцы не отдают себе в них отчета; вторые, если можно так выразиться, не доросли до них, первые их переросли. Мудрые, хорошо взвесив и рассмотрев свойства наших несчастий, измерив их и обсудив их истинную природу, возвышаются над ними мощным и мужественным порывом: они презирают их, попирают ногами, ибо обладают такой силой и крепостью духа, что стрелы злого рока, попадая в них, неизбежно должны отскакивать и притупляться, как от встречи с твердым телом, в которое им не проникнуть. Люди обыкновенные, средние, находятся между двумя этими крайностями — они сознают свои беды, ощущают их и не имеют силы их перенести. Детство и старческая дряхлость сходны умственной слабостью, алчность и расточительность — стремлением приобретать, увеличивать свое достояние.

Есть все основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества так же создается и порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею.

Простые умы, мало любознательные и мало развитые, становятся хорошими христианами из почтения и покорности; они бесхитростно веруют и подчиняются законам. В умах, обладающих средней степенью силы и средними способностями, рождаются ошибочные мнения. Они следуют за поверхностным здравым смыслом и имеют некоторое основание объяснять простотой и глупостью то, что мы придерживаемся старинного образа мыслей, имея в виду тех из нас, которые не просвещены наукой. Великие умы, более основательные и проникновенные, являют собой истинно верующих другого рода: они длительно и благоговейно изучают священное писание, обнаруживают в нем более глубокую истину и, озаренные ее светом, понимают сокровенную и божественную тайну учения нашей церкви. Все же мы видим, что некоторые достигают этой высшей ступени через промежуточную, испытав при этом величайшую радость и убежденность в том, что ими достигнута последняя грань христианского просвещения, и на-

слаждаются своей победой, нравственно перерожденные, исполненные умиления, благодарности и величайшей скромности. Но в их число я не хотел бы включить тех людей, которые, желая очиститься от всякого подозрения в склонности к своим прежним заблуждениям и убедить нас в своей твердости, впадают в крайность, становятся нетерпимыми и несправедливыми в отстаивании нашего дела и пятнают его, вызывая постоянные упреки в жестокости.

Простые крестьяне — честные люди; честные люди также — философы или в наше время натуры сильные и просвещенные, обогащенные широкими познаниями в области полезных наук. Метисы, пренебрегшие первой ступенью полной безграмотности и не достигшие ступени высшей (то есть сидящие между двух стульев, как, например, я сам и многие другие) являются людьми опасными, неразумными, докучными: они-то и вносят в мир смуту. Что касается меня, то я стараюсь, насколько это в моих силах, вернуться к первоначальному, естественному состоянию, которое совсем напрасно пытался покинуть.

Народная и чисто природная поэзия отличается непосредственной свежестью и изяществом, которые уподобляют ее основным красотам поэзии, достигшей совершенства, благодаря искусству, как свидетельствуют об этом гасконские вилланели[6] и песни народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности. Поэзия посредственная, занимающая место между этими двумя крайностями, находится в пренебрежении, не ценится и не почитается.

Однако, предавшись подобным умственным изысканиям, я увидел, как это часто бывает, что мы принимали за трудную и необычную работу то, что на самом деле не таково; находчивость наша, обострившись, обнаруживает бесконечное количество подобных примеров. Я приведу здесь только один: если стоит говорить об этих моих опытах, то может случиться, думается мне, что они не придутся по вкусу ни умам грубым и пошлым, ни умам исключительным и выдающимся. Те их не поймут, эти поймут слишком хорошо; и придется им удовольствоваться читателем среднего умственного уровня.

Глава LV

О ЗАПАХАХ

О некоторых людях — к ним относится Александр Великий — говорят, что их пот издавал приятный запах, благодаря каким-то редким и исключительным особенностям их телесного устройства. Причину этого пытались выяснить Плутарх и другие.[1] Но обычно человеческие тела устроены совсем по-иному: лучше всего, если они вовсе не имеют запаха. Самым чистым и сладостным дыханием — например, дыханием здорового ребенка — мы восхищаемся потому, что оно лишено какого бы то ни было неприятного запаха. Вот почему, как говорит Плавт,

Mulier tum bene olet, ubi nihil olet.[2]

Лучше всего ведет себя та женщина, о поведении которой ничего не знают и не слышат. Что же касается приятных запахов, заимствованных извне, то мне кажется правильным мнение, что люди пользуются духами для того, чтобы скрыть какой-нибудь природный недостаток. Отсюда такое отождествление у древних поэтов: благоухание у них часто означает вонь —

Rides nos, Coracine, nil olentes
Malo quam bene olere nil olere,[3]

и в другом месте:

Posthume, non bene olet, qui bene semper olet.[4]

Тем не менее я очень люблю вдыхать приятные запахи и до крайности ненавижу дурные, ибо к ним я чувствительнее, чем кто-либо другой:

Namque sagacius unus odoror,
Polypus, an gravis hirsutis cubet hircus in alis,
Quam canis acer ubi lateat sus.[5]

Самые простые и естественные запахи для меня всего приятнее. И это в особенности касается женщин. Во времена самого грубого варварства скифские женщины, помывшись, пудрили и мазали себе лицо и тело ароматическим снадобьем, распространенным в их стране; перед тем, как сблизиться с мужчиной, они снимали эти притирания, и тело их становилось гладким и благоухающим.

Удивительно, до какой степени пристают ко мне всевозможные запахи, до какой степени моя кожа обладает способностью впитывать их в себя. Тот, кто жалуется, что природа не наделила человека особым орудием для того, чтобы подносить запахи к носу, неправ, ибо запахи сами проникают в нос. Мне же, в частности, очень помогают в этом отношении мои пышные усы. Стоит мне поднести к ним мои надушенные перчатки или носовой платок, и запах будет держаться на них потом целый день. По ним можно обнаружить, откуда я пришел. Когда-то, в дни юности, крепкие поцелуи, сладкие, жадные и сочные, прилипали к ним и часами удерживались на них. И, однако, я мало подвержен тем повальным болезням, которые передаются при соприкосновении человека с человеком или через зараженный воздух. В свое время я счастливо избег таких заболеваний, свирепствовавших в наших городах и среди войск. О Сократе мы читаем, что хотя он не покидал Афин в то время, как их несколько раз посещала чума, ему одному ни разу не случилось заболеть.[6] Я полагаю, что врачи могли бы лучше использовать запахи, чем они это делают, ибо часто замечал, что от запахов изменяется мое состояние, так они действуют на настроение моего духа в зависимости от своих свойств. И в этом я нахожу подтверждение моего взгляда, что употребление ладана и других ароматов в церквах, распространен-

ное с древнейших времен среди всех народов и во всех религиях, имеет целью пробудить, очистить и возвеселить наши чувства, сделав нас тем самым более способными к созерцанию.

Чтобы лучше судить об этом, я хотел бы попробовать стряпню тех поваров, которые умеют приправлять кушанья различными ароматическими веществами, как это особенно наблюдалось за столом короля тунисского, который в наши дни прибыл в Неаполь для свидания с императором Карлом.[7] У него кушанья начинялись душистыми пряностями, и притом так щедро, что один павлин и два фазана, приготовленные по их способу, обходились в сотню дукатов. Когда их разрезали, то не только в пиршественной зале, но и во всех комнатах дворца и даже в соседних домах распространялись сладостные испарения, которые не скоро улетучивались.

Отыскивая себе жилье, я прежде всего заботусь о том, чтобы избежать тяжелого и зловонного воздуха. Пристрастие, которое я питаю к прекрасным городам Венеции и Парижу, ослабляется из-за острого запаха стоячей воды в Венеции и грязи в Париже.

Глава LVI

О МОЛИТВАХ[1]

Я предлагаю вниманию читателя мысли неясные и не вполне законченные, подобно тем, кто ставит на обсуждение в ученых собраниях сомнительные вопросы: не для того, чтобы найти истину, но чтобы ее искать. И я подчиняю эти свои мысли суждению тех, кто призван направлять не только мои действия и мои писания, но и то, что я думаю. Мною принято будет и обращено мне же на пользу осуждение так же, как и одобрение, ибо сам я сочту нечестием, если окажется, что по неведению или небрежению, позволил себе высказать что-либо противное святым установлениям католической апостольской римской церкви, в которой умру и в которой родился. И все же, отдаваясь всегда во власть их цензуры, которой целиком подчиняюсь, я имею дерзновение коснуться здесь подобных предметов.

Не знаю, ошибочно ли мое мнение, но поскольку богу угодно было по особой своей милости и благоволению предписать нам и продиктовать собственными устами особый вид молитвы, мне всегда казалось, что мы должны были бы пользоваться ею чаще, чем мы это делаем. И по убеждению моему, перед едой и после еды, перед сном и после пробуждения и при всех обстоятельствах вообще, при которых мы имеем обыкновение молиться, христианам следовало бы читать „отче наш“, если не в качестве единственной молитвы, то во всяком случае неизменно. Церковь может увеличить количество молитв, разнообразить их, наставляя нас в том или ином отношении по мере надобности: ибо я хорошо

знаю, что сущность их и предмет всегда одни и те же. Но этой именно молитве следовало бы дать то преимущество, чтобы она, постоянно была на устах у людей. Ибо не подлежит сомнению, что в ней сказано все необходимое и что она подходит для всех случаев жизни. Это единственная молитва, которой я пользуюсь неизменно и я повторяю ее, вместо того чтобы заменить другой.

Благодаря этому ни одной молитвы я не помню так хорошо, как эту.

Теперь я думаю о том, откуда взялось у нас ошибочное стремление прибегать к богу во всех наших намерениях и предприятиях, призывать его во всех наших нуждах и во всех делах, в которых нам по слабости нашей требуется помощь, не заботясь о том, справедливы или несправедливы наши желания, и взывать к имени его и могуществу во всяком положении и во всяком деле, даже в самом порочном.

Конечно, он — единственный наш защитник, и в его власти все средства, чтобы нам помочь. Но, не говоря уже о том, угодно ли ему будет удостоить нас своей сладостной отеческой милости, он так же справедлив, как благостен и всемогущ. И справедливость свою он являет чаще, чем всемогущество, благодетельствуя нам в меру ее требований, а не согласно нашим просьбам.

Платон в своих законах указывает на три ошибочных суждения о богах: что их вовсе нет, что они не вмешиваются в наши дела и что они ни в чем не отказывают нам, когда мы прибегаем к ним с молитвами, обетами и жертвоприношениями. По его мнению, никогда не бывает, чтобы первое из названных заблуждений прочно укоренялось в человеке с детства до старости. Два других могут оказаться более упорными.[2]

Справедливость божия и его могущество нераздельны. Тщетно призываем мы силу его к себе на помощь в неправом деле. Хотя бы в то мгновение, когда мы обращаемся к нему с молитвой, душа у нас должна быть чистой и свободной от порочных страстей; в противном случае мы сами подносим ему те бичи, которыми он нас карает. Вместо того, чтобы очиститься от греха, мы удваиваем его, прибегая к тому, у кого должны просить прощения,

с чувствами неблагоговейными и полными ожесточения. Вот почему я не слишком восхищаюсь теми, кто молится богу особенно часто и усердно, если их поступки, совершаемые после молитвы, не свидетельствуют о раскаянии и исправлении:

si, nocturnus adulter,
Tempora santonico velas adoperta cucullo.[3]

И поведение человека, который гнусную жизнь сочетает с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека, верного себе во всем и всегда одинаково порочного. Вот почему наша церковь всегда отвергает от себя человека, упорствующего в каком-нибудь важном грехе, и закрывает перед ним свои двери.

Молимся мы по обычаю и по привычке или, вернее сказать, мы просто читаем или произносим слова молитв. В конце концов, это всего-навсего личина благочестия.

Мне противно бывает, когда люди трижды осеняют себя крестом во время benedicite[4] и столько же раз во время благодарственной молитвы, а во все остальные часы дня упражняются в ненависти, жадности и несправедливости; и тем более противно мне это, что сам я весьма почитаю крестное знамение, постоянно осеняю себя крестом и даже, зевая, крещу себе рот. Порокам свой час, богу — свой; так люди словно возмещают и уравновешивают одно другим. Просто диву даешься, как это столь разные дела совершают они одно за другим и с таким неизменным рвением, что при этом не замечается никакого перерыва, никакого изменения даже при переходе от одного к другому.

Поистине чудовищной должна быть совесть, которая остается невозмутимой, давая приют под одной кровлей, в столь согласном и мирном сообществе, и преступнику и судье! Что может говорить о делах своих господу человек, у которого на уме одно только распутство и который знает, сколь мерзостно оно пред лицом господа? Он обращается к богу лишь для того, чтобы тотчас же снова пасть. Если, как он уверяет, мысль о божьем правосудии и ощущение его во время молитвы поражают и потрясают

его душу, то, как бы кратко ни было раскаяние, один страх божий так часто возвращал бы его мысль к покаянию, что он тотчас же побеждал бы угнездившиеся и укоренившиеся в нем пороки. Но что сказать о тех, вся жизнь которых основана на том, что они пожинают плоды и выгоды порока, зная, что он есть смертный грех? А сколько у нас занятий и должностей, по самой природе своей порочных! Один человек, открывшись мне, признался в том, что всю свою жизнь исповедовал догматы религии и выполнял ее обряды, хотя и отвергал их в душе, для того чтобы не утратить своего высокого положения и почетных должностей. Как хватило у него духа сделать подобное признание? Каким языком говорят эти люди, обращаясь к правосудию божию? Не дано им право перед богом и перед нами ссылаться на свое раскаянье, ибо оно проявляется лишь в часто внешнем и поверхностном исправлении. Или они дерзновенно решаются просить прощения, даже не помышляя об искуплении и раскаянии? Я полагаю, что с ними дело обстоит так же, как и с теми, о которых я говорил раньше, только упорство их труднее побороть. Эта противоречивость, эта столь внезапная резкая переменчивость мнений, которую они выказывают, притворяясь перед нами, кажется мне каким-то чудом.

Они являют нам душу в состоянии невыносимой агонии. Каким извращенным представлялось мне воображение тех людей, которые в недавнее время имели обыкновение упрекать каждого, кто сохранял ясность мысли, исповедуя католическую веру, якобы в притворстве, да еще к тому же утверждать, — повидимому, желая ему польстить, — что он лишь с виду католик, а в душе не может не признавать истинной религию, реформированную на их лад! Какое докучное и болезненное заблуждение — мнить себя столь мудрым, что даже не допускать мысли о возможности кому-либо другому думать совсем иначе! А еще хуже то, что подобные люди полагают, будто этот другой готов переменчивость земных судеб поставить выше надежд на вечное спасение и угрозы вечного проклятия. Они могут мне поверить. Ибо если в мои юные годы что-нибудь могло совратить меня, то честолюбивое

стремление бросить вызов судьбе и преодолеть все опасности, связанные с недавними событиями, сыграло бы здесь немаловажную роль.

Не без достаточных оснований, думается мне, церковь запрещает слишком свободно, смело и неосмотрительно пользоваться теми священными и божественными песнопениями, которые дух святой вложил в уста царя Давида. Примешивать бога к делам нашим допустимо лишь с должным благоговением и осторожностью, проникнутой почитанием и уважением. Голос этот — слишком божественный, чтобы воспроизводить его только ради упражнения легких и удовольствия, доставляемого нашему слуху; эти слова должна повторять совесть наша, а не язык. Безрассудно было бы допускать, чтобы какой-нибудь приказчик из лавки забавлялся и развлекался ими вперемежку со своими суетными и пустыми помыслами.

Столь же неразумно было бы позволять, чтобы в общей зале или на кухне валялись священные книги, излагающие божественные тайны нашей веры. Когда-то они были тайнами, а теперь служат для развлечения и забавы. Предмет столь важный и достойный почитания нельзя изучать в сутолоке и мимоходом. К нему надо приступать сосредоточенно и степенно, предпосылая изучению, в качестве вступления, слова, которыми начинается церковная служба: Sursum corda,[5] и даже тело наше необходимо привести в положение, свидетельствующее об особом внимании и уважении.

Это занятие не для всех и каждого: оно подобает лишь тем, кто посвятил себя ему, кто призван для этого богом. Дурным и невежественным людям оно принесет только вред. Священная история не рассказывается для развлечения — ей должно внимать в духе благоговения, смирения и почитания. Как смешны люди, возомнившие, что сделали ее доступной народу, изложив на народном языке! Словно ему достаточно разобраться в словах, чтобы понять все, что написано! Я сказал бы даже больше: вместо того, чтобы приблизить простого человека к священной книге, они удаляют его от нее. Полное незнание, во всем полагающееся на других, было более спасительным и более мудрым, чем эта чисто

словесная и пустая наука, питающая в людях самомнение и дерзость.

Я думаю также, что в предоставлении каждому свободы распространять столь важные и священные слова на всевозможных языках гораздо больше опасности, чем пользы. Евреи, магометане и почти все другие народы приняли и почитают тот язык, на котором впервые открылись им тайны их веры. И не без основания у них запрещено заменять его каким-либо другим. Можем ли мы сказать, что у басков или бретонцев найдутся судьи, достаточно сведущие для того, чтобы установить, правильно ли переведено священное писание на их язык? Для церкви вселенской вопрос этот самый насущный и трудный. В проповедях и словесных поучениях даются толкования менее определенные, более свободные и текучие, и к тому же — по отдельным вопросам, так что это совсем не одно и то же.

Один из греческих историков-христиан справедливо порицает свое время за то, что тайны христианской веры свободно распространялись тогда на площадях, попадая в руки каких-нибудь ничтожных ремесленников и что каждый мог обсуждать их и толковать по-своему. Он говорит также, что для нас, — по благодати божией обладающих чистейшими тайнами благочестия, — величайший стыд допускать, чтобы тайны эти опошлялись в устах простых и невежественных людей, — ведь даже язычники запрещали Сократу, Платону и другим величайшим мудрецам говорить и рассуждать о предметах, порученных ведению дельфийских жрецов. Говорит он и о том, что когда государи берут ту или иную сторону в богословских спорах, они бывают вооружены не религиозным рвением, но гневом, что рвение воодушевляется божественным разумом и справедливостью и потому всегда спокойно и умеренно в своих проявлениях, однако может увлекаемое страстью человеческой превратиться в ненависть и зависть, и тогда вместо пшеницы и винограда оно производит плевелы и крапиву. Другой историк, давая советы императору Феодосию, правильно указывал, что диспуты не столько устраняют несогласия в церкви, сколько возбуждают и воодушевляют еретические учения, и что

поэтому следует избегать всяческих споров и словопрений и опираться исключительно на предписания и догматы, установленные древними. А император Андроник, встретив у себя во дворце двух вельмож, споривших с Лопадием[6] по одному из важнейших вопросов нашей веры, сурово выбранил их и даже пригрозил утопить в реке, если они тотчас же не перестанут.

В наши дни дети и женщины оспаривают мнения людей самого почтенного возраста и наиболее умудренных в вопросах церковных законов, между тем как первый же закон Платона запрещал им даже осведомляться об основаниях гражданских законов, которые для них должны были являться установлениями божественными. Разрешая старцам обсуждать вопросы законодательства между собой и с должностными лицами, этот платоновский закон добавляет: с тем, чтобы это не происходило в присутствии молодежи или непосвященных.

Некий епископ писал, что на другом конце света есть остров, у древних называвшийся Диоскоридой,[7] который отличается здоровым климатом, плодородием, изобилует всякого рода деревьями и плодами и населен племенем, исповедующим христианство, имеющим церкви и алтари, украшенные одним лишь крестом безо всяких других изображений. Люди эти тщательно соблюдают посты и праздники, усердно платят десятину священникам и столь целомудренны, что ни один из них не может знать больше одной женщины за всю свою жизнь. Впрочем, они так довольны своей судьбой, что, живя на острове посреди моря, не имеют понятия о кораблях, и настолько простодушны, что ни слова не разумеют в религиозном учении, которому так старательно следуют. Это могло бы показаться невероятным тому, кто не знает, что некоторые язычники — ревностные идолопоклонники, — о богах своих не ведают ничего, кроме их имен и статуй.

Старинное начало „Меланиппы“, трагедии Эврипида, гласило:

О Юпитер! Ибо ничего не знаю я о тебе,
Кроме одного твоего имени.[8]

В наше время мне приходилось слышать жалобы на некоторые произведения, которые упрекают за то, что содержание их —

слишком человеческое и философское безо всякой примеси богословских рассуждений. Но на подобные жалобы можно не без основания возразить, что божественному учению гораздо лучше занимать особое место, подобающее ему, как царствующему и господствующему; что оно всюду должно быть главенствующим, а не играть подсобной и второстепенной роли; что рассуждения человеческого и философского характера подкреплять примерами из грамматики, риторики, логики гораздо уместнее, чем из предмета столь священного, и что их также лучше брать из области театра, игр и публичных зрелищ; что божественные основания рассматриваются с бо́льшим уважением и почитанием, взятые в отдельности и в соответствующих им выражениях, а не в связи с рассуждениями о человеческом; что гораздо чаще грешат богословы, употребляющие слишком земные слова, чем гуманисты, пишущие недостаточно возвышенно (философия, говорит Иоанн Златоуст, изгонялась святой наукой, как бесполезная служанка, не достойная видеть даже мимоходом, с порога, хранилище священных сокровищ небесного учения); что человеческой речи свойственны формы более низменные и ей не подобают возвышенное достоинство, величие и царственность слова божия. Я бы предоставил ей говорить verbis indisciplinatis[9] о судьбе, предназначении, случайности, счастье и несчастье, о богах и употреблять другие, свойственные ей выражения.

Я предлагаю домыслы человеческие, и в том числе мои собственные, просто как человеческие, взятые обособленно, а не как установленные и упорядоченные небесным повелением и потому неподлежащие сомнению и непререкаемые: это — дело взгляда на вещи, а не дело веры; как то, что я обсуждаю, согласно своему разумению, а не как то, во что я верю по слову божию. Они подобны тем упражнениям, которые задают детям и которые никак не поучительны, а наоборот, сами нуждаются в поучении. Все это я обсуждаю с мирской точки зрения, а не церковной, хотя и в глубоко благочестивом духе.

И не следует ли считать основательным, во многих отношениях полезным и справедливым предписание о том, чтобы по вопросам

религии лишь с чрезвычайной осторожностью писали все те, кто не предназначен для этого по своему положению? Мне же, быть может, лучше всего не говорить о подобных вещах.

Меня уверяли, что даже те, кто не принадлежит к нашей вере, запрещают у себя употреблять имя божие в повседневной речи. Они не желают, чтобы им пользовались для призывов и восклицаний, для клятв или сравнений, и я нахожу, что в этом они правы. При каких обстоятельствах ни призывали бы мы бога посреди наших мирских дел и в общении друг с другом, — это должно совершаться серьезно и благоговейно.

Кажется, у Ксенофонта есть одно место, где он говорит, что нам следует реже молиться богу, поскольку не так легко привести свою душу в состояние сосредоточенности, чистоты и благоговения, в котором ей следует находиться во время молитвы. Иначе моления наши не только тщетны и бесполезны, но даже греховны.[10] Прости нам, говорим мы, как мы прощаем своим обидчикам. Что это значит, если не то, что мы отдаем ему свою душу, очищенную от вражды и жажды мщения? И тем не менее мы обычно взываем к помощи божией даже в греховных своих стремлениях и молим его совершить несправедливость:

Quae, nisi seductis, nequeas committere divis.[11]

Скупец молится о сохранении своих суетных и излишних сокровищ, честолюбец — о победах, о возможности свободно отдаваться своей страсти; вор просит помочь ему преодолеть опасности и затруднения, противостоящие его зловредным замыслам, или же благодарит за легкость, с которой ему удалось ограбить прохожего. У порога дома, в который грабители пытаются проникнуть по приставной лестнице или взломав замок, возносят они молитвы, питая намерения и надежды, полные жестокости, жадности и сластолюбия:

Hoc ipsum quo tu Iovis aurem impellere tentas,
Dic agedum Staio: Proh Iuppiter, o bone, clamet,
Iuppiter! at sese non clamet Iuppiter ipse.[12]

Королева Маргарита Наваррская рассказывает о некоем молодом принце (и, хотя она не называет его, легко догадаться, кто это), что направляясь на любовное свидание с женой одного парижского адвоката, он должен был проходить мимо церкви, и всякий раз, дойдя до этого святого места, он произносил молитву.[13] Предоставляю вам самим судить, для чего ему, преисполненному столь благих помыслов, нужна была помощь божия. Впрочем, королева Наваррская упоминает об этом в доказательство его исключительного благочестия. Но не один этот пример свидетельствует о том, что женщины совершенно не способны рассуждать на богословские темы.

Истинная молитва, истинное примирение с богом не могут быть доступны душе нечистой, да еще в тот миг, когда она находится во власти Сатаны. Тот, кто призывает помощь божию в порочном деле, поступает так, как поступил бы вор, залезший в чужой кошелек и в то же время взывающий к правосудию, или как те, кто упоминает имя божие, лжесвидетельствуя:

tacito mala vota susurro
Concipimus.[14]

Мало найдется людей, которые решились бы открыто высказать то, о чем они тайно просят бога:

Haud cuivis promptum est murmurque humilesque susurros
Tollere de templis, et aperto vivere voto.[15]

Вот почему пифагорейцы требовали, чтобы люди молились публично и вслух, дабы у бога не просили они о вещах недостойных и неправедных, в таком, например, роде:

clare cum dixit: Apollo!
Labra movet, metuens audiri: Pulchra Laverna,
Da mihi fallere, da iustum sanctumque videri.
Noctem peccatis et fraudibus obice nubem.[16]

Боги выполнили неправедные молитвы Эдипа для того, чтобы жестоко покарать его за них. Он молил о том, чтобы дети его силою оружия решили между собою спор о наследовании его пре-

стола, и имел несчастье быть пойманным на слове. Не о том следует просить, чтобы все шло по нашему желанию, а о том, чтобы все шло согласно требованиям разума.

И в самом деле, кажется, что мы пользуемся нашими молитвами, словно каким-то условным языком, подобно тем, кто святые и божественные слова применяет для волшебства и магических целей, и что мы полагаем, будто действие молитвы зависит от расположения и последовательности слов, от их звучания или от движений, которые мы делаем во время молитвы. Ибо с душой, полной вожделений, не затронутой раскаяньем или подлинным желанием вновь примириться с богом, мы обращаем к нему эти слова, которые подсказывает нам память, и надеемся таким образом искупить свои прегрешения. Нет ничего более кроткого, ласкового и милосердного к нам, чем божественный закон: он призывает нас к себе, как бы мерзостны и грешны мы ни были; он открывает нам объятия и принимает в лоно свое, как бы мы ни были гнусны, грязны и отвратительны и сейчас и в будущем. Но зато и мы должны взирать на него чистыми очами. Мы должны принимать это прощение с величайшей благодарностью, и хотя бы в то мгновение, когда обращаемся к богу, ощущать всей душой своей отвращение к своим грехам и ненависть к страстям, которые заставили нас преступить божий закон. Ни боги, ни благомыслящие люди, говорит Платон, не принимают даров от злых.[17]

Immunis aram si tetigit manus,
Non sumptuosa blandior hostia,
Mollivit aversos Penates
Farre pio et saliente mica.[18]

Глава LVII

О ВОЗРАСТЕ

Я не знаю, на основании чего устанавливаем мы продолжительность нашей жизни. Я вижу, что, по сравнению с общим мнением на этот счет, мудрецы сильно сокращают ее срок. „Как, — сказал Катон Младший тем, кто хотел помешать ему покончить с собой, — неужели, по-вашему, я настолько молод еще, что заслуживаю упрека в желании слишком рано уйти из жизни?“.[1] А ему было всего сорок восемь лет. Сообразуясь с тем, что лишь немногие люди достигают этого возраста, он считал его весьма зрелым и преклонным. Те же, кто ссылается на какой-то другой срок, который они считают естественным и который обещает еще несколько лет жизни, могли бы делать это с некоторым основанием, если бы обладали преимуществом, избавляющим их от бесчисленных случайностей, которым каждый из нас подвержен по самой природе вещей и которые всегда могут сократить этот положенный, по их мнению, срок. Какое тщетное мечтание — надеяться на смерть от истощения сил вследствие глубокой старости и считать, что этим определяется продолжительность нашей жизни! Ведь этот род смерти наиболее редкий и наименее обычный из всех. Мы называем естественным только его, как будто для человека неестественно сломать себе шею при падении, утонуть во время кораблекрушения, схватить чуму или воспаление легких, и как будто обычные условия нашего существования не подвергают нас всем подобным бедствиям. Не будем обольщаться прият-

ными словами: естественным гораздо правильнее считать то, что оказывается наиболее распространенным, обычным и всеобщим. Умереть от старости — это смерть редкая, исключительная и необычная, это последний род смерти, возможный лишь как самый крайний случай, и чем более удалена от нас такая возможность, тем меньше оснований на нее рассчитывать. Разумеется, это тот предел, который мы никогда не переступим и который закон природы не разрешает нам переступать; и этот закон лишь очень редко позволяет нам дожить до предела. Это исключительный дар, которым природа особо награждает какого-нибудь одного человека на протяжении двух-трех столетий, избавляя его от опасностей и трудностей, которые непрерывно встречаются на столь долгом жизненном пути.

Поэтому, на мой взгляд, достигнутый нами возраст надо рассматривать как такой, которого достигают лишь немногие люди. Поскольку обычно людям не дано бывает дойти до него, это признак того, что нам удалось далеко зайти. И раз мы перешли обычные границы, которые и являются подлинной мерой длительности нашего существования, нам не следует надеяться на то, что путь наш еще удлинится. Мы уже избежали стольких случаев умереть, постоянно подстерегающих человека, что должны признать столь необычно поддерживающее нас счастье совершенно исключительным и не рассчитывать на то, что оно продлится.

Сами законы наши повинны в том, что нами овладевает это ложное самообольщение: они не считают человека способным располагать его имуществом до двадцати пяти лет, а ведь ему далеко не всегда удается дожить до этого возраста. Август сбавил пять лет по сравнению со старинными римскими установлениями, объявив, что для занятия судейских должностей достаточно иметь тридцать лет. Сервий Туллий освободил всадников, достигших сорока семи лет, от военной повинности; Август еще снизил этот срок до сорока пяти лет. Мне же кажется, что нет особых оснований отпускать людей на покой ранее пятидесяти пяти — шестидесяти лет. Мое мнение таково, что в интересах общества — дать нам возможность как можно дольше исправлять занимаемые нами долж-

ности, но я считаю, с другой стороны, что нам следует открывать к ним доступ раньше. Сам Август девятнадцати лет решал судьбы мира, а в то же время он издает указ, что надо достигнуть тридцати лет, чтобы решать вопрос о том, где установить какой-нибудь сточный жолоб.

Мой личный взгляд таков, что к двадцати годам душа человека вполне созревает, как и должно быть, и что она раскрывает уже все свои возможности. Если до этого возраста душа человеческая не выказала с полной очевидностью своих сил, то она уже никогда этого не сделает. Именно к этому сроку наши природные качества и добродетели должны проявить себя с полной силой и красотой или же они никогда не проявят себя:

Раз шип не острый с первых дней,
Потом не станет он острей, —

говорят в Дофине.

Из всех известных мне прекрасных деяний человеческих, каковы бы они ни были, гораздо больше, насколько мне кажется, совершалось до тридцатилетнего возраста, чем позднее. Так было в древности, так и в наше время, и часто в жизни одного и того же человека: ведь это с полной уверенностью можно сказать о Ганнибале и о его великом противнике Сципионе. Добрая половина их жизни была прожита за счет славы, которую они стяжали в молодости: позже они тоже были великими людьми, но лишь по сравнению с другими, а не с самими собой. Что касается меня лично, то я с полной уверенностью могу сказать, что с этого возраста мой дух и мое тело больше утратили, чем приобрели, больше двигались назад, чем вперед. Возможно, что у тех, кто умеет хорошо использовать свое время, знание и опыт растут вместе с жизнью, но подвижность, быстрота, стойкость и другие душевные качества, непосредственно принадлежащие нашему существу, более важные и основные, слабеют и увядают:

ubi jam validis quassatum est viribus aevi
Corpus, et obtusis ceciderunt viribus artus,
Claudicat ingenium, delirat linguaque mensque.[2]

Иногда первым уступает старости тело, иногда душа. Я видел достаточно примеров, когда мозг ослабевал раньше, чем желудок или ноги. И это зло тем опаснее, что оно менее заметно для страдающего и проявляется не так открыто. Вот почему я и сетую не на то, что законы слишком долго не освобождают нас от дел и обязанностей, а на то, что они слишком поздно допускают нас к ним. Мне кажется, что, принимая во внимание бренность нашей жизни и все те естественные и обычные подводные камни, которые она встречает на своем пути, не следовало бы придавать такое большое значение происхождению и уделять столько времени обучению и праздности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ф. А. Коган-Бернштейн

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ И ЕГО „ОПЫТЫ“

„Опыты“ Мишеля Монтеня — один из замечательных памятников французской общественно-политической мысли XVI в. Написанные в 70-х годах XVI в. „Опыты“ Монтеня представляют собой произведение особого рода, не имеющее ничего общего со специальным философским трактатом или сочинением на определенную социально-политическую тему. Избранный Монтенем жанр являлся литературным новшеством и давал Монтеню возможность совершенно свободно и непринужденно излагать свои мысли по любому поводу.

Монтень задумал написать свои „Опыты“ как своего рода автохарактеристику, считая ее предназначенной для ограниченного круга читателей, способных заинтересоваться результатами его самонаблюдения и самоанализа. А вместо этого получилась книга, резюмирующая самые передовые устремления мысли той эпохи, мастерское и оригинальнейшее произведение французской и вообще мировой литературы, не утратившее интереса до настоящего времени и по сей день привлекающее к себе внимание многочисленных читателей.

В одном из своих последних „опытов“ Монтень замечает: „Я пишу свою книгу для немногих людей и не на долгие годы“.[1] Но Монтень здесь решительно ошибся: и число читателей „Опытов“ стало

[1] Кн. III, гл. IX.

неопределенно великим, и книга оказалась тем, что Фукидид называет „приобретением навек“.

В буржуазной литературе Монтеню посвящено огромное количество работ. Достаточно сослаться на вышедшую в 1942 г. краткую библиографию С. Танненбаума, которая содержит 2983 названия.[1]

Но среди этих работ совершенно нет таких, которые правильно выясняли бы мировоззрение Монтеня и историческое значение его „Опытов“.

Представители буржуазной историографии, упорно стремящиеся оживить все самые реакционные идеи средневековья, всячески стараются исказить подлинный смысл и значение философии Монтеня. Все силы мракобесия и реакции поставлены ныне на службу борьбы против марксизма. Вновь вытащены на свет и приняты на вооружение реакционной буржуазной философии истрепанные доспехи мракобесия и поповщины.

Многие представители буржуазной науки отбрасывают или трусливо замалчивают все передовое и подлинно ценное в мировоззрении Монтеня и всячески раздувают его противоречия и слабые стороны. Тем настоятельнее задача советских историков и философов разоблачить старания фальсификаторов.

„Опыты“ Монтеня писались в период крутой ломки общественных отношений во Франции, вызванной процессом так называемого капиталистического первоначального накопления. В это время в недрах французского феодального общества происходили глубокие сдвиги, связанные с возникновением и ростом нового, капиталистического хозяйства.

Зарождение новых производственных отношений сопровождалось возникновением зачатков новой надстройки, новых форм идеологии, более приспособленных к новым экономическим и социальным формам.

Для французской экономики рассматриваемого периода характерно усиленное развитие промышленности, причем многие отрасли

[1] S. Tannenbaum. Michel de Montaigne, a concise bibliography. New York, 1942.

ее развиваются в виде мануфактуры. „Как характерная форма капиталистического способа производства, — пишет Маркс о мануфактуре, — она господствует в течение мануфактурного периода в собственном смысле этого слова, т. е., приблизительно, с половины XVI столетия до последней трети XVIII“.[1] Первые шаги капиталистического производства ознаменовались возникновением таких отраслей промышленности, которые переросли уже рамки цехового ремесла. Таковы были, например, суконное производство в Пуату, льняное и полотняное в Бретани, Лионе и Нормандии, шелковое в Туре, Лионе, Орлеане и других местах. Развивались также мануфактуры ковровые, стекольные, зеркальные и фаянсовые. Большие успехи наблюдались в производстве предметов вооружения — французские пушки славились по всей Европе, — в добывающей промышленности и, в особенности, в производстве предметов роскоши. Все интенсивнее шел процесс образования внутреннего рынка и накопления значительных капиталов как во внутренней торговле, так, особенно, во внешней, благодаря тем оживленным торговым сношениям, которые связывали Францию как с различными европейскими странами — Англией, Испанией, Нидерландами, — так и с Востоком. XVI век во Франции — это период создания больших капиталов, нажитых в торговле и кредитных операциях и постепенно овладевающих производством.

Как и в других странах, период первоначального капиталистического накопления во Франции ознаменовался сильнейшим обострением классовой борьбы. Положение широких народных масс города и деревни резко ухудшилось. Кроме эксплоатации со стороны исконних угнетателей крестьян — дворянства и церкви, французские крестьяне подвергались еще нещадной эксплоатации со стороны все глубже проникавшего в деревню ростовщического капитала, а также эксплоатации со стороны государства. Налоги с крестьян были главным источником содержания все разраставшегося аппарата централизованного государства. Государство становится мощным орудием, не только содействующим эксплоатации, но и прямо

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 803.

эксплоатирующим непосредственных производителей путем системы налогов, государственного долга и т. д. Все эти платежи и повинности, неуклонно возраставшие с развитием капиталистического хозяйства, опутывали хозяйство крестьянина, резко ухудшая его положение. На усилившийся гнет крестьянство отвечало ожесточенным сопротивлением — вспыхивавшими то тут, то там восстаниями. Непрекращающиеся волнения происходили и среди трудящихся масс города, особенно среди подмастерьев и учеников, эксплоатация которых значительно усилилась в связи с происходившим в это время процессом расслоения внутри цехов, выделением мастеров в особую замкнутую привилегированную группу, которым противостояли угнетаемые ими подмастерья и ученики, все более превращавшиеся в пролетариев, продающих свою рабочую силу.

Такие типичные явления для периода первоначального капиталистического накопления, как массовая нищета и бродяжничество, широко распространенные в это время в большинстве европейских стран, характерны и для Франции. Маркс писал по этому поводу: „... в конце XV и в течение всего XVI века во всех странах Западной Европы издаются кровавые законы против бродяжничества. Отцы теперешнего рабочего класса были прежде всего подвергнуты наказанию за то, что их насильственно превратили в бродяг и пауперов“.[1]

Как сказано, в соответствии с изменениями, происходившими в экономическом строе французского общества на данном этапе его развития, изменялись и формы политического господства: во Франции в это время устанавливается особая форма феодального государства — абсолютная монархия. „Абсолютная монархия, — указывает Маркс, — возникает в переходные эпохи, когда старые феодальные сословия разлагаются, а средневековые сословия горожан складываются в современный класс буржуазии, и ни одна из спорящих сторон не взяла еще перевеса над другой“.[2] „Таким обра-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 803.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр 222.

зом, — прибавляет Маркс, — элементы, на которых зиждется абсолютная монархия, ни в коем случае не являются ее продуктом, наоборот, они образуют ее социальную основу". По своей классовой сущности абсолютная монархия остается диктатурой дворянского класса, дворянство является господствующим классом, но это не мешает дворянскому государству, заинтересованному в новых источниках доходов, поддерживать на данном этапе своего развития буржуазию. В поддержке, оказываемой в этот период абсолютизмом капиталистическому развитию своей страны и буржуазии, состоит важная прогрессивная роль абсолютной монархии. Поэтому классики марксизма-ленинизма характеризуют абсолютную монархию этого периода как явление прогрессивное. В эту пору, по словам Маркса, „абсолютная монархия выступает в качестве цивилизующего центра, в качестве основоположника национального единства".[1] Эту характеристику абсолютной монархии нам необходимо будет иметь в виду при оценке политических позиций Монтеня.

Однако существование абсолютной монархии во Франции во второй половине XVI в. было поставлено под угрозу. В начавшихся в это время гражданских войнах борьба велась между двумя противоположными политическими лагерями — сторонников и противников централизованной абсолютной монархии. Противниками абсолютизма выступали крупные феодалы юга Франции, в первую очередь мятежные представители знати из дома Бурбонов, стремившиеся расчленить Францию на части и, ослабив королевскую власть, стать полновластными государями в своих владениях, наподобие немецких князей. За ними шла значительная масса оскудевавшего провинциального дворянства, недовольного утратой своего прежнего социального веса, вынужденного переходить на королевское жалованье и искавшего, в связи с падением своих доходов от феодальной ренты, выхода из затруднительного положения в гражданской смуте, позволявшей грабить и своих, и чужих. В стане противников королевского абсолютизма были города юго-западной Фран-

[1] Там же, т. X, стр. 721.

ции, в основном прежние города-коммуны, которые, в результате усиления королевской власти и образования централизованной монархии, потеряли свои вольности и былую самостоятельность. Однако это не значило, что буржуазия от этого только теряла и ничего не выигрывала. Напротив, только в крупном централизованном государстве она могла рассчитывать на экономическое усиление, только в нем она стала представительницей образующейся нации, и только это обстоятельство позволило ей в дальнейшем развиваться и накоплять силы для будущей революционной борьбы за политическую власть с самим феодально-абсолютистским государством. Именно поэтому Маркс говорит о том, что „города находили возможным променять свою местную независимость и свою суверенность на всеобщее господство буржуазии и публичную власть (common sway) гражданского общества".[1] Та часть буржуазии юго-западных городов Франции, которая упорно цеплялась за былые вольности и боролась против последовательной централизации, осуществлявшейся королевской властью, тем самым доказывала свою отсталость: она не доросла еще до понимания своих классовых интересов. Ее позиция была, таким образом, объективно реакционной.

Следует, однако, подчеркнуть, что города юго-западной Франции играли в этом движении второстепенную роль и что в основном юг, объединявшийся вокруг Бурбонов, был прежде всего дворянским. Далеко не вся гугенотская (кальвинистская) буржуазия юга Франции шла на решительную борьбу с королевским абсолютизмом. Гугенотство лишь маскировало подлинные политические цели этого лагеря и использовалось его вождями для организации своих приверженцев.

В лагере сторонников королевского абсолютизма находились тесно связанное с королем придворное дворянство, передовая буржуазия, главным образом Парижа и северных городов Франции, буржуазная бюрократия, подвизавшаяся в суде и администрации и заполнявшая бо́льшую часть должностей в государственном

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. X, стр. 721.

аппарате, — те общественные силы, которые заинтересованы были в хозяйственном и политическом единстве Франции, в той самой централизации, в которой, по словам Маркса, „и состояла цивилизаторская деятельность абсолютной монархии“.[1] Французская церковь служила королю, и это побуждало сторонников неограниченной централизованной монархии противопоставлять гугенотству государственную религию, католицизм, который они стремились использовать как знамя единства. Несмотря на наличие и в лагере сторонников королевского абсолютизма, в особенности среди дворянства, элементов феодальной реакции, в целом все же позиции именно этого лагеря, отстаивавшего централизм, были объективно прогрессивными. Особое место занимали в происходивших событиях народные массы. Крестьянство, т. е. основная масса непосредственных производителей огромной крестьянской страны, а равно и плебейские массы городов, больше всего страдавшие от происходившей в стране гражданской войны, которая несла им разорение и усиление феодальной эксплоатации, защищали свои собственные классовые интересы и вносили в борьбу свои собственные требования.

Народные массы воспринимали давившую их смуту как дворянскую войну и видели и в дворянах-гугенотах, и в дворянах-католиках прежде всего своих кровных врагов. Это вело к усилению революционного движения и нарастанию активности как крестьянства, так и городского плебейства, со всей силой сказавшемуся в последний период гражданской войны, когда властное вмешательство народных масс, вылившееся в открытые восстания, явилось решающим фактором, положившим конец гражданской войне.

Напомним в нескольких словах ход событий в гражданских войнах, так как нам придется неоднократно касаться этого в дальнейшем изложении. Особенно обострились гражданские войны после массового избиения гугенотов в Париже (так называемая Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 г.) и во многих провин-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. V, стр. 214.

циальных городах, и после того как гугеноты учредили на юге Франции федеративную республику, возглавлявшуюся феодальной аристократией, создали свое государство в государстве, имевшее свою армию, флот, свой аппарат управления. Виднейшим вождем гугенотов сделался Генрих Бурбон. Сторонники абсолютной монархии, в противовес гугенотской республике, организовали „Католическую лигу", во главе с могущественным претендентом на французский престол Генрихом Гизом. В Париже, кроме того, была создана буржуазией особая Парижская лига, во главе с „комитетом шестнадцати" (по числу кварталов, на которые был разделен город). В 1588 г. в Париже произошло одно из революционных выступлений городского плебейства — мелких ремесленников, рабочих, поденщиков, — захвативших городское управление в свои руки и приступивших к выбору „коммуны". Это был так называемый „день баррикад" (12—13 мая 1588 г.), когда Монтень как раз находился в Париже (см. ниже) и когда король Генрих III бежал из Парижа, направляясь к армии Генриха Бурбона, двигавшейся на Париж. Дворянство и буржуазия были напуганы движением народных масс. Рост восстаний крестьян, доведенных до отчаяния грабежами и разорением, восстаний, сочетавшихся в последний период гражданской войны с выступлениями городских плебейских масс, заставил основную массу дворянства и буржуазии искать опоры в крепкой королевской власти. Они стали все теснее сплачиваться вокруг Генриха Бурбона, оставшегося единственным претендентом на французскую корону, после того как был убит Генрих Гиз (дек. 1588 г.), а вслед за тем произошло убийство и самого короля Генриха III (1 авг. 1589). В 1594 г. Генрих Бурбон, незадолго до этого перешедший в католичество, сделался королем Франции и приступил к умиротворению страны, разоренной 30-летней гражданской войной.

Этот глубокий кризис всего французского общества второй половины XVI в. красной нитью проходит через произведение Монтеня. Без преувеличения можно сказать, что происходившая на глазах у Монтеня гражданская смута непрестанно давила на его сознание. Монтень не устает повторять: „В настоящее время

мы охвачены распрей",[1] „Век, в который мы с вами живем, по крайней мере, под нашими небесами, — настолько свинцовый. . ."[2] и т. д. В редкой главе своей книги Монтень обходится без упоминания о бедствиях, связанных с гражданскими войнами. Под знаком этого кризиса формировалось мировоззрение Монтеня и складывался весь его жизненный путь.

Шестнадцатый век во Франции, век гуманизма и реформации, — один из весьма плодотворных в области ее идеологического развития.

В этот период, на основе развития в недрах феодального общества капиталистических отношений, интенсивно шел процесс формирования идеологии молодой, восходящей буржуазии. Французский „ренессанс", в котором, наряду с дворянским и буржуазным потоком, было и течение, отражавшее чаяния и запросы народных масс, дал целую плеяду мыслителей и деятелей, пробивших весьма основательные бреши в церковно-феодальном мировоззрении. Несмотря на сравнительно краткие сроки, в которые пришлось действовать представителям французского гуманизма, они подготовили почву для новой идеологии в самых различных областях человеческой мысли. Мы здесь не будем касаться специально филологической области, в которой французские гуманисты, благодаря работам таких ученых, как Бюде, оба Этьена и другие, заняли одно из первых мест в Европе. Отметим лишь огромную активность, развитую в это время переводчиками, в особенности переводчиками мало известных до того во Франции греческих классиков. Вряд ли когда-нибудь было переведено столько греческих авторов — поэтов, историков, философов и пр., как в это время. Надо помнить, что переводы рассматривались тогда как особый и важный, почетный вид литературы. Венцом этих переводов явились вышедшие в 1559 г. „Жизнеописания знаменитых людей" Плутарха — плод трудов Жака Амио. Эти „Жизнеописания", сыгравшие огромную роль в воспитании

---

[1] Кн. I, гл. XXIII; наст. изд. стр. 157.

[2] Кн. I, гл. XXXVII; наст. изд. стр. 295.

целого ряда поколений французской молодежи и имевшие большое влияние, в частности, на Монтеня (как позднее на Ж.-Ж. Руссо, госпожу Ролан и др.), составили крупную веху в истории развития французского языка. Монтень так оценивал заслуги Амио: „Я отдаю — и, как мне кажется, с полным основанием — пальму первенства Жаку Амио перед всеми нашими французскими писателями, и не только из-за непосредственности и яркости языка, в чем он превосходит всех прочих авторов, и не за упорство в таком длительном труде, и не за глубокие познания, помогшие ему передать так удачно мысль и стиль трудного и сложного автора... Но, главным образом, я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы сделать из нее подарок своей стране“.[1] Позднее, в 70-х годах, Амио перевел философско-публицистические произведения Плутарха, его „Moralia“.

Но, разумеется, еще более, чем переводы классических авторов, ценили современники оригинальные произведения на национальном языке. Здесь в области художественного творчества — не говоря о таких крупных дарованиях, как Клеман Маро, Ронсар, Маргарита Наваррская и другие, высится монументальная фигура Рабле с его бессмертным романом-сатирой, вобравшим в себя всю проблематику той эпохи — вопросы мировоззрения, воспитания, науки, политики и многие другие. Но на роли Рабле как предшественника Монтеня мы остановимся ниже. В области политической мысли Монтень имел дело в окружавшей его политической действительности с такими виднейшими ее представителями, как его ближайший друг Этьен Ла Боэси или как его выдающийся современник, крупнейший государствовед и политический деятель Жан Боден, о многих плодотворных концепциях которого — учении о прогрессе, о закономерности в истории (так называемой теории климата), учении о суверенитете — Монтень отзывался с похвалой.

Семидесятые годы XVI в. во Франции (к которым относится создание „Опытов“ Монтеня) были временем необычайного расцвета

[1] Кн. II, гл. IV. Перевод и разрядка наши, — *Ф. К.-Б.*

политической мысли. Из крупнейших публицистов гугенотского лагеря Монтень был хорошо знаком и переписывался с Дюплесси-Морне, автором знаменитого „Иска к тиранам“ (Vindiciae contra tyrannos), в котором с большим блеском развита была теория народного суверенитета, — хотя под народом Дюплесси понимал не народные массы, а представляющую, по его мнению, народ верхушку (парламенты, сословные собрания и т. д.). Трактат Дюплесси, доказывавший право магистратов провинций и даже отдельных городов выступить против тирана и призвать на помощь народ, теоретически обосновывал практику гугенотов южной Франции, создавших, как было сказано, своего рода государство в государстве.

Хорошо известен был Монтеню и другой его сверстник, воинствующий публицист — гугенот, Франсуа Отман, автор центрального произведения гугенотской публицистики, известной „Франко-Галлии“, в которой обширная юридическая и историческая эрудиция сочеталась с политической образованностью гуманиста. Это сочинение получило огромный резонанс в рядах как единомышленников Отмана, так и его противников, обрушившихся на знаменитый памфлет целой тучей ответов. И Отман, и Дюплесси — оба отражали в своих произведениях стремление французского дворянства, и особенно верхушки его, ослабить королевскую власть и стать полновластными государями в своих владениях. У Дюплесси особенно ярко выражены были центробежные стремления крупных сеньеров Франции, тенденции к феодальному раздроблению. Нет сомнений, что Монтень, ратуя в своих „Опытах“ за целость и сохранность страны и отстаивая абсолютную монархию, скрыто полемизирует и борется и с Отманом, и с Дюплесси-Морне, и с целым рядом других, менее крупных идеологов гугенотского лагеря.

Не останавливаясь более на окружавших Монтеня виднейших писателях и мыслителях, на писания которых он явно и скрыто отвечал своими размышлениями в разных местах „Опытов“, рассмотрим, каковы были ближайшие предшественники и сподвижники Монтеня в борьбе с важнейшими столпами феодально-церковной

идеологии — схоластикой и теологией. Здесь, прежде всего, следует назвать имена Франсуа Рабле и его соратников Этьена Доле и Бонавентуры Деперье. Именно они, подвергнув сокрушительной критике схоластическую лженауку и ее главную представительницу — теологию, заложили прочный фундамент того направления мысли, которое подготовило, по словам Энгельса,[1] развитие французского материализма и атеизма XVIII в. Рабле, Доле, Деперье стоят в начале той линии развития, которую в конце века замыкает Монтень. В своих „Опытах" Монтень очень часто перекликается, не называя их имен, — со своими старшими современниками, строит свои концепции на заложенном ими фундаменте. Этьен Доле, сожженный за атеизм в Париже на площади Мобер в 1546 г., дал такую основательную критику веры в чудеса, расчищавшую пути для научного познания, что его преемникам оставалось только итти дальше по намеченной им тропе. Разбирая „Опыты", мы увидим, как, отправляясь от тех же исходных положений, Монтень блестяще развивает их на новом материале. Продолжая борьбу со схоластикой и теологией, которые были гениально высмеяны великим Рабле и Бонавентурой Деперье, — не говоря о менее выдающихся писателях, — Монтень подошел к этому вопросу с другой стороны; он показал необходимость этой борьбы для раскрепощения науки и, в первую очередь, философии. В этой связи необходимо коснуться, хотя бы кратко, непосредственных предшественников и современников Монтеня на французской почве в области философии.

В борьбе со схоластикой Монтень имел союзником такого выдающегося современника, как самый крупный французский философ XVI в., предшественник Декарта и его философской реформы, Пьер де Ла-Раме (в латинизованной форме — Петр Рамус). Выходец из народа — сын бедного пикардийского крестьянина, — Рамус,[2] проявив большую силу характера и обнаружив замечательные спо-

---

[1] Ф. Энгельс. Диалектика природы. Госполитиздат, 1953, стр. 4.

[2] О Рамусе см. статью Т. Н. Грановского: Соч., ч. II, М., 1892, стр. 377—383. „У науки есть также свои герои и мученики, — писал здесь Грановский. — К числу

собности, стал одним из самых замечательных профессоров основанного Франциском I светского университета Коллеж де Франс, исключительный дар речи которого привлекал в его аудиторию несметные толпы слушателей, каких Париж не видел со времен Абеляра. Решительный противник схоластизированного Аристотеля — в особенности аристотелевской логики и методов преподавания ее — Рамус еще в 1536 г. на диспуте с целью соискания им степени магистра наук выставил неслыханный для тех времен тезис: „Все, сказанное Аристотелем, ложно“ (Quaecunque ab Aristotele dicta essent, commentitia esse). На диспуте, длившемся целый день, оппоненты Рамуса из схоластиков тщетно пытались разбить дерзкого новатора. Искусная диалектика его справилась со всеми их возражениями, и Рамусу была присуждена ученая степень. С этого времени Рамус отдал все свои силы и способности этой борьбе и под конец заплатил жизнью за свои смелые выступления против идола схоластиков. Во время Варфоломеевской ночи этот „воин науки“ (так называет его Т. Н. Грановский), издавший в 1555 г. первое подлинно философское произведение на французском языке — „Диалектику“, — этот ученый, являвшийся украшением Франции, имя которого гремело по всей Европе (последователи Рамуса имелись в университетах Германии, Англии, Швейцарии и других стран), был убит наемными убийцами, которых привел к нему его враг схоласт-обскурант Шарпантье. Труп Рамуса после надругательства был брошен в Сену.

Критикуя схоластическую философию, „богом“ которой, по словам Монтеня, являлся Аристотель, Монтень не мог пройти мимо того большого дела, которое было сделано Рамусом, и, в частности, мимо выдвинутого Рамусом требования ставить разум выше всяких авторитетов. „Никакой авторитет, — утверждал Рамус, — не должен господствовать над разумом и управлять им, наоборот, разум должен господствовать над авторитетом и им управлять“.

таких принадлежит Петр Рамус, один из самых замечательных людей XVI в., столь богатого великими личностями. Влекомый ранней страстью к знанию, он, подобно нашему Ломоносову, бежал из отцовского дома в Париж“.

Анализируя „Опыты“, мы убедимся, как близка была Монтеню эта борьба с излюбленным схоластами авторитарным мышлением.

В том же направлении, подрывая основы церковно-феодальной идеологии, действовали и другие философские течения — эпикуреизм, различные скептические системы древности, выдвинутые в это время, в связи с ростом гуманистической мысли. Так, например, о сравнительно раннем развитии во Франции скептического направления мы имеем любопытное литературное свидетельство в вышедшей в 1545 г. третьей книге бессмертного романа Рабле, в которой мы встречаем забавную фигуру Труйогана, „философа эфектического и пирронического“, т. е. скептика. Не следует думать, что эпизод с Труйоганом просто игра ума великого сатирика. Рабле чутко относился к веяниям своего времени и отражал их в своей эпопее. Это относится и к успехам скептической философии во Франции, о которой Гаргантюа здесь же замечает: „Значит самые ученые и мудрые философы теперь примкнули к направлениям и школам пирронистов, апорретиков, скептиков и эфектиков“.[1] Трудно решить, кого имел в виду Рабле, говоря об ученых и мудрых философах, примкнувших к скептицизму. Возможно, что он вообще не имел в виду какого-нибудь определенного представителя скептической философии. Так или иначе, но в 1548 г., т. е. очень скоро после выхода третьей книги романа Рабле, появилась „Academia“ Омера Талона, ближайшего сподвижника Рамуса. В этой книге, излагающей учения различных скептических школ древности, Талон, защищая, в частности, Рамуса, ставит себе общей задачей „освободить упрямых людей, находящихся в рабстве в области философии и разных неизменных верований и доведенных, таким образом, до недостойной зависимости; дать понять им, что истинная философия свободна в своих оценках и суждениях о вещах и не прикована к какому бы то ни было мнению или автору“.[2]

---

[1] Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюель. М.—Л., 1929, стр. 297.
[2] Omer Talon. Academia. 1548, стр. 102.

Это — та же борьба с авторитетом во имя прав разума, которую поставил себе целью Рамус. Но Омер Талон ведет ее с помощью оружия скептической философии, тщательно разграничивая при этом области разума и веры. „Предыдущие мои рассуждения, — заявляет Талон, — относятся лишь к человеческой философии, в которой прежде, чем верить, надо знать; наоборот, в религиозных вопросах, превосходящих разум, надо сперва верить".[1] Все эти соображения Омера Талона и, особенно, метод его критики нам необходимо иметь в виду при рассмотрении „Опытов".

Омер Талон — не оригинальный мыслитель, и книга его интересна только как показатель возросшего внимания к скептической философии, являвшейся — подобно рамизму и другим направлениям рационализма — одною из форм борьбы новой идеологии против старой. Оригинальных философских умов во Франции XVI в. — если исключить до известной степени Рамуса — не было. И только в последней четверти века появляется если и не вполне самостоятельный, творческий мыслитель, то, во всяком случае, писатель, который, используя учения древних авторов, сумел, переплавив их в своем творчестве, создать новое оружие в борьбе со схоластикой и теологией и придать ему совершенно новую литературную форму, составившую его оригинальный вклад в историю французской общественно-политической мысли. Мы имеем в виду Мишеля Монтеня и его „Опыты".

Мишель Монтень родился в 1533 г. в замке Монтень, в Перигоре. По отцовской линии Монтень происходил из богатой купеческой семьи Эйкемов, получившей дворянство в конце XV в. и прибавившей к своей фамилии еще фамилию Монтень, по названию приобретенной прадедом Монтеня (в 1477 г.) сеньерии Монтень. Мать Монтеня, Антуанетта Лупп, принадлежала к принявшей христианство и поселившейся на юге Франции, в Бордо, еврейской купеческой семье, бежавшей от преследований инквизиции с Пиренейского полуострова.

---

[1] Там же. Разрядка наша, — *Ф. К.-Б.*

Отец Монтеня, Пьер Эйкем, был человек незаурядный. Он любил книги, много читал, писал по-латыни прозой и стихами. В молодости он проделал походы в Италию и, проведя здесь ряд лет, с интересом знакомился с достижениями передовой итальянской культуры, тщательно занося свои впечатления в дневник, в котором он, по словам Монтеня, отмечал все достойное внимания из его личной и окружающей жизни. В бытность свою в Италии Пьер Эйкем проникся таким уважением к новому гуманистическому просвещению, что решил в духе его дать воспитание своему первенцу, Мишелю Монтеню. По принятому в XVI в. в богатых французских семьях обычаю, мать Монтеня не кормила его сама. Но вместо того чтобы поручить ребенка взятой в дом кормилице, Пьер Эйкем решил отправить его в бедную крестьянскую семью (в деревушке Пандесю, близ замка Монтень), чтобы, как писал впоследствии Монтень,[1] „приучить его к самому скромному и простому образу жизни". По словам автора „Опытов", называвшего своего отца „лучшим и самым снисходительным из отцов", Пьер Эйкем преследовал при этом еще другую, весьма важную цель: „... сблизить его с народом и с той категорией людей, которая нуждается в нашей помощи".[2] Эти намерения отца увенчались успехом: став взрослым, Монтень глубоко оценил связь с народом, он выработал в себе простые вкусы и на всю жизнь проникся уважением и сочувствием к суровой крестьянской доле, „из природного сострадания, — объясняет Монтень, — имеющего надо мной неодолимую власть".

Когда ребенку было около двух лет, Пьер Эйкем взял его домой и, желая обучить его простейшим образом латинскому языку, отдал его на попечение учителя из немцев, не знавшего ни слова по-французски, но зато прекрасно владевшего латынью, и приставил к нему еще двух, менее ученых помощников, которым было наказано отвечать ребенку только по-латыни. Что касается остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно ко-

---

[1] Опыты, кн. III, гл. XIII. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

[2] Там же.

торому, все — и отец, и мать, и обученные некоторым латинским фразам слуги — обращались к ребенку не иначе как по-латыни. Благодаря этой оригинальной системе обучения маленький Монтень усвоил латинский язык, как родной. „И без всяких ухищрений, — отмечает Монтень, — без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розог и слез я постиг латынь, такую же безупречно чистую, как и та, которой владел мой наставник, ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и искажать ее“.[1] Что касается греческого языка, то, опять-таки по плану Пьера Эйкема, Монтеня обучали ему, используя совершенно новый прием — путем разного рода игр и упражнений. Но особенно блестящих результатов этот метод не дал; Монтень навсегда остался довольно слабым эллинистом и предпочитал пользоваться греческими классиками в латинских или французских переводах. Заслуживает внимания также то, что, следуя заветам гуманистической педагогики, Пьер Эйкем, стараясь приохотить сына к наукам и к исполнению своего долга, очень заботился, чтобы при этом не насиловали волю ребенка, а действовали лишь убеждением и вообще мягкими средствами.

Так шло воспитание Мишеля Монтеня в течение четырех — пяти лет, когда Пьер Эйкем, по словам его сына, „не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии“, вдруг уступил „общему мнению, которое всегда отстает от людей, что идут впереди, вроде того как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю...“.[2] Отказавшись от своей необычной системы воспитания сына, Пьер Эйкем отдал шестилетнего Мишеля Монтеня в коллеж в Бордо. Но это училище, хотя в нем преподавал ряд видных гуманистов и оно считалось одним из лучших во Франции, мало дало Монтеню. Благодаря своему отличному знанию латыни Монтень мог окончить учение раньше обычного срока. „Выйдя из школы, — отмечает Монтень, — тринадцати лет и окончив, таким образом, курс наук (как это называется на их языке), я, говоря

[1] Кн. I, гл. XXVI; наст. изд. стр. 225.

[2] Там же, стр. 226.

по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену".[1]

О следующих за этим нескольких годах жизни Монтеня имеется мало сведений. Достоверно известно лишь, что он изучал право, так как отец готовил его к магистратуре. Когда Монтеню был двадцать один год, Пьер Эйкем купил одну из созданных Генрихом II, в поисках новых статей дохода, должностей — должность советника при Счетной палате в Периге; но затем, будучи избран мэром города Бордо, он отказался от приобретенной должности в пользу сына. В 1557 г. Счетная палата в Периге была ликвидирована и штат ее вошел в состав бордоского парламента. Таким образом, двадцати пяти лет Монтень стал советником бордоского парламента. В качестве члена магистратуры Монтень добросовестно исполнял свои обязанности. Ему давались иногда важные поручения, выполняя которые, Монтеню пришлось несколько раз в царствование Генриха II, Франциска II и Карла IX побывать при королевском дворе.

Однако судейская среда, в которую попал Монтень, хотя в ней изредка и встречались выдающиеся личности, рано стала тяготить Монтеня, как и сама его служба, которая не соответствовала его склонностям. Схоластическая рутина, безраздельное господство мертвых, закоснелых догм и штампов нигде, пожалуй, не сказывались с такой силой, как в том пестром ворохе французских законов, с которым Монтеню пришлось столкнуться с первых же шагов его „юридической" карьеры. И с самого же начала Монтень был поражен обилием и неслаженностью французских законов. „У нас во Франции, — писал он впоследствии в „Опытах", — больше законов, чем во всем остальном мире, вместе взятом... Наиболее желанными являются самые простые и общие законы, но они как раз наиболее редки; я нахожу, что лучше было бы не иметь их вовсе, чем иметь их в таком количестве, как у нас во Франции".[2] Но несравненно больше Монтень был

[1] Кн. I, гл. XXVI, наст. изд. стр. 227.
[2] Кн. III, гл. XIII.

поражен продажностью, кастовым духом и полным произволом, царившими при разборе дел, которыми занимались его коллеги. То, с чем молодой Монтень столкнулся в микрокосме — в бордоском парламенте — повидимому, мало чем отличалось от картины „царства крючкотворов“, которую гениально высмеял Рабле в своей бессмертной сатире. Не останавливаясь сейчас на критике, которой Монтень подверг впоследствии в своих „Опытах“ современное ему французское законодательство, приведем лишь одно место из его произведения, которое покажет, что даже через много лет, давно уйдя от соприкосновения с юридической практикой, столь сдержанный обычно Монтень все еще пылал гневом при всяком упоминании о духе тогдашнего французского законодательства. „Возможно ли что-нибудь более удивительное, — писал Монтень, — чем то, что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые всегда были загадкой для него, что во всех своих семейных делах — браках, дарственных, завещаниях, в купле, в продаже — он связан правилами, которых не в состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке, вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупать за деньги... Все это... вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум и тот является предметом торговли, а законы — рыночным товаром“.[1] При таком умонастроении — хотя оно и откристаллизовалось позднее — Монтень, естественно, исполнял свои обязанности без всякого блеска и со все нарастающим отвращением. Разразившиеся в 60-х годах гражданские войны во Франции должны были сделать для Монтеня его службу еще более тягостной. И в 1570 г., через два года после смерти отца, Монтень отказался от своей должности советника бордоского парламента, с тем чтобы поселиться в доставшемся ему от отца замке Монтень.

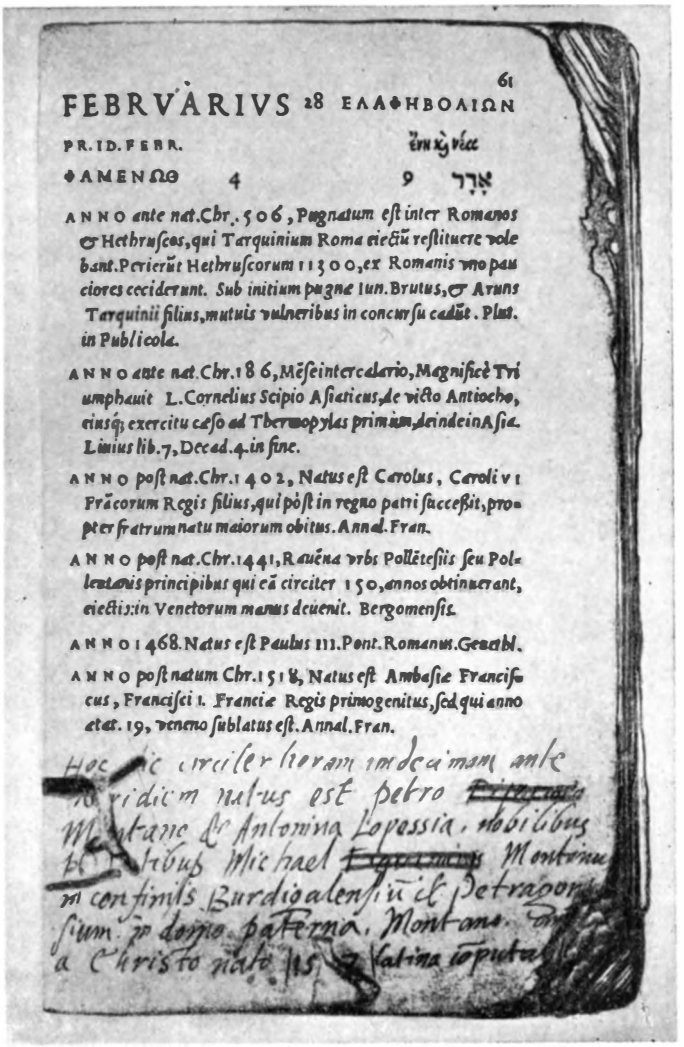
Выше говорилось о том, что Монтень год от года все больше тяготился своей юридической деятельностью. Но вместе с тем ряд

---

[1] Кн. I, гл. XXIII; наст. изд. стр. 150—151.

лет работы в бордоском парламенте значительно расширил житейский опыт Монтеня, приведя его в соприкосновение со множеством людей разных социальных состояний и разных положений. Эта работа заставила также Монтеня столкнуться вплотную со многими вопиющими сторонами тогдашнего французского законодательства. Так, резкое осуждение Монтеня вызывали такие методы тогдашнего правосудия, как предварительная пытка на допросе и пытка в качестве дополнительного наказания по приговору. Он был и против такого бича тогдашнего времени, как ведовские процессы, отрицая вообще реальность колдовства. Гневным протестом против этих мрачных изуверских явлений его действительности проникнуты многочисленные места его „Опытов", на которых мы остановимся в дальнейшем.

Пребывание в бордоском парламенте было отмечено для Монтеня таким крупнейшим событием в его жизни, как его встреча и знакомство с талантливым гуманистом — публицистом Этьеном Ла Боэси. Монтень познакомился с Ла Боэси, который тоже являлся советником бордоского парламента и известен был своими выдающимися способностями, в 1558 или 1559 г. Знакомство это вскоре перешло в исключительно тесную дружбу. Монтень и Ла Боэси стали называть друг друга братьями. В одной из глав своих „Опытов" — „О дружбе" — Монтень ряд лет спустя воздвигнул памятник этой дружбе, подобная которой, по его словам, встречается лишь раз в три века. Убежденный республиканец, страстный поклонник республиканского античного Рима, Ла Боэси искал в этом прошлом примеров, которые освящали бы его требования в настоящем, примеров, которыми он мерил свою современность. Ла Боэси писал латинские и французские стихи, посвятив некоторые из них Монтеню. Но главным творением Ла Боэси, увековечившим его имя для потомства, был его знаменитый трактат „Рассуждение о добровольном рабстве", представляющий собой гневное обличение всякого самодержавия и пронизанный страстной и заражающе сильной защитой прав порабощенных народов. Дружба с Ла Боэси оказала огромное влияние на духовное развитие Монтеня, но ей не суждено было долго длиться.



61

FEBRVARIVS 28 ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ

PR. ID. FEBR. ἔνη καὶ νέα

ΦΑΜΕΝΩΘ 4 9 אָדָר

ANNO ante nat. Chr. 506, Pugnatum est inter Romanos & Hethruscos, qui Tarquinium Roma eiectũ restituere volebant. Perierũt Hethruscorum 11300, ex Romanis uno pauciores ceciderunt. Sub initium pugnæ Iun. Brutus, & Aruns Tarquinii filius, mutuis vulneribus in concursu cadũt. Plut. in Publicola.

ANNO ante nat. Chr. 186, Mẽse intercalario, Magnificè Triumphauit L. Cornelius Scipio Asiaticus, de victo Antiocho, eiusq; exercitu caso ad Thermopylas primùm, deinde in Asia. Livius lib. 7, Decad. 4. in fine.

ANNO post nat. Chr. 1402, Natus est Carolus, Caroli VI Frãcorum Regis filius, qui pòst in regno patri succeßit, propter fratrum natu maiorum obitus. Annal. Fran.

ANNO post nat. Chr. 1441, Rauẽna vrbs Pollẽtesiis seu Pollentanis principibus qui eã circiter 150, annos obtinuerant, eiectis: in Venetorum manus deuenit. Bergomensis.

ANNO 1468. Natus est Paulus III. Pont. Romanus. Genebl.

ANNO post natum Chr. 1518, Natus est Ambasiæ Franciscus, Francisci I. Franciæ Regis primogenitus, sed qui anno ætat. 19, veneno sublatus est. Annal. Fran.

Hoc die circiter horam undecimam ante meridiem natus est petro ~~Primario~~ Montano & Antonina Lopessia, nobilibus parentibus Michael ~~Eyquemius~~ Montanus in confinis Burdigalensiũ et Petragorensium in domo paterna. Montano. Anno a Christo nato 1533 Latina iõputatione

Лист календаря, на котором Монтень сам отметил дату своего рождения.

На этом календаре (выпущенном Бетером в 1551 г.) отмечались важнейшие события из жизни Монтеня и его семьи. Сделанная Монтенем по-латыни запись гласит: „В этот день, около 11 часов утра от благородной четы — Пьера Монтеня и Антонины Лопес — родился Мишель Монтень, в отцовском доме, в замке Монтень, на границе Бордоской области и Перигора, в год от рождества Христова 1533 по латинскому исчислению“.

В 1563 г. Ла Боэси заболел чумой и через несколько дней умер на 33-м году жизни. Во время болезни Ла Боэси Монтень неотступно находился при нем и описал в письме к отцу последние дни своего друга, стоическое мужество, с каким он ожидал наступления конца, и его возвышенные беседы с близкими. Ла Боэси оставил Монтеню свое самое ценное достояние — все свои книги и рукописи. В течение 1570 и 1571 гг. Монтень, желая увековечить память своего покойного друга изданием его литературного наследства, опубликовал имевшиеся в его распоряжении латинские и французские стихотворения Ла Боэси, а также сделанные Ла Боэси переводы некоторых произведений древних авторов. Но Монтень оставил неизданными „Рассуждение о добровольном рабстве“ и две небольшие статьи Ла Боэси, посвященные январскому эдикту 1562 г., так как считал, что в той накаленной политической атмосфере, какая была во Франции в разгар гражданских войн, опубликование их, в особенности „Рассуждения о добровольном рабстве“ неминуемо будет использовано борющимися партиями и повредит памяти его покойного друга.[1]

Как сказано, в 1570 г. Монтень покинул свою службу и поселился в унаследованном от отца замке Монтень. Своему уходу от общественных дел Монтень дал следующее объяснение в латинской надписи, выгравированной в его библиотеке: „В 1571 году, в последний день февраля, на 38-м году жизни, в день своего рождения, накануне мартовских календ, Мишель Монтень, давно утомленный рабским пребыванием при дворе и общественными обязанностями и находясь в расцвете сил, решил скрыться в объятия муз, покровительниц мудрости; здесь в спокойствии и безопасности он решил провести остаток жизни, бо́льшая часть которой уже прошла — если, во всяком случае, судьбе угодно будет позволить ему использовать это обиталище и наследие предков под сенью мира и свободы“. Как видим, в этой надписи

[1] О судьбе трактата Ла Боэси и роли Монтеня в его издании см.: Этьен Ла Боэси. Рассуждение о добровольном рабстве. Изд. Академии Наук СССР, М., 1952.

Монтень еще раз выразительно запечатлел, как сильно он тяготился своей службой.

Итак, Монтень решил, по его словам, посвятить остаток жизни „служению музам". Плодом этого служения, плодом его углубленных размышлений в сельском уединении над окружавшей его действительностью и над итогами своего опыта, раздумий, подкрепленных усиленным чтением самых разнообразных книг, явились вышедшие в 1580 г. в Бордо две первые книги его „Опытов". Однако неверно было бы думать, что, отказавшись от активной политической роли и углубившись в писание своих „Опытов", Монтень обрек себя на бездействие. Напротив, писание „Опытов" — тоже был особый способ действия, вернее, воздействия. В руках Монтеня перо оказалось оружием боевым и необычайно действенным. Мы убедимся в этом, разбирая содержание „Опытов".

В том же 1580 г. Монтень предпринял большое путешествие по Европе, посетив Германию, Швейцарию и Италию, в частности Рим, где он провел несколько месяцев. В бытность Монтеня в Риме его „Опыты" подверглись цензуре римской курии, но дело закончилось для Монтеня благополучно, ибо слабо разобравшийся в „Опытах" папский цензор ограничился предложением вычеркнуть из последующего издания некоторые предосудительные места, как, например, употребление слова „судьба" вместо „провидение", упоминания „еретических" писателей, утверждение, что всякое дополнительное к смертной казни наказание есть жестокость и т. д.[1]

Путевые заметки Монтеня, записанные частью рукой его секретаря, частью рукой самого автора то на французском, то на итальянском языках, составили особый дневник. Монтень заносил в него все, что ему пришлось увидеть и наблюдать на чужбине; заметки о нравах, обычаях, образе жизни и учреждениях посещенных им стран — все это перешло потом на страницы „Опытов".

Во время своего путешествия (1581 г.) Монтень получил королевское извещение об избрании его мэром города Бордо и

[1] Подробнее об инкриминировавшихся Монтеню местах из разных глав „Опытов" см. Комментарии, стр. 532.

предписание незамедлительно приступить к исполнению его новых обязанностей. Прервав свое путешествие, Монтень вернулся на родину. Таким образом, спустя десять лет после того, как Монтень предначертал себе план окончить жизнь вдали от практических дел, обстоятельства опять вынудили его выступить на поприще общественной деятельности. Монтень был уверен, что своим избранием он в значительной мере обязан был памяти своего отца, в свое время обнаружившего на этом посту большую энергию и способности, и не счел возможным отказаться. Должность мэра, за которую не полагалось никакого вознаграждения, была почетной, но весьма хлопотливой, ибо в напряженной обстановке гражданской войны она сводилась главным образом к таким функциям, как поддержание города в повиновении королю, к наблюдению за тем, чтобы не допустить вступления в город какой-нибудь войсковой части, враждебной Генриху III и чтобы не дать гугенотам противопоставить себя каким-нибудь образом законным властям.

Вынужденный действовать среди враждующих партий, Монтень неизменно стоял на страже закона, но старался употребить свое влияние на то, чтобы не разжигать вражду между борющимися сторонами, а всячески смягчать ее. Терпимость Монтеня не раз ставила его в весьма затруднительное положение. Дело осложнялось еще тем, что Монтень сохранял дружеские отношения с вождем гугенотов Генрихом Бурбоном, которого он высоко ценил и которого он зимой 1584 г. принимал вместе с его свитой у себя в замке. Генрих Наваррский не раз делал попытки привлечь Монтеня на свою сторону. Все это вело к тому, что осмотрительная и близкая к „политикам“ позиция Монтеня не удовлетворяла ни одну из борющихся сторон: и гугеноты, и католики держали его на подозрении. И тем не менее после первого двухлетнего пребывания Монтеня на посту мэра, совпавшего как раз с двухгодичным перемирием в гражданской войне и прошедшего без особых событий, Монтень был избран вторично еще на одно двухлетие, что было выражением большого доверия. В 1582 г., еще в период первого пребывания на посту мэра Бордо, Монтень

выпустил второе издание своих „Опытов“, в котором поместил декларацию о своем якобы подчинении требованиям римских цензоров, но в действительности ничего не изменив в своей книге по существу.[1]

Второе двухлетнее пребывание Монтеня на посту мэра протекало в гораздо более бурной и тревожной обстановке, чем первое. Монтеню пришлось столкнуться с попыткой приверженцев Лиги захватить городскую крепость и передать ее Гизам. Монтеню удалось во-время пресечь эту попытку, выказав при этом находчивость и смелость.[2] И в других острых случаях, имевших место в этот же период, Монтень не раз обнаруживал те же ценные качества.

За шесть недель до истечения второго срока полномочий Монтеня в Бордо и его окрестностях разразилась жестокая вспышка чумы. Почти все члены парламента и большинство горожан покинули город. Монтень, находившийся в это время вне Бордо, не решился вернуться в зачумленный город и поддерживал с городскими властями письменные отношения. Дождавшись окончания срока своих полномочий, Монтень сложил с себя звание мэра и мог с облегчением сказать о себе, что он не оставил после себя ни обид, ни ненависти. Вскоре чума достигла района замка Монтень, и Монтеню пришлось вместе со своими домочадцами и слугами в течение шести месяцев скитаться, переезжая с места на место, в поисках пристанища, не затронутого эпидемией. О том, что Монтеню пришлось видеть в это время на дорогах Франции, мы скажем при разборе его „Опытов“. Укажем лишь, что во время этих переездов Монтень имел возможность убедиться, как чудовищно грабили страну войска враждующих партий, жившие за счет разоряемых крестьян. Солдаты-грабители были, в особенности для крестьян, пожалуй, не меньшим бичом, чем свирепствовавшая эпидемия. Они отнимали, — отмечает Монтень, — у народа все „вплоть до надежды на дальнейшее существование, все

[1] См. прим. 1 к гл. XXVII кн. I.
[2] См. прим. 17 к гл. XXIV кн. I.

крохи, которые ему удалось скопить в течение долгих лет для поддержания жизни".[1] Когда Монтеню после всех этих скитаний удалось, наконец, добраться до своего обиталища, он нашел здесь ту же картину повсеместного разорения и опустошения, вызванных гражданской войной. Эта картина была неотступно перед глазами Монтеня.

Водворившись в своем замке, Монтень снова отдался литературной работе. В течение 1586—1587 гг. он внес множество дополнений в ранее опубликованные части „Опытов" и написал третью книгу. В таком переработанном виде значительно расширенное издание „Опытов" — пятое, как значилось на его титульном листе, — вышло в 1588 г. Таким образом, за восемь лет „Опыты" выдержали четыре издания; для книги такого рода это был несомненный успех, и Монтень вправе был отметить в предисловии „благосклонный прием, оказанный публикой" его книге. Монтень сам поехал в Париж для наблюдения за выходом нового издания своих „Опытов". Это путешествие и пребывание в Париже сопровождались необычными событиями для Монтеня. Прежде всего, по дороге в Париж, около Орлеана, Монтень подвергся ограблению со стороны шайки лигистов. В самом Париже Монтень застал такую же смуту, какая царила и в провинции. „День баррикад" закончился бегством королевского двора во главе с Генрихом III из столицы (13 мая 1588 г.). Через три недели после этих событий вышли в свет монтеневские „Опыты".

Сам же Монтень после „дня баррикад" на короткое время последовал за королевским двором в Шартр и Руан и по возвращении в Париж был арестован лигистами и посажен в Бастилию. Было заявлено, что причиной его заключения в тюрьму был арест в Руане по приказу Генриха III одного видного лигиста. По ходатайству королевы-матери Екатерины Медичи, которая находилась в Париже и вела с лигистами переговоры, Монтень был выпущен из тюрьмы. Под 10-м июля 1588 г. Монтень отметил на своем календаре памятную дату своего освобождения из Бастилии.

---

[1] Кн. III, гл. XII. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

Во время этого же пребывания в Париже Монтень впервые познакомился с восторженной поклонницей его произведения, мадемуазель Марией де Гурнэ, которой суждено было стать издательницей его „Опытов“. Из Парижа Монтень отправился в Блуа, чтобы присутствовать на созванных там генеральных штатах 1588 г.

На блуаских штатах Монтень виделся и имел продолжительные беседы о политических судьбах Франции со своими известными современниками, будущим историком де Ту и видным адвокатом Этьеном Пакье, оставившими воспоминания, содержащие ценные данные о Монтене. Здесь, в Блуа, по повелению Генриха III были убиты оба брата Гизы, а вскоре после этого произошло и убийство самого Генриха III Жаком Клеманом. Монтень в это время уже вернулся к себе домой и отсюда приветствовал Генриха Наваррского, как единственного законного претендента на французскую корону. Генрих Наваррский, повидимому, не оставил мысли привлечь в свое ближайшее окружение высоко ценимого им Монтеня и предлагал ему щедрое вознаграждение. В середине XIX в. было найдено несколько писем Монтеня к Генриху Наваррскому, которые до известной степени дают возможность судить об их взаимоотношениях. Особый интерес представляют два письма Монтеня. В одном из них, от 18 января 1590 г., Монтень, приветствуя успехи Генриха Наваррского, советовал ему, особенно при вступлении в столицу, стараться привлечь на свою сторону своих мятежных подданных, обращаясь с ними мягче, чем их покровители, и обнаруживая по отношению к ним подлинно отеческую, королевскую заботу. „При проведении таких задач, которые сейчас стоят перед вами, следует пользоваться необычными путями“, — писал он. Великодушие и милосердие всегда были вернейшими средствами привлечь подданных на сторону правого дела — убеждал Монтень будущего Генриха IV. При своем вступлении на престол Генрих Наваррский, стремясь завоевать расположение своих подданных, несомненно учел советы Монтеня.

В другом письме, от 2 сентября 1590 г., Монтень обнаружил свое бескорыстие: он с достоинством отверг сделанное ему Ген-

рихом Наваррским предложение о щедром вознаграждении и объяснял, что не мог прибыть в указанное место не из-за недостатка в средствах, а из-за своего нездоровья и что он прибудет в Париж, как только Генрих Наваррский будет там. В заключение Монтень писал: „Умоляю Вас, государь, не думать, что я стал бы жалеть деньги там, где я готов отдать жизнь. Я никогда не пользовался какой бы то ни было щедростью королей, никогда не просил, да и не заслуживал ее, и никогда не получал никакой платы ни за один шаг, который мной был сделан на королевской службе, о чем вам, ваше величество, частично известно... То, что я делал для ваших предшественников, я еще с большей готовностью буду делать для вас. Я, государь, богат настолько, насколько этого желаю. И, когда я исчерпаю свои средства около вас в Париже, то возьму на себя смелость сказать вам об этом и, если вы сочтете нужным удерживать меня дольше в вашем окружении, то я обойдусь вам дешевле, чем самый малый из ваших слуг".

Но Монтеню не удалось осуществить свое желание и приехать в Париж к воцарению там Генриха IV. Состояние здоровья Монтеня, с сорокалетнего возраста страдавшего каменной болезнью, непрерывно ухудшалось. Однако он продолжал исправлять и дополнять свои „Опыты" для нового издания, которого ему не суждено было увидеть. 13 сентября 1592 г. Монтень умер, не достигнув шестидесяти лет. В молодости Монтенем, по его описанию, сильно владел страх смерти и мысль о смерти всегда занимала его. Но надвинувшуюся смерть Монтень принял так же мужественно, как и его друг Ла Боэси.

Обращает на себя внимание язык и форма изложения „Опытов". Как правило, языком ученых произведений, и в частности философских, был во времена Монтеня латинский. Монтень порывает с этой традицией, нарушенной уже до него Рамусом, и при писании „Опытов" обращается к живому, повседневному французскому языку, нередко пользуясь даже народными, провинциальными терминами. Монтень решительно заявляет, что предпочитает пользоваться образным языком парижского рынка, чем закорузлым языком ученых. „Поиски новых выражений и малоизвестных слов, —

говорит он, — происходят от ребяческого тщеславия педантов. Почему я не могу пользоваться той же речью, какою пользуются на парижском рынке".[1] Это придает языку „Опытов" поразительную силу, непринужденность и свежесть. Монтеня меньше всего можно было бы назвать пуристом в языке. „Слова должны служить и повиноваться мне, — пишет Монтень, — и если французское слово не годится в данном случае, то пусть его место займет гасконское".[2] Монтень удивительно точно сам определил свою писательскую манеру: „Речь, которую я люблю, — сообщает он в первой книге „Опытов", — это бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как на устах... Она не должна быть ни речью педанта, ни речью монаха, ни речью сутяги, но скорее солдатскою речью".[3] Таково литературное оформление „Опытов".

В предпосланном „Опытам" обращении к читателю Монтень заявляет, что он писал свою книгу, не ища славы и не для того, чтобы принести какую-нибудь пользу читателям, а предназначал ее для своих родных и друзей, чтобы после его смерти, которая уже не за горами, — они могли по ней восстановить его облик, его характер. Он сам, — говорит Монтень, — тема своей книги, написанной без всяких прикрас, безыскусственно.

Приведенные слова Монтеня, повидимому, выражали его умонастроение в какой-то момент писания „Опытов", но они не раскрывали перед читателем предназначения книги. Начать с того, что Монтень явно рассчитывал на некий более обширный круг читателей, чем кучка близких и родных. В самом деле, для своих родных и друзей не печатают книги о себе в типографии и не переиздают ее с тщательными изменениями и дополнениями, вносимыми на протяжении двух десятилетий. В действительности замысел Монтеня был значительно сложнее и несомненно подвергся изменениям в течение двадцатилетней творческой истории „Опытов". И „Опыты" заняты отнюдь не одним их автором, хотя

[1] Кн. I, гл. XXVI; наст. изд. стр. 223.
[2] Там же, см. стр. 222.
[3] Там же.

описание характера Монтеня, его привычек, настроений, раздумий и пр. занимают в „Опытах“ исключительно большое место. „Что за странная фантазия, — восклицает в одном месте Монтень, — многие вещи, о которых я не хотел бы говорить отдельному человеку, я их сообщаю публике; и разузнать о моих самых сокровенных мыслях и настроениях я отсылаю своих преданнейших друзей в книжную лавку“.[1]

И действительно, чего-чего только мы не узнаем о Монтене в этой книжной лавке! Можно было бы заполнить множество страниц описанием разных привычек Монтеня, его душевного склада, его мыслей и чувств. Монтень, который, по его словам, пристальнейшим образом следит за собой, у которого глаза непрестанно направлены на себя, уделяет этой стороне дела огромное внимание. Такого тонкого и точного самоанализа, самонаблюдения не найти ни у одного из предшествующих авторов. Монтень словно применил открытый примерно ко времени составления „Опытов“ микроскоп к душевным явлениям и увидел целый, до того неизвестный, мир психических переживаний. Иные страницы „Опытов“ точно написаны каким-нибудь тонким романистом и психологом XIX или XX в.

Если бы „Опыты“ были, как сообщал в предисловии их автор, только книгой о Монтене, то и тогда они представляли бы один из интереснейших человеческих документов по полноте и правдивости изображения такой своеобразной фигуры, как Монтень. Но в действительности „Опыты“ далеко вышли за пределы этой любопытной, но все же частной темы. Непрестанно следя за собой и изучая себя, сравнивая результаты этого микроскопического самоанализа с наблюдениями над окружающими людьми, над происходящими событиями, Монтень пришел к ряду выводов общего порядка, сделавших его „Опыты“ книгой о человеке нового нарождавшегося буржуазного общества и поколения Монтеня, в частности. И особую ценность придает „Опытам“ этот анализ человеческой природы, раскрываемой им совершенно

[1] Кн. III, гл. IX. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

по-новому. Чтобы оградить себя и свою книгу от костра и преследований, Монтеню часто приходилось прибегать к эзоповской манере и излагать свои мысли приглушенно, в противоречивой, нередко парадоксальной форме.[1] Не подлежит сомнению, что „Опыты“ характеризуются широким и разносторонним охватом окружавшей Монтеня социальной действительности и сугубо критическим подходом к изображаемым явлениям. „Опыты“ оказались насыщенными широким общественным содержанием, они оказались вольнодумным и вольнолюбивым произведением, в котором его автор ведет упорную и неустанную борьбу с важнейшими устоями феодально-церковной идеологии.

В этой борьбе Монтень, как сказано, применил и ввел совершенно новое оружие. Этим оружием явилась его скептическая философия, его так называемый пирронизм, получивший обобщающее выражение в известной формуле que sçais-je? (что знаю я?) Монтеня, встречающего вопросом и сомнением всякий предмет мысли. Философским воззрениям Монтеня в настоящем издании посвя-

---

[1] Монтень явно намекает на это, когда пишет о своих ссылках на античных авторов и о своей манере письма следующее: „Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли многие другие больше меня заботились именно о содержании. . . Чтобы его было еще больше, я в сущности напихал сюда одни лишь заглавные положения, а если бы я стал их еще развивать, мне пришлось бы во много раз увеличить объем этого тома. А сколько я раскидал здесь всяких историй, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения. Но тот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашел бы еще материал для бесконечного количества опытов. Ни эти рассказы, ни мои собственные рассуждения не служат мне только в качестве примера, авторитетной ссылки или же украшения. Для меня они не просто потребный мне материал. Зачастую они заключают в себе, независимо от того, о чем я говорю, семена мыслей, более богатых и смелых, и словно под сурдинку намекают о них и мне, не желающему на этот счет распространяться, и тем, кто способен улавливать те же звуки, что и я“ (кн. I, гл. XL; наст. изд. стр. 319. Разрядка наша, — *Ф. К.-Б.*). Касаясь этой манеры Монтеня, В. Г. Белинский в „Литературных мечтаниях“ писал: „Не могу говорить всего, что думаю. Я твердо помню благоразумное правило Монтеня, и многие истины твердо держу в кулаке“ (В. Г. Белинский, т. I, М., 1948, Собр. соч. в трех томах, стр. 72).

щена особая статья. Поэтому, не вдаваясь здесь в анализ философских позиций Монтеня, укажем лишь, что скептицизм Монтеня оказался поставленным на службу совершенно определенным целям.

Внимательно вчитываясь в „Опыты“, мы убеждаемся, что скептицизм выступает в них не как гносеологическое учение, а как особый прием критики, острием своим направленный прежде всего против догматизма средневекового мировоззрения, против религиозного фанатизма и мракобесия. Скептицизм Монтеня носит характер своеобразной формы общественного протеста. Монтень тем самым предстает во многих отношениях одним из видных предшественников философии французского буржуазного просвещения XVIII в. (см. ниже, стр. 456, 462 и др.).

Монтень отстаивает скептицизм, с тем чтобы иметь возможность все поставить под сомнение. При решении такого острого для его времени вопроса, как вопрос о взаимоотношении разума и „откровения“, знания и веры, Монтень использовал свое скептическое оружие. Ополчаясь не против разума вообще, а против разума, поставленного на службу теологии, он доказывал неспособность человеческого разума проникнуть в сферу религии и несостоятельность всех попыток рационального обоснования сверхъестественного религиозного „откровения“. Догматы религии недоказуемы с помощью разума. Поэтому разум, освобожденный от связи с верой, должен пользоваться свободой и независимостью в земных человеческих делах (ср. с аргументацией Омер Талона, стр. 427). Монтень ясно разграничивал области знания и веры. Он раскрепощал, таким образом, философию, которая получала теперь возможность обратиться к проблемам научного познания мира. Скептицизм, как видим, служил Монтеню для подрыва основ всякой теологии. Этими же положениями скептицизма определялась позиция Монтеня по отношению к традиционным верованиям. Внутренне Монтень был сторонником полной свободы совести, но во вне он требовал подчинения официальной государственной религии и не признавал индивидуальных отклонений от нее. Все эти сверхэмпирические вопросы — как доказывал

Монтень в самой обширной главе „Опытов“ „Апологии Раймунда Себундского“ (кн. II, гл. XII) — недоступны компетенции человеческого разума и в них следует руководствоваться обычаем, тем, что принято большинством, иначе общественное спокойствие будет нарушено, как это показывает пример происходящих во Франции гражданских войн. Таким образом, государственный интерес, забота о сохранении государства, о прекращении гражданских войн, а не стимулы религиозного характера побуждали Монтеня внешне придерживаться официальной католической религии. Но подлинное отношение Монтеня к церкви лучше всего характеризуется его неустанной борьбой против господства теологии над умами людей. Весьма показательным в этом отношении является его непримиримо отрицательное отношение к ведовским процессам и колдовству вообще, в которые верили многие выдающиеся умы XVI в. и продолжали еще верить в XVII столетии. Борясь с верой в колдовство, Монтень выступал по очень актуальному для его современников вопросу. Он ополчался против обильного потока специальной литературы, созданной писателями — „демонологами“.

Во Франции „демонологические“ трактаты во времена Монтеня получили широкое распространение, и среди авторов их были люди, пользовавшиеся широким признанием, как, например, Жан Боден.

„Мне уши прожужжали тысячами подобных росказней, — жалуется Монтень. — Три человека видели его однажды на востоке, три других на следующий день на западе, в такой-то час, в таком-то месте, так-то одетым. Уверяю, что в этом я не поверил бы и самому себе. Насколько естественнее и правдоподобнее предположить, что два человека лгут, чем допустить, чтобы кто-нибудь мог перенестись, подобно ветру, за 12 часов с востока на запад. Насколько естественнее предположить, что наш здравый смысл не устоял перед натиском нашего сбитого с толку воображения, чем допустить, что один из наших ближних был унесен во плоти каким-то посторонним духом на метле через печную трубу!“.[1]

[1] Кн. III, гл. XI. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

Монтень изучил процесс одной такой „ведьмы“, много беседовал с ней и пришел к выводу, что подобным субъектам надо скорее давать чемерицу — средство, считавшееся лекарством против душевных болезней, — чем цикуту (яд). И вообще, — иронически замечает Монтень, — „надо очень высоко ставить свои гипотезы, чтобы ради них изжарить человека живьем“.[1] Если вспомнить, что Жан Боден, к которому Монтень относился с большим уважением, считал отрицание реальности ведовства кощунством, граничащим с атеизмом, и в своей „Демономании колдунов“ — пространной книге о колдовстве — требовал пыток и костра для ведьм, что еще сто лет спустя Лабрюйер, книга которого являлась как бы зеркалом общества времен Людовика XIV, не находил возможным высказаться отрицательно о реальности колдовства, — я ограничусь лишь этими двумя достаточно известными именами, — то легко представить себе, насколько прогрессивными были взгляды Монтеня в вопросе о ведовстве.

Осуждение Монтенем ведовских процессов, разоблачение глубокого суеверия, лежащего в основе всякого колдовства, было тесно связано с его резко отрицательным отношением к вере в чудеса. Когда бы и в какой бы связи Монтень ни затрагивал эту тему, он не устает изобличать нелепость этого предрассудка, используемого религией и церковью. „Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана, — пишет Монтень, — является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него и, кроме того, не будучи подвержены обычным законам нашей логики, эти рассказы лишают нас средств бороться с ними... Невежество слушателей дает полнейший простор и неограниченную свободу для размалевывания таинственного. Поэтому люди ничему не верят так твердо, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен...“.[2] „Чудеса, — заявляет далее Монтень в другом месте, — являются таковыми благо-

---

[1] Кн. III, гл. XI. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

[2] Кн. I, гл. XXXII; наст. изд. стр. 278.

даря нашему незнанию природы, а вовсе не в отношении самой природы". Стремясь подорвать корни этого предрассудка, Монтень анализирует весь механизм возникновения веры в чудеса. „Поразительно видеть, — восклицает Монтень, — от каких пустых поводов и произвольных случайностей обычно зависят столь пресловутые впечатления, как вера в чудеса... На моих глазах родилось несколько чудес в мое время. Хотя они и исчезают при самом своем зарождении, мы тем не менее видим направление, которое они приняли бы, если бы развились полностью... И вот люди, пораженные этим странным началом, рассказывая про него, чувствуют по делаемым им возражениям, в чем заключается трудность убедить другого, и штопают эти дыры ложными выдумками. Потом мы и сами можем заметить, что, передавая слышанное нами, мы прикрашиваем и дополняем его от себя. То, что вначале было заблуждением отдельного лица, становится со временем общественным заблуждением; в свою очередь, общественное заблуждение порождает заблуждение отдельных лиц. Таким образом создается цепь этих небылиц, переходящих от одного к другому, то затухая, то разгораясь, причем самый далекий свидетель оказывается более осведомленным, чем самый близкий, и узнавший их лишь последним верит в них более, чем тот, кто узнал их первым".[1] Не ограничиваясь описанием механизма распространения веры в чудеса в современном ему обществе, Монтень одновременно подчеркивает, что эта вера в чудеса насильственно внедряется и насаждается властями. „Люди ничего не добиваются с таким рвением, — пишет Монтень, — как распространения своих взглядов. Если нехватает обычных средств, то прибегают к власти и силе, действуют огнем и мечом. К несчастью, высшим показателем истины считается большое число верующих, в котором глупцы имеют превосходство над умными... Что касается меня, то в чем я не поверю одному из них, я не поверю и целой

[1] Это рассуждение Монтеня сочувственно цитирует в своем „Историческом словаре" Пьер Бейль, о котором Маркс писал, что „он возвестил появление атеистического общества" (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 156).

сотне. Я не сужу также о воззрениях по их давности".[1] Разоблачая веру в чудеса, Монтень подрывал один из важнейших религиозных предрассудков. Эту сторону дела особенно оценили атеисты и вольнодумцы XVII в. (например Пьер Бейль) и более позднего времени, те, кому приходилось вести борьбу с религией.[2] Так, революционный коммунист и воинствующий атеист начала XVIII в. Жан Мелье в качестве лучшего опровержения веры в чудеса ссылается на приведенное рассуждение Монтеня и полностью цитирует весь этот отрывок.[3] И в ряде других случаев Мелье, борясь с религиозными предрассудками „христопоклонников" (по его выражению), широко использует аргументацию Монтеня. Сошлемся еще на один пример: доводы Монтеня произвели сильнейшее впечатление на Вольтера, который по поводу приведенного рассуждения Монтеня писал: „Кто хочет научиться сомневаться, должен прочесть целиком эту главу Монтеня, самого несистематичного из философов, но самого мудрого и занимательного".[4] Зорко уловив родство между Вольтером и Монтенем, А. М. Горький писал, что Монтень „через века пожимает руку Вольтеру".[5]

С не меньшей резкостью, чем против колдовства, высказывал Монтень свое отрицательное отношение к пытке. Вразрез с этим освященным и защищаемым католической церковью обычаем Монтень решительно заявлял, что всякое дополнительное к смертной казни наказание есть жестокость. Это заявление Монтеня особенно всполошило ищеек католической инквизиции и было осуждено в Риме при проверке „Опытов" папской цензурой.

Нигде в „Опытах" нет изложения социально-политических воззрений Монтеня в более или менее систематическом виде и их

---

[1] Кн. III, гл. XI. Разрядка и перевод наши, — *Ф. К.-Б.*

[2] Например, воинствующий атеист и политический деятель времен французской буржуазной революции Сильвен Марешаль (1750—1803) отвел Монтеню видное место в своем знаменитом „Словаре атеистов", а в предисловии к новому изданию этого словаря (1802 г.) Нежон трактовал Монтеня как предшественника Гольбаха и Гельвеция.

[3] Ж. Мелье. Завещание. М., 1954. Изд. Акад. Наук СССР, стр. 139—141.

[4] Voltaire. Oeuvres complètes, t. XVII, p. 694.

[5] А. М. Горький. Об Анатоле Франсе. Красная новь, № 5, 1927, стр. 214.

приходится восстанавливать по отдельным суждениям, разбросанным почти в каждой главе „Опытов“. Следует при этом отметить, что они делаются Монтенем в достаточно категорическом, отнюдь не вопросительно-скептическом тоне.

Самым лучшим государственным устройством и лучшими законами для всякой страны Монтень считает те, которые существуют в данной стране и к которым она привыкла. „Не в силу субъективного мнения, — пишет Монтень, — а поистине превосходным и наилучшим государственным строем является для каждого народа тот, при котором он существует: его форма и существенное преимущество зависят от привычки. Мы легко обнаруживаем недовольство нашим настоящим положением; я думаю, однако, что желать власти немногих при демократическом строе или добиваться при монархическом правлении другой формы власти — это преступление и безумие“. И Монтень в подтверждение своего заявления цитирует четверостишие своего современника Пибрака: „Люби государство таким, как оно есть; если оно монархическое, люби монархию; если в нем власть немногих или народовластие, люби его тоже, ибо бог дал тебе родиться в нем“.[1] От перемен, заявляет он, бывает больше действительного зла, чем предполагаемой пользы. Монтень, по его словам, противник всяких новшеств, и он дает этому следующее выразительное обьяснение: „Я разочаровался, — заявляет Монтень, — во всяческих новшествах, в каком бы обличии они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают. То из них, которое давит на нас в течение уже стольких лет (Монтень имеет в виду распространение гугенотства во Франции, — *Ф. К.-Б.*), не было, правда, непосредственной причиной всего происшедшего, и тем не менее можно с уверенностью сказать, что именно в нем, в силу несчастного стечения обстоятельств, первопричина и корень всего, даже тех ужасов и несчастий, которые творятся с тех пор без и помимо его участия“.[2] Таким образом, источник этого умонастроения Мон-

[1] Кн. III, гл. IX. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

[2] Кн. I, гл. XXIII; наст. изд. стр. 153.

теня — обрушившиеся на Францию гражданские войны второй половины XVI в. и связанные с ними бедствия, под знаком которых проходила вся сознательная жизнь Монтеня. Высказываясь против „новшеств“, Монтень прежде всего имел в виду свою страну и формулировал свое отношение к кипевшей вокруг него гражданской войне. Монтень решительно отвергал требования, написанные на знамени тех, кто добивался изменения политического строя современной ему Франции. Такая позиция Монтеня в тех конкретных исторических условиях означала защиту абсолютной монархии, существование которой, как указывалось выше, было поставлено под вопрос посягательствами крупного дворянства, стремившегося расчленить страну на части и растащить ее по кускам. Монтень ясно отдавал себе отчет, что причины гражданских войн, которыми охвачена была Франция того времени, кроются не в религиозных разногласиях, недаром он то и дело подчеркивает, что религия в происходящей вокруг него борьбе служит лишь благовидным предлогом.[1] В действительности на карту поставлены были целость и единство страны. „Так как целость и единство нашей монархии, — пишет Монтень, — были нарушены упоминавшимся новшеством (т. е. гугенотством, — *Ф. К.-Б.*), а ее величественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как это произошло к тому же в ее преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих как бы ворота для названных бедствий“.[2] Таким образом, побудительными стимулами, заставляющими Монтеня отвергать „новшества“, т. е. изменение современного ему строя Франции, и отстаивать существующую абсолютную монархию, были охрана целости и единства страны, которым угрожали сепаратистские

[1] Имея в виду название „религиозных войн“, которое служило лишь прикрытием, Монтень пишет: „С нами происходит здесь то же, о чем говорит Фукидид, повествуя о гражданских войнах своего времени; тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давали им не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, окрещивали словами новыми и менее резкими... «Благороден предлог»“ [(Теренций); кн. I, гл. XXIII; наст. изд. стр. 154].

[2] Там же; наст. изд. стр. 154.

притязания крупного дворянства и его союзников. И эта позиция Монтеня, враждебная посягательствам феодальной реакции, была на данном этапе исторического развития Франции прогрессивной. Эта позиция выражала не просто личные умонастроения Монтеня, а чаяния широких общественных групп передовой растущей буржуазии и так называемого „дворянства мантии", т. е. буржуазной бюрократии, подвизавшейся в суде и управлении и заинтересованной в дальнейшей централизации (к этой прослойке принадлежал и сам Монтень), не говоря о значительной части рядового дворянства. Эти общественные группы страдали от вызванной гражданской войной разрухи и жаждали твердой государственной власти. Вот почему они были за централизованную абсолютную монархию, способную обеспечить их классовые интересы. Ратуя за абсолютную монархию, защищая целость и единство страны, Монтень в сущности отстаивал ту же позицию, за которую боролся глава партии „политиков" Жан Боден и в своем трактате „Шесть книг о государстве", и практически, на генеральных штатах 1576 г.

Монтень был горячим сторонником примирения враждующих сторон (он неоднократно настаивает на этом в разных главах „Опытов"). По своим внутренним убеждениям Монтень был противником религиозных преследований, и свирепое гонение на гугенотов и такие злодеяния, как Варфоломеевская резня, вызывали в нем, судя до многим глухим намекам, разбросанным в „Опытах" (об этом мы скажем еще ниже), возмущение гонителями и симпатии к гонимым, но в „новшествах" гугенотов, т. е. в их посягательствах на „целость и единство" страны, Монтень видел причину того, что „величественное здание его страны расшаталось и стало разрушаться". Это побуждало его, обобщая пример современной ему Франции и возводя его на принципиальную высоту, с тем большей настойчивостью выставлять в качестве нормы утверждение: „Правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой он живет".[1]

[1] Кн. I, гл. XXIII; наст. изд. стр. 152.

Однако вопрос о „новшествах“ (nouvelletés) Монтень решает не схоластически прямолинейно, а применительно к обстоятельствам. Отрицание „новшеств“ носит у него не принципиальный, а фактический характер. Перемен надо опасаться, — поясняет Монтень, — за исключением тех случаев, когда дело идет о плохих установлениях. В соответствии с этим Монтень признает, что не всегда и не при всех условиях следует противиться нововведениям. „Бывает, однако, и так, — пишет Монтень, — что судьба... ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько потесниться и кое-в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держаться всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение... неправильно и опасно“.[1]

И в ряде случаев, имеющих важное значение для характеристики его социально-политических воззрений, Монтень сам придерживался таких взглядов, которые резко расходились с общепринятыми в современном ему обществе и представляли собой не что иное, как „новшества“.

Таким совершеннейшим „новшеством“ было отношение Монтеня к народам Нового Света, которые, по его описанию, живут еще под господством простых законов природы, а не сложных искусственных норм и обычаев европейских обществ. В „Опытах“ имеются две интереснейшие главы — „О каннибалах“ и „Об экипажах“, специально посвященные народам недавно открытого Нового Света, нравы и обычаи которых привлекали в то время — да еще и гораздо позднее, вплоть до времен Вольтера и Руссо — усиленное внимание европейских политиков, историков, писателей. Эти главы дают нам также возможность проследить эволюцию, которую проделал Монтень в этом вопросе. Прежде всего следует отметить, что в отличие от множества своих современников и предшественников, Монтень интересовался отнюдь не экзотическими деталями из жизни индейцев. В главе „О каннибалах“

[1] Кн. I, гл. XXIII; наст. изд. стр. 157. Разрядка наша, — *Ф. К.-Б.*

Монтень выдвигал на первый план особенности их социального строя, их обычаев и нравов; задача Монтеня заключалась в том, чтобы, противопоставив туземцев Нового Света „цивилизованным“ европейцам, подвергнуть критике социальное устройство последних. Но у Монтеня была и другая важнейшая задача. Народы Нового Света призваны были послужить Монтеню в качестве иллюстрации его идеи естественного состояния, выдвинутой им в опровержение схоластического учения о греховности и испорченности природы.

С первых же строк главы „О каннибалах“ Монтень предупреждает нас, что следует остерегаться и не придерживаться общепринятых мнений; „судить о чем бы то ни было надо опираясь на разум, а не на общее мнение“.[1] И на протяжении всей главы Монтень придерживается преподанного им правила. С самого же начала Монтень заявляет, что он не станет справляться с тем, что пишут о народах Нового Света составители разных учебников географии, ибо они ничего не понимают в этом деле. Что касается его, Монтеня, то, не имея возможности собрать сведения на месте, он по крайней мере обращался к очевидцам, к свидетелям, которым он мог доверять. Таков старый спутник Вильганьона, проведший десять или двенадцать лет в Новом Свете, „человек простой и необразованный“, который много лет прослужил у Монтеня и который по простоте своей был „не в состоянии сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам“. „Я хотел бы, — подчеркивает Монтень, — чтобы не только в этой области, но и во всех остальных каждый писал только о том, что он знает, и в меру того, насколько он знает“.[2] Кроме своего слуги, Монтень опрашивал многих матросов и купцов и, наконец, он видел своими глазами трех туземцев, привезенных в Руан, „когда там находился король Карл IX“.

И вот к каким заключениям пришел Монтень на основании всего слышанного и собственного изучения. „Итак, я нахожу, —

[1] Кн. I, гл. XXXI; наст. изд. стр. 261.
[2] Там же; наст. изд. стр. 264.

заявляет он, — ...что в этих народах согласно тому, что мне рассказали о них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно... Они дики в том же смысле, в каком дики растущие на свободе естественным образом плоды; в действительности же надо было бы скорее назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил, отклонив их от естественного их роста". [1] Своими искусственными выдумками, по мнению Монтеня, „мы заглушили богатство и красоту природы". Народы Нового Света живут еще под властью законов природы и мало пока затронуты и испорчены нашими законами. Эти народы не знают „никакой торговли..., никакого знакомства со счетом... никаких признаков власти или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, ... никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина или хлеба".[2]

В их языке нет даже слов для обозначения таких понятий, как ложь, предательство, лицемерие, скупость, зависть и пр. И за это называть их варварами? Но, скажут, эти каннибалы убивают своих пленных, потом жарят и едят их! На это Монтень выразительно отвечает, что нечего негодовать по этому поводу и вопить о варварстве, когда кругом совершаются поступки, куда более жестокие, и, обращаясь прямо в адрес своих соотечественников, свидетелей и участников происходивших в это время во Франции гражданских войн, Монтень пользуется случаем, чтобы излить свое возмущение по поводу такого варварства, как Варфоломеевская резня и другие зверства и злодеяния, совершавшиеся у них на глазах.

„Я нахожу, — заявляет Монтень, — что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать его мертвым, что большее варварство раздирать на части пытками и истязаниями тело, еще полное живых ощущений, поджаривать его на

---

[1] Кн. I, гл. XXXI; наст. изд. стр. 265.

[2] Там же; наст. изд. стр. 266.

медленном огне, выбрасывать его на растерзание и съедение собакам и свиньям (и мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами их, когда это проделывали не с закосневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами и, что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией), — чем изжарить человека и съесть его после того, как он умер".[1] Как видим, противопоставление народов Нового Света используется Монтенем для критики современной ему политической действительности Франции, для протеста против творившихся под флагом религии насилий и злодеяний. Цель Монтеня показать, что во всякого рода варварстве его соотечественники превзошли народы Нового Света. „Он (Монтень, — *Ф. К.-Б.*) был весел и мудр и находил, что каннибализм дикарей так же отвратителен, как и пытки инквизиции", — писал о Монтене А. М. Горький.[2]

Противопоставление народов Нового Света европейцам используется Монтенем также для того, чтобы обличить антагонизм между богатыми и бедными, на котором покоится современное ему общество. Но чтобы высказать своим современникам эти „опасные" истины, Монтень вкладывает их в уста тех трех туземцев, которых он видел в Руане и которые якобы отмечают, что́ их особенно поразило в „цивилизованной" Франции. „У них есть та особенность в языке, — пишет Монтень об этих туземцах, — что они называют людей половинками друг друга; они заметили, что между нами есть люди, у которых обилие и сверхобилие всего, чего пожелаешь, а между тем их половинки выпрашивают милостыню у их дверей; они находили странным, как это столь нуждающиеся половинки могут терпеть такую несправедливость и не хватают тех других за горло и не подкладывают огня к их домам". Следует отметить, что критику Монтеня близко воспринял через полтораста лет Руссо, который сделал приведенные слова Монтеня концовкой к своему „Рассуждению о происхожде-

[1] Кн. I, гл. XXXI; наст. изд. стр. 270. Разрядка наша, — *Ф. К.-Б.*

[2] А. М. Горький. Об Анатоле Франсе. Красная новь, № 5, 1927, стр. 217.

нии и основании неравенства между людьми". Монтень еще долго останавливается на описании нравов этих живущих естественной жизнью „каннибалов", восхваляя их чистоту и простоту, и заканчивает эту главу следующим издевательским по отношению к своим современникам замечанием: „Все это не так уж плохо. Но помилуйте, они не носят штанов!".[1]

Совсем иной характер носит глава „Об экипажах".[2] Это — открытый протест, выраженный в весьма необычном для Монтеня тоне страстного негодования, протест против кровавого разбойничьего натиска европейских колонизаторов на народы Нового Света. Дело в том, что в промежутке между 1580 г. (выход в свет первой редакции „Опытов") и 1588 г. (новое издание их в трех книгах) Монтень ознакомился с работами Лас-Казаса и Гомары[3] и узнал, каковы были методы завоевания новооткрытых народов. В главе „Об экипажах" Монтень, касаясь методов завоевания, применявшихся Кортесом и Писарро, опирается главным образом на Гомару. На сей раз Монтень мог читать в книге, написанной испанцем и притом с явно апологетической целью, описание кровавого порабощения и массового истребления беззащитных народов, описание чудовищных злодеяний, которые превосходили самое изощренное воображение. И Монтень дал волю охватившему его возмущению. Полный негодования, Монтень сообщает, как однажды испанские колонизаторы „сожгли здесь на одном костре 460 живых людей... простых пленников". „Эти рассказы исходят от них самих, — восклицает Монтень, имея в виду Гомару, — ибо они не только признаются в них, но проповедуют и публикуют их". С беспощадным сарказмом развенчивает Монтень ложную военную славу конкистадоров. Если горсти людей было достаточно для завоевания Мексики, то не потому ли, что противостоявшие конкистадорам племена были почти безоружны, не имея другого оружия, „кроме луков, камней, палок и деревянных

---

[1] Кн. I, гл. XXXI; наст. изд. стр. 277.
[2] Кн. III, гл. VI. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*
[3] См. прим. 11 к гл. XXIII, кн. I.

щитов". Тем не менее они были гораздо храбрее своих поработителей и обнаруживали поразительное мужество, умирая в ужасных мучениях. И так как превосходства более совершенного оружия испанских конкистадоров оказалось все же недостаточно, — продолжает Монтень, — то были пущены в ход вероломство и коварство; их захватили врасплох под видом дружбы, используя их доверчивость. Никакое религиозное рвение, никакие законы войны, — заявляет Монтень, — не могут оправдать „эту бойню, эту охоту на людей, как на диких зверей, не щадившую никого, кого только могли достигнуть огонь и меч".[1]

Ознакомившись с тем, как вели себя европейские колонизаторы в Новом Свете, Монтень не мог молчать, узнав об этих преступлениях, и один из очень немногих в XVI в. смело высказал свой гневный протест против разбойничьего порабощения и истребления целых народов.

Внимание Монтеня к вновь открытым народам Нового Света было привлечено также тем, что они живут еще под властью простых законов природы. В противовес схоластам, настаивавшим на греховности природы, Монтень доказывал, что быть ближе к природе и подчиняться ее законам, значит жить подлинно нравственно. Но эту же близость к матери-природе, как выражается Монтень, подчинение ее естественным законам, столь ценимое Монтенем, он находит не только у народов Нового Света. Эти свойства в высшей степени присущи простым людям — ремесленникам, крестьянам, которые так просто и мудро относятся к жизни и смерти. „Посмотрите, — призывает Монтень, — на бедняков; они не знают ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров и наставлений, между тем природа извлекает из них ежедневно образцы постоянства, более чистые и прочные, чем те, которые мы так тщательно изучаем в школе... Работник, вскопавший мой сад, сегодня утром похоронил своего отца либо сына. Даже имена, которыми они обозначают болезни, ослабляют и смягчают жестокость их. Чахотку они называют кашлем, дизентерию — расстрой-

[1] Кн. III, гл. IV. Разрядка и перевод наши, — *Ф. К.-Б.*

ством желудка, плеврит — ознобом. И, давая им такие мягкие названия, они легче переносят их. Эти болезни должны быть уж очень тяжелыми, чтобы прерывать их обычную работу. Они ложатся в постель лишь для того, чтобы умереть".[1]

Это писалось после свирепствовавшей в 1585 г. чумы, которая выгнала Монтеня из дома и заставила его вместе со всеми домочадцами скитаться в течение шести месяцев по Гиени в поисках каждый раз нового убежища. Во время этих странствований по дорогам Франции Монтень, которого, как мы знаем, всегда занимала проблема смерти, мог наблюдать, как спокойно и мужественно умирали эти простые крестьяне, не знавшие ни Аристотеля, ни Катона. „Почему, — задает себе вопрос Монтень, — несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные?".[2] И, читая размышления об этом Монтеня, невольно вспоминаешь Л. Н. Толстого, который в своем рассказе „Три смерти" с таким мастерством описал и сопоставил сложный и мучительный ритуал болезни и смерти богатой помещицы с величавой в своей простоте кончиной крестьянина-ямщика.

В характере простых людей Монтень видит ту естественность и самообладание, которые подстать истинному философу. „Сколько мы знаем людей из народа, — пишет Монтень, — которые перед лицом смерти, и притом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и с ужаснейшими мучениями, сохраняли такое присутствие духа — кто из упрямства, а кто и по простоте душевной, — что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжения относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки и, совсем как Сократ, пили за здоровье своих друзей".[3]

---

[1] Кн. III, гл. XII. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

[2] Кн. II, гл. XX; наст. изд. стр. 122.

[3] Кн. I, гл. XIV; наст. изд. стр. 63—64. Разрядка наша, — *Ф. К.-Б.*

Монтень не перестает прославлять нравы и мудрый здравый смысл простых людей, крестьян: „Наименее достойным презрения, — заявляет Монтень, — представляется мне положение людей, которые по простоте занимают последнее место... Нравы и рассуждения крестьян я нахожу обычно более соответствующими наставлениям подлинной философии, чем нравы и рассуждения наших философов". Отметим, кстати, что эту дань глубокого уважения и сочувствия, отдаваемую Монтенем народу, крестьянам, особенно ценил в Монтене Л. Н. Толстой, который в „Круге чтения" приводит следующее суждение Монтеня: „Я люблю мужиков, они недостаточно учены, чтобы рассуждать превратно".[1]

Приравнивая народную мудрость к философской, Монтень приходит к замечательной мысли о сходстве гения и народа, подлинного художественного совершенства и естественного народного творчества. „Простые крестьяне, — пишет Монтень, — честные люди; честные люди также — философы или, в наше время, сильные и просвещенные натуры, обогащенные широкими познаниями в области полезных наук... Народная и чисто природная поэзия отличается непосредственной свежестью и изяществом, которые уподобляют ее основным красотам поэзии, достигшей совершенства, благодаря искусству, как свидетельствуют об этом гасконские вилланели и песни народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности".[2]

Тема о мужестве, сметливости, талантливости людей из народа проходит через многие главы „Опытов" Монтеня и звучит как апелляция к будущему; Монтень как бы провидит выдвижение народа на авансцену истории и, постоянно подчеркивая его моральную и творческую силу, сам ставит его в центр внимания. В этом пристальном внимании к судьбам и переживаниям простого человека — громадная заслуга монтеневских „Опытов".

Прославление моральных качеств простых людей, превознесение их близости к природе, а также прославление живущих по

---

[1] Л. Н. Толстой. Круг чтения, т. II, стр. 501.

[2] Кн. I, гл. LIV; наст. изд. стр. 391. Разрядка наша, — *Ф. К.-Б.*

законам природы народов Нового Света связаны были с новым этапом в философской эволюции Монтеня, особенно явственно проступающим в III книге „Опытов“. Монтень, как сказано, разрушал оружием своего сомнения традиционно-схоластическое решение таких кардинальных для церковно-феодальной идеологии вопросов, как вопрос об отношении знания и веры, разума и „откровения“.

Точно так же в области моральной философии он отвергнул церковный аскетически-христианский идеал и противопоставил ему учение о жизни согласно природе, жизни, согласно здоровым требованиям нашей физической и духовной природы. Эта передовая для того времени эпикурейская философия жизни особенно отчетливо выражена в последней главе III книги „Опытов“, на последних страницах этой главы, и выражена в таких ярких формулировках, что лучше всего будет изложить ее по возможности словами Монтеня.

Монтень прежде всего решительно отвергает здесь спиритуалистически-религиозный идеал жизни. Он заявляет, правда, что отказывается смешивать с обычным человеческим муравейником „те почтенные души, которые, поднявшись при помощи благочестивого религиозного рвения на высоты постоянного размышления о божественных вещах и достигнув благодаря крепкой, сильной надежде пользования вечной пищей, этой конечной цели и последней пристани христианских желаний, единственно неизменного и нетленного наслаждения, пренебрегают нашими преходящими тленными и убогими удовольствиями и легко отказывают телу в заботах о чувственной и тленной помощи“.[1] Но, отделавшись таким пышным славословием от этой „привилегированной“, как он выражается, кучки подвижников-аскетов, Монтень тут же лукаво замечает: „Между нами говоря, мне всегда приходилось наблюдать своеобразное сочетание сверхнебесных теорий и подземных нравов“.

Вырваться из рамок своей природы, — утверждает Монтень, — человеку не дано: „Мы можем сколько угодно взбираться на ходули,

[1] Кн. III, гл. XIII. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

но и на ходулях мы вынуждены пользоваться своими ногами".[1] Человек должен стремиться не к невозможному, не к „экстравагантному", а к тому, что предписывается ему его природой как телесной, так и духовной. Природа, — продолжает Монтень, — матерински позаботилась о том, чтобы действия, к которым она понуждает нас для удовлетворения наших потребностей, сопровождались также наслаждением, и несправедливо нарушать ее правила. „Я охотно и с признательностью, — заявляет Монтень, — принимаю то, что природа сделала для меня... Все, происходящее согласно природе, достойно уважения. Природа мягкий руководитель и не только мягкий, но и мудрый, и справедливый... Я повсюду разыскиваю ее путь, который мы смешали с разными искусственными дорожками".[2]

Вывод Монтеня таков: надо жить согласно природе. И для этого Монтень ищет теперь образцов у „каннибалов" или у простых людей, у крестьян. Правила его новой моральной философии можно соблюдать в любой обстановке, в любом социальном положении. „Мы страшные безумцы, — восклицает Монтень. — «Он провел свою жизнь праздно», говорим мы; «Я ничего не сделал сегодня». Как? Разве вы не жили? Это не только основное, но и самое славное из ваших занятий. «Если бы мне дали руководить большими делами, я показал бы, на что я способен». Сумели ли вы размышлять над своей жизнью и руководить ею? В таком случае вы сделали самое великое дело из всех возможных; чтобы показать и проявить себя, природа не нуждается в особых дарах фортуны: она одинаково обнаруживается во всех общественных положениях, и притом за занавесом, как и без него. Сумели ли вы наладить свою жизнь? В таком случае вы сделали больше, чем тот, кто сочинил какие-нибудь книги. Сумели ли вы добиться покоя? В таком случае вы сделали больше, чем тот, кто добился власти над государствами и городами... Великое и славное искусство человека заключается в том, чтобы жить

[1] Кн. III, гл. XIII. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

[2] Там же.

умеючи; все прочие вещи — царствовать, копить богатства, строить — только придатки и привески к этому".[1]

Таков итог жизнелюбивой и оптимистической житейской философии Монтеня. Надо жить умеючи, т. е. надо подчиняться необходимым требованиям природы, пользуясь, но в меру, без „экстравагантности", уготованными ею нам телесными и духовными наслаждениями, ибо, как образно выражается Монтень, „союз удовольствия с необходимостью — весьма подходящий брак".[2]

Что знаменовал собой этот итог житейской философии Монтеня? Прежде всего бросается в глаза чисто светский характер предписываемых ею правил поведения человека, их антирелигиозная направленность. Монтень все время обращается к природе, а не к богу, как первопричине вселенной. Не посягая внешне на религию, на критику ее догматов, Монтень разрывает теологическую связь между человеком и богом и стремится найти подлинное место человека в природе. Надо жить согласно природе, а не согласно воле божией; надо руководствоваться не теологическими предрассудками о потустороннем мире, а материальными отношениями реальной действительности. Нигде у Монтеня нет ни единого упоминания о том, что жизнь согласно природе должна была сообразоваться с какими-либо религиозными принципами. Напротив, жизнь согласно природе означает освобождение, раскрепощение человека от власти провидения, от руководства каким бы то ни было метафизическим принципом вообще. Человек сам должен руководить своей жизнью, быть творцом ее, налаживать ее, пользуясь телесными и духовными наслаждениями, даруемыми ему природой. Это был протест против выспренно-религиозного, аскетического идеала жизни, пропагандировавшегося католической церковью, и противопоставление ему реалистической, земной жизни человека нового нарождавшегося буржуазного общества. В культе благой природы и призыве подчиняться ее велениям выражалось стремление Монтеня раскрепостить человека от власти

---

[1] Кн. III, гл. XIII. Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

[2] Там же.

сверхъестественных небесных сил, реабилитировать природу и в противовес схоластическим измышлениям о ее греховности утвердить идею естественности. Тем самым Монтень подготовлял почву для теории естественного права, развитой писателями XVII в. и превратившейся в революционную теорию молодого класса буржуазии у представителей французского просвещения XVIII в., в особенности у Ж.-Ж. Руссо.

Восхваление благой матери-природы и отрицание всяких метафизических и умозрительных систем ставило перед Монтенем проблему построения нового положительного знания. Путем к нему должен был быть опыт, наблюдение, практическая близость к природе и человеку. Единственным средством познания Монтень признает чувство или ощущение. „Всякое познание, — заявляет Монтень, — пролагает себе путь в нас через чувство, они наши господа“.[1] Таким образом, выдвигая — хотя и робко, ощупью — опыт в качестве основы истинного познания и чувства, как средство этого познания, мысль Монтеня направлялась к сенсуализму и эмпиризму. В конечном счете Монтень, хотя и впадая нередко в противоречия, высказывается за опытную науку во всех областях знания. В этом состоит основная заслуга Монтеня в развитии научного мировоззрения.

Однако проблема научного изучения природы мало занимала Монтеня. В центре его внимания была, как он выражается, „наука о человеке“. В этой связи следует отметить важнейшие мысли Монтеня о воспитании. Размышления Монтеня на эту тему даны наиболее полно в XXVI главе I книги „Опытов“, озаглавленной „О воспитании детей“. Монтень здесь откликается на тему первостепенной важности для его современников. Вопросами воспитания до Монтеня занимались многие гуманисты (в особенности итальянские, о которых мы упоминали в связи с воспитанием самого Монтеня). Ново и оригинально подошел к ним Рабле в первых двух книгах своей эпопеи, написанной в период расцвета французского гуманизма. В центре своей программы воспитания

[1] Кн. II, гл. XII. („Апология Раймунда Себундского“). Перевод наш, — *Ф. К.-Б.*

Рабле в соответствии с энциклопедическими тенденциями Возрождения ставил требования огромного охвата почти всего круга знания тогдашнего времени, энциклопедичности образования, между тем как Монтень, в отличие от Рабле, поставил во главу угла своей программы воспитания требования своей моральной философии. И тем не менее в педагогических воззрениях Монтеня и Рабле много общего. Сущность взглядов Монтеня сводится к следующему. Монтень стоит за гармоническое развитие всех заложенных в человеке способностей, за воспитание безрелигиозное, в основу которого положено правило ни в чем не полагаться на авторитет, а все проверять разумом и опытом. Монтень рассматривал воспитание как могучее средство развить, укрепить, а также усовершенствовать человеческую природу. Центральное место в этой главе занимает борьба со схоластической философией и ее непререкаемым авторитетом — Аристотелем[1] и сокрушительная критика схоластической школьной мудрости и схоластических методов воспитания. В этом пафос новой педагогической программы, выставляемой Монтенем, основная цель которой — воспитание людей, здоровых, честных, простых, близких к природе, к естественности. „Монтень первый ясно выразил мысль о свободе воспитания", — отметил у себя в дневнике Л. Н. Толстой.[2] Эта программа воспитания, — в которой ни единым словом не упомянута религия, — отвергая культивировавшиеся реакционной католической церковью схоластические штампы, соответствовала запросам нового времени, нарождавшегося общества молодой восходящей буржуазии. Многие из выдвинутых Монтенем принципов воспитания были восприняты впоследствии Фр. Бэконом, Локком, Руссо; некоторые из них сохранили свое значение до наших дней.

---

[1] Стоит отметить, что таково же было отношение к схоластической философии и схоластизированному Аристотелю младшего современника Монтеня — Фр. Бэкона, называющего Аристотеля деспотом и тираном мысли и сравнивающего его с турецким султаном, умерщвляющим братьев для обеспечения собственного владычества. Это же отношение разделяли в XVII в. Галилей, Декарт, Паскаль и др.

[2] Л. Н. Толстой, Собр. соч., Изд. Академии Наук, т. VIII, стр. 493.

Мы ознакомились с основным кругом идей, развитых Монтенем в его „Опытах“ и убедились, что „Опыты“ — это произведение, в котором ярко и многообразно отразились социальная действительность Франции XVI в. и важнейшие идеи этого времени.

Монтень — реалист, которого привлекает многогранность бытия, воспроизведение жизни во всех ее противоречиях, во всем живописном богатстве ее черт и красок. Раскрыть перед читателем это царство переменчивости, пронизать его обобщающей мыслью — такова одна из важнейших задач автора „Опытов“. Все эти существенные черты новых явлений в окружающей общественной жизни, эти элементы формировавшейся новой буржуазной идеологии составляют основное содержание „Опытов“. Наиболее полное отражение идеи эти нашли в последней книге „Опытов“. Обращение к природе, с целью обосновать независимость человеческого бытия от власти сверхъестественных небесных сил, раскрытие бесконечного богатства мира и человека, утверждение неисчерпаемого богатства его возможностей, отрицание всякой аскетической оторванности от мира и подавления материальной природы — таковы главные элементы содержащейся здесь новой идеологии. В выработке ее важнейшую роль играла борьба с теологией и схоластической философией, борьба, заполняющая почти каждую главу „Опытов“.

Противопоставляя всякого рода умозрительной философии знание, покоящееся на опыте, Монтень, в сущности, направлялся по тому пути, по которому уверенно и смело шли такие провозвестники опытной науки, как Леонардо да Винчи и „истинный родоначальник материализма и вообще опытных наук новейшего времени“[1] Френсис Бэкон. Характеризуя мировоззрение Бэкона, Маркс писал: „По его учению чувства непогрешимы и составляют источник всякого знания. Наука есть опытная наука и состоит в применении рационального метода к чувственным данным“.[2] Но если даже у Бэкона еще обнаруживаются пережитки той схоластики, против которой он сражался, что дало основание Марксу

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 157.

[2] Там же.

МИХАЙЛА
МОНТАНІЕВЫ
ОПЫТЫ.

[Французской дворянинъ, родился 1533 года. Жилъ при владѣніи Королей своихъ; Франциска перьваго, Генрика втораго, Франциска втораго, Карла девятаго, Генрика третьяго, и славнаго во Франціи Монарха Генрика четвертаго: умеръ 13 Сентября 1592 года, пятидесятъ девяти лѣтъ седьми мѣсяцовъ и 11 дней отъ рожденія своего.]

НА РОССІЙСКОЙ ЯЗЫКЪ ПЕРЕВЕДЕНЫ
Коллежскимъ Совѣтникомъ
СЕРЬГѢЕМЪ ВОЛЧКОВЫМЪ.

Печатана въ Санктпетербургѣ при Сенатѣ 1762 года.

Титульный лист „Опытов“ Монтеня в первом русском переводе Сергея Волчкова (1762).

ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ЧЕТЫРЕДЕСЯТЪ ТРЕТІЯ.

О

БЕРЕЖЛИВОСТИ СТАРИННЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Римскою армѣею въ Африкѣ командовавшей Генералъ Аттилій Регулусъ, въ самои день великой своей надъ Карагенцами побѣды, послалъ въ Сенатъ челобитную отомъ; что оставшейся въ деревнѣ его [у которой только семь десятинъ всей дачи было] староста безъ него бѣжавши; всю пахатную збрую и домашную посуду забравъ, съ собою унесъ. для того Регулусъ просилъ позволенія, чтобъ ему на малое время въ Римъ пріѣхавши; бере-жену и дѣтей съ домашними призрить. Сенатъ, по сему прошенію приказалъ; въ Регулусову деревню на мѣсто бѣглова старосты, другова прикащика опредѣлить. За покраденныя старостою вѣщи, изъ казны деньги выдать; а жену и дѣтей, войскомъ командующаго Генерала; на иждивеніи републики содержать. Старшей Катонъ, довольное время въ Гишпаніи Римскимъ Консуломъ жилъ; а какъ ему пришло моремъ домой ѣхать, то обѣихъ лошадей своихъ за тѣмъ продалъ; что бы на кормъ ихъ, много денегъ не тратить. Губернаторамъ въ Сардиніи будучи; для смотру войска, и нужныхъ мѣстъ, всегда пѣшкомъ хаживалъ съ однимъ салдатомъ: которой за нимъ епанчу носилъ. Этотъ же Катонъ по прозванію Ценсоръ тѣмъ хвалился, что дороже такого платья не носилъ; которое въ десять Ефимковъ ему становилось. больше четырехъ грошей на покупку съѣстныхъ вѣщей, въ день не посылывалъ; а ни одинъ у него домъ краскою росписанъ, и ни чемъ снаружи украшенъ небылъ. Какъ Эмиліянской Сципіонъ по двукратномъ входѣ съ тріумфомъ въ Римъ, и дважды Консуломъ бывши, въ посоль

Катонова жливость.

Страница текста из первого русского перевода „Опытов“ Монтеня.

указывать на „теологическую непоследовательность“ учения Бэкона, то сугубо сильны были эти пережитки у Монтеня. Следует помнить, что тот путь опытного познания, о котором здесь идет речь, был Монтенем лишь намечен в последней книге „Опытов“ и не получил законченной обработки. И тем не менее Монтень выступал в этом пункте как выразитель прогрессивных устремлений своего времени. Его „Опыты“ оказали в дальнейшем значительное влияние на развитие научного мировоззрения. В этом состоит важное историческое значение „Опытов“. При всей противоречивости философии Монтеня и неприемлемости таких положений ее, как недоверие к познавательным способностям человека, необходимо признать, что содержащийся в ней критический дух и переоценка важнейших вопросов церковно-феодальной идеологии имели большое положительное значение. „Опытам“ Монтеня принадлежит значительная роль в подготовке научного познания мира. Велики также заслуги Монтеня в подрыве устоев религии, в разоблачении религиозных предрассудков. Недаром „Опыты“ очень рано сделались настольной книгой атеистов и вольнодумцев: мы отмечали выше, как обильно использовал Монтеня воинствующий атеист и материалист начала XVIII в. Жан Мелье, мы видели также, как оценивал „Опыты“ с этой стороны Вольтер.[1] Поздно спохватившиеся папские цензоры внесли-таки в 1676 г. „Опыты“ Монтеня в индекс запрещенных

[1] Приведем отзыв о Монтене столь скупого обычно на похвалы Вольтера в письме к графу Трессану от 21 августа 1746 г. „Какая вопиющая несправедливость, — писал Вольтер, — утверждать, будто Монтень только и занимался тем, что комментировал древних авторов, между тем как в действительности он лишь цитирует их в соответствующих случаях... Он рассуждает, между тем как эти господа неспособны рассуждать. Он подкрепляет свои мысли рассуждениями великих мужей древности, он судит их, спорит с ними, разговаривает с ними, со своим читателем, с самим собой. Он всегда оригинален в показе вещей, всегда блистает воображением, он всегда художник, наконец, в нем есть то, что я люблю — он всегда умеет сомневаться. Хотел бы я знать, мог ли он заимствовать у древних авторов то, что он говорит о наших нравах, обычаях, об открытом в его время Новом Свете, о гражданских войнах, свидетелем которых он был, о фанатизме обеих боровшихся сторон, разорявших в то время Францию.“ (Voltaire, Oeuvres complètes, Correspondance, t. XI, p. 695).

книг, но к этому времени семена вольнолюбивых мыслей, посеянных Монтенем, успели уже дать пышные всходы: Декарт, Гассенди, Пьер Бейль и другие продолжили во Франции дело Монтеня.[1]

Мировоззрение Монтеня, продукт определенной исторической эпохи, страдает многими противоречиями, отражающими противоречия этого переходного времени. Философии Монтеня несомненно присущи многие слабые стороны. И тем не менее заслуги Монтеня в борьбе с теологией и схоластикой так велики, что они определили прогрессивный в целом характер его мировоззрения. Историческое значение „Опытов" Монтеня в том, что в них выдвинут был целый ряд передовых, прогрессивных положений, которые стали одним из важных факторов формирования французского материализма XVII—XVIII вв. и, в конечном счете, сыграли известную роль в идеологической подготовке французской буржуазной революции 1789 г. Оценивая философию Монтеня, А. И. Герцен писал: „Во Франции, например, гораздо ранее Декарта образовалось особое, практически-философское воззрение на вещи, не наукообразное, не имеющее произнесенной теории, не покоренное ни одному абстрактному учению, ничьему авторитету, — воззрение свободное, основанное на жизни, на самомышлении и на отчете о прожитых событиях, отчасти на усвоении, на долгом, живом изучении древних писателей; воззрение это стало просто и прямо смотреть на жизнь, из нее брало материалы и совет; оно казалось поверхностным, потому что оно ясно, человечно и светло... Воззрение Монтеня... имело огромное влияние; впоследствии оно развилось в Вольтера и энциклопедистов; Монтень был в некото-

[1] Стоит отметить, что богословские факультеты Франции не разобрались сначала в опасных концепциях Монтеня, введенные в заблуждение хаотическим, на первый взгляд, построением его книги. Как указывает Пьер Бейль, эти цензоры „пропустили все суждения этого автора, у которого нет никакой системы, никакого метода, никакого порядка изложения и который нагромождает все, что ему приходит на память. Но когда Пьер Шаррон, священник и теолог, решил развить некоторые воззрения Монтеня в систематическом трактате о нравственности, то тут уже теологи не могли больше бездействовать". (P. Bayle. Dictionnaire historique, t. IV, Paris, 1820, p. 626).

ром отношении предшественник Бэкона, а Бэкон — гений этого воззрения".[1]

Как отмечалось выше, современные идеологи международной реакции всячески фальсифицируют философию Монтеня, стремясь выхолостить из нее ее прогрессивное содержание. Все те внешние и чисто словесные уступки, которые Монтень делал католицизму, они используют как доказательство того, что Монтень был верным сыном католической церкви. Но все их усилия доказать правоверие Монтеня обречены на неудачу: борьбы Монтеня с „ложной наукой" — теологией, его разоблачений религиозных суеверий и предрассудков никак не вычеркнуть из исторического послужного списка Монтеня. Скептицизм, который являлся для Монтеня средством борьбы с реакционным церковно-феодальным мировоззрением, они стремятся выдать за незыблемую основу его философии. Они пытаются скрыть те красноречивые предостережения против скептицизма, которые так щедро рассыпаны в „Опытах". Достаточно, например, напомнить те из них, которые Монтень поместил в главе „Апология Раймунда Себундского", в самом скептическом своем опыте, где Монтень предостерегает против опасности оружия скептицизма и подчеркивает, что пользоваться им следует только в очень редких случаях. „Это — отчаянное средство, — писал здесь Монтень, — пользуясь которым, приходится отказаться от собственного оружия, чтобы заставить противника бросить свое вооружение, это — ... средство, которым следует пользоваться лишь изредка и осторожно".[2] Таким образом, скептицизм неприкрыто характеризуется здесь Монтенем как крайний прием, как отчаянное средство, которым следует пользоваться весьма осмотрительно и в исключительных случаях. Современные мракобесы, стремящиеся поставить мировоззрение Монтеня на службу религии и католицизма, совершенно игнорируют последний, наиболее зрелый этап в мировоззрении Монтеня, когда он поставил во главу угла кон-

---

[1] А. И. Герцен. Письма об изучении природы, т. 4, Пгр., 1915, стр. 141. Разрядка наша, — *Ф. К.-Б.*

[2] Кн. II, гл. XII. Разрядка и перевод наши, — *Ф. К.-Б.*

цепцию природы, эту необходимую основу для развития естественных наук, и сделал это во вполне категорической и отнюдь не скептической форме. Оптимистическую, гуманистическую, жизнерадостную философию Монтеня, чуждую неудовлетворенности действительным миром и проникнутую верой в „добрую природу“ человека, они пытаются извратить, изображая ее глубоко пессимистической. Однако запоздалые старания апологетов международной реакции заранее осуждены историей. „Опыты“ Монтеня давно вошли в сокровищницу французской национальной культуры; служат в сегодняшней Франции тем, кто борется за дело мира, демократии и прогресса.

В заключение скажем несколько слов о влиянии, оказанном „Опытами“ Монтеня. Мы видели, что первые же издания „Опытов“ встретили благосклонный прием у французской публики; при жизни Монтеня вышло пять изданий. Велико было влияние, оказанное ими, прежде всего, на развитие французской философской мысли XVII в. Сомнение Декарта, апелляция Декарта в борьбе со схоластической лжеученостью к здравому смыслу простых людей — крестьян, непосредственно связаны с философией Монтеня. Среди знаменитых поклонников Монтеня в XVII в. во Франции можно назвать Лабрюйера, Мольера, Лафонтена, госпожу Севиньи. Иным было отношение к Монтеню Мальбранша и религиозно настроенных писателей Пор-Рояля, которые не могли простить Монтеню его вольнодумства. Но и они испытали на себе его влияние. Достаточно назвать Паскаля, который как ни пытался он преодолеть влияние Монтеня, был буквально напоен его мыслями (ср., например, паскалевское: „Истина по сю сторону Пиренеев, ложь по ту сторону их“). О влиянии идей Монтеня на выработку французского материализма XVIII в. говорилось выше. Но воздействие, оказанное „Опытами“ Монтеня, не ограничивалось только Францией. Уже в самом начале XVII в. известность Монтеня быстро распространилась за пределами Франции, в разных европейских странах. Особенно сильное влияние „Опыты“ Монтеня оказали в Англии, где они были переведены в 1600 г. на английский язык итальянцем Флорио. Шекспир, Бен-Джонсон и другие драматурги

елизаветинского времени многое восприняли у Монтеня. Сильнейшее впечатление „Опыты“ Монтеня произвели на Фр. Бэкона, который зачитывался „Опытами“ и воспринял у Монтеня самый литературный жанр „Опытов“, написав свои „Essays“. После Бэкона жанр „Опытов“, заимствованный у Монтеня, сделался излюбленным и широко распространенным жанром в Англии.

В России Монтень стал хорошо известен. Его труд был впервые переведен в 1762 г. (не полностью) секретарем и переводчиком Академии Наук Сергеем Саввичем Волчковым (1707—1773), ставшим в дальнейшем директором сенатской типографии и здесь напечатавшим свой перевод „Опытов“. Монтеня высоко ставил и любил читать гений русской литературы А. С. Пушкин.[1] О своем „Борисе Годунове“ Пушкин неоднократно писал (и в письме к Бенкендорфу, и в письме к Анненкову): „Как Монтень, могу сказать о своем произведении: «C'est une oeuvre de bonne foi»“.[2] Ценили Монтеня и другие корифеи русской литературы, например А. М. Горький, суждения которого о Монтене мы приводили выше. Для Л. Н. Толстого Монтень был настольной книгой, которую он всю жизнь читал и перечитывал сам, советовал читать своей жене, Софье Андреевне, читал вслух в кругу своей семьи. В дневнике Толстого постоянно попадаются отметки, вроде следующей: „Читал Монтеня с пользой и удовольствием“. В „Круге чтения“ Толстой поместил ряд суждений Монтеня, например: „Я всегда удивляюсь тому, как могут короли так легко верить, что в них все, и как народ готов верить про себя, что он ничто“. Или: „Надо было бы поместить в муки ада вечную праздность, а ее-то, наоборот, поместили среди радостей рая“[3] и другие (некоторые из них мы привели

---

[1] Пушкин часто перечитывал Монтеня. В письме к Н. Н. Пушкиной от 21 сентября 1835 г. Пушкин просит: „Пришли мне, если можно, Montagne, Essays, 4 синие книги, на длинных моих полках“. Это было издание „Опытов“, Paris, 1828 (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 16, М., 1949, стр. 49).

[2] „Это — искреннее произведение“. Пересказ слов Монтеня из его обращения к читателю (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, 1948, стр. 140; т. 14, стр. 78).

[3] Л. Н. Толстой. Круг чтения, т. II, стр. 380; т. I, стр. 328. М., 1911.

выше). „Опыты“ Монтеня и поныне находятся в Яснополянском музее в комнате Толстого, на его столе, около кресла. Толстой не мог долго обходиться без этой книги и после ухода в 1910 г. из Ясной Поляны в числе очень немногих других книг просил свою дочь прислать ему „Опыты“ Монтеня.[1]

[1] См. письмо Л. Н. Толстого к А. Л. Толстой от 28 октября 1910 (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 82).

М. П. Баскин

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ КАК ФИЛОСОФ

Деятельность Монтеня как философа может быть правильно понята только в свете известного положения марксизма-ленинизма об использовании молодой буржуазией в борьбе против феодализма общего для всех формаций закона об обязательном соответствии производственных отношений характеру производительных сил общества.

В области философии эта борьба привела к резкому обострению взаимоотношений между идейными защитниками феодального экономического базиса и его надстройки и сторонниками зарождавшегося буржуазного экономического уклада и буржуазной культуры. Поскольку особенно могучим защитником феодального строя являлась католическая церковь, борьба против феодальной идеологии неизбежно превращалась в борьбу против средневековой схоластики, против обскурантизма католического духовенства.

Антифеодальные, антикатолические силы рекрутировались из самых различных общественных групп феодального общества. Это могли быть те же католические монахи, выступавшие под знаком номинализма, под знаком известного лозунга: всеобщие понятия (универсалии) — не что иное, как названия единичных объективно существующих вещей. Это могли быть сторонники так называемой двойственной истины, утверждавшие в одно и то же время, что в вопросах религии „права церковь", а в вопросах природы и реальных отношений общественной жизни „права наука". Это могли быть писатели типа бессмертного Франсуа Рабле (1494—1553),

остро высмеивавшего как светских, так и духовных феодалов и отражавшего в своем творчестве чаяния и интересы не только буржуазии, но и широких масс французского народа. Далеко не все враги феодальной культуры ясно понимали свои классовые цели; многие из них с „аристократическим“ презрением относились к той самой буржуазии, интересы которой они объективно защищали. Однако жизнь брала свое: экономические законы, существующие независимо от воли и сознания людей, вели к смене общественных отношений, происходила революция в умах, схоластическое мракобесие бешено сопротивлялось и вместе с тем сдавало одну позицию за другой.

Знаменитый французский философ, сын простого крестьянина, Петр Рамус (Пьер де Ла Раме, 1515—1572) при сдаче экзаменов на степень магистра искусств в 1536 г. осмеливается выступить против схоластизированного Аристотеля, провозглашенного католической церковью „предтечей Христа в делах природы“. Католические убийцы, воспользовавшись Варфоломеевской ночью, физически уничтожили передового французского мыслителя. Однако голос Рамуса не остался гласом вопиющего в пустыне. Его борьба против схоластов вызвала множество подражаний как в самой Франции, так и вне ее.

„Буржуазии, — писал Энгельс, — для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства физических тел и формы проявления сил природы. До того же времени наука была смиренной служанкой церкви и ей не позволено было выходить за рамки, установленные верой: короче — она была чем угодно, только не наукой. Теперь наука восстала против церкви; буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в этом восстании“.[1]

Задача новой философии в первую очередь сводилась к тому, чтобы освободить науку от церковной опеки, разоблачить средневековый лозунг о науке как служанке теологии. К этому философскому движению полностью примкнул Мишель Монтень, со-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Избр. произв. в двух томах, т. II, 1949, стр. 93.

знательно написавший свои „Опыты“ не на официальном языке схоластов средневековья — не по-латыни, а на языке своего народа — на французском языке.

Подобно Рамусу, Монтень не хотел и не мог противопоставить средневековому идеализму материалистическое мировоззрение. Он ставил перед собой более скромные и умеренные задачи: критиковать схоластику и схоластический метод с абстрактно-логических и психологических позиций, без противопоставления схоластике нового систематического мировоззрения и нового метода. Однако самый факт борьбы Монтеня против господствующей феодально-церковной идеологии многозначителен, если учесть слабость французской буржуазии в XVI в. и силу светских и духовных феодалов во Франции, если учесть, что даже в XVII в. такой крупный мыслитель и выдающийся ученый, как Декарт, стоял на позиции дуализма и в ряде вопросов придерживался средневековых теологических воззрений. Достаточно вспомнить отношение Декарта к средневековому „онтологическому“ доказательству бытия божьего. А ведь Декарт родился спустя четыре года после смерти Монтеня, его отделяет от Монтеня целая историческая эпоха. Философия Монтеня была лишь подготовкой новой философии, пришедшей на смену схоластике. Она преследовала в первую очередь негативные цели и лишь отчасти позитивные. Ее формой явился поэтому скептицизм, означавший конкретно-исторически не что иное, как скепсис по отношению к схоластике, к господству церковного мракобесия над умами людей.

Сам по себе скептицизм как философский взгляд, отрицающий возможность познания объективной действительности, порочен в своей основе. Недаром К. Маркс, критикуя античных скептиков с Пирроном во главе, видел в них продукт упадочничества и бессилия. Скептицизм в новой философии выступает в реакционной, антинаучной, субъективно-идеалистической форме агностицизма. Борьба против агностицизма до сих пор сохраняет большое политическое и теоретическое значение.

В противоположность идеализму, который, как правило, оспаривает возможность научного познания мира и его закономерно-

стей, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективной истины; диалектический материализм исходит из познаваемости мира и его закономерностей.

Марксизм-ленинизм — принципиальный и непримиримый враг агностицизма и скептицизма. В этом смысле и скептицизм Монтеня подлежит критике. Как мы дальше увидим, скептицизм был уязвимой пятой мировоззрения Монтеня и дал возможность делать из его философии реакционные, идеалистические выводы. Однако к скептицизму Монтеня следует подходить конкретно-исторически, и тогда станет очевидным, что выдвигаемый французским мыслителем принцип сомнения имел в виду не науку как таковую, а ее антипода — религию. От скептического отношения к схоластике к прямому ее отрицанию на основе материализма и атеизма — таков путь развития передовой философской мысли во Франции. Вот почему Маркс оценил скептицизм Бейля — этого бесспорного продолжателя Монтеня — как философский метод, который теоретически подорвал схоластику, „очищая тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции...“.[1] „Опытам“ Монтеня далеко до боевых атеистических памфлетов французских материалистов XVIII в., однако и „Опыты“ Монтеня искрятся беспощадной иронией, ярким протестом против господства теологии над умами людей. В этом смысле между „Опытами“ Монтеня и работами Ламеттри, Гольбаха, Гельвеция и Дидро существует глубокая идейная связь.

Монтень уклоняется от разрешения основного вопроса философии, т. е. вопроса о первичности материи или первичности сознания. Он полагает, что этот вопрос лежит за пределами человеческих возможностей. Однако в отличие от средневековых схоластов, рассматривающих бога как первопричину вселенной, Монтень все время обращается к природе. Он не видит в природе ничего греховного; ему ненавистен средневековый аскетизм. „Опыты“ Монтеня проникнуты идеей естественности. Для католического мракобеса Ансельма Кентерберийского все, что есте-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 156.

ственно, то аморально. Для Монтеня быть ближе к природе, действовать согласно ее законам — это значит поступать нравственно в высшем значении этого слова. Монтень подготовляет, таким образом, почву для антифеодальной теории естественного права.

Продолжатель Монтеня Пьер Бейль, которого основоположники марксизма называли „первым философом в смысле XVIII столетия“,[1] бывший принципиальным сторонником „естественности“ человеческих поступков как основы для подлинно морального поведения, развил дальше взгляды Монтеня на природу. Идею естественности в борьбе против схоластического учения о греховности природы вслед за Монтенем развивали такие выдающиеся деятели французского просвещения, как Вольтер и Руссо.

Высшим и действительно последовательным учением о примате материи явилось учение французских материалистов XVIII в. С точки зрения Гольбаха, автора „Системы природы“, только безумцы или заведомые обманщики могут отрицать объективное существование природы и производный характер сознания. Разоблачая субъективный идеализм Беркли, материалист Дидро писал: „Это был припадок бреда, когда чувствующий инструмент вообразил, что он единственный инструмент в мире и что вся мировая гармония происходит в нем“.[2] Эту замечательную мысль Дидро В. И. Ленин привел в „Материализме и эмпириокритицизме“. Для французских материалистов сомнение в объективности природы было столь же неприемлемо, как и превращение природы в „совокупность ощущений“. Они брали у Монтеня не его уступки субъективному идеализму, а стихийно-материалистическое убеждение Монтеня в существовании независимых от бога и от мыслящего субъекта объективных вещей. Они солидаризировались с передовой эпикурейской моралью Монтеня, согласно которой человек в своем поведении должен руководствоваться не теологическими бреднями о потустороннем мире, а материальными отношениями, обусловленными

---

[1] Там же.

[2] Дидро. Разговор Даламбера и Дидро. Собр. соч., т. I, М., 1936, стр. 379.

самой действительностью. Историческая роль „Опытов“ Монтеня заключается в том, что они, несмотря на „скептицизм“ автора и вопреки этому скептицизму, реабилитировали природу, предвосхитили знаменитый тезис Спинозы о том, что человек действует в природе не как государство в государстве, а как часть той же природы, подчиненная ее законам. От скептической философии Монтеня через деизм Вольтера и Руссо к материализму и атеизму Гольбаха и Дидро — таков путь развития передовой философской мысли во Франции в период подготовки буржуазной революции внутри феодального общества.

Другим прогрессивным моментом в философии Монтеня явилась проводимая в ней, правда осторожно и непоследовательно, критика теологического учения о боге как творце и руководителе вселенной, как первопричине материального бытия. Монтеню весьма далеко до атеизма, ему далеко даже до воинствующего антиклерикализма Вольтера, но вместе с тем Монтень всячески высмеивает теологов, он распространяет свой скепсис на любое понятие о божестве и фактически приходит к выводу, что идея бога бессодержательна в своей основе. Этим самым Монтень наносит чувствительный удар распространенному среди схоластов „онтологическому“ доказательству существования бога, основанному на нелепом утверждении, что сама идея бога будто бы обосновывает его реальное существование. Идея бога, по мнению Монтеня, это ничего не стоящая абстракция.

С неменьшей резкостью высказывается Монтень против еще более распространенной в его время попытки опровергнуть атеизм ссылками на „целесообразность“ в природе. В главе XXXII книги I „Опытов“, специально названной „О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшей осмотрительностью“, Монтень в осторожной форме проводит мысль о бессмысленности и нелепости укрепить христианскую религию ссылками на целесообразность происходящих событий.

Центральное место в „Опытах“ Монтеня занимает критика теологического учения о бессмертии души. Ведь именно вокруг отношения к этой проблеме развертывались основные бои между атеи-

стами и теологами. Без ада и рая немыслима никакая теология, а тем более теология господствующей католической церкви. Если не существует идеи наказания человека за грехи на том свете, если не существует идеи о награждении праведников, то в таком случае отпадает необходимость самой церкви, рушатся все главнейшие догматы христианства. Это прекрасно понимал еще „отец церкви“ Августин. На этом стоял главный вождь средневековой схоластики Фома Аквинский. Одна из задач „Опытов“ Монтеня — доказать, что душа человека умирает вместе с его телом, что никакого „того света“ не существует и что поэтому смерть означает для каждого человека переход в небытие. Здесь целиком уже в духе материализма и материалистической психологии Монтень доказывает, что человек мыслит и ощущает, пока тело его не разрушено; с разрушением же тела, т. е. с наступлением смерти, человек не может уже ни ощущать, ни мыслить, а это означает, что не может быть и речи о бессмертии души, не может быть и речи о каком-то сверхземном или „послеземном“ существовании. „Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений“,[1] — совсем как атеист заявляет Монтень и здесь же доказывает, что таков закон природы, от которого никто и никогда не в состоянии уклониться. „Тому, кто сказал Сократу: «30 тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их осудила на смерть природа»“.[2]

На критике идеалистического учения о бессмертии души Монтень основывает свою антихристианскую, эпикурейскую мораль: так как человек живет только один раз, то он вправе добиваться счастливой земной жизни. Мораль Монтеня — это в зародыше мораль разумного эгоизма, получившая столь большое распространение среди французских материалистов XVIII века, причем пассивно-созерцательный характер, свойственный французскому буржуазному материализму, в „Опытах“ Монтеня достигает геркулесовых столпов. Монтень, исходя из „разумного эгоизма“, делает воин-

[1] Кн. I, гл. XX; наст. изд. стр. 117.

[2] Там же.

ствующе-индивидуалистический вывод: человек должен заботиться прежде всего о своем личном благе.

Как известно, Энгельс писал про деятелей эпохи Возрождения типа Леонардо да Винчи: „Они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или другой партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда та полнота и сила характера, которая делает из них цельных людей. Кабинетные ученые являлись тогда исключениями“.[1]

Монтень в отличие от таких деятелей, как Леонардо да Винчи, которого непосредственно имел в виду Энгельс, характеризуя деятелей эпохи Возрождения, не обладал ни полнотой, ни силой характера. Однако его „Опыты“, так же как его индивидуалистическая мораль, не стояли в стороне от партийной борьбы в области идеологии. При всей своей ограниченности и противоречивости, Монтень был на стороне антифеодальной партии. Его буржуазно-индивидуалистическая мораль была живым отрицанием господствующей церковной морали.

Значительное место в философии Монтеня занимают вопросы гносеологии. Здесь он наиболее уязвим, ибо придерживается позиции агностицизма и провозглашает сомнение главным содержанием философии. Однако конкретно-исторически сомнение Монтеня в первую очередь имело в виду не человеческий разум как таковой, а разум, опутанный схоластическими бреднями, разум, превращенный в раба теологии. Как может Монтень быть принципиальным врагом человеческого разума, если все его „Опыты“ — это яркий протест против церковного обскурантизма, против невежества, против веры в чудеса? Есть прямая преемственность между сомнением Монтеня и сомнением Декарта. Оба они сомневались в Августине и Фоме Аквинском, в непогрешимости римских пап. Декарт, так же как и Монтень, считал свой скептицизм методическим приемом, временным орудием для ниспровержения устаревшей средневековой догматики. Хотя Монтень в такой форме

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 476—477.

и не пропагандировал свой скептицизм, в этом отношении явно уступая Декарту, все же в его „Опытах“ скептицизм имеет в виду не познание вообще, а лишь ложное познание. Отмечая неспособность философии разобраться в действительности, указывая, что философы занимаются „бесконечным словопрением на подступах к ней“, Монтень явно имеет в виду схоластическую философию. „Странное дело, но в наш век, — заявляет Монтень, — философия даже для людей мыслящих всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает“.[1]

Не явствует ли из этих строк, как из всех прочих многочисленных рассуждений Монтеня, что он предлагает ликвидировать схоластическую философию, а не философское знание вообще?

Относясь скептически не только к силе разума, но и к силе чувства, к способности человеческих ощущений быть субъективным образом объективной действительности, Монтень, конечно, становится в теории познания на неверный, субъективно-идеалистический путь. Однако и здесь Монтень сплошь и рядом критикует не эмпиризм и сенсуализм как таковые, а плоский эмпиризм, служивший порою идейной опорой того же мракобесия. Монтень требовал, чтобы взгляды людей опирались не на поверхностные, случайные факты, а на систематические и продуманные наблюдения. В этом смысле он близок в теории познания к английскому материалисту Бэкону, одному из основоположников индуктивного метода. Но Бэкон в теории познания исходил из материалистического положения об объективном существовании материи, а Монтень не смог в силу своей классовой и исторической ограниченности стать материалистом. Вот почему гносеология Монтеня, при всей своей прогрессивной, антисхоластической направленности, была принципиально несостоятельной.

Этим воспользовался последователь Монтеня Пьер Шаррон (1541—1603), сделавший из теории познания Монтеня прямой субъективно-идеалистический вывод о том, что главным объектом познания является внутреннее „я“ познающего субъекта. Шаррон раз-

[1] Кн. I, гл. XXVI; наст. изд. стр. 207—208. Разрядка наша, — *М. Б.*

вил „Опыты“ Монтеня в духе рафинированной теологии, предложив превратить акт самопознания, как якобы главный принцип философского мышления, в акт создания „новой“ религии, основанной на внутренних нравственных убеждениях человека. Продолжая линию Шаррона, теологи всех мастей и оттенков до сих пор пытаются вытравить из философского наследия Монтеня все прогрессивное и рациональное и углубить все реакционное и антинаучное, ведущее к субъективному идеализму.

Наиболее ярким опровержением буржуазных фальсификаторов истории философии, пытающихся представить Монтеня как фидеиста, как скрытого сторонника католицизма (так ставят вопрос некоторые современные неотомисты, т. е. официальные агенты Ватикана), является попытка Монтеня дать развернутую критику схоластического метода. Монтень, как и Бэкон Веруламский, прекрасно понимал, что расчистка авгиевых конюшен средневекового мракобесия должна начаться с опровержения основных методологических принципов схоластической псевдонауки: 1) веры в непререкаемый авторитет церкви и церковных догм; 2) веры в схоластизированного Аристотеля как философа с большой буквы, каждое утверждение которого представляет незыблемый принцип; 3) отрицательного отношения к опыту, к индуктивному исследованию. Монтень решительно протестовал против ложной схоластической „мудрости“. Его „Опыты“ проникнуты горячим стремлением доказать, что человек должен верить прежде всего себе самому, своим жизненным впечатлениям. Монтень критикует схоластический метод как догматический метод, как метод, противостоящий реальному человеку с его чувствами. Когда в главе XXVII книги I „Опытов“, озаглавленной „Безумие судить, что истинно и что ложно на основании нашей осведомленности“, Монтень высмеивает простодушных людей „за их склонность к легковерию и податливость на убеждение со стороны“,[1] он явно метит в огород схоластов, которые строят свои доказательства на цитатах из поучений отцов церкви. Монтень смело заявляет, что рассказы

[1] Кн. I, гл. XXVII; наст. изд. стр. 231.

о чудесах являются или бредом больных людей или продуктом сознательного обмана.

В свое время Бэкон Веруламский, критикуя схоластических ученых, сравнивал их с людьми, больными водянкой. Он справедливо доказывал, что формальные знания, основанные не на объективных истинах, а на произвольных, надуманных конструкциях, ничуть не обогащают человеческую голову, а, наоборот, создают лишь видимость полноты и обилия, „за которой скрывается тяжкий, нередко смертельный, недуг". Полнота людей, больных водянкой, доказывал Бэкон, свидетельствует о чем угодно, но не о здоровом организме.

Примерно эту же мысль развивает и Монтень, прямо заявляя, что можно знать очень много схоластических истин, однако эти „истины" только мешают человеческому разуму. Он требует, чтобы в научных и философских трактатах приводились примеры, взятые из реальной жизни, чтобы богословие не мешало теоретическому анализу.

„В наше время, — заявляет Монтень, — мне приходилось слышать жалобы на некоторые произведения, которые упрекают за то, что содержание — их слишком человеческое и философское безо всякой примеси богословских рассуждений. Но на подобные жалобы можно не без основания возразить, что божественному учению гораздо лучше занимать особое место, подобающее ему, как царствующему и господствующему; что оно всюду должно быть главенствующим, а не играть подсобной и второстепенной роли; что рассуждения человеческого и философского характера подкреплять примерами из грамматики, риторики, логики гораздо уместнее, чем из предмета столь священного...".[1]

Здесь Монтень в осторожной форме ссылками на „двойственную истину" открыто требует, чтобы наука и философия отказались от богословских аргументов.

Несколькими строками дальше Монтень еще более определенно конкретизирует свой антисхоластический тезис: „Я предлагаю, —

[1] Кн. I, гл. LVI; наст. изд. стр. 401—402.

пишет он, — домыслы человеческие, и в том числе мои собственные, просто как человеческие, взятые обособленно, а не как установленные и упорядоченные небесным повелением и потому не подлежащие сомнению и непререкаемые: это — дело взгляда на вещи, а не дело веры; как то, что я обсуждаю согласно своему разумению, а не как то, во что я верю по слову божию... Все это я обсуждаю с мирской точки зрения, а не церковной, хотя и в глубоко благочестивом духе".[1]

Монтень говорит здесь в „почтительном" тоне о религии. Вместе с тем он в духе буржуазного просветительства заявляет, что обсуждать те или иные вопросы необходимо, исходя из опыта и разума, из чисто светских интересов, а не из интересов теологии, насильно навязываемых человеку.

Говоря об идеальном воспитателе, Монтень, опять-таки явно полемизируя с педагогами-схоластами, открыто заявляет: „Желательно, чтобы это был человек скорее с хорошей, чем с туго набитой головой, ибо, хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и другим, все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености; нужно также, чтобы, отправляя свои обязанности, он применил новый способ обучения".[2]

Нетрудно догадаться, что под привычными приемами Монтень разумеет схоластически-догматический метод. Впрочем, он сам об этом говорит, отмечая, что нельзя строить истинную науку на бесконечном повторении раз навсегда провозглашенных истин. В „Опытах" Монтеня содержится открытый антисхоластический лозунг: „Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует".[3]

Монтень не дорос до материалистической индукции Бэкона, однако в борьбе против схоластического метода он, так же как и Бэкон, в интересах зарождающегося буржуазного способа производства, нуждавшегося в технике, а следовательно в естествознании, стремится во что бы то ни стало реабилитировать опыт, причем опыт Монтень понимает не как индивидуальный только

[1] Кн. I, гл. LVI; наст. изд. стр. 402.
[2] Кн. I, гл. XXVI; наст. изд. стр. 194.
[3] Кн. I, гл. XXVI; наст. изд. стр. 196.

опыт, но как опыт коллективный, как обобщение и накопление впечатлений и наблюдений десятков и сотен тысяч людей.

Характерно неоднократное обращение Монтеня не только к опытному естествознанию, но и к живым примерам и фактам из истории. Лишенный сколько-нибудь правильного понимания исторического процесса, нередко превращающий историю в хаос случайностей, Монтень, вместе с тем, как истинный предшественник просветительства видит в историческом опыте огромный материал для поучения последующих поколений. Он весьма далек от теологической концепции Августина о „Граде божием"; он сторонник светского понимания истории, причем в историческом материале Монтень видит своеобразную школу нравственного поведения. В конечном счете Монтень высказывается за опытную науку во всех без исключения отраслях знания. Вместе с тем он отнюдь не фетишизирует опытное знание. Монтень выступает сторонником здравого смысла, хотя тут же как скептик сомневается в познавательных способностях человеческого разума. Под здравым смыслом Монтень имеет в виду последовательно-логическое мышление. Тертулиановский тезис: „Верю потому, что абсурдно" представляется французскому философу верхом изуверства, бессмысленности, обскурантизма. Вместе с тем он справедливо исходит из посылки о нелепости и „противоестественности" схоластического требования логически обосновать догматы религии. Монтень считает, что догматы религии несовместимы с догматами разума. Правда, не желая окончательно порывать с теологией и явно уступая католическому мракобесию, Монтень делает отсюда фидеистический вывод: он заявляет, что догматы религии „выше разума". Однако даже при этой реакционной теологической отписке Монтень выступает как ранний предшественник просветительства, заявляющий, что религия не в состоянии выдержать суд разума.

Целый ряд реакционных историков философии, в особенности агентов Ватикана, до сих пор усиленно пропагандирует версию будто бы Монтень постепенно эволюционирует от религиозного индифферентизма к решительному переходу в лоно церкви, от

скептического отношения к католической догматике к прямому признанию незыблемости основных теологических догм.

Вторая книга „Опытов“ Монтеня решительно опровергает эту фальсификаторскую версию. В ней Монтень значительно более резко, чем он это делал до сих пор, выступает против христианства как религии „откровения“. В частности, господство во Франции католицизма он рассматривает как исторический факт, обусловленный определенными конкретными причинами. Монтень глубоко убежден, что в иной исторической обстановке французы могли бы с одинаковым успехом воспринять мусульманство или другую антихристианскую религию.

Особенный интерес представляет попытка Монтеня установить две решающие причины, в силу которых религия сохраняет в течение веков и тысячелетий свое значение. Одна из них — сила традиции, другая — страх перед преследованиями. „Мы родились там, где данная религия распространена, — заявляет Монтень, — и в силу этого испытываем благоговение перед ее давностью или авторитетом людей, которые придерживаются этой религии. Мы боимся ее угроз по адресу несогласных с нею...“.[1]

Правда, Монтень не делает радикальных выводов из этих по существу враждебных католицизму утверждений. Однако его смелые по тому времени мысли легко могли быть использованы всеми теми, кто более радикально, чем сам Монтень, выступал против господствующей схоластики. В частности, здесь нанесен был серьезный удар схоластике, которая полностью опиралась на церковные авторитеты и противопоставляла их самостоятельному творческому мышлению.

В целом можно без преувеличения сказать, что Монтень сумел нанести схоластическому методу тяжелый удар, хотя противопоставить ему так, как это сделал Бэкон, новый, индуктивный метод, точнее, разработать этот метод, он оказался не в состоянии.

Значительный интерес представляют высказывания Монтеня в области истории философии. Монтень, конечно, не в состоянии

[1] Кн. II, гл. XII.

подметить историческую обусловленность смены или борьбы различных философских направлений. Для него появление той или иной философской школы — случайный эпизод. Монтень не в состоянии понять смысл борьбы философских направлений; ему чужды самые понятия: материализм, идеализм, диалектика, метафизика. Как „историк философии“ Монтень элементарен, он стоит на донаучной позиции. Однако самый выбор философов, которыми Монтень в первую очередь интересуется, чрезвычайно показателен. Он неоднократно обращается к Аристотелю, но обращается не для того, чтобы превращать его, подобно официальным представителям католической церкви, в высший церковный авторитет, а прежде всего для высказывания критических суждений о знаменитом греческом мыслителе. Для него не существует дантовской проблемы, куда поместить Аристотеля на том свете — в ад, рай или чистилище; он рассматривает Аристотеля как автора трудов, с которыми можно и даже должно не соглашаться. Мы уже отмечали прогрессивность такого подхода к Аристотелю в период господства католической церкви, в период, когда человека могли сжечь на костре не только за отрицание священного писания, но и за несогласие с „канонизированным“ церковью древнегреческим мыслителем.

Монтень имел смелость не только критиковать Аристотеля, но и ссылаться на древних материалистов. Он осмелился дать в своих „Опытах“ специальную главу о Демокрите и Гераклите. В этой главе Монтень не замечает ни материалистической атомистики Демокрита, ни диалектики Гераклита Эфесского, он берет и того и другого прежде всего как моралистов. Несомненно, однако, что Демокрит и Гераклит для автора „Опытов“ не менее авторитетны, чем Аристотель, и уж это одно является почти что прямым вызовом схоластике. Здесь — прямое совпадение взглядов Монтеня со взглядами Бэкона, который тоже, как известно, признавал приоритет Демокрита и считал его неизмеримо превосходящим Платона и других древнегреческих философов-идеалистов.

С явным сочувствием обращается Монтень к философии Эпикура. Он не может не сочувствовать Эпикуру, ибо пропагандирует на французский лад эпикурейскую этику.

Наконец, следует отметить специально обращение Монтеня к Цицерону. В частности, он ценит выступления Цицерона против оракулов. Цицерон, с точки зрения Монтеня, такой же скептик, как и он сам, скептик прежде всего по отношению к религиозным догматам.

Меньше всего интересуют Монтеня его современники-схоласты. Он предпочитает о них умалчивать. И в этом также сказывается его отрицательное отношение к схоластике. В особенности ненавидит Монтень так называемых средневековых реалистов, т. е. сторонников воинствующей теологии, объявивших в духе Платона всеобщие понятия единственной реальностью. Монтень, как и все передовые мыслители своей эпохи, ближе к номинализму, чем к средневековому „реализму" (учению о „реальном" существовании общих понятий или идей).

В свое время Маркс и Энгельс писали о номинализме, что он „является первым выражением материализма".[1] Развивая эти мысли, В. И. Ленин продолжал: „... в борьбе средневековых номиналистов и реалистов есть аналогии с борьбой материалистов и идеалистов...".[2] Конечно, и средневековый номинализм имел коренные пороки, а его представители сплошь и рядом с неменьшей ретивостью, чем так называемые реалисты, защищали католическую церковь, однако в конкретно-исторических условиях близость к номинализму означала приближение к материализму. И то, что Монтень в ряде случаев явно намекает на свою солидарность с номиналистами, опять-таки свидетельствует о его прогрессивности, о том, что он, при всей своей ограниченности, все же был заодно с новым в борьбе против старого и отживающего.

Большой интерес представляют мысли Монтеня в области психологии. Уже факт отрицания Монтенем бессмертия души свидетельствует, что в области психологии он признавал примат тела над духом. Монтень, конечно, не дошел до материализма, не по-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. III, стр. 157.
[2] В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 173.

нял роли мозга, однако при объяснении тех или иных частных психологических проблем он всегда имел в виду не потусторонние силы, а прежде всего физическую организацию человека. Явно полемизируя со средневековым аскетизмом, Монтень исходил из известного принципа: в здоровом теле — здоровый дух. Особое внимание уделял Монтень влияниям внешней среды на человеческую психологию. Он объяснял нравы людей условиями их жизни, хотя тут же в духе идеализма утверждал, что условия жизни в свою очередь определяются нравами. Подобное противоречие, как известно, было свойственно не только Монтеню, но и французскому материализму XVIII в. Во всяком случае, психология Монтеня проникнута рациональной идеей, что люди становятся дурными или хорошими не под влиянием врожденных идей, но прежде всего под влиянием среды и воспитания. Монтень рассматривал воспитание как великую силу, способную решительно преобразовать душу ребенка.

Психологические взгляды Монтеня были неразрывно связаны с его прогрессивными педагогическими взглядами, с его просветительскими призывами воспитывать людей честных и нравственных, близких к природе, к естественности, к простоте. Здесь Монтень во многом предвосхищает Руссо.

Особенно радикально, в духе просветительства, говорит Монтень о педагогике во II и III книгах своих „Опытов". Он все время стремится показать огромную роль просвещения в жизни людей и именно в этом смысле ссылается на Сократа как на выдающегося просветителя древности. Монтень не в состоянии заметить реакционных, идеалистических сторон в учении греческого философа; он берет „традиционного" идеализированного Сократа и видит в нем прежде всего мудреца, бескорыстно обучающего людей „истинной мудрости".

В историю педагогической мысли Монтень вошел поэтому как прогрессивный деятель с явно выраженными гуманистическими тенденциями. В частности, Монтень был решительным противником схоластического педантизма и формализма в воспитании молодого поколения. Он требовал, чтобы ребенку дали возможность

„самостоятельно думать“. А ведь именно схоластическая педагогика в первую очередь боялась самостоятельного мышления.

Для характеристики философского мировоззрения Монтеня необходимо сказать несколько слов об его эстетической концепции. Здесь положительным моментом является стремление мыслителя избавить искусство, так же как и науку и философию, от церковной опеки. Он видит в искусстве прежде всего могучее орудие морального воспитания. Для Монтеня эстетическое и этическое в конечном счете совпадают. Наконец, весьма любопытно, что Монтень признает особую роль народной поэзии, народного творчества. „Народная и чисто природная поэзия, — заявляет он, — отличается непосредственной свежестью и изяществом, которые уподобляют ее основным красотам поэзии, достигшей совершенства, благодаря искусству, как свидетельствуют об этом гасконские вилланели и песни народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности“.[1]

Эти замечательные мысли Монтеня о народном искусстве, к сожалению, не получили у него дальнейшего развития и как бы повисли в воздухе. Но даже эти фрагментарные, как бы случайно оброненные мысли ставят Монтеня в ряды передовых борцов как против придворной или рыцарской поэзии, так и против религиозного искусства средневековья, проповедывавшего аскетизм.

Несмотря на исторически-прогрессивную роль Мишеля Монтеня как философа, подготовившего почву для торжества материалистических идей, мировоззрение Монтеня имело существенные пороки, идущие по линии субъективно-идеалистического отрицания объективных закономерностей. А, как известно, там, где нет признания объективных закономерностей, нет и подлинной науки. Вот почему современные прогрессивные философы и ученые Франции, идущие под знаменем диалектического и исторического материализма, под знаменем марксистско-ленинской философии, в своем истолковании Монтеня и в освоении его наследия вынуждены вести и ведут борьбу на два фронта: как против тех, кто

[1] Кн. I, гл. LVI; наст. изд. стр. 391.

забывает об исторически прогрессивной роли Монтеня, так и против тех (а их немало), кто, некритически подходя к субъективно-идеалистическим ошибкам Монтеня, подымает эти ошибки на щит и превращает Монтеня во властителя дум современности. Монтень был истинным сыном своей эпохи, отражая присущие ей противоречия. Он вошел в историю как один из ярких предшественников французского буржуазного просвещения.

КОММЕНТАРИИ

Русский перевод „Опытов“ М. Монтеня сделан по изданию А. Арменго: Oeuvres complètes de Michel de Montaigne. Les Essais. Texte du manuscrit de Bordeaux, étude, commentaires et notes par le Dr A. Armaingaud, tt. I—VI, Paris, 1924—1927.

При жизни Монтеня „Опыты“ выходили четыре раза (1580, 1582, 1587 и 1588). В первых трех изданиях были напечатаны лишь I и II книги. Издание 1588 г. значительно отличается от предыдущих: в него Монтень внес до 600 добавлений и здесь впервые опубликовал III книгу.

В последние годы жизни Монтень продолжал упорно работать над „Опытами“. Свои поправки и дополнения он вносил в экземпляр „Опытов“ издания 1588 г. После его смерти этот экземпляр был использован одним из его ближайших друзей — Мишелем Браком, который совместно с м-ль де Гурне выпустил в 1595 г. новое, дополненное издание „Опытов“.

Долгое время считалось, что это издание дает окончательный авторский текст. Однако после обнаружения упоминавшегося выше экземпляра „Опытов“ с собственноручною правкой Монтеня (он был найден в Муниципальной библиотеке Бордо, куда попал во время буржуазной революции 1789 г.), выяснилось, что в издании 1595 г. допущено большое количество ошибок и весьма существенных искажений. В 1912 г. этот экземпляр „Опытов“, получивший в монтеневедении наименование „бордоского“, был воспроизведен фототипическим способом в издании Ф. Стровского (F. Strowsky). С тех пор французские издания „Опытов“ — а их было несколько — исходят именно из этого текста. „Бордоский“ экземпляр положен и в основу издания А. Арменго — одного из крупнейших французских монтеневедов.

Места, где текст не может быть полностью воспроизведен на русском языке по причине чрезмерной фривольности, отмечаются многоточием (. . .).

Глава I

(Стр. 9—13)

[1] Эдуард, принц Уэльский (1330—1376) — старший сын английского короля Эдуарда III, прозванный по черному цвету своих доспехов „Черным“ принцем.

Принимал участие в Столетней войне (1337—1453), когда английские короли пытались завладеть Францией. Назначенный в 1355 г. правителем Гиени (см. прим. 2), приобрел печальную известность грабежами и разорением юго-западной Франции и своей жестокостью по отношению к побежденным.

[2] Гиень — провинция на юго-западе Франции. Одной из причин Столетней войны было стремление французов вытеснить англичан из Франции и завладеть той частью Гиени, которая находилась в их руках.

[3] Скандербег (1414—1467, по другим данным родился в 1403 г.). Речь идет о Георгии Кастриоте, владетельном князе Албании, национальном герое албанского народа, возглавившем его борьбу за независимость против турецких захватчиков. Скандербег — прозвище, данное ему народом, т. е. Александр (Македонский), и турецкое „бег" — господин, владыка.

[4] Конрад III — император германский в 1138—1152 гг., первый из династии Штауфенов или Гогенштауфенов. Вельфы — баварские герцоги, боровшиеся в первой половине XII в. за императорскую корону со Штауфенами. Упоминаемый эпизод связывается с осадою Вейнсберга в 1140 г.

[5] Пелопид (IV в. до н. э.) — один из крупнейших военачальников древней Греции, родом из Фив, друг Эпаминонда (см. прим. 6).

[6] Эпаминонд — знаменитый фиванский полководец (род. ок. 420—410 гг. до н. э., ум. 363 г.).

[7] Дионисий Старший — тиран сиракузский (431—368 гг. до н. э.), крупный полководец, изгнавший вторгшихся в Сицилию карфагенян. Древние историки изображают Дионисия жестоким и коварным правителем.

[8] Регий — ныне Реджо, город на юге Италии (в Калабрии).

[9] Город мамертинцев — ныне Мессина (Сицилия), в древности — Мессана; мамертинцы, т. е. сыны Марса, — италийские наемники, захватившие Мессану (III в. до н. э.); Помпей — имеется в виду Помпей Великий (см. прим. 1 к гл. XIV).

[10] Зенон, у плутарха — Стенон, а также Стенний и Стенис (Плутарх. Наставление тем, кто управляет государственными делами, 19).

[11] Здесь Монтень ошибается. Следует говорить не о Перузии (ныне Перуджия), а о Пренесте (ныне Палестрина), последнем оплоте сторонников Мария, захваченном Суллой в 82 г. до н. э. Об этом эпизоде см.: Плутарх. Наставление тем, кто управляет государственными делами, 19. Называя Перузию, Монтень повторяет ошибку французского переводчика Плутарха — Жака Амио.

[12] Газа — город в Палестине, которым владели филистимляне.

[13] Фивы были взяты и разрушены Александром Македонским в 336 г. до н. э.

Глава II

(Стр. 14—17)

[1] Tristesse по-французски означает печаль; по-итальянски tristezza — злоба, коварство.

[2] Монтень пересказывает здесь Геродота, III, 14.

[3] Речь идет о кардинале Карле Лотарингском, одном из вождей контрреформации, бывшем в числе застрельщиков реакции на Тридентском соборе (1545—1563). Находясь в 1563 г. в Триенте, он получил известие об убийстве (гугенотом Польтро де Мере) своего старшего брата, Франсуа, герцога Гиза, полководца и жестокого гонителя гугенотов, а через несколько дней узнал о смерти своего другого брата в сражении с гугенотами при Дрё.

[4] Согласно Квинтилиану (Обучение оратора, II, 13) этого живописца звали Тимантом.

[5] Ниобея — дочь Тантала и жена Амфиона, мать семи сыновей и семи дочерей; похваляясь своей плодовитостью перед Латоной, возлюбленной Юпитера, у которой было лишь двое детей — Аполлон и Диана, — вызвала ее гнев. По приказанию Латоны, Аполлон и Диана умертвили стрелами детей Ниобеи, после чего Ниобея от избытка горя превратилась в скалу (греко-римск. мифол.). Этот миф часто разрабатывался поэтами, например Овидием.

[6] „Окаменела от горя" (Овидий. Метаморфозы, VI, 303).

[7] „И с трудом, наконец, горе открыло путь голосу" (Вергилий. Энеида, XI, 151).

[8] После смерти в 1540 г. венгерского короля Иоанна (Яноша) I Запольского за обладание Венгрией разгорелась борьба между вдовой Иоанна I, защищавшей права их малолетнего сына (впоследствии короля Иоанна II), эрцгерцогом австрийским Фердинандом I и турецким султаном Сулейманом II. Победа последнего в 1541 г. при Буде (ныне Будапешт) привела к временному разделу Венгрии между тремя претендентами.

[9] Согласно представлениям древних и средневековых физиологов „жизненные духи" поддерживали жизнь в организме.

[10] „Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем" (Петрарка, Сонет 137).

[11] „Увы мне, любовь лишила меня всех моих чувств. Стоит мне, Лесбия, увидеть тебя, как я, обезумев, уже не в силах что-либо произнести. У меня цепенеет язык, нежное пламя разливается по всему телу, звоном сами собой наполняются уши и тьмой заволакиваются глаза" (Катулл, LI, 5 сл.).

[12] „Только малая печаль говорит, большая — безмолвна" (Сенека, Федра, 607).

[13] „И лишь увидела, что я иду, и узрела, в изумлении, вокруг меня троянских воинов, — устрашенная великим чудом, она обомлела; тепло покинуло ее кости; она падает и, лишь спустя долгое время, молвит" (Вергилий, Энеида, III, 306 сл.).

[14] Канны — селение в Апулии; в 216 г. до н. э. здесь произошла знаменитая битва, в которой Ганнибал на голову разбил римлян.

[15] Тальва, правильно Тальна — Маний Ювенций Тальна, римский консул 163 г. до н. э., покоритель Корсики.

[16] Папа Лев X, состоявший в союзе с германским императором Карлом V, добивался изгнания французов из Миланского герцогства. Он умер в 1521 г., как думают от отравления. Рассказ Монтеня основан на сообщении Гвиччардини в его „Истории Италии".

[17] Диодор Диалектик, по прозванию Кронос, — философ мегарской школы (IV в. до н. э.).

Глава III

(Стр. 18—26)

[1] „Несчастна душа, исполненная забот о будущем" (Сенека, Письма, 98).

[2] Платон, Тимей, 8.

[3] „И если глупость, даже достигнув того, чего она жаждала, никогда не бывает довольной, то мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не докучает себе" (Цицерон, Тускул нские беседы, V, 18).

[4] Монтень пересказывает здесь Тита Ливия (XXXV, 48).

[5] Тацит. Анналы, XV, 67—68.

[6] Аристотель. Никомахова этика, I, 10.

[7] „И едва ли кто-нибудь до конца отрешает себя от жизни. Всякому, хоть и смутно, представляется все же, что от него должно нечто остаться, и он не вполне отрывается и освобождается от своего простертого тела" (Лукреций, О природе вещей, III, 877 сл.). Монтень внес в текст Лукреция некоторые изменения.

[8] Бертран Дю Геклен (1320—1380) происходил из бедного бретонского рыцарского рода; впоследствии стал выдающимся полководцем и коннетаблем Франции (1370—1380); во время столетней войны одержал ряд блестящих побед над англичанами.

[9] Бартоломео д'Альвиано — венецианский военачальник, известный в свое время поэт (1455—1515).

[10] Теодоро Тривульцио (1448—1518) — миланец знатного рода, весьма искусный в военном деле; перешел на французскую службу, получил звание маршала и участвовал в войнах, которые Людовик XII и Франциск I вели в Италии.

[11] Слово „трофей" первоначально означало памятник в честь победы.

[12] Никий — афинский полководец (V в. до н. э.).

[13] Агесилай II — спартанский царь и полководец (IV в. до н. э.).

[14] Эдуард I — король английский (1272—1307). В интересах английских феодалов вел завоевательные войны в Шотландии и Уэльсе. Его попытки завоевать Шотландию вызвали восстание крестьян и горожан, продолжавшееся с перерывами до 1306 г., когда оно переросло во всеобщую войну за независимость страны. Война закончилась в 1314 г. победой шотландцев.

[15] Король Роберт I шотландский — борец за независимость Шотландии; в 1306 г. был коронован королем шотландским; умер в 1329 г.

[16] Ян Жижка (1378—1424) — герой чешского народа и великий славянский полководец, всегда, по словам Маркса (см. Архив Маркса и Энгельса, VI, стр. 229), остававшийся победителем на поле сражения. Вождь таборитов, Жижка возглавил созданную ими революционную крестьянско-плебейскую армию. Воодушевленная идеей защиты родины, эта армия одерживала одну за другой блестящие победы над численно превосходящими силами противника: все пять „крестовых походов", организованных с 1420 по 1431 г. папой и германским императором против чехов, окончились позорным крахом. В последние годы жизни Жижка ослеп, однако он продолжал руководить военными действиями.

[17] Джон Виклеф (1320—1384) — профессор Оксфордского университета; являлся выразителем интересов английского рыцарства и горожан, враждебно смотревших на богатую феодальную церковь и стремившихся ее реформировать. Они хотели наложить руку на ее земельные владения и уменьшить расходы на ее содержание. По словам Ф. Энгельса, Виклеф был ярким представителем ереси городов, главным требованием которой всегда было требование „дешевой церкви" (Ф. Энгельс. Крестьянская война в Германии).

[18] Монтень проявляет большой интерес ко всему, что относится к Новой Индии, как тогда называли Америку (см., например, кн. I, гл. XXXI). Монтень черпал свои сведения о новооткрытых странах как из рассказов моряков, купцов, путешественников, так и из книг. О его книжных источниках см. в прим. 1, 11, 13 к гл. XXXI.

[19] Баярд (1476—1524) — французский полководец времен итальянских войн Людовика XII и Франциска I; отличался храбростью, чувством воинской чести и другими „рыцарскими" качествами, соответствующими идеалу служилого дворянства его времени. Получил от современников прозвище „рыцарь без страха и упрека".

[20] Имеются в виду император германский Максимилиан I (1493—1519) и его правнук, король испанский Филипп II (1556—1598).

[21] Имеется в виду Кир Старший, основатель персидской монархии (VI в. до н. э.), история которого рассказана Ксенофонтом в „Киропедии".

[22] Марк Эмилий Лепид — сподвижник Цезаря; участник II триумвирата (43 г. до н. э.).

[23] Ликон — древнегреческий философ (III в. до н. э.).

[24] „Мы должны относиться с презрением ко всем этим заботам, но нашим близким не подобает пренебрегать ими" (Цицерон, Тускуланские беседы, I, 45).

[25] „Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — все это скорее утешение для живых, чем облегчение участи мертвых" (Августин. О Граде божием, I, 12).

[26] Аргинусские острова находятся в Эгейском море между Лесбосом и побережьем Малой Азии. Морское сражение, о котором здесь идет речь, произошло в 406 г. до н. э.

[27] „Ты спрашиваешь, в каком месте будешь покоиться после смерти? Там, где покоятся еще не рожденные“ (Сенека. Троянки, 407—408).

[28] „Пусть не найдет он могилы, которою был бы принят, пристанища для тела, где утратив человеческую жизнь, оно могло бы отдохнуть от невзгод“ (Энний в цитате у Цицерона: Тускуланские беседы, I, 44).

Глава IV

(Стр. 27—29)

[1] „И как ветер, рассеявшись в пустынном пространстве, теряет силу, если густые леса не встанут пред ним преградой“ (Лукан, III, 362—363).

[2] Плутарх. Жизнеописание Перикла, I.

[3] „Так паннонская медведица, раненная копьем, которое метнул в нее с помощью короткого ремня ливиец, рассвирепев, рвется к ране, в ярости пытается охватить вонзившееся в нее копье и кружится вокруг него, увлекая его за собою“ (Лукан, VI, 220 сл.).

[4] Прославленные братья — Публий и Гней Сципионы. Оба погибли во время второй Пунической войны в Испании (212 г. до н. э.), порознь разбитые Газдрубалом.

[5] „Все тотчас же принялись рыдать и бить себя по голове“ (Тит Ливий, XXV, 37).

[6] Цицерон. Тускуланские беседы, III, 26. Бион — греческий философ-киник (ум. в 241 г. до н. э.).

[7] Геллеспонт — древнее название Дарданельского пролива.

[8] Публий Квинтилий Вар — римский полководец; потеряв три легиона в Тевтобургском лесу (9 г. н. э.), куда он был завлечен восставшими против римлян германцами во главе с Арминием, вождем племени херусков, Вар покончил самоубийством.

[9] Плутарх. Как надлежит сдерживать гнев, 4. Прозаический текст Плутарха дан Монтенем в стихотворном переводе.

Глава V

(Стр. 30—33)

[1] Согласно Титу Ливию (XLII, 37), римского легата звали не Люций Марций, а Квинт Марций; в той же книге (гл. 47) Тит Ливий рассказывает об осуждении сенаторами хитрости Марция. Персей — царь македонский, разбитый на голову римлянами в 168 г. до н. э. при Пидне.

[2] Врач Пирра предложил римлянам отравить своего господина. — Фалиски — жители города Фалерии в Этрурии; во время борьбы римлян с этрусками некий школьный учитель фалисков предложил римскому диктатору Камиллу выдать

римлянам детей именитых граждан, дабы таким образом принудить жителей сдать город римлянам.

[3] „Не все ли равно, хитростью или доблестью победил ты врага?“ (Вергилий. Энеида, II, 390).

[4] Полибий, XII, 3. В новейших изданиях вместо 'Αχαιοί — ахейцы дается 'αρχαῖοι — древние.

[5] „Муж праведный и мудрый сочтет истинной только такую победу, которая будет достигнута с соблюдением безупречной честности и незапятнанного достоинства“ (Флор, I, 12).

[6] „Испытаем же доблестью, вам или мне назначила властвовать всемогущая судьба“ (Энний в цитате у Цицерона: Об обязанностях, I, 12).

[7] Тернате — один из островов Молуккского архипелага.

[8] Описываемые события относятся к 1521 г.

[9] Реджо — город в области Эмилии, в Северной Италии. Дальнейший рассказ относится к событиям 1521 г.

[10] Антигон и Эвмен, военачальники и приближенные Александра Македонского; после смерти последнего вступили в ожесточенную борьбу между собой. Осада Норы происходила в 316 г. до н. э.

Глава VI

(Стр. 34—36)

[1] Мюссидан — городок в области Перигор, в нескольких километрах от замка Монтеня. Описываемое происшествие имело место в 1569 г.

[2] Казилин — город в Кампании близ Капуи.

[3] „Никто не должен извлекать выгоду из неразумия другого“ (Цицерон. Об обязанностях, III, 17).

[4] Ксенофонт. Киропедия.

[5] Описываемый случай имел место в 1501 г.

[6] Ивуа (или Кариньян) — небольшой городок в Арденнах. Здесь у Монтеня ошибка: описанный им случай имел место в Динане, в 1554 г.

[7] Описанный случай имел место в 1522 г.; маркиз Пескарский был полководцем Карла V.

[8] Это произошло в 1544 г.

[9] „Победа всегда заслуживает похвалы, все равно, достигнута ли она случайно или благодаря искусству“ (Ариосто. Неистовый Роланд, песнь XV, 1).

[10] Хрисипп — философ-стоик (280—ок. 208 г. до н. э.), ученик Зенона, основоположника стоицизма.

[11] „Я предпочитаю сетовать на свою судьбу, чем стыдиться победы“ (слова Александра: Квинт Курций, IV, 13).

[12] „Тот же [Мезенций] не удостоил сразить убегающего Орода, пронзив его сзади дротиком, полета которого тот не увидел бы; он мчится навстречу

ему, они сходятся лицом к лицу, как муж с мужем, ибо он хочет одолеть врага не с помощью обмана, а в честном бою" (Вергилий. Энеида, X, 732 и сл.).

Глава VII

(Стр. 37—39)

[1] Генрих VII — король английский (1485 — 1509), основатель династии Тюдоров. Филипп I, прозванный Красивым, — эрцгерцог австрийский, властитель Нидерландов (1478—1506); после его брака с королевой кастильской Хуаной Безумной считался номинально королем кастильским, вот почему к его имени иногда присоединяли частицу „дон". Генрих VII был связан родством с Ланкастерской ветвью предшествующей династии Плантагенетов, боровшейся с другой ее ветвью Иоркской. Отголоском этой распри была ненависть Генриха VII к Сеффольку, былому приверженцу Иорков. В гербе Ланкастеров была изображена алая роза, в гербе Иорков — белая; отсюда вошедшее в историю название: война Алой и Белой Розы (1455—1485).

[2] Граф Эгмонт (1522—1568) — участник национально-освободительной борьбы Нидерландов против испанского ига. Представитель нидерландской крупной знати, Эгмонт принадлежал к дворянской оппозиции, добивавшейся такого политического устройства, которое обеспечило бы нидерландской аристократии и крупной буржуазии господство в стране. Неосновательно заподозренный в том, что он является одним из вождей начавшегося восстания против испанского владычества, Эгмонт был арестован в 1567 г. полновластным сатрапом Филиппа II в Нидерландах герцогом Альбой, обвинен в измене и казнен. Вместе с Эгмонтом погиб на плахе и другой представитель нидерландской знати, выступивший против испанского владычества в Нидерландах, упоминаемый Монтенем граф Горн (ок. 1520—1568).

[3] Геродот, II, 121.

Глава VIII

(Стр. 40—41)

[1] „Подобно тому, как трепещущая поверхность воды в медном сосуде, отражая солнце или сияющий лик луны, посылает отблеск, который порхает повсюду, вздымается ввысь и касается резьбы на высоком потолке" (Вергилий. Энеида, VIII, 22 сл.).

[2] „. . . словно сновиденья больного, рождаются странные образы" (Гораций. Наука поэзии, 7—8).

[3] „Кто всюду живет, Максим, тот нигде не живет" (Марциал, VII, 73).

[4] „. . . праздность порождает в душе неуверенность" (Лукан, IV, 704).

Глава IX

(Стр. 42—48)

[1] Платон. Критий, 2.

[2] Цицерон. За Лигария, 12: „Ты ничего не забываешь, кроме обид".

[3] В латинских словарях времен Монтеня слово mentiri (лгать) имеет при себе пояснение: quasi contra mentem ire, т. е. как бы итти против совести. По-французски лгать — mentir.

[4] „Так что чужеземец для человека иного племени не является человеком" (Плиний Старший. Естественная история, VII, 1).

[5] После захвата Милана французами (1499 г.) некоторые из них осели в миланском герцогстве и стали миланскими дворянами. Миланским дворянином был и упоминаемый Монтенем Мервейль. Подробнее об итальянских походах французов и о борьбе за миланское герцогство см. прим. 6 к гл. XIV.

[6] Описанное происшествие имело место в 1533 г.

[7] Упоминаемые здесь государи: папа Юлий II (1503—1513), французский король Людовик XII (1498—1515) и английский король Генрих VIII (1509—1547).

Глава X

(Стр. 49—51)

[1] Из стихотворения де Ла Боэси, опубликованного среди прочих его произведений Монтенем.

[2] Заимствовано из Кастильоне, III, 8 (см. прим. 28 к гл. XLVIII).

[3] Пуайе — известный в свое время юрист, канцлер Франции с 1538 по 1542 г. Описанный случай имел место в 1533 г.

[4] Кардинал Жан Дю Белле (1492—1560) — видный государственный деятель, покровительствовавший свободомыслящим ученым и писателям. Рабле дважды сопровождал Дю Белле в качестве врача во время его поездок с дипломатическими поручениями в Рим.

[5] Сенека Старший. Контроверзы, III.

[6] „Если бы я пускал в ход бритву...", т. е. если бы я попытался отсечь от себя все мои слабости и недостатки.

Глава XI

(Стр. 52—56)

[1] „В чем же причина того, что не только в наше время, но и давно уже из Дельф не исходят больше подобные прорицания, и почему ничем не пренебрегают в такой степени, как ими?" (Цицерон. О гадании, II, 57).

[2] Платон. Тимей, см. латинский перевод Марсилио Фичино, изд. 1546 г., стр. 724.

[3] „Мы считаем, что некоторые птицы созданы для гадания" (Цицерон. О природе богов, II, 64).

[4] „Многое видят гаруспики, многое предвидят авгуры, многое возвещается оракулами, многое пророчествами, многое снами, многое знамениями“ (Цицерон. О природе богов, II, 65). — Гаруспики — предсказатели, гадавшие по внутренностям жертвенных животных; авгуры — предсказатели, гадавшие по полету птиц, их крику и т. п.

[5] „. . . к чему тебе, владыка Олимпа, угодно было прибавлять к мучениям смертных еще и эту заботу? К чему тебе, чтобы они через грозные предсказания знали о грядущих своих несчастьях? Пусть будет внезапным все, что бы ты ни умыслил против них, пусть душа человеческая не ведает будущего, пусть она, пребывая в страхе, не лишается все же надежды“ (Лукан, II, 4 сл.).

[6] „Ведь нехорошо знать, что случится. Ведь терзаться, не будучи в силах чем-либо помочь, — жалкая доля“ (Цицерон. О природе богов, III, 6).

[7] Антонио де Лейва — видный испанский военачальник Карла V.

[8] Фоссано — город в Пьемонте. Описанное происшествие имело место в 1533 г.

[9] „Рассудительный бог набрасывает темный покров на грядущее, и он смеется над смертным, если тот трепещет больше, чем подобает. И радостно живет свой век, будучи сам себе хозяином, тот, кто в конце каждого дня может сказать: «Я прожил нынешний день. А завтра пусть Юпитер нашлет на небесный свод либо черную тучу, либо светозарное солнце»“ (Гораций. Оды, III, 29, 29 сл.).

[10] „Душа, довольная настоящим, не станет думать о будущем“ (Гораций. Оды, III, 16, 25 сл.).

[11] „Вот их доводы: раз существует гадание, значит должны быть и боги; а раз существуют боги, значит должно быть и гадание“ (Цицерон. О гадании, I, 6).

[12] „Что до тех, кто разумеет язык птиц и знает лучше чужую печень, нежели собственную, то полагаю, что скорее должно выслушивать их, чем проникаться верою в их слова“ (Пакувий в цитате у Цицерона: О гадании, I, 57).

[13] Тосканцев — здесь в значении: древних этрусков.

[14] Тагет — этрусское божество, будто бы обучившее этрусков искусству угадывать будущее.

[15] Альманахами (от арабск. „аль-мана“ — „время“) назывались в XV—XVI вв. подобия календарей с приложенными к ним астрологическими предсказаниями на предстоящий год или несколько лет.

[16] „Найдется ли такой человек, который, бросая дротик целый день напролет, не попадет хоть разок в цель?“ (Цицерон. О гадании, II, 59).

[17] Цицерон. О природе богов, I, 3. — Ксенофан Колофонский (ок. 570—490 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-философ.

[18] Иоахим дель Фьоре (ок. 1145—1202) — средневековый мистик. Еретическое учение Иоахима Флорского, содержавшее, хотя и в мистической форме, для своего времени прогрессивную концепцию развития всемирной истории и

особый метод толкования священного писания, оказало влияние на идеологию народных движений XIII—XIV вв. — Лев VI, прозванный Философом, — византийский император (с 886 по 912 г.), плодовитый писатель, которому принадлежит, между прочим, сборник из семнадцати „оракулов", написанных ямбическими стихами.

[19] Сократ ссылался на внутренний голос, якобы наставлявший его в важнейших вопросах. Этот внутренний голос он называл своим „демоном".

Глава XII

(Стр. 57—59)

[1] Платон. Лахет, 17.

[2] Индатирс (в другом чтении — Идантирс) — полулегендарный скифский царь VI—V вв. до н. э. (Геродот, IV, 127).

[3] Речь идет о Лоренцо II (1492—1519); мать короля — Екатерина Медичи (1519—1589).

[4] Имеются в виду папские владения.

[5] „Тщетно струятся слезы, — душа остается неколебимою" (Вергилий. Энеида, IV, 449).

Глава XIII

(Стр. 60—61)

[1] Маргарита Ангулемская или (после того как вторым браком вышла за короля Наварры) Наваррская (1492—1549), сестра короля Франциска I, покровительница писателей, гонимых за религиозное свободомыслие, сама поэтесса и автор сборника новелл „Гептамерон", хорошо рисующих нравы знатного общества того времени.

Глава XIV

(Стр. 62—86)

[1] Монтень имеет в виду „Руководство" Эпиктета, 5. Это изречение было начертано среди других греческих изречений на потолке библиотеки Монтеня.

[2] „О если бы, смерть, ты не отнимала жизни у трусов, о если бы одна только доблесть дарила тебя!" (Лукан, IV, 580—581).

[3] Цицерон. Тускуланские беседы, V, 40.

[4] По словам Озорио (1506—1580), называемого Монтенем „лучшим латинским историком своего времени", работой которого он пользовался как в латинском оригинале (De gestis regis Emmanuelis), так и во французском переводе Симона Гулара (Histoire de Portugal, contenant les entreprises, navigations et gestes mémorables des Portugallois) царство Нарсингское граничило с португальскими владениями в Индии (Гоа).

[5] Здесь Монтень подражает предисловию Бонавентуры Деперье к его сборнику „Новые забавы и веселые разговоры“ (B. Desperier. Nouvelles récréations et joyeux devis). Деперье — крупный писатель из кружка Маргариты Наваррской (род. между 1510—1515 гг., ум. в 1544 г.); помимо названного сборника ему принадлежит еще книга „Кимвал мира“, подвергшаяся сожжению за атеистические тенденции и крайнее вольномыслие автора.

[6] Войны за обладание Миланом велись с 1499 по 1547 г. французскими королями Людовиком XII и Франциском I, которые оспаривали северную Италию у миланских герцогов и германских императоров (последние номинально обладали суверенной властью над этой областью). В конце концов французам пришлось уйти из Италии.

[7] Плутарх. Брут, 31. — Ксанф — город в Ликии (Малая Азия). Плутарх сообщает, что Бруту удалось спасти лишь 150 человек.

[8] „...каждый скорее сменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские“ — таковы были первые слова торжественной клятвы, которую принесли греки перед битвою при Платее“ (479 г. до н. э.; Диодор Сицилийский, XI, 29).

[9] Указ об изгнании евреев из Испании был изгнан „католическими“ королями Фердинандом и Изабеллой в 1492 г. В Португалии в это время царствовал король Иоанн (Жоан) II.

[10] Имеется в виду епископ Иероним Озорио, португальский историк; Монтень ссылается на упомянутое выше сочинение Озорио (см. прим. 4).

[11] В издании „Опытов“ 1595 г. после этого следует еще фраза: „В городе Кастелонодари пятьдесят еретиков-альбигойцев одновременно с великою твердостью предпочли лучше подвергнуться сожжению на костре, нежели отречься от своих убеждений“.

[12] „Сколько раз не только наши вожди, но и целые армии устремлялись навстречу неминуемой смерти“ (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 37).

[13] Сенека. Письма, 70.

[14] Пиррон (род. ок. 365 г., ум. ок. 275 г. до н. э.) — дренегреческий философ, родоначальник античного скептицизма, оказавший значительное влияние на Монтеня.

[15] Помпей Великий — римский полководец и политический деятель (106—48 гг. до н. э.), стремившийся, как и Цезарь, к единоличной диктатуре, но, по словам Энгельса, как политик и полководец значительно уступавший Цезарю (см. Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIII, стр. 15). — Посидоний (135—50 до н. э.) — историк, математик и астроном, один из крупнейших пропагандистов эллинистической образованности в Риме, пользовавшийся широкой популярностью среди римских ученых и государственных деятелей. Его учениками были Цицерон, Саллюстий, Варрон и другие. Посидоний написал „Историю“ в 92 книгах.

Помпей дважды посетил Посидония, который составил специальный трактат о восточных походах Помпея.

16 „Если (чувства) не истинны, значит лжив и наш разум“ (Лукреций. О природе вещей, IV, 486).

17 „Смерть или была или будет, в ней нет ничего что было бы в настоящем; и менее мучительна сама смерть, чем ее ожидание“. Первый стих взят Монтенем из латинской сатиры его друга Этьена де Ла Боэси; второй — из Овидия (Героини. Послание Ариадны к Тезею, 82). О своей дружбе с де Ла Боэси Монтень подробно рассказывает в гл. XXVIII настоящего тома („О дружбе“), где упоминается об этой сатире.

18 „Смерть — зло лишь в силу того, что за ней следует“ (Августин. О Граде божием, I, 11).

19 „Доблесть жаждет опасности“ (Сенека. О провидении, 4).

20 „Ведь даже будучи удручены, часто не в веселье и не в забавах, не в смехе и не в шутке, спутнице легкомыслия, находят они отраду, но в твердости и постоянстве“ (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 20).

21 „Добродетель тем приятнее, чем с бо́льшим трудом ее достигают“ (Лукан, IX, 404).

22 „Если боль мучительна — она непродолжительна; если продолжительна — значит не мучительна“ (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, II, 29).

23 „Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над посредственными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесем их; если же они нестерпимы, уйдем из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра“ (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, I, 15). Эти слова Цицерон приписывает эпикурейцу Торквату.

24 Платон, Федон, 9—13.

25 „Они испытывают страдания ровно настолько, насколько поддаются им“ (Августин. О Граде божием, I, 10).

26 „Обычай не в силах побороть природу; она непобедима; но мы отравили нашу душу призраками, наслаждениями, праздностью, изнеженностью, леностью, и после того, как она поникла, мы извратили ее еще нашими мнениями и дурными привычками“ (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 27).

27 Сенека. Письма, 78.

28 Речь идет, повидимому, о скептике Анаксархе (IV в. до н. э.), последователе Демокрита и наставнике Пиррона; по повелению кипрского тирана Никокреона Анаксарх был истолчен в ступе. См. Диоген Лаэрций. Жизнеописание Анаксарха, IX, 58—59.

29 „Кто даже из числа посредственных гладиаторов хоть когда-нибудь издал стон? Кто из них, не только сражаясь, но и поверженный, обнаруживал

трусость? Кто, будучи повержен и получив приказание принять смертельный удар, втягивал в себя шею?" (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 17).

[30] „Существуют такие, которые поглощены заботой о том, чтобы вырвать у себя седые волосы и, сняв с лица кожу, заменить ее новой" (Тибулл, I, 8, 45—46).

[31] Имеется в виду Генрих III, король французский (1574—1589); в 1573 г., когда престол во Франции занимал его брат Карл IX, был избран польским королем в качестве ставленника католической партии Польши и принес присягу на верность определенным статьям, сильно ограничивавшим его власть. Год спустя, когда Карл умер, Генрих III спешно бежал во Францию, чтобы наследовать престол после брата.

[32] Аспер — мелкая турецкая монета.

[33] Одним из важных источников сведений Монтеня о турках была книга видного французского востоковеда середины XVI в. Постеля (Histoire des Turcs, 1560).

[34] Имеется в виду хронист-историограф французского короля Людовика IX, Жуанвилль (1224—1317), сопровождавший его в крестовом походе (1248—1254). См.: J. de Joinville. Mémoires ou Histoire et chronique du très chrétien roi saint Louis, t. I. Paris, 1858, стр. 54.

[35] Вильгельм, герцог Аквитанский или Гиеньский и граф Пуатуский (ум. 1137 г.), оставил все свои земли единственной дочери — Алиеноре Аквитанской. В качестве ее приданого они перешли сначала к первому ее мужу французскому королю Людовику VII, а затем ко второму — английскому королю Генриху II.

[36] Монтень имеет в виду Фулька III, графа Анжуйского, по прозванию Черного (972—1040), своими захватами значительно расширившего владения анжуйского дома. Типичный феодал-хищник, Фульк III ради округления своих владений не брезговал никакими средствами и известен был жестокими злодеяниями и вероломством. Для искупления своих „прегрешений" Фульк III совершил паломничество в Иерусалим.

[37] „Из чего явствует, что горе порождается не природой, но нашими мнениями" (Цицерон. Тускуланские беседы, III, 28).

[38] Терес — царь фракийцев (Диодор Сицилийский, XII, 50).

[39] „Дикое племя, которое не может представить себе жизнь без оружия" (Тит Ливий, XXXIV, 17).

[40] Кардинал Карло Борромео — миланский архиепископ (1538—1584).

[41] Имеется в виду Демокрит. Предание о том, что Демокрит сам ослепил себя, недостоверно.

[42] Фалес (конец VII — начало VI в. до н. э.) — выдающийся древнегреческий ученый и философ; родоначальник греческой материалистической философии (Диоген Лаэрций, I, 26).

[43] Имя этого человека — Аристипп (Диоген Лаэрций, II, 77; Гораций. Сатиры, II, 3, 100).

[44] Сенека. Письма, 17. — Эпикур (341—270 гг. до н. э.) — выдающийся древнегреческий философ-материалист.

[45] „Через столько бурных морей“ (Катулл, IV, 18).

[46] „Судьба словно стеклянная; она так же блестит, как стекло и столь же хрупка“ (Публилий Сир. Изречения).

[47] „Каждый — кузнец своей судьбы“ (Саллюстий. II письмо к Цезарю, 1).

[48] „Нуждаться, обладая богатством — это самый тяжкий вид нищеты“ (Сенека. Письма, 74).

[49] Бион — древнегреческий философ (ум. в середине III в. до н. э.); до нас дошли некоторые его изречения, свидетельствующие о его остроумии. Приведенное в тексте изречение см.: Сенека. О душевном покое, 8.

[50] Платон. Законы, I, 6.

[51] У Плутарха в „Изречениях“ этот анекдот рассказывается применительно к Дионисию-отцу.

[52] „Не быть жадным — уже есть богатство; не быть расточительным — доход“ (Цицерон. Парадоксы, VI, 3).

[53] „Плод богатства — обилие; признак обилия — довольство“ (Цицерон. Парадоксы, VI, 2).

[54] „Бывает [у некоторых] такая изнеженность и слабость, и не только в страданиях, но и в разгар наслаждений; и когда из-за нее мы размягчаемся и теряем всякую волю, то даже укус пчелы — и тот исторгает у нас стенания... Все в том, чтобы научиться владеть собою“ (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 22).

Глава XV

(Стр. 87—88)

[1] Осада Павии французскими войсками и последовавший за этим разгром их имели место в 1525 г.

[2] Это произошло в 1536 г. Дофин Франциск — старший сын Франциска I (ум. 1536 г.).

[3] Мартин Дю Белле (ум. 1559) — брат кардинала Жана Дю Белле. Он оставил после себя мемуары, служащие продолжением мемуаров другого его брата — Гильома. Монтень постоянно обращается к мемуарам братьев Дю Белле.

Глава XVI

(Стр. 89—90)

[1] Булонь была сдана де Ервеном королю английскому Генриху VIII в 1544 г.

[2] Харонд — законодатель греческих колоний в Сицилии и Калабрии (VII в. до н. э.).

[3] „Предпочитай, чтобы у человека кровь приливала к щекам, чем чтобы она была им пролита“ (Тертуллиан. Апологетика, IV). Монтень несколько изменил текст Тертуллиана.

[4] Аммиан Марцеллин, XXIV, 4 и XXV, 1.

Глава XVII

(Стр. 91—95)

[1] „Пусть кормчий рассуждает лишь о ветрах, а земледелец — о быках; пусть воин рассказывает нам о своих ранах, а пастух о стадах“ (Проперций, II, 1, 43—44; в итальянском переводе Стефана Гуаццо).

[2] Архидам III (361—338 гг. до н. э.) — спартанский царь, сын Агесилая II, искусный полководец.

[3] См., например, описание построенного Цезарем моста через Рейн: Цезарь. Записки о галльской войне, IV, 17.

[4] „Ленивый вол хочет ходить под седлом, а конь — пахать“ (Гораций. Послания, 1, 14, 43).

[5] Де Ланже — Гильом Дю Белле. „История“ — его мемуары (см. прим. 3 к гл. XV).

[6] Монтень имеет в виду Муциана Публия Лициния Красса (консул 131 г. до н. э.), римского политического деятеля и юриста, рьяного сторонника аграрной реформы Тиберия Гракха.

Глава XVIII

(Стр. 96—98)

[1] „Я оцепенел; волосы мои встали дыбом и голос замер в гортани“ (Вергилий. Энеида, II, 774).

[2] На знаменах французских королевских войск времен Монтеня был изображен белый крест; на многих знаменах испанцев — красный, эмблема могущественных рыцарских орденов Испании: ордена Калатравы и ордена Сант-Яго.

[3] Взятие в 1527 г. Рима войсками Карла V под командованием перешедшего к нему на службу принца Бурбонского сопровождалось необычайными жестокостями и полным разграблением города.

[4] Германик — римский полководец, племянник императора Тиберия (ок. 16 г. до н. э.—19 г. н. э.).

[5] Феофил — византийский император (829—842). — Агаряне — библейский термин, обозначающий аравитян, т. е. арабов.

[6] „До такой степени страх поражает в нас даже то, что могло бы помочь нам“ (Квинт Курций, III, 11).

[7] Случай, о котором рассказывает Монтень, произошел в Карфагене в IV в. до н. э. Обстановка в городе была крайне напряженной. Свирепствовала моровая язва, уносившая ежедневно тысячи жизней. Ходили зловещие слухи о приближении сардинских кораблей и об африканцах, несметными толпами подступающих к Карфагену. Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XV, 24.

Глава XIX

(Стр. 99—102)

[1] „Человеку должно ждать последнего своего дня, и никто не может сказать о ком-либо, что он счастлив до его кончины и до свершения над ним погребальных обрядов“ (Овидий. Метаморфозы, III, 135 сл.).

[2] См. прим. 13 гл. III.

[3] Монтень имеет в виду тяжелое положение, в котором оказался Помпей, когда он, разбитый Цезарем при Фарсале (48 г. до н. э.), отправился на восток искать помощи египетского царя. Царедворцы малолетнего египетского царя убили Помпея и передали прибывшему через несколько дней Цезарю голову и перстень Помпея (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 35).

[4] Точнее — семь лет (1500—1507).

[5] Имеется в виду Мария Стюарт, королева шотландская и вдова французского короля Франциска II (1542—1587).

[6] „Некая скрытая сила рушит человеческие дела, и попирать великолепные фасции и грозные секиры для нее, видно, забава“ (Лукреций. О природе вещей, V, 1233 сл.). — Фасции — пучки прутьев, эмблема власти в древнем Риме.

[7] Лаберий (Децим Юний) — римский всадник, автор мимов. Цезарь заставил его выступить на сцене в одном из мимов его сочинения. Макробий цитирует пролог того мима, в котором Лаберию пришлось играть перед Цезарем. В этом прологе Лаберий скорбит о своем унижении.

[8] „Я жил на день дольше, чем мне следовало бы жить“ (Макробий. Сатурналии, II, 7, 14—15).

[9] „Ибо только тогда, наконец, из глубины души вырываются искренние слова, срывается личина и остается самая сущность“ (Лукреций. О природе вещей, III, 57—58).

[10] Древний автор — Сенека, см.: Письма, 26 и 102.

[11] Речь идет о Публии Корнелии Сципионе Назике, который, как рассказывает Сенека (Письма, 24) после битвы при Фарсале (48 г. до н. э.) лишил себя жизни. Корабль, на котором он находился, подвергся нападению цезарианцев; видя, что дальнейшее сопротивление бесполезно, Сципион пронзил себя мечом. Когда подбежавшие к нему вражеские воины спросили его „где же военачальник?“, он, умирая, ответил: „Военачальник чувствует себя превосходно“.

[12] Эпаминонд (см. прим. 6 к гл. I), смертельно раненный в сражении под Мантинеей, как передают античные писатели, умирая, сказал: „Я прожил достаточно, так как умираю не быв побежденным“, и еще: „Я оставляю двух бессмертных дочерей — Левктры и Мантинею“ (т. е. две победы: при Левктрах — 371 г. до н. э. и при Мантинее — 362 г. до н. э.); Хабрий — афинский военачальник, успешно сражавшийся с Агесилаем и Эпаминондом, убит в сражении (357 г. до н. э.); Ификрат — афинский военачальник (ум. ок. 353 г. до н. э.).

Глава XX

(Стр. 103—122)

[1] Цицерон. Тускуланские беседы, I, 30.

[2] Экклезиаст, III, 12.

[3] „Давайте оставим эти хитроумные мелочи“ (Сенека. Письма, 117).

[4] Валерий Максим, VIII, 13, ext. 3. Здесь у Монтеня неточность: Ксенофил — философ, а музыкант — Аристоксен.

[5] „Все мы влекомы туда же; вращается урна и рано иль поздно выпадет и наш жребий и усадит нас в челн [Харона], отправляя на вечную гибель“ (Гораций. Оды, II, 3, 25 сл.).

[6] „Которая всегда висит над ними, как скала над Танталом“ (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, I, 18).

[7] „... ни сицилийские яства не будут услаждать его, ни пение птиц и игра на кифаре не возвратят ему сна“ (Гораций, Оды, III, 1, 18 сл.).

[8] „Он тревожится о пути, считает дни, измеряет жизнь дальностью дороги и мучим мыслями о грядущих бедствиях“ (Клавдиан. Против Руфина, II, 137—138).

[9] „Он задумал итти, вывернув голову назад“ (Лукреций. О природе вещей, IV, 472). В современных изданиях этот стих дан в несколько иной редакции, что придает ему другой смысл.

[10] По-латыни смерть — mors.

[11] Карл IX ордонансом 1563 г. повелел считать началом года 1 января. Раньше год начинался с пасхи.

[12] Согласно библейской легенде, патриарх Мафусаил прожил 969 лет.

[13] „Человек не в состоянии предусмотреть, чего ему должно избегать в то или иное мгновение“ (Гораций. Оды, II, 13, 13—14).

[14] Монтень имеет в виду герцога Бретонского Жана II, умершего в 1305 г. Климент V до своего избрания папой был архиепископом бордоским; вот почему Монтень называет его своим соседом.

[15] Так окончил жизнь Генрих II в 1559 г., раненный на турнире.

[16] Филипп, старший сын Людовика Толстого, погиб на охоте в 1131 г.

[17] По преданию, так умер древнегреческий лирик Анакреонт (VI в. до н. э.).

[18] „... я предпочел бы казаться глупцом и безумцем, лишь бы мои заблуждения развлекали или обманывали меня, чем сознавать их и этим терзаться“ (Гораций. Послания, II, 2, 126 сл.). В цитате Монтеня опущено в начале первой строки слово scriptor — писатель. Гораций говорит: пусть я и плохой писатель, но я предпочитаю заблуждаться относительно своих творений и т. д.

[19] „Ведь она преследует и беглеца-мужа и не щадит ни поджилок, ни робкой спины трусливого юноши“ (Гораций. Оды, III, 2, 14 сл.).

[20] „Пусть он предусмотрительно покрыл себя железом и медью, смерть все же извлечет из них его голову“ (Проперций, III, 18, 25—26).

[21] „Считай всякий день последним, что тебе выпал, и будет милым тот час, на который ты не надеялся“ (Гораций. Послания, I, 4, 13—14).

[22] „Когда мой цветущий возраст переживал свою веселую весну“ (Катулл, LXVIII, 16).

[23] „И то, что мы имеем сейчас, вскоре минет, и никогда уже нельзя будет это вернуть“ (Лукреций. О природе вещей, III, 915).

[24] „Всякий человек столь же хрупок, как все прочие; всякий одинаково не уверен в завтрашнем дне“ (Сенека. Письма, 91).

[25] „К чему нам в быстротечной жизни дерзко домогаться столь многого?“ (Гораций. Оды, II, 16, 17).

[26] „О я несчастный, о жалкий! — восклицают они. — Один горестный день отнял у меня все дары жизни“ (Лукреций. О природе вещей, III, 898—899).

[27] „Работы остаются незавершенными, и не закончены высокие зубцы стен“ (Вергилий, Энеида, IV, 88 сл.; у Вергилия вместо manent — pendent, т. е. повисают).

[28] „Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов“ (Овидий. Любовные стихотворения, II, 10, 36).

[29] „Они этого не говорят, но ведь стремление к этим благам не сохранится в тебе [после смерти]“ (Лукреций. О природе вещей, II, 900—901).

[30] „Был в старину обычай оживлять пиры смертоубийством и примешивать к трапезе жестокое зрелище сражающихся, которые падали иной раз среди кубков, поливая обильно кровью пиршественные столы“ (Силий Италик. Пунические войны, XI, 51 сл.).

[31] Дикеарх — древнегреческий философ, отрицавший существование души и утверждавший, что она только тело, находящееся „в определенном состоянии“ (IV в. до н. э.).

[32] „Увы! Сколь малая толика жизни оставлена старцам“ (Максимиан. Элегии, I, 16). Приводимый дальше рассказ о Цезаре и ветеране заимствован у Сенеки (Письма, 77).

[33] „Ничто не в силах поколебать стойкость его души: ни взгляд своевольного тирана, ни Австр [южный ветер], буйный владыка бурной Адриатики, ни великая рука громовержца Юпитера“ (Гораций. Оды, III, 3, 3 сл.).

[34] „«Я надену на тебя ручные и ножные оковы, я приставлю к тебе жестокого тюремщика». — «Сам бог, как только я этого захочу, отпустит меня на волю». Полагаю, что он думал при этом: «Я умру». Ведь смерть последний предел всего“ (Гораций. Послания, I, 16, 76 сл.).

[35] Здесь у Монтеня неточность: Сократа приговорили к смерти не тридцать тиранов (404 г. до н. э.), а афинский суд присяжных в 400 г. до н. э. Приводимый рассказ см.: Диоген Лаэрций, II, 35.

[36] Эта мысль Монтеня чрезвычайно важна: она доказывает, что вразрез с католическим вероучением Монтень отрицает бессмертие души (Монтень повторяет эту мысль и в других местах своих „Опытов“). Следует отметить, что во всей этой главе, как и в предыдущей, где Монтень рассматривает вопрос о смерти с самых разных точек зрения, он нигде, однако, не упоминает о соблюдении при этом католического ритуала.

[37] „Смертные живут в очередь друг за другом... как некие скороходы, они передают один другому светильник жизни“ (Лукреций. О природе вещей, II, 75, 78).

[38] „Первый же час нашей жизни укоротил ее“ (Сенека. Неистовый Геркулес, 874).

[39] „Рождаясь, мы умираем; из начала возникает конец“ (Манилий. Астрология, IV, 16).

[40] „Почему же ты не уходишь [из жизни], как пресыщенный сотрапезник?“ (Лукреций. О природе вещей, III, 938).

[41] „Почему же ты стремишься продлить то, что снова принесло бы тебе только несчастье и осуждено на бесследное исчезновение?“ (Лукреций. О природе вещей, III, 941—942).

[42] „Это то, что видели наши отцы, это то, что будут видеть потомки“ (Манилий. Астрология, I, 522—523).

[43] Здесь Монтень соединил два стиха — один из Лукреция, другой из Вергилия: 1) „Мы вращаемся и пребываем всегда среди одного и того же“ (Лукреций. О природе вещей, III, 1080); 2) „И сам по себе, по своим же следам, возвращается год“ (Вергилий. Георгики, II, 402).

[44] „Ибо, что бы я [Природа] не придумала, что бы я не измыслила, нет ничего такого, что тебе бы понравилось, и все всегда то же самое“ (Лукреций. О природе вещей, III, 944—945).

[45] „Можно побеждать, сколько угодно, жизнью века, — смерть все равно останется вечной“ (Лукреций. О природе вещей, III, 1090—1091).

[46] „Неужели ты не знаешь, что после смерти не будет второго тебя, который мог бы, живой, оплакивать тебя, умершего, который, стоя, оплакивал бы лежащего“ (Лукреций. О природе вещей, III, 885 сл.).

[47] „И тогда никто уже не заботится ни о себе, ни о жизни, и тогда у нас нет больше никаких сожалений о себе“ (Лукреций. О природе вещей, III, 919, 922).

[48] „... нужно считать, что смерть гораздо ничтожнее, чем ничто, если может быть что-нибудь ничтожнее того, что мы почитаем таким“ (Лукреций. О природе вещей, III, 926–927).

[49] „Взгляни, ведь какое нам дело до вечности минувшего времени“ (Лукреций. О природе вещей, III, 972—973).

[50] „... и, прожив свою жизнь, все последуют за тобой“ (Лукреций. О природе вещей, III, 968).

[51] „Не было ни одной ночи, сменившей собою день, ни одной зари, сменившей ночь, которым не пришлось бы услышать стенания, смешанные с жалобным плачем малых детей, стенания этих спутников смерти и горестных похорон“ (Лукреций. О природе вещей, II, 578 сл.).

[52] Кентавр Хирон, воспитавший Геркулеса и позднее Ахилла, был сыном Сатурна и нимфы Пелиры. Раненный отравленной стрелой, он стал молить богов о ниспослании ему смерти; тогда Юпитер сжалился над ним и переселил его на небо; так возникло созвездие Стрельца (греко-римск. мифол.).

Глава XXI

(Стр. 123—136)

[1] Данная глава чрезвычайно существенна и показательна для характеристики мировоззрения Монтеня. В ней ярко проявляется критическое отношение Монтеня ко всяким сверхъестественным явлениям, так называемым „чудесам“, занимавшим столь важное место в традиционном средневековом мышлении. Монтень с непререкаемой ясностью показывает, что так называемые сверхъестественные явления в действительности сводятся к совершенно естественным, что их принимают за сверхъестественные только по недостатку знаний, недостатку умения установить их естественные причины. То, что далеко не все приводимые Монтенем примеры объясняются, как он полагает, силой воображения, а равно и то, что некоторые среди его примеров баснословны или преувеличены, не меняет дела. Общий вывод Монтеня, — что все совершается по естественным причинам, — остается непоколебимым. Совсем по-новому раскрывает в этом „Опыте“ Монтень воздействие физического состояния человека на психическое. Доказывая эти положения, Монтень выступает уже как представитель веяний нового времени, новой философии и науки. Формулируя свои выводы, Монтень разоблачает полную несостоятельность веры в чудеса, этой важнейшей основы всякой религии. В то же время указанные выводы Монтеня являются лишним подтверждением того, что Монтень отнюдь не воздерживается от суждений, что его „пирронистский“ метод только прием в борьбе с догматизмом отжившего средневекового мировоззрения.

[2] „Сильное воображение порождает событие“.

[3] Монтень не вполне точно передает рассказ Сенеки Старшего (Контроверзы, II, 9, 26), сообщающего, что Вибий Галл стал безумным, воспроизводя с чрезмерным рвением все движения умалишенных.

[4] Согласно Валерию Максиму (V, 6), Ципп был не „царем италийским“, а римским претором. Плиний Старший (Естественная история, XI, 45) считает этот рассказ басней.

[5] По словам Геродота, сын Креза был немым от рождения и заговорил под влиянием страха (Геродот, I, 85).

[6] Речь идет об Антиохе Сотере (Спасителе), сыне сирийского царя Селевка Никатора (Победителя). Стратоника — мачеха Антиоха (IV—III вв. до н. э.).

[7] Джовиано Понтано (1426—1503) — ученый филолог, поэт и историк; основатель Неаполитанской академии; помимо ученых трудов, оставил после себя множество стихов.

[8] „И юноша выполнил те обеты, которые были даны им же, когда он был девушкой Ифис“ (Овидий. Метаморфозы, IX, 794).

[9] Дагобер — франкский (во Франции) король из династии Меровингов (ум. в 638 г.); о нем сложилось немало баснословных преданий. — Франциск Ассизский (1182—1226) — основатель монашеского ордена францисканцев, ставшего оплотом римской курии в борьбе с ересями. По преданию, у фанатически религиозного Франциска от глубоких размышлений о страданиях Христа делались рубцы или раны („стигматы“) на ладонях или других местах тела.

[10] Цельс — знаменитый римской врач I в. н. э., автор ряда медицинских трактатов, по большей части не дошедших до нас.

[11] Жак Пеллетье (1517—1582) — писатель, врач и математик; был связан с виднейшими французскими учеными и писателями своего времени. Приятель Монтеня, Пеллетье в 1572—1579 гг. жил в Бордо и часто бывал в замке Монтень, где между автором „Опытов“ и Пеллетье происходили оживленные споры на философские темы.

[12] Амасис — царь XXVI египетской династии. Упомянутый в тексте случай заимствован из Геродота (II, 182).

[13] Намек на „чудотворные“ способности французских королей. Насаждая в народе суеверия, французские короли и поддерживавшая их католическая церковь, внушали веру в то, что прикосновение королевских рук излечивает от разных болезней, в частности от золотухи. Вплоть до XVII в. (и даже позже) в определенные дни ко двору короля стекались сотни, а иногда и тысячи больных этой болезнью. Обходя их в сопровождении духовенства и налагая на их головы руку, король „исцелял“ золотушных. Особенно много больных прибывало на эту церемонию из Испании.

[14] „Смотря на больных, наши глаза и сами заболевают; и вообще соприкосновение приносит телам множество бед“ (Овидий. Лекарства от любви, 615).

[15] „Чей-то глаз порчу навел на моих ягняток“ (Вергилий. Эклоги, III, 103).

[16] Это сообщение Монтеня подтверждается другими источниками. Из мемуаров и работ современников Монтеня известно, что ему неоднократно дела-

лись подобного рода предложения, ибо современники Монтеня ценили его уменье разбираться в происходящих событиях, о которых он всегда был хорошо осведомлен, благодаря близости с виднейшими политическими деятелями того времени, и ценили его независимые суждения. Одно из таких свидетельств принадлежит известному французскому историку XVI в. де Ту (de Thou), который в своей „Истории" (Historia mei temporis. Базель, 1742, XI, 44) сообщает, что во время своего пребывания в Бордо в 1582 г. он с большой пользой для себя осведомлялся у Монтеня о положении дел в Гиени.

[17] Гай Саллюстий Крисп — знаменитый римский историк (ок. 86—35 г. до н. э.), автор „Заговора Катилины" и „Войны с Югуртой".

[18] Монтень весьма прозрачно намекает здесь на то, что он не может свободно выражать мысли и вынужден высказывать свои взгляды и суждения о людях прикровенно, чтобы на него не обрушились преследования со стороны властей предержащих. Такие же признания встречаются и в других главах „Опытов".

Глава XXII

(Стр. 137)

[1] Демад (ум. в 318 г. до н. э.) — афинский государственный деятель, блестящий оратор и дипломат. Упомянутый в тексте случай см.: Сенека. О благодеяниях, VI, 38.

[2] „Если что-нибудь, изменившись, переступит свои пределы, это есть смерть того, что было прежде" (Лукреций. О природе вещей, II, 753—754 и III, 519—520).

Глава XXIII

(Стр. 138—159)

[1] Монтень имеет в виду Квинтилиана (Обучение оратора, I, 9).

[2] „Наилучший наставник во всем — обычай" (Плиний Старший. Естественная история, XXVI, 6).

[3] Монтень имеет в виду широко известное место в „Государстве" (VII, 1) Платона. По утверждению Платона, мир чувственных вещей не есть мир подлинно сущего. Представьте себе, — развивает свою мысль Платон, — людей, со дня их рождения заключенных в пещере, закованных и обращенных лицом к стене, противоположной выходу из пещеры. Они никогда не видели действительного мира и не имели дела с действительными, реальными предметами. Мимо отверстия пещеры люди проносят в корзинах различные предметы. Эти предметы отражаются на стене, лицом к которой обращены узники. Последние всю жизнь видят лишь тени предметов, проносимых мимо отверстия пещеры. Подобно этим узникам, — утверждает Платон, — люди принимают тени, т. е.

мир вещей, за истинное, и не видят идей, являющихся подлинными источниками происхождения видимых предметов. Несостоятельность учения Платона о первенстве идей над „материей", иными словами идеализма Платона, была полностью раскрыта в произведениях Маркса и Энгельса, а также В. И. Ленина.

[4] Монтень имеет в виду рассказ Плиния о том, что понтийский царь Митридат Евпатор (ок. 131—63 гг. до н. э.), стараясь закалить себя, приучал себя к яду (Плиний. Естественная история, II, XXV, 3).

[5] Альберт из Больштедта, прозванный „Великим", — доминиканский монах, теолог и алхимик (1207—1280). В его сочинениях можно обнаружить некоторые зачатки научного естествознания.

[6] „Новой Индией" Монтень называет „Новый Свет", т. е. Америку.

[7] „Велика сила привычки. Охотники проводят ночь на снегу и замерзают в горах. Борцы, избитые цестами, даже не издают стона" (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 17). — Цест — ремень, выложенный железом или свинцом, которым бойцы обматывали себе руку.

[8] Ave Maria (Радуйся, дева) — католическая молитва, мелодию которой обычно вызванивали по вечерам куранты.

[9] Дубль — старинная мелкая монета; дублон — золотая монета.

[10] „Не стыдно ли физику, т. е. исследователю и испытателю природы, искать свидетельство истины в душах, порабощенных обычаем?" (Цицерон. О природе богов, I, 30).

[11] Почти все приводимые ниже примеры заимствованы Монтенем из книги Лопеса де Гомара „Общая история Индии" (Французский перевод: L. Gomara. Histoire générale des Indes. 1586).

[12] Пиндар (ок. 518—442 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт; приводимыми Монтенем словами Пиндар характеризует закон, Геродот же распространил эту характеристику на обычай, см.: Геродот, III, 38.

[13] Аристотель. Никомахова этика, VII, 5.

[14] В экземпляре „Опытов" 1595 г. перед абзацем, начинающимся словами „Дарий как-то спросил...", имеется следующая вставка Монтеня: „В силу обычая всякий любит страну, где ему природой суждено жить: так, туземцы Шотландии равнодушны к Турени, скифы — к Фессалии". Идея о естественной любви всякого человека к своей родине — одна из излюбленных мыслей Монтеня, к которой он неоднократно возвращается.

[15] „Нет ничего, сколь бы великим и изумительным оно ни показалось с первого взгляда, на что мало-помалу не начинают смотреть с меньшим изумлением" (Лукреций. О природе вещей, II, 1028 сл.).

[16] Платон. Законы, VIII, 6. — Фиест, сын Пелопса, брат Атрея, соблазнил жену последнего и прижил с нею нескольких детей. Миф рассказывает далее о мести Атрея, который накормил Фиеста кушаньями, приготовленными из мяса его собственных детей. — Эдип — царь Фив, с именем которого связан

целый цикл легенд древнегреческой мифологии. Исходным пунктом их является сказание об Эдипе, который убил своего отца и женился на своей матери. — Макарей или Макар — сын Эола, брат Канаки, с которою он вступил в преступную связь. По одной версии мифа и он и Канака умертвили себя, по другой — Канака была убита отцом.

[17] Хрисипп, см. прим. 10 к гл. VI.

[18] В XVI в. во Франции, как и в большинстве других европейских стран, действовали законы, текст которых существовал лишь на латинском языке.

[19] Исократ (436—338 гг. до н. э.) — выдающийся древнегреческий публицист и оратор, автор многочисленных речей и памфлетов. Монтень имеет в виду его „Слово к Никоклу", 18, посвященное вопросу об обязанностях подданных.

[20] Рассказ об упоминаемом в тексте гасконском дворянине встречается в „Истории Франции" Паоло Эмилио (или Эмили), итальянского историка из Вероны (ум. 1529 г. в Париже), которого Карл VIII пригласил во Францию в качестве королевского историографа. Преемник Карла VIII, Людовик XII, предложил ему написать „Историю Франции".

В 1516 г. Эмилио опубликовал первые четыре книги „De rebus gestis Francorum", а в 1519 г. еще две книги; он умер, не успев закончить свой труд, завершенный другим лицом. „История" Эмилио, пронизанная преклонением перед всем итальянским, пестрит множеством несообразностей, ошибок, вымышленных речей на манер Тита Ливия. Монтень неоднократно пользовался этим трудом как источником.

[21] Такой порядок замещения судебных должностей во Франции установился с 1526 г. Его ввел канцлер Франциска I кардинал Антуан Дюпра (1463—1535). Эти высказывания Монтеня были в дальнейшем восприняты Монтескье, который критикует этот обычай в „Персидских письмах" (письмо 91).

[22] „Прекрасно повиноваться законам своей страны". — Кого из античных авторов цитирует здесь Монтень, не установлено, но это изречение встречается часто во французских собраниях афоризмов XVI в.

[23] Диодор Сицилийский, XII, 17. Законодателя этого звали Харонд; см. прим. 2 к гл. XVI.

[24] Монтень имеет в виду легендарного законодателя Спарты — Ликурга.

[25] Фринис с о. Митилены (род. ок. 480 г. до н. э.) прибавил еще две струны к кифаре, у которой до того было семь струн.

[26] Меч этот хранился в Марселе со времени основания города как символ нерушимости древних обычаев.

[27] Монтень имеет в виду гражданские войны, которые велись во Франции под флагом религиозных разногласий с 1562 г., неся стране ужасающее разорение, и закончились лишь после смерти Монтеня, в 1594 г.

[28] „Увы! я страдаю от ран, нанесенных моим собственным оружием" (Овидий. Героини, II, 48).

[29] Намек на зверства феодалов-католиков, которые во время гражданских войн второй половины XVI в. во Франции, так же как и гугеноты, восставали против королевской власти.

[30] Фукидид, III, 52; цитируется Монтенем по Плутарху: Как отличить друга от льстеца, 12.

[31] „Предлог благороден" (Теренций. Девушка с Андроса, V, 141).

[32] „Нельзя одобрить отклонение от старины" (Тит Ливий, XXXIV, 54).

[33] Последних двух фраз, начинающихся словами „И не просчитывается ли тот. . ." нет в бордоском экземпляре „Опытов". Они написаны почерком м-ль Гурне.

[34] „Это касается больше богов, чем их; боги сами позаботятся о том, чтобы не подверглись осквернению их святыни" (Тит Ливий, X, 6).

[35] „Найдется ли человек, который не отнесся бы с уважением к древности, засвидетельствованной и переданной нам столькими славнейшими памятниками?" (Цицерон. О гадании, I, 40).

[36] Исократ. Слово к Никоклу, 33.

[37] „Когда дело идет о религии, я следую за Т. Корунканием, П. Сципионом, П. Сцеволой, верховными жрецами, а не за Зеноном, Клеанфом или Хрисиппом" (Цицерон. О природе богов, III, 2). — Гай Аврелий Котта — римский консул, 75 г. до н. э. Цицерон выводит его в своем сочинении „Об ораторе".

[38] „Доверие, оказываемое вероломному, дает ему возможность вредить" (Сенека. Эдип, 686).

[39] На последних двух страницах этой главы Монтень ясно высказывается за то, что королевской власти необходимо пойти навстречу требованиям гугенотов и положить конец гражданской войне. Об отношении Монтеня к социальным „новшествам" см. „Приложения", стр. 448 сл.

[40] Монтень имеет в виду спартанского царя Агесилая II, который после поражения при Левктрах (371 г. до н. э.) повелел на сутки приостановить действие законов, согласно которым бежавшие с поля сражения ограничивались в правах и подвергались всеобщему поношению. Это мероприятие имело целью амнистировать и вернуть в строй большое количество беглецов (Плутарх. Жизнеописание Агесилая, 30).

[41] Здесь Монтень имеет в виду Александра Македонского. Накануне падения Тира (332 г. до н. э.), осада которого длилась 7 месяцев, один из прорицателей Александра, Аристандр, заявил, что Тир падет до конца месяца. Так как это был последний день месяца, все встретили слова Аристандра громким смехом. Тогда Александр приказал считать этот день не 30-м числом, а 28-м. В тот же день Тир был взят, наконец, штурмом. Источник Монтеня: Плутарх. Жизнеописание Александра, 25.

[42] Лисандр (ум. 395 г. до н. э.) — спартанский полководец и политический деятель.

[43] Филопэмен из Мегалополя (ок. 253—182 гг. до н. э.) — выдающийся древнегреческий полководец и политический деятель последнего периода греческой независимости.

Глава XXIV

(Стр. 160—171)

[1] Жак Амио (1513—1593) — филолог; перевел на французский язык все сочинения Плутарха, роман Лонга „Дафнис и Хлоя“ и многие другие античные произведения. Особенно знаменит его перевод (по тому времени весьма высокого качества) „Сравнительных жизнеописаний“ Плутарха (1559 г.). Оценку, данную Амио Монтенем, см. кн. II, гл. IV „О любознательности“.

[2] Упоминаемый здесь „наш принц“ — герцог Франсуа Гиз (1519—1563), лотарингец по происхождению (Лотарингия была самостоятельным герцогством до 1766 г.), один из выдающихся полководцев Франции; во время гражданских войн второй половины XVI в. Франсуа Гиз был вождем католической партии (см. также прим. 3 к гл. II).

[3] Под „смутами“ Монтень подразумевает начало гражданских войн второй половины XVI в. Осада Руана происходила в 1562 г. В городе засели кальвинисты; руководил осадой упомянутый Франсуа Гиз, который и захватил этот город.

[4] Королева-мать — Екатерина Медичи (см. прим. 3 к гл. XII).

[5] Коссы (или Корнелии) и Сервилии — два прославленных римских рода.

[6] См. прим. 3 к гл. II.

[7] Дион (IV в. до н. э.) — знатный сиракузянин, стоявший во главе аристократической партии, стремившейся после изгнания тирана Дионисия Младшего к власти и боровшейся с демократическими кругами. В ходе этой борьбы Дион был убит своим мнимым другом и единомышленником Каллиппом.

[8] „Доверие, по большей части, вызывает ответную честность“ (Тит Ливий, XXII, 22).

[9] Речь идет о свидании французского короля Людовика XI с Карлом Смелым, герцогом Бургундским, в Перонне, в 1468 г. Людовик XI при этом рисковал быть захваченным своим давнишним врагом Карлом.

[10] Речь идет о восстании 47 г. до н. э., поднятом X легионом и распространившимся затем среди войск, расположенных в Кампании.

[11] „Он взошел на дерновый вал, с неколебимым видом, ничего не страшащийся, но внушающий страх“ (Лукан, V, 316 сл.).

[12] Упомянутый дворянин Тристан де Монен (Moneins), губернатор Гиени в царствование Генриха II, был убит во время народного восстания в Бордо в 1548 г., направленного против ненавистного народу налога на соль („габель“). Бордоское восстание произвело сильнейшее впечатление на современников, доказательством чего служит свидетельство Монтеня.

[13] Дело происходило в 1585 г., когда Монтень был мэром Бордо. Монтень здесь противопоставляет свое поведение трусливому поведению Монена, о котором говорилось выше. Несмотря на имевшиеся у властей сведения о том, что один из разжалованных военачальников, приверженец Католической Лиги, приурочил к этому параду возмущение войска, Монтень, которому поручено было провести смотр, решил оказать полнейшее доверие солдатам и офицерам и своей искусной тактикой предотвратил готовившееся выступление.

[14] Герцог Афинский — французский рыцарь Готье де Бриенн (XIV в.), один из предков которого, Жан де Бриенн, был королем Иерусалимским и Константинопольским. Герцогство Афинское, которым владел род Бриеннов, было создано в результате крестовых походов в начале XIII в. В 1342 г. Готье де Бриенн стал герцогом (тираном) Флоренции, откуда через год был изгнан восставшими горожанами.

Глава XXV

(Стр. 172—186)

[1] В этой главе, как и в следующей, в основном посвященной вопросам воспитания и обучения, особенно ярко предстает борьба Монтеня со схоластикой, в частности с тогдашними методами школьного обучения. Некоторые буржуазные авторы и истолкователи Монтеня пытались на основании ряда суждений Монтеня (содержащихся как в этой главе, так и в других) доказать враждебное отношение Монтеня к науке. Но это в корне неверно, ибо нападки Монтеня относятся к схоластической лжеучености, ко всякой книжной рутине, выдаваемой за премудрость и не имеющей ничего общего с нарождавшейся в его время подлинной опытною наукой, к которой Монтень был преисполнен величайшего уважения. См., например, его суждения в главе „Апология Раймунда Себундского“, т. II, гл. XII.

[2] Во времена Монтеня слово „педант“ в большинстве европейских языков означало — учитель, преподаватель. „Педант“ был одним из традиционных типических персонажей народной итальянской импровизированной комедии, процветавшей в XVI в. Слово „магистр“ (как и происходящее от него франц. maître — мэтр) также значит — учитель.

[3] Иоахим Дю Белле (1525—1560) — выдающийся поэт, возглавлявший вместе с Ронсаром новое направление во французской поэзии (группа „Плеяды“). Приводимый Монтенем стих взят из одного сонета Дю Белле, включенного в сборник „Сожаления“ („Regrets“).

[4] Плутарх. Жизнеописание Цицерона, 5.

[5] Magis magnos clericos. . . Эти слова на пародийно искаженной латыни (чем подчеркивается ничтожество тогдашнего школьного обучения) произносит в романе Рабле брат Жан (Гаргантюа, гл. 39). Передать их по-русски можно

примерно так: более великого ученого — еще не значит более великого мудреца, т. е. от большой школьной учености человек еще не делается умным.

[6] Арпан — земельная мера, приблизительно, от $^1/_3$ до $^1/_2$ га.

[7] Начиная с абзаца „Что до философов. . .“ и вплоть до слов „заносчивым и надменным“ Монтень довольно точно пересказывает одно место из 24 главы „Феэтета“ Платона.

[8] „Я ненавижу людей, умеющих только рассуждать, а не действовать“ (Пакувий в цитате у Авла Геллия, XIII, 8).

[9] Сиракузский геометр — Архимед (287—212 гг. до н. э.). Благодаря изобретениям Архимеда Сиракузы в течение трех лет успешно сопротивлялись римлянам (214—212 гг. до н. э.; Плутарх. Жизнеописание Марцелла, 17—18).

[10] „Они научились говорить с другими, но не с самими собой“ (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 36).

[11] „Нужно не разговаривать, а управлять кораблем [т. е. действовать]“ (Сенека. Письма, 108).

[12] „Ненавижу мудрого, который не мудр для себя“ (перифраза стиха Эврипида; Цицерон. Письма к друзьям, XIII, 15).

[13] „Вот почему, говорит Энний, ни к чему ум мудреца, который не умеет быть полезным самому себе“ (Цицерон. Об обязанностях, III, 15).

[14] „Если он жаден, лгун и более труслив, чем евганейская [т. е. падуанская] овца“ (Ювенал. Сатиры, VIII, 15).

[15] „Недостаточно овладеть премудростью, нужно также уметь пользоваться ею“ (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, I, 1).

[16] Диоген Лаэрций, VI, 27—28. Монтень здесь не совсем точен: Диоген Лаэрций называет не Дионисия, а философа Диогена.

[17] Платон. Менон, 28.

[18] Платон. Протагор, 16; Протагор — древнегреческий философ-софист (V в. до н. э.).

[19] Гален — знаменитый римский врач, родом грек (131—ок. 200 г. н. э.); оставил много трудов, пользовавшихся широкой известностью. Для средневековой медицины Гален (наряду с Цельсом) — непререкаемый авторитет.

[20] „О род патрициев! Вы, кому подобает жить, не оборачиваясь назад, остерегайтесь, как бы не потешались над вами за вашей спиной“ (Персий, I, 61).

[21] Адриан Турнеб (1512—1565) — видный французский филолог, которому принадлежит большое количество переводов из древних авторов и комментариев. Оценку, данную Турнебу Монтенем, разделяло большинство его современников.

[22] „Души которых при помощи благостного искусства вылепил из лучшей глины Титан [т. е. Прометей]“ (Ювенал. Сатиры, XIV, 35).

[23] Стобей. Антология, III, 25. Процитировав этот стих, Монтень вслед затем сам дает его перевод.

[24] „Мы учимся не для жизни, а для школы [т. е. учимся не тому, как надо действовать в жизни, а только рассуждать]“ (Сенека. Письма, 106).

[25] „Так что было бы лучше совсем не учиться“ (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 4).

[26] Имеется в виду Франциск I, герцог Бретонский с 1442 по 1450 г.

[27] „После того, как появились люди ученые, нет больше хороших людей“ (Сенека. Письма, 95).

[28] „Из школы Аристиппа выходят распутники, из школы Зенона — брюзги“ (Цицерон. О природе богов, III, 31).

[29] В „Первом Алкивиаде“, XVII.

[30] „В образцовом, показательном роде“.

[31] Этот пример, а также дальнейшие, приводимые Монтенем в сделанной им позднее вставке, начинающейся с абзаца „Весьма любопытно наблюдать Сократа. . .“ и до конца главы, — несомненно недоказательны. Может создаться впечатление, что Монтень впадает здесь в противоречие с основным положением, доказываемым в этой главе, — о пользе истинной науки в отличие от схоластической лжеучености. Однако такие парадоксы у Монтеня не редкость, особенно, когда дело идет о добавлениях, сделанных долгое время спустя после написания основного текста. В действительности, пр речие это лишь кажущееся: Монтень остается верен своему тезису и здесь, ибо приводимые им примеры относятся к странам и народам, у которых наука находилась в зачаточном состоянии или была „в презрении“, как выражается Монтень. Что же касается последнего приведенного Монтенем примера с Италией, относящегося ко времени войн французских феодалов за обладание Италией, то Монтень здесь приводит объяснение, дававшееся приближенными Карла VIII, сам же Монтень прекрасно знал и указывал в другом месте, что очень недолгий и непрочный успех Карла VIII в Италии был вызван противоречием интересов в стане других захватчиков, также зарившихся на Италию.

[32] Речь идет о неаполитанском походе французского короля Карла VIII, который в 1495 г. с поразительной легкостью завоевал обширные территории в Италии. Впрочем, в том же году французам пришлось уйти из Италии под нажимом объединенных сил папы римского, германского императора и венецианцев.

Глава XXVI

(Стр. 187—230)

[1] Глава „О воспитании детей“ представляет особый интерес для характеристики мировоззрения Монтеня, так как Монтень дает в ней не только беспощадную критику традиционных схоластических методов воспитания того времени, но и противопоставляет им свою весьма прогрессивную гуманисти-

ческую программу воспитания. Взявшись начертать программу воспитания маленького виконта Гюрсона, Монтень, однако, вышел далеко за пределы поставленной себе задачи. Его гуманистическая программа гармонического развития всех заложенных в человеке способностей — физических и умственных, воспитания безрелигиозного, в основу которого было положено — никогда и ни в чем не следовать слепо авторитету, но все проверять разумом и опытом, — оказалась не программой воспитания только дворянина, а такой программой, в которой многое стало пригодным для детей всех социальных рангов. Передовые, прогрессивные идеи, положенные в основу выдвинутых Монтенем педагогических принципов, были восприняты в дальнейшем Локком и Руссо. Не только сторонники Монтеня, но многие его противники, обвинявшие его в вольнодумстве и безбожии (например кружок Пор-Рояля), прилагали на практике новые педагогические идеи Монтеня. — Диана де Фуа, которой адресована данная глава, была женой Луи де Фуа, графа Гюрсона. Луи де Фуа и два его брата с юных лет были близкими приятелями Монтеня. Когда все три брата одновременно в 1587 г. пали в бою, сражаясь на стороне Генриха Наваррского, Монтень отметил их смерть в своем календаре, в котором отмечались им самые значительные события его жизни.

[2] Монтень имеет в виду арифметику, геометрию, музыку и астрономию.

[3] „. . . властителя современной науки“ — так Монтень иронизирует по адресу Аристотеля. В этой главе, как и в ряде других, Монтень смело и резко выступает против схоластизированного Аристотеля, этого главного авторитета теологов всех мастей.

[4] Данаиды — дочери Даная; за убийство своих мужей они были осуждены наполнять в Тартаре бездонную бочку (греко-римск. мифол.).

[5] Клеанф — древнегреческий философ-стоик, ученик Зенона (род. ок. 300 г. до н. э.). Диоген Лаэрций оставил его жизнеописание.

[6] Центона — произведение, смонтированное из отрывков, взятых у различных авторов.

[7] Лелио Капилупи (1498—1560) — итальянский филолог, составитель центон на разные темы, главным образом из Вергилия. Одну из его центон, посвященную монахам, и имеет в виду Монтень (Cento ex Virgilio de vita monachorum, 1541).

[8] Юст Липсий (1547—1606) — голландский филолог и гуманист, знаток римских древностей, издатель многих латинских авторов, в частности Тацита. Был дружен с Монтенем и находился с ним в переписке. Монтень имеет в виду его обширную компиляцию (Politica, sive civilis doctrinae libri VI, 1589), в которой Липсий защищал свободу совести. Эту книгу Липсий прислал Монтеню в дар с посвящением.

[9] Монтень подразумевает здесь графа Беарнского Гастона III (1331—1391), оставившего после себя славившийся в свое время трактат об охоте под названием „Зеркало Феба“.

[10] „Желающим научиться чему-либо препятствует очень нередко авторитет тех, кто учит“ (Цицерон. О природе богов, I, 5).

[11] Монтень рекомендует своему воспитателю взять диалоги Платона в качестве образца последовательности в преподавании от известного к неизвестному.

[12] „Они никогда не выходят из-под опеки“ (Сенека. Письма, 33).

[13] „Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание“ (Данте. Ад, XI, 93).

[14] „Над нами нет царя; пусть же каждый распоряжается собою свободно“ (Сенека. Письма, 33).

[15] Эпихарм — древнегреческий поэт-комедиограф (ум. ок. 450 г. до н. э.).

[16] Церковь Санта Ротонда — языческий храм, выстроенный Агриппою в Риме в 25 г. до н. э. и впоследствии переделанный в христианскую церковь.

[17] „Пусть он живет под открытым небом среди невзгод“ (Гораций. Оды, III, 2, 5).

[18] „Труд притупляет боль“ (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 15).

[19] „Можно быть ученым без заносчивости и чванства“ (Сенека. Письма, 103).

[20] „Если Сократ и Аристипп и делали что-нибудь вопреки установившимся нравам и обычаям, пусть другие не считают, что и им дозволено то же; ибо эти двое получили право на эту вольность благодаря своим великим и божественным достоинствам“ (Цицерон. Об обязанностях, I, 41; Аристипп — древнегреческий философ, V—IV вв. до н. э., ученик Сократа).

[21] „И никакая необходимость не принуждает его защищать все то, что предписано и приказано“ (Цицерон. Академические вопросы. Первый набросок, II, 3).

[22] „Какая почва сжимается от холода, какая размягчается от зноя и какой ветер попутен парусу, направляющемуся в Италию“ (Проперций, IV, 3, 39—40).

[23] Платон. Гиппий Бо́льший, 6.

[24] Марк Клавдий Марцелл — римский полководец времен II пунической войны; погиб в 208 г. до н. э., попав в засаду.

[25] Этьен де Ла Боэси (1530—1563) — видный французский гуманист и писатель, друг Монтеня. Исключительно тесная дружба между ними, описанию которой Монтень посвятил отдельную главу своих „Опытов“ (см. гл. XXVIII настоящего издания), продолжалась до последнего дня жизни Ла Боэси. После смерти Ла Боэси (1563) Монтень, которому он завещал свою библиотеку и рукописи, издал большинство его сочинений, за исключением самого прославленного произведения Ла Боэси — „Рассуждения о добровольном рабстве“ (см. перевод в серии „Литературные памятники“, М., 1952). Высказанная Монтенем в тексте догадка, будто основная мысль „Рассуждения“ была навеяна Ла Боэси чтением замечания Плутарха, безосновательна. Идея Ла Боэси о том, что достаточно сказать самодержцу-деспоту „нет“, т. е. чтобы весь народ отказался ему служить и повиноваться, была итогом долгих размышлений Ла Боэси, а не следствием случайно вычитанной у Плутарха фразы.

[26] Плутарх. Изречения лакедемонян, Александрид.

[27] „Чего дозволительно желать; какую пользу можно извлечь из жестоких денег; чем следует жертвовать для своей родины и милых сердцу близких; каким бог повелел тебе быть; какое место он уготовил тебе между людьми; чем мы являемся, и зачем он нам даровал бытие“ (Персий, III, 69 сл.).

[28] „И как ему уклоняться от тягот или претерпевать их“ (Вергилий. Энеида, III, 459).

[29] Диоген Лаэрций. Жизнеописание Сократа, II, 21.

[30] „Решись стать разумным, начни! Кто медлит упорядочить свою жизнь, подобен тому простаку, который дожидается у реки, когда она пронесет все свои воды; а она течет и будет течь, быстролетная, веки вечные“ (Гораций. Послания, I, 2, 40 сл.).

[31] „Каково влияние созвездия Рыб, гневного Льва иль Козерога, омываемого гесперийскими водами“ (Проперций, IV, 1, 85—86).

[32] „Что мне до Плеяд и до Волопаса?“ (Анакреонт. Оды, 17).

[33] Анаксимен (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ, стихийный материалист.

[34] Феодор Газа (1400—1478), родом грек — автор распространенной в XVI в. грамматики греческого языка.

[35] βάλλω — 1-е лицо настоящего времени глагола „метать“, 1-е лицо будущего времени — βαλῶ; χεῖρον — „хуже“; βέλτιον — „лучше“, неправильное образование сравнительной степени; χείριστον и βέλτιστον — неправильные образования превосходной степени.

[36] „Ты можешь обнаружить страдания души, сокрытой в больном теле, как можешь обнаружить и ее радость: ведь лицо выражает и то и другое“ (Ювенал. Сатиры, IX, 18 сл.).

[37] Barroco и baralipton — термины схоластической логики, обозначающие модусы силлогизмов.

[38] Эпициклы — круги, с помощью которых древние объясняли видимое движение планет. После открытия Кеплером законов движения планет теория эпициклов была оставлена.

[39] Брадаманта и Анджелика — героини поэмы Ариосто (1474—1533) „Неистовый Роланд“.

[40] Женоподобный фригийский пастух — Парис, сын троянского царя Приама. Приглашенный Юноной, Минервой и Венерой решить их спор о том, которая из них превосходит других красотой, присудив ей золотое яблоко, отдал предпочтение Венере (греко-римск. мифол.).

[41] „Глина влажна и мягка: нужно поспешить и, не теряя мгновения, обработать ее на гончарном круге“ (Персий, III, 23—24).

[42] „Юноши, старцы! Ищите здесь твердого руководства для вашего духа и поддержки себе, когда наступит унылая старость“ (Персий, V, 64—65).

[43] Диоген Лаэрций, X, 122.

[44] Карнеад (214—129 гг. до н. э.) — видный представитель античного скептицизма.

[45] Один из известнейших диалогов Платона носит название „Пир".

[46] „Она равно полезна и нищим и богачам; без вреда для себя ею равно не могут пренебречь ни юноши, ни старцы" (Гораций. Послания, I, 1, 25—26).

[47] Плутарх. Как сохранить здоровье, 25.

[48] Квинтилиан. Обучение оратора, I, 3.

[49] Спевсипп (ок. 409—339 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-платоник.

[50] См. прим. 4 к гл. XVIII.

[51] „Большая разница между нежеланием человека в чем-либо погрешить и неумением его это сделать" (Сенека. Письма, 90).

[52] Алкивиад (451—404 гг. до н. э.) — афинский политический деятель, отличавшийся крайним политическим оппортунизмом, вплоть до измены родине.

[53] „Никакие нравы, никакие порядки, никакие обстоятельства не были Аристиппу тягостны" (Гораций. Послания, I, 17, 23).

[54] „Чтобы терпение укрывало его двойным плащом; и я был бы очень доволен, если бы он научился приспособляться к изменившимся обстоятельствам и легко выполнял бы и ту, и другую роль" (Гораций. Послания, I, 17, 25—26 и 29). Монтень несколько изменяет выражения Горация применительно к контексту.

[55] „Скорее своим образом жизни, нежели с помощью ученых занятий, постигли они эту науку правильно жить, высшую из всех" (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 3).

[56] Цицерон (Тускуланские беседы, V, 3) рассказывает то же самое не о Гераклиде Понтийском, а о Пифагоре.

[57] Гегесий — философ-киник (IV—III вв. до н. э.). Сообщаемое Монтенем см.: Диоген Лаэрций, VI, 64 и 48.

[58] „Надо, чтобы он считал свои правила поведения не выставкой своих знаний, а законом своей жизни, и чтобы он умел подчиняться себе самому и повиноваться своим решениям" (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 4).

[59] Плутарх. Изречения лакедемонян. Зевксидам — отец спартанского царя Архидама II (V в. до н. э.).

[60] „Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой" (Гораций. Наука поэзии, 122).

[61] „Когда суть дела заполняет душу, слова сопутствуют ей" (Сенека Старший. Контроверзы, III).

[62] „Дела влекут за собой слова" (Цицерон. О высшем благе и высшем зле, III, 5).

[63] Тацит. Диалог об ораторах, XIX.

[64] „Он умница, хоть стихи его и плоховаты" (Гораций. Сатиры, I, 4, 8).

[65] „Перепутай долгие и краткие слоги, разрушь ритм, измени порядок слов, поставь первое слово на место последнего и последнее на место первого, — и

все-таки ты обнаружишь остатки растерзанного поэта“ (Гораций. Сатиры, I, 4, 57 сл.).

66 Менандр (342—292 гг. до н. э.) — знаменитый афинский комедиограф, представитель так называемой новой аттической комедии.

67 „Больше звону, чем смысла“ (Сенека. Письма, 40).

68 „Запутанные и изощренные софизмы“ (Цицерон. Академические вопросы. Первый набросок, II, 24).

69 „Или которые не подбирают надлежащее слово для выражения сути дела, а, наоборот, подгоняют суть дела к готовым словам“ (Квинтилиан, VIII, 3). Монтень вносит некоторые изменения в текст Квинтилиана.

70 „Бывают и такие, которые, увлекшись каким-нибудь словом, обращаются к тому, о чем не предполагали писать“ (Сенека. Письма, 59).

71 „Ведь, в конце концов, нравится только такая речь, которая потрясает“ (Стих из эпитафии на могиле Лукана).

72 Светоний. Божественный Юлий, 55. Монтень был введен в заблуждение текстом современных ему изданий Светония, где это место, как оно печаталось, действительно давало основания говорить о каком-то особом солдатском красноречии Цезаря. В новейших изданиях мы читаем: „Eloquentia militarique re aut aequavit praestantissimorum gloriam aut excessit“ („В красноречии и военном деле он был равен славою наиболее выдающимся ораторам и полководцам или превосходил их“).

73 „Речь, пекущаяся об истине, должна быть простой и безыскусственной“ (Сенека. Письма, 40).

74 „Кто же оттачивает свои слова, если не тот, кто ставит своей задачей говорить вычурно?“ (Сенека. Письма, 75).

75 Аристофан Византийский — древнегреческий грамматик III—II вв. до н. э. Античная традиция приписывает ему изобретение знаков препинания и различных видов ударения.

76 Платон. Законы, I, 11.

77 Стобей. Антология, XXXVI, 26. φιλολόγοι — филологи, любящие словесность; λογοφίλοι — логофилы, любящие слова. Зенон — древнегреческий философ, основатель стоицизма (IV в. до н. э.).

78 Его фамилия была Горст (Horst), но звали его на латинский лад Горстанус; после семьи Монтеней он преподавал в том самом гиеньском коллеже в Бордо, в котором обучался Монтень.

79 Груши, Герант, Бьюкенен и Мюре были учителями Монтеня либо в гиеньском коллеже в Бордо, либо в Бордоском университете. Никола Груши (1520—1572) — французский филолог; преподавал греческий язык в университетах Бордо и Коимбры. Как протестант он подвергался гонениям во время так называемых религиозных войн во Франции. — Джордж Бьюкенен (1506—1582) — шотландский филолог, поэт, политический мыслитель и государственный деятель. Примкнул к гуманистическому движению и навлек на себя обвинение в ереси. Вынужден-

ный бежать во Францию, Бьюкенен некоторое время преподавал в Бордо латинский язык. Впоследствии вернулся в Шотландию, где стал воспитателем шотландского короля Иакова VI (позднее английского короля Иакова I). Написал тираноборческий трактат „О королевском праве у шотландцев“ (1579), в котором излагается учение о народном суверенитете и о праве народа восставать против тиранов. Трактат Бьюкенена, запрещенный в течение всего XVII в. и торжественно сожженный Оксфордским университетом, несомненно, был известен Монтеню, на всю жизнь сохранившему привязанность к своему наставнику. Марк Антуан Мюре (1526—1585) — видный французский филолог, прозванный „светочем и столпом латинской школы“. Мюре прославился среди современников изяществом своей латыни и французскими комментариями к Ронсару.

80 Герои поздних переделок рыцарских романов, издававшихся в огромном количестве в XVI в.

81 „Мне в ту пору едва пошел двенадцатый год“ (Вергилий. Эклоги, VIII, 39).

82 Андреа де Гувеа (1497—1548) — португальский филолог, преподававший во Франции и одно время бывший директором гиеньского коллежа в Бордо.

83 „Он поделился своим замыслом с трагическим актером Аристоном; этот последний был хорошего рода, притом богат, и актерское искусство, которое у греков не считается постыдным, нисколько не унижало его“ (Тит Ливий, XXIV, 24).

Глава XXVII

(Стр. 231—235)

1 Настоящая глава посвящена вопросу о том, как следует относиться к „сверхъестественным“ явлениям, вопросу, которого Монтень коснулся уже выше, в главе XXI „О силе нашего воображения“ и к которому он вернулся затем еще дважды: в главе XXXII „О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью“ и в главе XI III книги „О хромых“.

Первые страницы настоящей главы не оставляют сомнения в том, что Монтень остается верен своему взгляду на „сверхъестественные“ явления, высказанному уже в главе „О силе нашего воображения“. И здесь, и там Монтень ясно показывает, что вера в так называемые „чудеса“ основана на невежестве и легковерии. Разберем один из приводимых в настоящей главе примеров. Около 1564 г. Монтень, впервые прочитав в одной из своих настольных книг этого периода — „Annales de l'Histoire de France“ Никóля Жиля — о приводимом в тексте „чудесном“ предуведомлении папы Гонория III о смерти короля Филиппа-Августа, сделал пометку на полях: „Смотри по поводу подобных измышлений моего Фруассара, т. III, гл. 17“. Десять лет спустя, когда Монтень писал настоящую главу и вновь припомнил этот случай, он опять подчеркнул, что „над этим можно лишь посмеяться“ (см. стр. 233). А в 1588 г., когда Монтень писал знаменитую главу „О хромых“, он еще раз вернулся к своей сделанной двад-

цать четыре года тому назад пометке на полях книги Жиля и написал: „Мне уши прожужжали тысячами подобных измышлений“, и т. д. Таким образом, отношение Монтеня ко всякого рода „чудесам“ остается на протяжении более чем двадцатилетней истории создания „Опытов“ неизменным, и те оговорки, которые мы встречаем (во второй части настоящей главы) относительно Августина и церковных властей, не что иное, как попытки чисто словесным, показным благочестием прикрыть свои в корне враждебные церкви убеждения. В действительности Августин отнюдь не подавлял Монтеня своим авторитетом, и в других главах „Опытов“ мы видим, как Монтень оспаривает и опровергает положения Августина. Естественно поэтому, что в последних изданиях „Опытов“ (1588—1592) Монтень, ободренный успехом, который встретила его книга, вернувшись к этой теме в главе „О хромых“, уже не считал нужным итти даже на словесные уступки и с полной ясностью и решительностью сформулировал свое отрицательное отношение ко всякого рода „сверхъестественным“ явлениям, разоблачив кроющиеся за „чудесами“ обман и игру на легковерии народа.

[2] „Как чаша весов опускается под тяжестью груза, так и дух наш поддается воздействию очевидности“ (Цицерон. Академические вопросы. Первый набросок, II, 12).

[3] „О снах, страшном волшебстве, чудесах, ведьмах, ночных лемурах и фессалийских колдуньях“ (Гораций. Послания, II, 2, 201 сл.). Монтень слегка изменяет выражения Горация, приспособляя их к контексту.

[4] „И каждый, утомившись и пресытившись созерцанием, не смотрит больше на сияющую храмину небес“ (Лукреций. О природе вещей, II, 1038—1039).

[5] „Если бы они впервые внезапно предстали смертным, не было бы ничего поразительнее их, на что бы ни дерзнуло перед тем воображение человека“ (Лукреций. О природе вещей, II, 1033 сл.).

[6] „Река кажется огромной тому, кто не видел другой, более широкой, и то же самое с деревом и с человеком; и если кто-нибудь видит любой крупный предмет, ему мнится, что он огромен“ (Лукреций. О природе вещей, VI, 674 сл.).

[7] „Души привыкают к предметам вместе с глазами, и эти предметы их больше не поражают, и они не доискиваются причин того, что у них всегда перед глазами“ (Цицерон. О природе богов, II, 38).

[8] Хилон (VI в. до н. э.) — философ, обычно включаемый в число „семи греческих мудрецов“.

[9] Фруассар (1338—1404) — французский хронист, писавший свою хронику частью в интересах английского, частью в интересах французского двора. Поэтому хроника Фруассара — весьма тенденциозный и ненадежный источник. Монтень знает цену Фруассару как историку; он отмечает, что изложение Фруассара лишено критического отношения к материалу, но ценит в нем обилие фактов и свежесть изложения. — Беарн — провинция на крайнем юго-западе Франции. — Альхубаррота — город в Португалии. Битва, о которой упоминает Монтень, произошла в 1385 г. между испанцами и португальцами.

[10] Монтень имеет в виду упомянутую в прим. 1 книгу Н. Жиля. Речь здесь идет о папе Гонории III, умершем в 1227 г.

[11] Филипп II Август — французский король (1180—1223). — Мант — город во Франции, на р. Сене, в 57 км от Парижа.

[12] Плутарх. Жизнеописание Эмилия Павла, 25.

[13] Цезарь. О гражданской войне, III, 36.

[14] Жан Буше (1476—1550) — французский историк и поэт, автор книги „Анналы Аквитании" (Annales d'Aquitaine, 1524), весьма популярной в свое время.

[15] „Которые, даже если бы не привели никаких доводов, все равно сокрушили бы меня своим авторитетом" (Цицерон. Тускуланские беседы, I, 21).

Глава XXVIII

(Стр. 236—251)

[1] „И женщина, прекрасная сверху, заканчивается рыбой" (Гораций. Наука поэзии, 4). В новейших изданиях вместо in piscem — „рыбой", как читали раньше, установлено чтение: in pistrim — „морским чудовищем".

[2] Трактат Ла Боэси был назван им самим „О добровольном рабстве" (De la servitude volontaire). Говоря о людях, не знавших этого, Монтень имеет в виду гугенотов, напечатавших в 1576 г. трактат Ла Боэси „Рассуждение о добровольном рабстве" среди ряда других противоправительственных памфлетов в сборнике „Mémoires de l'Estat de France sous Charles IX", под боевым названием „Против единого" (Contr'Un), т. е. против деспотически-самодержавного строя.

[3] Имеются в виду два мемуара, написанных Ла Боэси по поводу королевского эдикта, изданного в январе 1562 г. и предоставлявшего гугенотам право открыто отправлять их богослужение везде, кроме городов. Оба эти мемуара, представляющие интерес для характеристики взглядов Ла Боэси, были найдены французским ученым П. Бонефоном и опубликованы им в 1917 г. в журнале „Revue d'Histoire littéraire de la France".

[4] В Париже, в 1571 г. Изданная Монтенем небольшая книжечка произведений Ла Боэси содержала несколько переводов Ла Боэси с греческого („О домоводстве" Ксенофонта, „Правила брака" Плутарха и его же „Утешительное письмо жене"), а также латинские и французские стихи Ла Боэси. Все это Монтень снабдил „Обращением к читателю", несколькими письмами с посвящениями разным лицам и отрывком из своего письма к отцу об обстоятельствах болезни и смерти Ла Боэси.

[5] Аристотель. Никомахова этика, VIII, 1.

[6] „И я сам известен своим отеческим чувством к братьям" (Гораций. Оды, II, 2, 6).

[7] „Ведь и я знаком богине, которая примешивает сладостную горесть к заботам любви“ (Катулл, LXVIII, 17 сл.).

[8] „Так охотник преследует зайца в мороз и в жару, через горы и долы; он горит желанием настигнуть зайца, лишь пока тот убегает от него, а овладев своей добычей, он уже мало ценит ее“ (Ариосто. Неистовый Роланд, X, 7).

[9] „Что же представляет собой эта влюбленность друзей? Почему никто не полюбит безобразного юношу или красивого старца?“ (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 33).

[10] Платон. Пир, 5—31. — Академия — содружество философов во главе с Платоном. Здесь имеется в виду так называемая „Древняя Академия“, в состав которой входили ближайшие ученики Платона: Спевсипп, Ксенократ, Полемон, Крантор и др.

[11] „Любовь стремится овладеть дружбой того, кто привлекает своей красотой“ (Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 34).

[12] „О дружбе может судить лишь человек зрелого возраста и зрелой души“ (Цицерон. Лелий, 20).

[13] Монтень имеет в виду адресованную ему латинскую сатиру Ла Боэси, опубликованную Монтенем среди названных выше произведений Ла Боэси (см. прим. 4).

[14] Дружба Монтеня с Ла Боэси завязалась, когда Монтеню было 25 лет, а Ла Боэси — 28.

[15] Приводимое в тексте изречение см.: Авл Геллий, I, 3.

[16] Диоген Лаэрций. Жизнь Аристотеля, V, 21.

[17] Диоген Лаэрций. Жизнь Аристотеля, V, 20.

[18] „Мой обычай таков, а ты поступай как знаешь“ (Теренций. Сам себя наказующий, 80).

[19] Имеется в виду царь спартанский Агесилай II (см. прим. 13 к гл. III).

[20] „Покуда я в здравом уме, нет ничего мне отрадней милого друга“ (Гораций. Сатиры, I, 5, 44).

[21] Менандр в цитате у Плутарха: О братской дружбе, 3.

[22] „. . . [дня], который я всегда буду считать самым ужасным и память о котором всегда буду чтить, ибо такова, о боги, была ваша воля“ (Вергилий. Энеида, V, 49).

[23] „И я решил, что не должно быть больше для меня наслаждений, ибо нет того, с кем я делил их“ (Теренций. Сам себя наказующий, 149—150). Монтень заменил в цитате несколько слов, чтобы приспособить ее к своему тексту.

[24] „Если рок преждевременно отнял эту половину моей души, к чему задерживаться здесь второй ее половине? Оставаясь тут, буду ли я чем-нибудь целым, буду ли я представлять собой прежнюю ценность? Этот день обоим нам принес гибель“ (Гораций. Оды, II, 17, 5 сл.).

[25] „Нужно ли стыдиться своего горя и ставить преграды ему, если ты потерял столь дорогую душу?“ (Гораций. Оды, I, 24, 1—2).

[26] „О брат, так безжалостно отнятый у меня! Вместе с тобой исчезли все мои радости, которые питала, пока ты был жив, твоя сладостная любовь. Уйдя из жизни, брат мой, ты лишил меня всех ее отрад; вместе с тобой погребена вся моя душа: ведь после смерти твоей я отрекся от служения искусству и от всех услад души... Обращусь ли к тебе — мне не услышать от тебя ответного слова; неужели никогда я не увижу тебя, брат мой, который дороже мне самой жизни. Но знай: я буду любить тебя вечно!“ (Катулл, XVIII, 20 сл. и, начиная со слова Alloquar, LXV, 9 сл.).

[27] См. прим. 2.

[28] Сарлак, или Сарла, — городок на юге Франции, где родился Ла Боэси.

[29] Вместо „Рассуждения о добровольном рабстве“ Монтень поместил в следующей главе (XXIX) своих „Опытов“ 29 сонетов Ла Боэси. Эти стихи печатались во всех изданиях „Опытов“, вышедших при жизни Монтеня, и только незадолго до смерти, подготовляя новое издание своей книги (вышедшее в 1595 г.), Монтень изъял из нее сонеты Ла Боэси и написал: „Эти стихи можно прочесть в другом месте“. Однако отдельным изданием сонеты эти нигде не были напечатаны.

Глава XXIX

(Стр. 252—253)

[1] Коризанда Андуанская — так прозвали на античный лад Диану де Фуа, вышедшую замуж за Граммона, графа де Гиш или де Гиссен, и впоследствии ставшую фавориткой короля Генриха IV.

[2] См. прим. 29 к гл. XXVIII. В нашем издании текст этой главы, как и всех остальных, дается по бордоскому экземпляру „Опытов“ 1595 г.

Глава XXX

(Стр. 254—260)

[1] В этой главе обращает на себя внимание резкий выпад Монтеня против ненавистных ему схоластических „философии и теологии“, которые „вмешиваются во все“ и от назойливых взоров которых не может укрыться никакое дело, никакое занятие. Завуалировав свою резкость несколькими отвлекающими примерами, Монтень переходит затем к доказательству не менее опасного тезиса о кровожадности всех существующих религий. На ряде примеров Монтень показывает, какие жестокие и кровавые деяния совершаются под предлогом благочестивой веры в богов. К этой теме Монтень возвращается и в других „опытах“. Приведенные Монтенем в этой главе примеры кровавых жертвоприношений цитирует воинствующий атеист начала XVIII в. Жан Мелье в своем „Завещании“, XXIV.

[2] „Пусть мудрого назовут безумцем, справедливого — несправедливым, если их стремление к добродетели превосходит всякую меру“ (Гораций. Послания, I, 6, 15—16).

[3] Апостол Павел. Послание к римлянам, XII, 3.

[4] Монтень, повидимому, намекает на французского короля Генриха III.

[5] Павсаний — спартанский полководец (V в. до н. э.), впоследствии предавшийся персам и осужденный за это своими соотечественниками на смерть: был замурован в храме Афины, где пытался найти убежище.

[6] Авл Постумий Туберт — римский диктатор в 431 г. до н. э. Приписываемый ему приказ об обезглавлении сына — легенда.

[7] Платон. Горгий, 40.

[8] Платон. Законы, VIII, 7.

[9] Зенобия — царица Пальмиры (267—273).

[10] Гомер. Илиада, XIV, 294 сл.; Платон. Государство.

[11] „Мы искусственно умножили свои горести“ (Проперций, III, 7, 32).

[12] Галлион — римский сенатор, приговоренный к изгнанию императором Тиберием. Монтень не совсем точно передает рассказ о нем Тацита (Анналы, VI, 3).

[13] Мурад II — турецкий султан (1421—1451), поработитель балканских народов.

[14] Как уже отмечалось выше (см. прим. 11 к гл. XXIII), Монтень обильно черпает сведения о туземцах Америки из трудов Лопеса де Гомара (из его книги „Общая история Индии“, запрещенной в 1553 г. испанским правительством: Lopez de Gomara. Historia general de las Indias con la conquista del Mexico y de la Nueva-España. Medina, 1553); но наряду с Гомарой Монтень использует и других авторов: Бенцони, Бельфоре, Теве и др.

Глава XXXI

(Стр. 261—277)

[1] О значении этой главы для характеристики мировоззрения Монтеня и его отношения к насилиям испанских колонизаторов в Новом Свете см. вводную статью. См. там же об изобличении жестокостей французских католиков по отношению к своим же соотечественникам-гугенотам и о противопоставлении их нравов нравам туземцев Нового Света. Монтень, подобно многим своим современникам, называет каннибалами, т. е. людоедами, всех туземных обитателей Америки (исключая жителей Мексики и Перу).

[2] Пирр (295—272 гг. до н. э.) — царь Эпира, выдающийся полководец.

[3] Тит Квинкций Фламинин (Монтень в соответствии с современной ему традицией называет его Фламинием) — римский полководец, консул 198 г. до н. э. Командуя римскими войсками в войне против Филиппа V, царя маке-

донского, нанес ему решительное поражение при Киноскефалах (Фессалия), приведшее к завершению так называемой II македонской войны.

[4] Публий Сульпиций Гальба — военачальник в войске Фламинина во время II македонской войны.

[5] Вильганьон (1510—1571) — французский адмирал, мореплаватель, предложивший французскому правительству Генриха II отвоевать у испанцев некоторые их колонии в Америке. В действительности, Вильганьон намеревался создать в Новом Свете убежище для преследуемых гугенотов и обеспечил себе в этом деле поддержку адмирала Колиньи. В 1555 г. экспедиция Вильганьона высадилась в устье Рио де Жанейро. Однако основанная Вильганьоном протестантская колония просуществовала очень недолго. Французский путешественник и историк, гугенотский пастор Жан Лери, сам участник экспедиции Вильганьона, едва не погибший от голода, оставил превосходное описание злоключений своих соотечественников и проникнутую подлинным сочувствием к туземцам картину их существования (Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. La Rochelle, 1578). Монтень не только расспрашивал о туземцах Бразилии своего слугу, старого спутника Вильганьона, но и проверял его показания по указанной книге Лери, у которого, не называя имени автора, он заимствовал ряд приводимых в этой главе подробностей из быта населявших Бразилию племен.

[6] Платон. Тимей, 3.

[7] Большое море — одно из древних названий Черного моря.

[8] „Эти земли, как говорят, были когда-то разъединены неким великим сотрясением, вызвавшим ужасные разрушения; а раньше это была единая земля" (Вергилий. Энеида, III, 414 и 416—417).

[9] Негрепонт — другое название Эвбеи, острова в Архипелаге.

[10] „И бесплодная прежде лагуна, где плавали корабли, ныне взрытая суровым плугом, питает соседние города" (Гораций. Наука поэзии, 62—63).

[11] Начиная с абзаца „Солон у Платона" и до этого места, Монтень воспроизводит текст французского перевода книги Бенцони „История Нового Света" (Benzoni, Histoire du nouveau monde), изданного в Женеве в 1579 г. Если у самого Бенцони уже достаточно резко изобличены были методы, применявшиеся испанскими колонизаторами при завоевании Нового Света, то еще с бо́льшим возмущением зверства испанских завоевателей были разоблачены в комментариях французского переводчика гугенота Шовтона, придавшего книге Бенцони боевой политический характер. Монтень был принципиальным противником всяких колониальных предприятий, в том числе и гугенотских поселений в Америке. Возможно, что этим и объясняется то, что он предпочитает не касаться этого злополучного поселения и не называет имени Бенцони или Шовтона, так же как и Лери, сведения которых он использует в данной главе.

[12] Провинция на юго-западе Франции.

[13] Монтень имеет в виду апокрифический сборник „Рассказы о чудесах".

приписываемый античной традицией без достаточных оснований Аристотелю и представляющий собой компиляцию из различных сочинений Аристотеля и других авторов.

[14] „Плющ растет лучше, когда он предоставлен себе, кустарник краше в пустынных пещерах..., птицы поют сладостнее самых искусных певцов" (Проперций, I, 2, 10—11 и 14).

[15] Платон. Законы, X, 4.

[16] Шекспир в „Буре" (II, 1, 141—158, речь Гонзало) почти дословно воспроизвел отрывок из этой главы, начинающийся словами: „Вот народ, мог бы сказать я Платону..." и кончая: „...признать вымышленное им государство".

[17] „Эти люди словно только что созданы богами" (Сенека. Письма, 90).

[18] „Таковы первичные законы, установленные природой" (Вергилий. Георгики, II, 20).

[19] Свида — византийский лексикограф и грамматик X в.

[20] Кориандр — растение из семейства зонтичных. Извлекаемое из него масло употреблялось для приготовления ликеров.

[21] Осада Алезии, в которой заперся вождь восставших против Цезаря галлов Верцингеторикс, происходила в 52 г. до н. э.

[22] „Васконы, как говорят, подобною пищей продлили свою жизнь" (Ювенал. Сатиры, XV, 93; васконы — древнее племя, населявшее провинцию Гасконь).

[23] Во времена Монтеня существовало мнение, что египетские мумии обладают целебными свойствами; поэтому некоторые врачи, превратив частицы мумий в порошок, изготовляли из него настойки и мази, применяя их для лечения больных. Однако передовые врачи того времени считали это суеверием.

[24] „Подлинной можно считать только такую победу, когда сами враги признали себя побежденными" (Клавдиан. О шестом консульстве Гонория, 248—249).

[25] „Даже поверженный наземь продолжает сражаться" (Сенека. О провидении, 2).

[26] Исхолай — военачальник спартанцев (IV в. до н. э.).

[27] Здесь у Монтеня обмолвка: согласно Библии, женами Иакова были Рахиль и Лия, Сарра же была женою Авраама.

[28] Дейотар — тетрарх (правитель) Галатии и царь Малой Армении (ум. ок. 42 г. до н. э.), союзник римлян в борьбе их с Митридатом VI Евпатором; принимал участие в гражданской войне на стороне Помпея против Цезаря.

[29] Анакреонтическая поэзия — поэзия, воспевающая природу, любовь и наслаждения. Анакреонт — древнегреческий лирик VI в. до н. э.

[30] Это было в 1562 г.

Глава XXXII

(Стр. 278—280)

[1] Обращает на себя внимание самое название этой главы, основной смысл которой состоит в разоблачении обмана, лежащего в основе всякой религии.

Подлинным раздольем для обмана является область неизвестного — таков исходный тезис Монтеня; доказывая его, Монтень бросает прямой вызов теологам всех мастей. Однако, как видно из дальнейшего, Монтень враждебен не только теологам, на которых он обрушивается, но и самой церковной догме. Он отрицательно относится к христианским молебствиям о даровании победы и иронически ссылается на индейцев, которые, поскольку они считают, что бог дарует победу заслужившим ее, благодарят его за понесенное поражение. Именно за такие суждения „Опыты" Монтеня и попали в период контрреформации в индекс запрещенных книг. Однако высказанные здесь идеи Монтеня были подхвачены и подняты на щит вольнодумцами последующих поколений. Так, упомянутый выше Жан Мелье сочувственно цитирует слово за словом все начало данной главы (См.: Завещание, VIII; см. также прим. 1 к гл. XXX).

[2] Платон. Критий, 1.

[3] И все люди подобного рода (Гораций. Сатиры, I, 2, 2).

[4] Битва при Ларошлабейле между гугенотами и католиками произошла в мае 1569 г. и закончилась победой гугенотов. Сражения при Монконтуре и при Жарнаке между католиками и гугенотами произошли также в 1569 г.

[5] Монтень имеет в виду морское сражение при Лепанто, у берегов Греции (1571). В этом сражении молодой Сервантес потерял руку.

[6] Арий — один из крупнейших еретиков, живший в III—IV вв. и отрицавший божественность Христа. Лев — антипапа, выдвинутый Арием и его последователями.

[7] Гелиогобал — римский император, посаженный на императорский трон легионами в 217 г. и убитый преторианцами в 222 г.

[8] Ириней — один из видных теологов II в.; был послан в Галлию для проповеди христианства; с 177 г. — лионский епископ.

[9] „Ибо кто из людей в состоянии постичь умысел божий? Или кто же может уразуметь волю господню?" (Книга премудрости Соломона).

Глава XXXIII

(Стр. 281—283)

[1] Основная цель этой главы — разоблачение ненавистного Монтеню средневекового аскетизма. На наглядных конкретных примерах Монтень показывает, к какому искажению естественных человеческих чувств приводит проповедываемый католической церковью аскетизм — это яркое проявление религиозного мракобесия.

[2] „Либо спокойная жизнь, либо счастливая смерть". „Хорошо умереть, если жизнь стала бесчестием". „Лучше окончить жизнь, чем жить в горести". Монтень цитирует три изречения, принадлежащие трем анонимным греческим поэтам, заимствуя их из книги: Poètes gnomiques, 1569.

[3] Сенека. Письма, 22.

[4] Иларий — епископ г. Пуатье, живший в IV в.

Глава XXXIV

(Стр. 284—287)

[1] Характерно самое название этой главы, в которой фигурирует термин „судьба“ (fortuna), инкриминировавшийся Монтеню папским цензором, проверявшим „Опыты“ в бытность Монтеня в Риме в 1581 г. Ищейки инквизиции в Риме, особенно рьяно вылавливавшие всякую крамолу, запрещали употреблять в писаниях „языческое“ (как они его называли) слово „судьба“, которым Монтень очень часто пользовался. Малограмотный папский цензор, просматривавший „Опыты“, просил Монтеня заменить „нечестивый“ термин „судьба“ словом „провидение“. Монтень обещал исправить, но ни в одно издание, вышедшее на протяжении его жизни, не внес никаких изменений.

[2] Герцог Валантинуа — Чезаре Борджа (ум. в 1507 г.), незаконный сын папы Александра VI Борджа. Семья Борджа была известна творимыми ею тайными убийствами и предательствами.

[3] „Вырванная из объятий молодого супруга раньше, чем долгие ночи одной или двух зим могли бы насытить алчность их любви“ (Катулл, LXVIII[b], 81).

[4] Имеется в виду Константин I (Великий), который перенес столицу Римской империи в Константинополь (306—337); Константин XII Палеолог (1448—1453) погиб при взятии Константинополя турками.

[5] Жан Буше, см. прим. 14 к гл. XXVII.

[6] Т. е. из Феры в Фессалии.

[7] Описанный случай произошел в 1326 г. Изабелла — дочь французского короля Филиппа Красивого, жена английского короля Эдуарда II.

[8] Изречение анонимного греческого поэта, заимствованное Монтенем из сборника, названного в прим. 2 к гл. XXXIII.

[9] Икет — тиран сицилийский (IV в. до н. э.), долгое время боровшийся с коринфским полководцем Тимолеоном, который в конце концов все же свергнул его с престола, освободив сицилийцев.

Глава XXXV

(Стр. 288—289)

[1] Лилио Грегорио Джиральди (1479—1552) — итальянский филолог и поэт. Себастиан Кастеллион (1515—1563), уроженец Дофине, во Франции, — выдающийся проповедник религиозной терпимости в XVI в., известный своей ожесточенной борьбой с Кальвином и в частности резким протестом против сожжения Сервета. Несмотря на преследования и нищенское существование, Кастел-

лион оставил после себя ряд работ, среди которых особенно выделяется его латинский трактат „О еретиках“ — страстный протест против всякого мракобесия. Монтеню, несомненно, было хорошо известно это сочинение, и он не только сочувствовал бедствиям Кастеллиона, но и ощущал свою идейную близость к нему.

Глава XXXVI

(Стр. 290—293)

[1] Экклезиаст, IX.

[2] „Вот почему почти все живое прикрыто либо кожей, либо шерстью, либо раковинами, либо мозолями, либо корой“ (Лукреций. О природе вещей, IV, 935—936).

[3] Масинисса — нумидийский царь (II в. до н. э.).

[4] Септимий Север — римский император (II—III вв. н. э.).

[5] Геродот, III, 12.

[6] Светоний. Божественный Юлий, 58.

[7] „. . . который с непокрытою головой переносил ужасные ливни и грозы небесные“ (Силий Италик. Пунические войны, I, 250—251).

[8] Царство Пегу — Бирма. Монтень имеет в виду книгу венецианского купца Каспаро Бальби „Путешествие в восточную Индию“ (Casparo Balbi. Viaggio dell'Indie Orientale. Venezia, 1590), которую он читал на итальянском языке незадолго до смерти.

[9] Платон. Законы, XII, 2.

[10] Речь идет о Стефане Батории, короле Польши с 1575 г. До него в течение года польским королем был принц Анжуйский, впоследствии французский король Генрих III.

[11] Грамматически у Монтеня тут двусмысленность, так как неясно, к которому из двух королей относится „он“. Однако нет сомнения, что Монтень имеет в виду Стефана Батория.

[12] Плиний Старший. Естественная история, XXVIII, 17.

[13] Это происходило в 1543 г.

[14] „И [замерзшее] вино, извлеченное из сосуда, сохраняет его форму, и его не пьют глотками, а разбивают на куски“ (Овидий, Скорбные песни, III, 10, 23 сл.).

[15] Меотийское озеро — древнее название Азовского моря. Митридат — Митридат VII Евпатор, царь понтийский (123—63 гг. до н. э.).

[16] Плаценция — Пьяченца (город в Италии). Монтень имеет в виду сражение близ Плаценции в 217 г. до н. э. во время II пунической войны, закончившееся победой карфагенян над римлянами.

Глава XXXVII

(Стр. 294—298)

[1] Фельянтинцы, или фельяны, — члены католического монашеского ордена, выделившегося из цистерцианского. Орден был основан в 1577 г. и назван по имени аббатства Фельян (в Лангедоке); вопреки аскетическим обетам, владел огромными богатствами. Генрих III пригласил фельянтинцев в Париж (1588), где выстроил для ордена роскошный монастырь. Во время Французской буржуазной революции орден был уничтожен. — Капуцины — члены монашеского ордена нищей братии (ветвь францисканцев), созданный в Италии в 1525 г. для борьбы с идеями реформации и допущенный во Францию в 1572 г. Названы так по капюшону, который был обязательной принадлежностью их одеяния. Создание в XVI в. новых аскетических орденов для ревностной службы папскому престолу было связано со стремлением католической церкви удержать свою власть над верующими, с так называемой контрреформацией.

[2] „Существуют люди, которые хвалят лишь то, чему они, по их мнению, в состоянии подражать“ (Цицерон. Оратор, 7; Цицерон. Тускуланские беседы, II, 1). Монтень несколько видоизменяет подлинные слова Цицерона.

[3] „Для них добродетель — пустые слова, и в священной роще они видят лишь обычные деревья“ (Гораций. Послания, I, 6, 21—22).

[4] „Они должны были бы ее [т. е. добродетель] чтить, даже если не в состоянии постигнуть ее“ (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 2). Монтень здесь снова несколько изменяет слова Цицерона.

[5] Монтень здесь допускает неточность: дело было не после битвы при Потидее, а после битвы при Платее (479 г. до н. э.).

[6] Плутарх. О злокозненности Геродота, 6.

[7] Монтень превозносит здесь Катона и оправдывает его самоубийство. Но в гл. III книги II, написанной восемь лет спустя, он изменил свое суждение о Катоне и резко осудил его самоубийство.

[8] „И Катон, пока жил, был более велик, чем сам Цезарь“ (Марциал. Эпиграммы, VI, 32).

[9] „И непобедимого, победившего смерть, Катона“ (Манилий. Астрология, IV, 87).

[10] „Боги были на стороне победителей, на стороне побежденных — Катон“ (Лукан, I, 128).

[11] „И все на земле подчинилось, кроме суровой души Катона“ (Гораций. Оды, II, 1, 23).

[12] „Творящего над ними суд Катона“ (Вергилий. Энеида, VIII, 670).

Глава XXXVIII

(Стр. 299—302)

[1] Рассказ этот приводится у Плутарха, см.: Жизнеописание Пирра, 34.

[2] Карл Бургундский — последний герцог Бургундии (1467—1477), пытавшийся завладеть Эльзасом и Лотарингией и постоянно воевавший с герцогом Рене Лотарингским; погиб при Нанси в битве с лотарингцами и швейцарцами.

[3] Битва при Оре произошла в правление французского короля Карла V в 1364 г.

[4] „Так прикрывает душа сокровенные свои чувства противоположной личиной; печаль — радостью, радость — печалью" (Петрарка, сонет 81).

[5] Плутарх. Жизнеописание Цезаря, 48.

[6] „И тогда, решив, что он может без опасности для себя разыграть доброго тестя, он стал проливать притворные слезы и исторгать вздохи из своей ликующей груди" (Лукан, IX, 1037 сл.).

[7] Плач наследника — это смех под маской (Публий Сир в цитате у Авла Геллия, XVII, 14).

[8] „Или новобрачным ненавистна Венера, или притворными слезами они хотят нарушить радость родителей, когда обильно проливают их у порога супружеской спальни. Нет, призываю богов во свидетели, они плачут неискренно" (Катулл, LXVI, 15 сл.).

[9] Монтень имеет в виду рассказ Тацита (Анналы, XIV, 4).

[10] „Ведь неиссякаемый источник света, солнце небесное заливает небо все новым и новым светом и непрерывной чередой шлет луч за лучом" (Лукреций. О природе вещей, V, 281 сл.).

[11] „Нет, повидимому, ничего столь же стремительного, как наша душа, когда она что-либо замышляет или начинает действовать. Итак, душа приводит себя в движение быстрее, чем любая другая вещь, природа которых у нас пред глазами" (Лукреций. О природе вещей, III, 182 сл.).

[12] Тимолеон (см. прим. 9 к гл. XXXIV) из любви к законности и свободе позволил двум друзьям убить своего родного брата Тимофана, пытавшегося стать тираном в Коринфе.

Глава XXXIX

(Стр. 303—316)

[1] Биант — древнегреческий философ (VI в. до н. э., один из „семи мудрецов"). Слова Бианта, приводимые Монтенем, взяты у Диогена Лаэрция: Жизнеописание Бианта, I, 86.

[2] „Хорошие люди редки; едва ль наберется их столько же, сколько насчитывается ворот в Фивах или устьев у плодоносного Нила" (т. е. семь; намек на „семерых мудрецов" античности; Ювенал, Сатиры, XIII, 26—27).

[3] Альфонсо Альбукерке (1453—1515) — португальский мореплаватель и колонизатор, положивший огнем и мечом начало португальскому владычеству в Индии. Современники называли его „португальским Марсом“.

[4] „Отгоняют заботы разум и мудрость, а не какая-либо местность с видом на широкий простор моря“ (Гораций. Послания, I, 11, 25—26).

[5] „И позади всадника усаживается мрачная забота“ (Гораций. Оды, III, 1, 40).

[6] „В бок впилась смертоносная стрела“ (Вергилий. Энеида, IV, 73).

[7] „К чему искать земли, что освещает иное солнце? Разве изгнанник сможет убежать от себя?“ (Гораций. Оды, II, 16, 18 сл.).

[8] „Ты скажешь, что избавился от оков? Собака после долгих усилий рвет, наконец, свою привязь и убегает, но на шее у нее еще болтается большой кусок цепи“ (Персий. Сатиры, V, 158 сл.).

[9] „Если наша душа не очистилась, сколько нам, несчастным, должно вынести еще внутренних битв, сколько преодолеть опасностей! Какие мучительные тревоги будут терзать человека, одолеваемого страстями! Каких только страхов он не натерпится! В какие бедствия ввергнут его надменность, распутство, несдержанность, а также роскошь и праздность!“ (Лукреций. О природе вещей, V, 43 сл.).

[10] Перевод дан Монтенем непосредственно перед цитатой (Гораций. Послания, I, 14, 13).

[11] Стильпон — древнегреческий философ (IV в. до н. э.); Деметрий Полиоркет — царь македонский.

[12] Диоген Лаэрций, VI, 6.

[13] „Когда ты в одиночестве, будь себе сам толпой“ (Тибулл, IV, 13, 12).

[14] „Ба! Да разве возможно, чтобы какой-нибудь человек вбил себе в голову, будто что-нибудь дороже ему, чем он сам?“ (Теренций. Братья, 38—39).

[15] „Ведь не часто бывает, чтобы кто-нибудь относился к себе с достаточным почтением“ (Квинтилиан. Обучение оратора, X, 7).

[16] Стобей. Антология, XLIII, 48—49. Приписывая эти слова Сократу, Монтень допускает неточность; Стобей приводит их, как изречение пифагорейцев.

[17] „Когда я в бедности, я довольствуюсь своим верным небольшим доходом, сохраняя твердость духа и в скудости. Когда же мне перепадает кусочек получше и пожирней, я говорю: «Мудры и живут, как подобает, лишь те, чье богатство устойчиво, как это видно по их утопающим в роскоши виллам»“ (Гораций. Послания, I, 15, 40 сл.).

[18] Аркесилай (III в. до н. э.) — древнегреческий философ-скептик.

[19] „Пусть они постараются подчинить себе обстоятельства, а не подчиняются сами им“ (Гораций. Послания, I, 1, 26). Монтень слегка изменил слова Горация ради контекста.

[20] Саллюстий. Заговор Катилины, 4.

[21] Ксенофонт. О домоводстве, IV.

[22] „Скот объедал поля и посевы Демокрита, пока дух его, отрешившись от тела, блуждал по широкому миру“ (Гораций. Послания, I, 12, 19—20).

[23] Плиний Младший. Письма, I, 3. Монтень допускает неточность: эти советы Плиний дает не Корнелию, а Канинию Руфу.

[24] Цицерон. Оратор, 43; и во вступлениях ко многим другим философским трактатам.

[25] „Разве твое знание не имеет цены, если ты не знаешь, что о нем знает кто-то другой?“ (Персий. Сатиры, I, 26—27).

[26] Проперций, II, 25, 28. Перевод дан Монтенем непосредственно перед цитатой.

[27] „Молча бродя по благодатным лесам и устремляя свой взор на то, что достойно мудрого и добропорядочного человека“ (Гораций. Послания, I, 4, 4—5).

[28] „Будем наслаждаться. Нынешний день — наш; а после ты станешь прахом, тенью, преданием“ (Персий. Сатиры, V, 151—152).

[29] „Не о том ли хлопочешь, старик, как бы потешить уши других?“ (Персий. Сатиры, I, 22).

[30] Т. е. Эпикура и Сенеки. Приводимые в дальнейшем рассуждения взяты у Сенеки (Письма, 21).

[31] „Пусть они закрепят в своей душе образцы добродетели“ (Цицерон. Тускуланские беседы, II, 22).

Глава XL

(Стр. 317—323)

[1] Современная наука решительно отвергает распространенное во времена Теренция мнение, будто авторами комедий, носящих его имя, являются его знатные покровители Сципион и Лелий. Серьезные и осведомленные римские авторы также пренебрегали этими слухами, считая их ни на чем не основанным вымыслом. Теренций, действительно, не опровергал их, но он поступал так, очевидно, по тактическим соображениям.

[2] „Сражаясь, да будет он грозен, а после победы да будет милостив к поверженному врагу“ (Гораций. Юбилейный гимн, 51 сл.).

[3] „Одни будут витийствовать в суде, другие изображать при помощи циркуля вращение небосвода и перечислять мерцающие светила; а уделом этого [римского народа] будет искусство властвовать над народами“ (Вергилий. Энеида, VI, 849 сл.). Цитата изменена Монтенем.

[4] Плутарх. Жизнеописание Перикла, I.

[5] Ификрат (415—353 гг. до н. э.) — выдающийся афинский полководец; Антисфен — древнегреческий философ, основатель школы киников (V—IV вв. до н. э.); Исмений — некий фиванец.

[6] Монтень намекает на то, что он не может открыто выражать свои мысли, опасаясь преследований.

[7] „Изящество не является украшением достойного мужа“ (Сенека. Письма, 115).

[8] Эпикур в письме к Идоменею и Сенека в письме к Люцилию.

[9] Аннибале Каро (1507—1566) — итальянский поэт-филолог, переводчик „Энеиды“ и произведений многих других античных авторов. Посмертно были опубликованы его письма (1572—1574).

Глава XLI

(Стр. 324—326)

[1] „Молва, которая своим сладостным голосом чарует исполненных тщеславия смертных и кажется столь пленительной, — не что иное, как эхо, как сновидение или даже тень сновидения; она расплывается и исчезает при малейшем дуновении ветра“ (Тассо. Освобожденный Иерусалим, XIV, 63).

[2] „Ибо он [дьявол] не перестает искушать души даже тех, кто преуспел в добродетели“ (Августин. О Граде божием, V, 14).

[3] Цицерон. За Архия поэта, 11.

[4] Здесь у Монтеня неточность: упоминаемое в тексте вторжение войск Карла V в Прованс во время войн за миланское герцогство произошло в 1536 г., а не в 1537 г., как указывает Монтень. Антонио де Лейва — см. прим. 7 к гл. XI.

[5] Брасид — выдающийся спартанский военачальник (V в. до н. э.).

[6] Битва при Креси произошла в 1346 г. во время Столетней войны; она закончилась решительной победой англичан над французами.

[7] „Ведь всегда кажется, что именно отряды, последними вступившие в бой, решили исход дела“ (Тит Ливий, XXVII, 45).

[8] Гай Лелий — друг Сципиона Африканского (Младшего) и его легат в Африке и Испании, прозванный „Мудрым“, консул 140 г. до н. э.

[9] Битва при Бувине произошла в 1214 г. между французами и войсками германского императора и его союзниками-англичанами; она закончилась победой французов.

Глава XLII

(Стр. 327—337)

[1] Это — одна из очень важных для характеристики социальных воззрений Монтеня глав, в которой ярко проявляется антифеодальная направленность его „Опытов“. Монтень обрушивается в ней на сословные предрассудки, прочно укоренившиеся в феодальном обществе, заявляя, что крестьянин и король, дворянин и простолюдин, сановник и частное лицо „в сущности отличаются

друг от друга только по платью". Заявление Монтеня звучит как своего рода манифест, утверждающий принцип буржуазного равенства. С особым пафосом развенчивает здесь Монтень мнимое величие государей. „Посмотрите на него,— говорит Монтень о государе, — за опущенным занавесом: это обыкновенный человек и может статься даже более ничтожный, чем самый жалкий из его подданных". Можно не сомневаться, что, говоря это, Монтень метил в правящую династию. Эта характеристика относилась прежде всего к ничтожному правителю тогдашней Франции, Генриху III, разжигавшему своей политикой пламя бушевавшей в стране гражданской войны. Любопытно, что нарисованный Монтенем портрет государя почти дословно совпадает с тем, как характеризует тирана друг Монтеня Ла Боэси в своем „Рассуждении о добровольном рабстве". Развенчивая ложность королевского величия, Монтень протестовал против некоторых сторон французского абсолютизма, которым начинала уже тяготиться французская буржуазия, — против королевского произвола. Мысль о том, что короли и дворяне ничем, кроме платья, не отличаются от других людей — одна из излюбленных идей Монтеня, к которой он неоднократно возвращается в разных главах „Опытов".

[2] Плутарх. О том, что дикие звери имеют разум, 10.

[3] „Насколько же один человек превосходит другого!" (Теренций. Евнух, 232).

[4] „Так восхищаемся мы быстротой и пылом коня, который часто и с легкостью берет призы, вызывая у толпы, заполняющей цирк, громкие рукоплескания" (Ювенал. Сатиры, VIII, 57 сл.).

[5] „ У царей есть обычай: когда они покупают коней, они осматривают их покрытыми, ибо прекрасная стать опирается часто на слабые ноги, и восхищенного покупателя могут соблазнить красивый круп, небольшая голова и гордо изогнутая шея" (Гораций. Сатиры, I, 2, 86 сл.).

[6] Сенека. Письма, 76.

[7] „... если он мудр и сам себе господин, и его не пугают ни нищета, ни смерть, ни оковы; если, твердый духом, он умеет владеть страстями и презирать почести; и если он весь как бы гладкий и круглый, так что ничто внешнее не может его сбить с толку, то властны ли над ним превратности судьбы?" (Гораций. Сатиры, II, 7, 83 сл.).

[8] „Мудрец воистину сам кует свое счастье" (Плавт. Трехгрошовик, акт II, сц. II).

[9] „Не ясно ли всякому, что природа наша требует лишь одного — чтобы тело не ощущало страданий и чтобы мы могли вкушать сладостный душевный мир, не зная страха и тревог?" (Лукреций. О природе вещей, II, 16 сл.).

[10] „Потому что он носит оправленные в золото и сияющие зеленым блеском огромные изумруды, и постоянно облачен в одеяние цвета моря, пропитанное потом любовных утех" (Лукреций. О природе вещей, IV, 1126).

[11] „Такой человек [мудрец] счастлив поистине; счастье же этого — только

наружное“ (Сенека. Письма, 115). Монтень цитирует слова Сенеки, слегка изменив их.

[12] „Ибо ни сокровища, ни высокий сан консула не отгонят злых душевных тревог и печалей, витающих под золочеными украшениями потолка“ (Гораций. Оды, II, 16, 9 сл.).

[13] „И действительно, людские страхи и назойливые заботы не боятся ни бряцанья оружия, ни смертоносных дротиков, и они дерзко витают между царей и великих мира сего, не страшась блеска, исходящего от их золота“ (Лукреций. О природе вещей, II, 48 сл.).

[14] „И лихорадка не скорее отстает от тебя, если ты покоишься на пурпурной или вытканной рисунками ткани, чем если бы ты лежал на обыкновенном ложе“ (Лукреций. О природе вещей, II, 34 сл.).

[15] Плутарх. Изречения древних царей. — Антигон — царь македонский (III в. до н. э.).

[16] „Пусть девы отнимают его одна у другой, и пусть везде, где бы он ни ступил, распускаются розы“ (Персий. Сатиры, II, 37—38).

[17] „... все вещи таковы, каков дух того, кто ими владеет; если он умеет ими пользоваться, они хороши; если не умеет — плохи“ (Теренций. Сам себя наказующий, 195—196).

[18] „Ни дом, ни поместье, ни груды бронзы и золота не изгонят из больного тела их владельца горячку, и из духа его — печали; чтобы обладатель всех этих благ мог хорошо ими пользоваться, ему нужно быть здоровым. Кто же жадничает или боится, тому его дом и богатства помогут столько же, сколько картины тому, у кого гноятся глаза, или припарки — страдающему подагрой“ (Гораций. Послания, I, 2, 46 сл.).

[19] Платон. Законы, II, 6.

[20] „Весь покрытый серебром и золотом“ (Тибулл, I, 2, 69).

[21] „Если у тебя все в порядке с желудком, грудью, ногами, никакие царские сокровища не смогут ничего прибавить к твоему благоденствию“ (Гораций. Послания, I, 12, 5—6).

[22] Плутарх. Должен ли старец вмешиваться в государственные дела, 11; Селевк — Селевк I Никатор (Победитель), царь сирийский (IV в. до н. э.).

[23] „Таким образом, лучше спокойно подчиняться, чем желать властвовать самому“ (Лукреций. О природе вещей, V, 1127—1128).

[24] Гиерон Старший (V в. до н. э.) — сиракузский тиран. Монтень имеет в виду известный диалог Ксенофонта, Гиерон или о положении царей, 2—3.

[25] „Слишком счастливая и пылкая любовь нагоняет на нас, в конце концов, скуку и вредна точно так же, как слишком вкусная пища вредна для желудка“ (Овидий. Любовные стихотворения, II, 19, 25—26).

[26] „Любы перемены [т. е. разнообразие, изысканность] великим мира сего; меж тем простая еда в скромном жилище бедняков, без ковров и без пурпура, нередко разглаживала морщины на их челе“ (Гораций. Оды, III, 29, 13 сл.).

[27] Казале — крепость в Италии, неоднократно переходившая из рук в руки во время войн за миланское герцогство (1499—1547). Осада Сьены войсками Карла V происходила в 1554 г.

[28] „Рабов меньше, чем тех, кто делает себя рабами“ (Сенека. Письма, 22).

[29] „Наибольшее преимущество обладания царской властью — это то, что народам приходится не только терпеть, но и прославлять любые поступки своих властителей“ (Сенека. Фиест, 205).

[30] Плутарх. Пир семи мудрецов, 11. — Анахарсис — философ, родом из Скифии, друг Солона (VI в. до н. э.).

[31] Плутарх. Жизнеописание Пирра, 14.

[32] „И не удивительно, ибо он не знал, где следует остановиться и доколе может возрастать наслаждение“ (Лукреций. О природе вещей, V, 1432—1433).

[33] „Наша судьба зависит от наших нравов“ (Корнелий Непот. Жизнеописание Аттика, 11).

Глава XLIII

(Стр. 338—340)

[1] Залевк — древнейший греческий законодатель (VII в. до н. э.), составивший законы для г. Локр (греческой колонии в Италии).

[2] „Что бы ни делали государи, кажется, будто они это предписывают и всем остальным“ (Квинтилиан. Упражнения в красноречии, 3).

[3] Платон. Законы, VII, 6.

Глава XLIV

(Стр. 341—343)

[1] Отон (Марк Сальвий), провозглашен преторианцами римским императором в 69 г. В том же году, потерпев поражение от Вителлия, одновременно провозглашенного императором нижнегерманскими легионами, Отон лишил себя жизни.

[2] Персей, последний царь македонский. Будучи разбит римским полководцем Эмилием Павлом при Пидне (168 г. до н. э.), он в следующем году был захвачен в плен римлянами и вскоре умер.

[3] Геродот, VI, 25.

[4] Диоген Лаэрций, I, 109; Плиний Старший. Естественная история, VII, 53. — Эпименид — уроженец о. Крита (V в. до н. э.); о нем сохранились различные легенды помимо той, о которой упоминает Монтень; ему приписывали легендарное долголетие: утверждали, что он прожил свыше 300 лет.

Глава XLV

(Стр. 344—345)

[1] Битва при Дрё (1562) между католиками и протестантами закончилась победой католиков.

[2] Франсуа де Гиз вместе с коннетаблем Монморанси в битве при Дрё командовал войсками католиков.

[3] Филопэмен — древнегреческий полководец (III в. до н. э.); Маханид — спартанский тиран, разгромленный Филопэменом в битве при Мантинее (206 г. до н. э.)

Глава XLVI

(Стр. 346—352)

[1] Гета (Луций Септимий Гета) — римский император (211—212), занимавший престол вместе со своим братом Каракаллой и убитый по его наущению.

[2] Валлемонтанус — латинизованная форма французского имени Водемон.

[3] Монтень имеет в виду Бертрана Дю Геклена (см. о нем прим. 8 к гл. III), имя которого писалось и произносилось на разные лады.

[4] „... здесь речь идет не о дешевой и пустой награде“ (Вергилий. Энеида, XII, 764).

[5] Никола Денизо — французский поэт и художник (1515—1559).

[6] Здесь идет речь о знаменитом римском писателе, авторе „Жизни двенадцати цезарей“ — Гае Светонии Транквилле, родовое имя которого было Ленис (Lenis), что означает по-латыни „медлительный“, „спокойный“. Tranquillus (Транквилл) — имя, которым он называл сам себя, — также по-латыни — „спокойный“. Таким образом, латинские слова tranquillus и lenis почти синонимы, на что и указывает Монтень.

[7] Пьер Террайль — подлинное имя французского полководца Баярда (см. прим. 19 к гл. III).

[8] Антуан Эскален (ок. 1498—1578 гг.) называл себя также капитаном Поленом и бароном де Ла-Гард. Это был французский офицер, отличившийся на военной службе и на дипломатическом поприще.

[9] „Неужели ты думаешь, что прах и души покойников пекутся об этом?“ (Вергилий. Энеида, IV, 34).

[10] „Наши подвиги затмили славу спартанцев“ (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 17). Этот стих, который Цицерон дает в латинском переводе, был в своей оригинальной, греческой, форме высечен на статуе Эпаминонда.

[11] „От самого восхода солнца у Меотийского озера нет никого, кто мог бы сравниться подвигами со мною“ (Цицерон. Тускуланские беседы, V, 17).

[12] „... вот что воодушевляло полководцев греческих, римских и варварских, вот что заставило их бросить вызов опасности и вынести столько лише-

ний; ибо поистине люди более жадны к славе, чем к добродетели" (Ювенал. Сатиры, X, 138 сл.).

Глава XLVII

(Стр. 353—359)

[1] Перевод этого стиха (Гомер. Илиада, XX, 249) Монтень дает вслед за цитатой.

[2] Ганнибал победил, но он не сумел как следует воспользоваться плодами победы (Петрарка. Сонет 82).

[3] В битве при Сен-Кантене (1557) испанская армия, подкрепленная английскими отрядами, разбила французскую под командованием Монморанси и Колиньи. Но взятие этой крепости не повело к решительному разгрому французов. Испанский король, о котором говорит Монтень, — Филипп II.

[4] „В разгар успеха, когда враг охвачен ужасом" (Лукан, VII, 734).

[5] Марсы — италийская народность, обитавшая в средней и южной Италии. Марсы отчаянно боролись с римлянами во время Союзнической войны (90—88 гг. до н. э.).

[6] Гастон де Фуа (1489—1512) — французский полководец, одержавший в Италии ряд побед.

[7] Битва при Серизоле (Италия) произошла в 1544 г. между французами и имперскими войсками; Франсуа Ангиен (1519—1545) — французский полководец.

[8] „Укусы разъяренной необходимости наиболее опасны" [Слова Порция Латрона в его речи о Катилине. Саллюстий(?), Фрагменты, 11].

[9] „Нелегко одержать победу над тем, кто сражается, будучи готов умереть" (Лукан, IV, 275).

[10] Ксенофонт. Киропедия, IV, 3.

[11] Плутарх. Жизнеописание Пирра, 14. Называя Мегакла Демогаклом, Монтень повторяет ошибку современных ему французских переводов Плутарха.

[12] Агис — Агис IV (III в. до н. э.), спартанский царь, убит за попытку восстановить законы Ликурга; Агесилай (см. прим. 13 к гл. III); Гилипп — знаменитый спартанский полководец (V в. до н. э.).

[13] Фарсал — город в Фессалии, в окрестностях которого Цезарь одержал решительную победу над Помпеем (48 г. до н. э.).

[14] Плутарх. Жизнеописание Помпея, 69.

[15] Ксенофонт. Анабасис, I, 8. Монтень имеет в виду борьбу за персидский престол, происходившую между братьями — Киром Младшим и Артаксерксом II (Мнемоном) и закончившуюся победой Артаксеркса и гибелью Кира в 401 г. до н. э.

[16] См. прим. 4 к гл. XLI.

[17] Речь идет о II пунической войне. Сципион высадился в Африке в 204 г. до н. э.

[18] Речь идет о попытке афинян захватить Сицилию (415—413) во время Пелопонесской войны.

[19] Агафокл — тиран Сицилии; в 310 г., освободив Сицилию от карфагенян, он перенес театр военных действий в Африку. В дальнейшем он призвал в Сицилию карфагенян и отдал им бо́льшую часть их прежних владений, дабы подавить с их помощью народное восстание.

[20] „И на долю неблагоразумия выпадает успех: благоразумие часто обманывает, и Фортуна, мало разбираясь в заслугах, не всегда благоприятствует правому делу. Непостоянная, она переходит от одного к другому, не делая никакого различия. Стало быть, есть над нами высшая сила, которая вершит дела смертных, руководствуясь собственными законами“ (Манилий. Астрология, IV, 95 сл.).

Глава XLVIII

(Стр. 360—369)

[1] Equus funalis — пристяжная лошадь; equus dexterior или, в поздней латыни, dextrarius — то же самое (dexter — правый, находящийся по правую руку). По-романски (т. е. на провансальском языке) adestrer значит — быть по правую руку, иначе говоря, сопровождать — франц. accompagner. Equus desultorius — лошадь, приученная к вольтижировке наездника.

[2] „У них в обычае, подобно цирковым наездникам, иметь при себе запасного коня, и часто в разгаре битвы они перепрыгивают с усталой лошади на свежую — такова их ловкость и так послушлива порода их лошадей“ (Тит Ливий, XXIII, 29).

[3] Монтень опирается на рассказ Геродота (V, 111—112). — Саламин — остров в Эгейском море у берегов Аттики; в древнейшие времена был независимым от Афин.

[4] Форнуово — город в Италии, недалеко от Пармы. Битва, о которой говорит Монтень, произошла между французами и миланцами в 1495 г.

[5] Платон. Законы, VII, 1; Плиний Старший. Естественная история, XXVIII, 14.

[6] Ксенофонт. Киропедия, IV, 3.

[7] Юстин. Извлечение из Трога Помпея, XLI, 3.

[8] Светоний. Божественный Юлий, 60.

[9] „... в котором, без сомнения, римляне были сильнее“ (Тит Ливий, IX, 22).

[10] „Приказывает выдать оружие, предоставить лошадей, дать заложников“ (Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 11).

[11] Ксенофонт. Киропедия, IV, 3.

[12] „... отступали и снова устремлялись вперед и победители и побеждаемые, и тем и другим было неведомо бегство“ (Вергилий. Энеида, X, 756).

[13] „Первый натиск и первые крики решают дело“ (Тит Ливий, XXV, 41).

[14] „И они препоручают, таким образом, ветру наносить удары там, где он пожелает. Силен только меч, и всякий народ, в котором есть воинская доблесть, ведет войны мечами“ (Лукан, VIII, 384 сл.).

[15] „... и как молния несется со свистом пущенная фаларика“ (Вергилий. Энеида, IX, 705).

[16] „Привыкнув метать пращой в море округлые камни и со значительного расстояния набрасывать на колышек небольшие кольца, они поражали врагов не только в голову, но и в любое намеченное ими место“ (Тит Ливий, XXXVIII, 29).

[17] Страх и трепет охватили осажденных, когда со страшным грохотом начали разбивать стены“ (Тит Ливий, XXXVIII, 5).

[18] „Они не боятся огромных ран. Когда рана более широка, чем глубока, они считают, что тем больше славы для продолжающего сражаться. Но когда наконечник стрелы или пущенный пращой свинцовый шарик, проникнув глубоко в тело, при небольшой с виду ране, мучают их, они, придя в бешенство, что повержены столь незначительным повреждением, начинают кататься по земле от ярости и стыда“ (Тит Ливий, XXXVIII, 21).

[19] Дионисий Сиракузский — см. прим. 7 к гл. I.

[20] Речь идет о катапультах.

[21] Monstrellet. Chronique. Éd. Douët d'Arcq, t. I, 349.

[22] Цезарь. Записки о Галльской войне, IV, 2.

[23] „И те, что живут в Массилии, садятся верхом на ничем не покрытые спины коней и управляют ими с помощью небольшого хлыста, вместо уздечки“ (Лукан, IV, 682—683).

[24] „И нумидийцы управляют невзнузданными конями“ (Вергилий. Энеида, IV, 41).

[25] „Их невзнузданные кони бегут некрасиво; шея у них напряжена и голова вытянута вперед, как у тех, которых пустили галопом“ (Тит Ливий, XXXV, 11).

[26] Альфонс XI, король Кастилии (ум. в 1350 г.).

[27] Антонио де Гевара (ум. в 1545 г.) — видный испанский писатель-моралист, ученость и стиль которого весьма ценились в Испании и за ее пределами. Помимо других сочинений, он оставил два тома „Домашних писем“, касающихся самых разнообразных предметов (изд. 1539—1545 гг.), пользовавшихся большим успехом и неоднократно переиздававшихся во второй половине XVI в. Монтень, как и все его поколение, зачитывался произведениями Гевары, фигурирующими в каталоге книг его библиотеки, хотя и относился к ним критически.

[28] „Придворный“ — книга итальянца Бальдассаре ди Кастильоне (изд. 1528 г.), содержащая беседы представителей придворного общества на тему о том, какими качествами должен обладать человек высокой и тонкой культуры.

Книга эта вскоре приобрела большую известность и за пределами Италии. В 1537 г. она была переведена на французский язык. Монтень часто заимствовал из нее примеры различного рода.

[29] В средние века и в XVI в. было довольно широко распространено сказание, что на Востоке, среди мусульманских земель где-то — не то в Абиссинии, не то в Индии или еще дальше в Азии — существует христианское царство, которым управляет священник Иоанн (в старых русских версиях этого сказания — поп Иван).

[30] Ксенофонт. Киропедия, III, 3.

[31] „Вот и сармат, вскормленный конской кровью" (Марциал. Книга зрелищ, 3, 4).

[32] Монтень опирается на сообщение Валерия Максима, VII, 6, ext. 1.

[33] Монтень имеет в виду Америку, которая тогда называлась Новой Индией. Несколько ниже Монтень говорит об Индии ближней, т. е. об Индии в собственном смысле.

[34] Фабий Максим Рутилиан (или Руллиан) — римский политический деятель и полководец (IV—III вв. до н. э.).

[35] „«Натиск ваших коней будет сильнее, если вы разнуздаете их прежде чем броситься на неприятеля; известно, что этим приемом часто с успехом пользовалась римская конница». Они последовали его совету: разнуздав коней, они дважды проскакали вперед и назад, через вражеское войско, нанеся врагу страшные потери и переломив у него все копья" (Тит Ливий, XL, 40).

[36] Источник Монтеня — во многом недостоверный — „О происхождении и деяниях поляков" Яна Гербурта Фульстинского (Jan Herburt z Fulsztyna. De origine et rebus gestis Polonorum), польского историка XVI в. Французский перевод („Histoire des rois et princes de Pologne") вышел в 1573 г. Сохранилась пометка Монтеня на экземпляре этой книги из его библиотеки: „Закончил чтение ее в феврале 1586 г. Это краткая и простая история Польши, без прикрас".

[37] Геродот, I, 78.

[38] Даги — племя, обитавшее в нынешнем Дагестане и в Средней Азии.

[39] Реал — мелкая испанская монета.

Глава XLIX

(Стр. 370—374)

[1] Фабриций Лусцин — римский консул в 282 г. до н. э., славившийся своей неподкупностью и простотой нравов. Лелий Непот — римский полководец (III—II вв. до н. э.), друг Сципиона Африканского.

[2] „Они обертывают левую руку плащом и обнажают меч" (Цезарь. Записки о гражданской войне, I, 75).

[3] Цезарь. Записки о Галльской войне, IV, 5.

[4] „Ты выщипываешь у себя волосы на груди, на руках и на ногах“ (Марциал, II, 62, 1).

[5] „Она вся блестит от мази, уничтожающей волосы, или натирается вымоченным в уксусе мелом“ (Марциал, VI, 93, 9).

[6] „И тогда родитель Эней так начал с высокого ложа“ (Вергилий. Энеида, II, 2).

[7] „Я поцеловал бы [тебя], приветствуя ласковыми словами“ (Овидий. Письма с Понта, IV, 9, 13).

[8] Spongia (латинск.) — губка.

[9] Сенека. Письма, 70.

[10] Монтень дает приблизительный перевод этого стиха перед тем, как процитировать его (Марциал, XI, 58, 11).

[11] „Маленькие дети часто видят во сне, что они поднимают платье, чтобы помочиться в предназначенные для этого сосуды“ (Лукреций. О природе вещей, IV, 1026—1027).

[12] „Пусть лакомятся модники подобными явствами, мне же не по вкусу странствующий ужин“ (Марциал, VII, 48, 4—5).

[13] „Раб с прикрытыми черным передником чреслами прислуживает тебе всякий раз, когда ты, нагая, обливаешься теплой водой“ (Марциал, VII, 35, 1—2).

[14] Сидоний Аполлинарий, VII, 239 сл.

[15] „... пока уплатили, пока впрягли мула, прошел целый час“ (Гораций. Сатиры, I, 5, 13—14).

[16] „Краем ложа царя Никомеда“ (Светоний. Божественный Юлий, 49).

[17] „... пусть мальчик скорее разбавит чаши пламенного фалерна влагой протекающего рядом ручья“ (Гораций. Оды, II, 11, 18 сл.).

[18] „О Янус! Тебе никто не мог бы показать сзади кукиш, или быстрым движением рук — ослиные уши, или язык, длинный, как у апулийской собаки, которой хочется пить“ (Персий. Сатиры, I, 58 сл.). Бог Янус изображался древними римлянами двуликим; второе его лицо было обращено назад.

Глава L

(Стр. 375—379)

[1] „Как только они выходили за порог дома, один смеялся, другой же, напротив, плакал“ (Ювенал. Сатиры, X, 28).

[2] Тимон, прозванный человеконенавистником, — афинянин (V в. до н. э.). В античных источниках мы находим множество рассказов о его отвращении к роду человеческому. Образ Тимона разработан Шекспиром в его трагедии „Тимон Афинский“.

[3] Гегесий — см. прим. 57 к гл. XXVI.

[4] Феодор — древнегреческий философ (IV в. до н. э.), проповедывавший неверие в богов.

Глава LI

(Стр. 380—383)

[1] Речь идет не о Фукидиде, сыне Олора, — историке, а о Фукидиде, сыне Мелесия, — афинском политическом деятеле, вожде „аристократической" партии, яром противнике Перикла, подвергшемся остракизму в 443 г. до н. э.

[2] Аристон — древнегреческий философ-стоик (III в. до н. э.).

[3] Платон. Горгий, 20.

[4] Публий Лентул Сура — римский консул 71 г. до н. э., участник заговора Катилины, казненный вместе с другими заговорщиками Цицероном (63 г.); Квинт Метелл Непот — народный трибун 63 г., консул 57 г. до н. э.

[5] „... и вовсе не безразлично, каким образом следует разрезать курицу или зайца" (Ювенал. Сатиры, V, 123).

[6] „«То пересолено, а то подгорело, а то получилось слишком сухим; а вот это хорошо приготовлено; запомни же, чтобы и другой раз так сделать». Так-то учу я их старательно, в меру моего разумения. Словом, Демеа, я велю им смотреть в кастрюли, словно в зеркало, и наставляю по части всего, что следует делать" (Теренций. Братья, 439).

[7] Дворец Аполидона — роскошный, воздвигнутый при помощи волшебства дворец, описанный в „Амадисе Галльском" — позднерыцарском испанском романе, переведенном в XVI в. на французский язык.

[8] Пьетро Аретино (1492—1557) — итальянский сатирик и публицист, живший в Венеции; в своих произведениях боролся с идеями феодально-католической реакции. Памфлеты Аретино, весьма остроумные и передовые по своим мыслям, изобилуют, однако, непристойностями и написаны очень неряшливо, чем и объясняется строгий отзыв о нем Монтеня.

Глава LII

(Стр. 384—385)

[1] Марк Атилий Регул — римский полководец (III в. до н. э.).

[2] Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший — знаменитый римский полководец, взявший и разрушивший Карфаген (146 г. до н. э.) и Нуманцию (133 г. до н. э.).

Глава LIII

(Стр. 386—387)

[1] „... пока у нас нет того, к чему мы стремимся, эта вещь нам кажется высшим благом; а получив ее, мы начинаем столь же страстно желать чего-то другого" (Лукреций. О природе вещей, III, 1082 сл.).

[2] „Когда он [Эпикур] увидел, что смертные обладают почти всем необходимым и что даже те из них, которые наделены богатствами, почестями, ува-

жением и добрым потомством, в душе и в сердце своем все же терзаются раздорами и недовольством, он понял, что все зло — в самом сосуде, обладающем неким изъяном и потому портящем самую драгоценную влагу, вливаемую в него" (Лукреций. О природе вещей, VI, 9 сл.).

[3] „Таков порок, присущий нашей природе; вещи невидимые, скрытые и непознанные порождают в нас и больше веры и больше страха" (Цезарь. Записки о гражданской войне, II, 4).

Глава LIV

(Стр. 388—391)

[1] Эта глава представляет большой интерес для характеристики отношения Монтеня к католической церкви. В ней нетрудно обнаружить те самые „семена мыслей более смелых", о которых Монтень, как он предупреждал читателя, вынужден говорить „под сурдинку". Действительно, лукаво причислив себя к умам, „обладающим средней степенью силы и средними способностями", Монтень вслед за тем заявляет, что эти люди „имеют некоторое основание объяснять простотой и глупостью то, что мы придерживаемся старого образа мыслей", т. е. католической ортодоксии. Указав затем на нетерпимость и жестокость ортодоксов, которых он иронически именует великими умами, понимающими „сокровенную и божественную тайну учения нашей церкви", Монтень противопоставляет им честных людей — простых крестьян. Знаменательна концовка этой главы, в которой Монтень делает многозначительное признание, что его „Опыты" придутся по вкусу именно читателям среднего уровня, т. е. людям так же скептически, как и он, относящимся к церковной догме. О преклонении Монтеня перед народной поэзией и о прославлении им простых людей см. „Приложения", стр. 440 и 457.

[2] Плутарх. Застольные беседы, VIII, 9.

[3] Согласно Квинтилиану (Обучение оратора, II, 20), это приказание было отдано Александром Македонским.

[4] Источник Монтеня — Плутарх (Мнения философов, IV, 10).

[5] Аристотель. Проблемы, 50.

[6] Вилланель — деревенская песенка примерно из шести строф, каждая по 3 или 4 стиха.

Глава LV

(Стр. 392—394)

[1] Плутарх. Жизнеописание Александра, 4.

[2] „Женщина пахнет хорошо, когда она ничем не пахнет" (Плавт. Привидение, акт I, сц. 3).

[3] „Ты смеешься надо мной, Корацин, что я ничем не пахну; но я предпочитаю ничем не пахнуть, чем благоухать“ (Марциал, VI, 55, 4).

[4] „Постум, нехорошо пахнет тот, кто всегда благоухает“ (Марциал, II, 12, 4).

[5] „Мое обоняние, Полип, различает козлиный запах волосатых подмышек лучше, чем пес с самым острым нюхом чует логово вепря“ (Гораций. Эподы, XII, 4 сл.).

[6] Диоген Лаэрций, II, 25.

[7] Имеется в виду Мулей-Гассан, тунисский султан, который в 1543 г. прибыл в Неаполь, надеясь встретить там Карла V, чтобы обратиться к нему за помощью против своих восставших подданных.

Глава LVI

(Стр. 395—405)

[1] Данная глава, как и глава LIV, показательна для отношения Монтеня к католической церкви. Весь первый абзац представляет собой вставку, сделанную Монтенем в 1582 г., по возвращении из Италии, после того как его „Опыты“ были просмотрены папским цензором, которому Монтень обещал изменить инкриминировавшиеся ему в разных главах места. Для отвода глаз папских цензоров, Монтень вставил в начале этой главы заявление о том, что он подчиняется требованиям церкви. Однако, как уже отмечалось выше, Монтень не только не изменил ни одного из указанных ему цензором мест, но (в данной главе) даже усилил некоторые суждения, идущие вразрез с церковным вероучением. Чего стоит, например, высказанное здесь суждение о том, что молитва — это всего-навсего личина благочестия, или сугубо подчеркнутое отвращение Монтеня к ханжескому благочестию, когда осеняют себя крестным знамением и одновременно „упражняются в ненависти, жадности и несправедливости“. Скрытой полемикой с папскими цензорами является заявление Монтеня в конце главы, что он обсуждает в своих „Опытах“ вопросы с мирской, а не с церковной точки зрения, и потому содержание их „человеческое и философское, без всякой примеси богословских рассуждений“. Это резкое размежевание между философией и схоластическим богословием, между знанием и слепой верой — одна из основных идей Монтеня, пронизывающая „Опыты“.

[2] Платон. Законы, X, 3.

[3] „. . . если ты, ночной прелюбодей, скрываешь свое лицо под галльским плащом с капюшоном“ (Ювенал. Сатиры, VIII, 144 сл.).

[4] Benedicite („благословите“) — латинская католическая молитва, читаемая перед принятием пищи.

[5] Sursum corda („ввысь да стремятся сердца“) — первые слова латинской католической молитвы.

[6] Монтень, повидимому, имеет в виду византийского императора Андроника II Палеолога (1258—1332); имя Лопадий введено Монтенем по недоразумению: такое историческое лицо не известно.

[7] Имеется в виду епископ Озорио (см. прим. 4 к гл. XIV); Диоскорида — древнее название о. Сокотора, находящегося в Индийском океане, в 180 км от мыса Гвардафуй.

[8] Источником для Монтеня здесь послужил французский перевод Амио (см. прим. 1 к гл. XXIV) трактата Плутарха „О любви", XII.

[9] „Словами грубыми и простыми" (Августин. О Граде божием, X, 29).

[10] Монтень, повидимому, допускает ошибку. Подобные рассуждения можно встретить в Алкивиаде II Платона.

[11] „Ты просишь у богов такое, о чем можешь сказать им только тайком" (Персий. Сатиры, II, 4).

[12] „Скажи Стаю о том, что ты хотел бы получить от Юпитера — и он, конечно, воскликнет: «О Юпитер, о всеблагой Юпитер!». Да и Юпитер сам не удержится от такого же восклицания" (Персий. Сатиры, II, 21 сл.).

[13] Маргарита Наваррская. Гептамерон, день III, новелла 25.

[14] „. . . мы потихоньку бормочем преступные молитвы" (Лукан, V, 104).

[15] „Не всякий откажется от бормотания и постыдного шопота в храме и открыто вознесет свои молитвы богам" (Персий. Сатиры, II, 6—7).

[16] „. . . сначала воззвав зычным голосом к Аполлону, он затем едва шевелит губами, боясь, что его услышат: «О дивная Лаверна, помоги мне обмануть, помоги мне казаться честным и правдивым! Прикрой мои прегрешения ночной тьмою и плутни — облаком»" (Гораций. Послания, I, 16, 47 сл.). Лаверна у древних римлян — богиня воров и обманщиков.

[17] Платон. Законы, IV, 8.

[18] „Если коснуться алтаря чистой рукой, то можно смягчить суровость пенатов не только богатыми приношениями, но и горсткой полбы, благочестиво предложенной вместе с солью" (Гораций. Оды, III, 23, 17 сл.).

Глава LVII

(Стр. 406—409)

[1] Монтень опирается здесь на рассказ Плутарха (Жизнеописание Катона Утического, 69).

[2] „После того, как тело расслабили тяжкие удары времени, после того, как руки и ноги отяжелели, утратили силу, разум тоже начинает прихрамывать, а язык заплетаться и ум убывать" (Лукреций. О природе вещей, III, 451 сл.).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Стр.

Портрет Монтеня, обычно именуемый „Монтень в воротничке". Неизвестного автора второй половины XVI века . . . . . 6—7

Титульный лист первого издания „Опытов" (книги I и II, 1580 г., второй тираж) . . . . . 112—113

Страница текста из бордоского экземпляра „Опытов" . . . . . 296—297

Лист календаря, на котором Монтень сам отметил дату своего рождения 432—433

Титульный лист „Опытов" Монтеня в первом русском переводе Сергея Волчкова (1762) . . . . . 464—465

Страница текста из первого русского перевода „Опытов" Монтеня . . 464—465

СОДЕРЖАНИЕ

ОПЫТЫ

Стр.

К читателю 7
Глава I. Различными средствами можно достичь одного и того же . . . 9
Глава II. О скорби 14
Глава III. Наши чувства устремляются за пределы нашего „Я“ 18
Глава IV. О том, что страсти души изливаются на воображаемые предметы, когда ей недостает настоящих 27
Глава V. Должен ли комендант осажденной крепости выходить из нее для переговоров с противником? 30
Глава VI. Час переговоров — опасный час 34
Глава VII. О том, что наши намерения являются судьями наших поступков 37
Глава VIII. О праздности 40
Глава IX. О лжецах 42
Глава X. О речи живой и о речи медлительной 49
Глава XI. О предсказаниях 52
Глава XII. О стойкости 57
Глава XIII. Церемониал при встрече царствующих особ 60
Глава XIV. О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них 62
Глава XV. За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание 87
Глава XVI. О наказании за трусость 89
Глава XVII. Об образе действий некоторых послов 91
Глава XVIII. О страхе 96
Глава XIX. О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер 99
Глава XX. О том, что философствовать, это значит — учиться умирать 103
Глава XXI. О силе нашего воображения 123

Стр.
Глава XXII. Выгода одного — ущерб для другого 137
Глава XXIII. О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы 138
Глава XXIV. При одних и тех же намерениях воспоследовать может разное 160
Глава XXV. О педантизме 172
Глава XXVI. О воспитании детей 187
Глава XXVII. Безумие судить, что истинно и что ложно на основании нашей осведомленности 231
Глава XXVIII. О дружбе 236
Глава XXIX. Двадцать девять сонетов Этьена де Ла Боэси 252
Глава XXX. Об умеренности 254
Глава XXXI. О каннибалах 261
Глава XXXII. О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью 278
Глава XXXIII. О том, как ценой жизни убегают от наслаждений . . . 281
Глава XXXIV. Судьба нередко поступает разумно 284
Глава XXXV. Об одном упущении в наших порядках 288
Глава XXXVI. Об обычае носить одежду 290
Глава XXXVII. О Катоне Младшем 294
Глава XXXVIII. О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же 299
Глава XXXIX. Об уединении 303
Глава XL. Рассуждение о Цицероне 317
Глава XLI. О нежелании уступать свою славу 324
Глава XLII. О существующем среди нас неравенстве 327
Глава XLIII. О законах против роскоши 338
Глава XLIV. О сне 341
Глава XLV. О битве при Дрё 344
Глава XLVI. Об именах 346
Глава XLVII. О ненадежности наших суждений 353
Глава XLVIII. О боевых конях 360
Глава XLIX. О старинных обычаях 370
Глава L. О Демокрите и Гераклите 375
Глава LI. О суетности слов 380
Глава LII. О бережливости древних 384
Глава LIII. Об одном изречении Цезаря 386
Глава LIV. О суетных ухищрениях 388
Глава LV. О запахах 392
Глава LVI. О молитвах 395
Глава LVII. О возрасте 406

ПРИЛОЖЕНИЯ

Стр.
Мишель Монтень и его „Опыты“ (Ф. А. Коган-Бернштейн) . . . 413
Мишель Монтень как философ (М. П. Баскин) 471
Комментарии (А. С. Бобович и Ф. А. Коган-Бернштейн) . . . 490
Список иллюстраций 554

Печатается по постановлению
Редакционно-издательского совет
Академии Наук СССР

•

Редактор Издательства *Г. А. Стратановский*
Технический редактор *А. В. Смирнова*
Корректоры *Г. Т. Батюта, Э. А. Кауман*
и *К. Н. Феноменов*

•

РИСО АН СССР № 5349. Пл. 5-64В. М. 49686.
Подписано к печати 17/XI 1954 г. Бумага $70 \times 92^1/_{16}$. Бум. л. $17^1/_2$. Печ. л. 40.95.
Уч.-изд. л. 29.41 + 5 вкл. (0.34 уч.-изд. л.).
Тираж (1—4000). Зак. № 1195. Цена 19 р. 40 к.

1 я тип. Издательства Академии Наук СССР.
Ленинград, В. О., 9-я линия, д. 12.

ИСПРАВЛЕНИЯ И ОПЕЧАТКИ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
51	сверху	калечит, души	калечат, душат
7	1 снизу	в битвах	в битве
63	9 „	suboucere	subducere
153	сверху	τοτσιν	τοῖσιν
233	17 снизу	Фруссара	Фруассара
281	10 сверху	οἷς	οἷς
300	7 „	risu s est.	risus est,
300	8 „	Все же	все же
315	12 снизу	Идомению	Идоменею
491	13 „	у плутарха	у Плутарха
519	19 сверху	пр	противо-
536	9 сверху	созданный	созданного
536	10 „	допущенный	допущенного

МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ
ОПЫТЫ